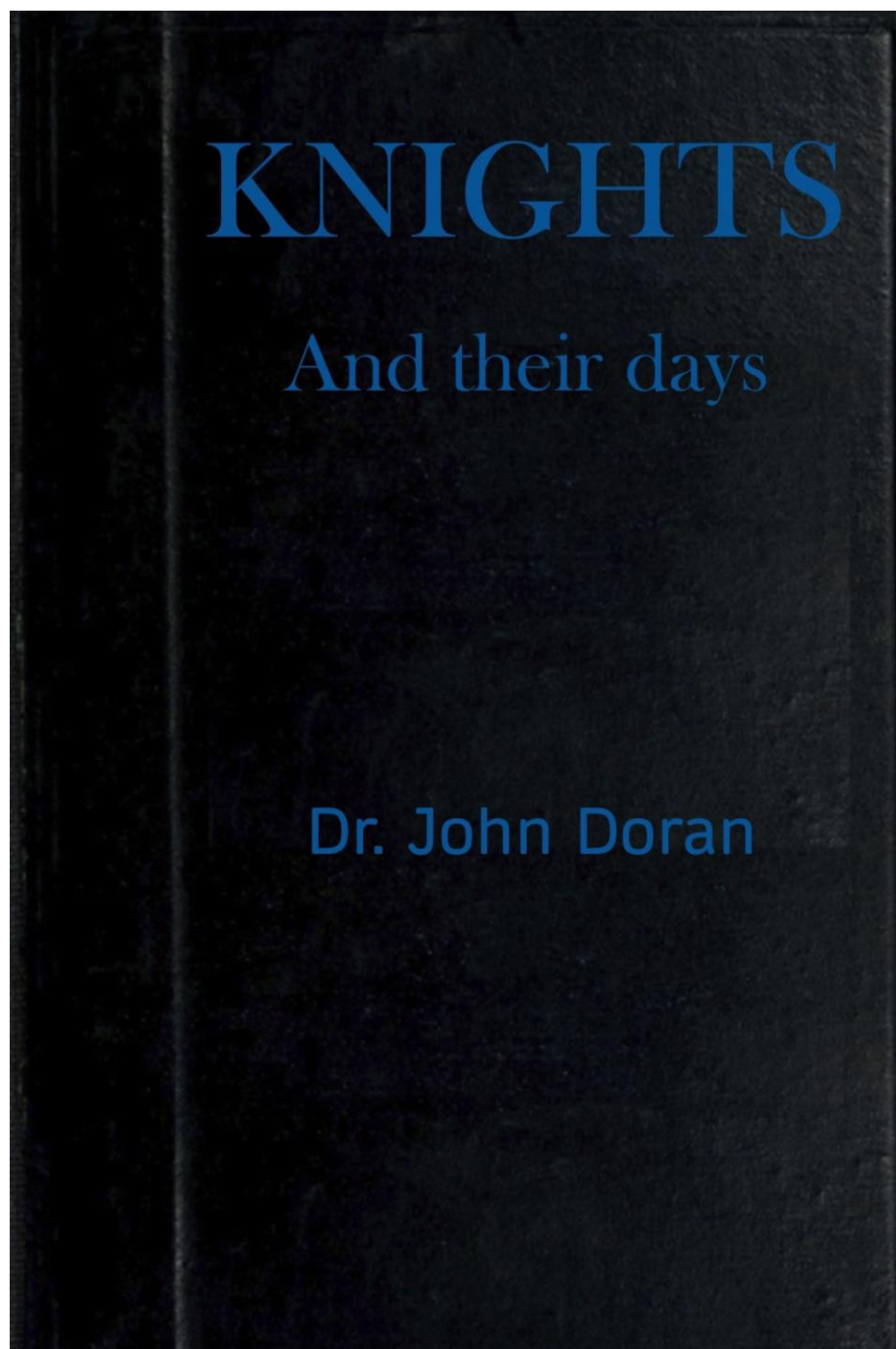


Рыцари и их дни

Джон Доран



The Project Gutenberg eBook of Рыцари и их дни.

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать, дарить или повторно использовать ее в соответствии с условиями Лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой электронной книге или на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

Название: Рыцари и их дни

Автор: Джон Доран

Дата выхода: 16 ноября 2023 года [eBook #72142]

Язык: Английский

Оригинальное издание: New York: Redfield, 1856

Кредиты: Алан, Сьюзен Скиннер и группа онлайн-распределенной корректуры на сайте <https://www.pgdp.net> (Этот файл был создан на основе изображений, щедро предоставленных The Internet Archive).

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK KNIGHTS AND THEIR DAYS ***

РЫЦАРИ И ИХ ДНИ.

РЫЦАРИ И ИХ ДНИ

BY DR. ДОРАН

АВТОРА КНИГ "ЖИЗНЬ АНГЛИЙСКИХ КОРОЛЕВ ИЗ ГАННОВЕРСКОГО ДОМА", "ЗАСТОЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ", "ПРИВЫЧКИ И ЛЮДИ" И Т. Д.

"О, это отважная профессия, и награда за нее

Все потери, которые мы встречаем, с удвоенным весом славы".

Ширли ("*Венецианский джентльмен*").



REDFIELD

34 БИКМАН-СТРИТ, НЬЮ-ЙОРК

1856

НА

ФИЛИППУ ВАТЬЕ, ЭСКВАЙРУ.

В ПАМЯТЬ О ВЕСЕЛЫХ НОЧАХ И ДНЯХ БЛИЗ МЕТЦА И
МОЗЕЛЬ,

ЭТОТ НЕБОЛЬШОЙ ТОМ

написан

ЕГО ИСКРЕННИМ ДРУГОМ,

АВТОР.

СОДЕРЖАНИЕ.

ФРАГМЕНТАРНЫЙ ПРОЛОГ	СТРАНИЦА 9
ОБУЧЕНИЕ СТРАНИЦ	30
РЫЦАРИ ДОМА	36
ЛЮБОВЬ В ШЕВАЛЬЕ И ШЕВАЛЬЕ В ЛЮБВИ	51
ДУЭЛЬ, СМЕРТЬ И ПОГРЕБЕНИЕ	65
РЫЦАРИ, КОТОРЫЕ "УСТАЛИ ОТ ЭТОГО"	78
ЖЕНЩИНЫ-РЫЦАРИ И ЖАННА ДАРК	104
ЧЕМПИОНЫ ХРИСТИАНСТВА	113
СЭР ГАЙ ИЗ ВАРВИКА И ЧТО С НИМ СЛУЧИЛОСЬ	133
ГАРТЕРИАНА	148
ИНОСТРАННЫЕ РЫЦАРИ ПОДВЯЗКИ	170
БЕДНЫЕ РЫЦАРИ ИЗ ВИНДЗОРА И ИХ ДЕЛА	184
РЫЦАРИ СВЯТОЙ АМПУЛЫ	194
ОРДЕН СВЯТОГО ПРИЗРАКА	200
ЖАК ДЕ ЛЕЛЕН	208
СУДЬБА РЫЦАРСКОЙ СЕМЬИ	228
ИСТОРИЯ РАМБУЙЕ	263
СЭР ДЖОН ФАЛЬСТАФ	276
РЫЦАРИ СЦЕНЫ	295
СЦЕНИЧЕСКИЕ ДАМЫ И РОМАНТИКА ИСТОРИИ	312
АНГЛИЙСКИЕ КОРОЛИ КАК РЫЦАРИ; ОТ НОРМАННОВ ДО СТЮАРТЫ	329

"ИНСТИТУТ ДЖЕНТЛЬМЕНА"	351
АНГЛИЙСКИЕ КОРОЛИ КАК РЫЦАРИ; СТЮАРТЫ	358
ИСПАНСКИЙ МАТЧ	364
АНГЛИЙСКИЕ КОРОЛИ-РЫЦАРИ; ОТ СТЮАРТА ДО БРАУНШВЕЙГА	375
ПОЛУЧАТЕЛИ РЫЦАРСКОГО ЗВАНИЯ	388
РИЧАРД КАРР, ПАЖ, И ГАЙ ФО, ЭСКВАЙР	410
УЛЬРИХ ФОН ХАТТЕН	420
РЫЦАРИ ШЭМА	439
ДОСПЕХИ	455

THE

РЫЦАРИ И ИХ ДНИ.

ФРАГМЕНТАРНЫЙ ПРОЛОГ.

"Храбрость - это врожденное качество, которое не дается даром".

Наполеон I.

Доктор Лингард, рассказывая о сыновьях Генриха II и их рыцарской практике, замечает, что, хотя рыцарство считалось школой чести и порядочности, среди членов рыцарских орденов не было слишком много ни этих, ни других добродетелей. Он называет пороки, которые были более распространены, как он думает, и, вероятно, с некоторой справедливостью. Халлам, с другой стороны, рассматривает институт рыцарства как лучшую школу нравственной дисциплины в Средние века и как великий и влиятельный источник человеческого совершенствования. "Оно сохраняло", - говорит он, - "изысканное чувство чести, которое в своих результатах оказало такое же сильное воздействие, как и любой из мощных духов свободы и религии, которые дали преобладающий импульс моральным чувствам и энергии человечества".

Тот же автор полагает, что обычай получать оружие в зрелом возрасте был установлен среди народов, свергнувших Римскую империю; он приводит знакомый отрывок из Тацита, описывающий этот обычай у германцев. Поначалу от кандидата, похоже, требовалась лишь телесная сила. Квалификация и формы инвеституры менялись или совершенствовались с течением времени.

В общем смысле рыцарство, по мнению Халлама, можно отнести к эпохе Карла Великого, когда кабальеро, или всадники, стали отличительным наименованием тех феодальных арендаторов и аллодиальных собственников, которые были обязаны служить верхом. Когда эти люди были экипированы и официально назначены для выполнения своих боевых

обязанностей, они, по сути, стали рыцарями, у которых было гораздо больше стимулов к отличию, чем у современных солдат, так что каждый человек зависел от самого себя, а не от общего тела. Сейчас, за исключением некоторых случаев, у отдельного человека мало шансов отличиться; и рыцарство в его одиночном аспекте, можно сказать, было взорвано порохом.

В качестве примера истинного рыцарского духа в древние времена мистер Халлам приводит Ахилла, который был в высшей степени безразличен к вопросу о том, на чьей стороне он сражается, испытывал сильную привязанность к другу и спокойно смотрел на смерть. Мне кажется, мистер Халлам сильно переоценивает грека-хулигана. Его пример с сидом Руем Диасом, который является идеальным образцом того, каким должен был быть современный рыцарь, не так уж и достоин осуждения.

В старые времена, как и в более поздние, существовали рыцари, получившие это звание скорее за услугу, чем за службу, или за вынужденную, а не за добровольную службу. Старые землевладельцы, кабальеры, или милиты, как их стали называть, были землевладельцами, которые следовали за своим господином на поле боя по феодальному обязательству: они платили ренту или ее часть такой службой. Добровольными рыцарями были те "младшие братья", которые, возможно, стремились поправить свое безразличное положение, встав под знамена какого-нибудь сеньора. Юридически они не были рыцарями, но могли заслужить эту честь своей доблестью; таким образом, по вооружению, одежде и титулу младший брат становился равным богатым землевладельцам. В каком-то смысле он даже стал их превосходить, поскольку, как добавляет мистер Халлам: "Территориальные рыцари стали постепенно стыдиться принимать на себя титул, который другие завоевали заслугами, пока сами не смогли оспорить его в настоящей пустыне".

Связь рыцарства с феодальным владением была значительно ослаблена, если не исчезла совсем, в результате крестовых походов. Там рыцари были в основном добровольцами, служившими за плату: ни о какой феодальной службе там не могло быть и речи. С другой стороны, связь с религией значительно усилилась, особенно среди нормандских рыцарей, которые до сих пор, подобно англосаксам, не рассматривали рыцарскую инвеституру как обязательную религиозную церемонию. Крестоносцы сделали из всех рыцарей, по крайней мере, религиозных профессоров, и ни один из них не присутствовал при чтении Евангелия, не держа острия меча в сторону книги, в подтверждение своего желания отстаивать то, чему она учит, силой оружия. С этого времени посвящение в рыцари стало торжественной церемонией; кандидата подпоясывали, облачали в белые одежды и отпускали после надлежащей исповеди, когда его меч благословляли, а Небеса должны были стать его руководителем. С любовью к Богу сочеталась любовь к дамам. Подразумевалось, что рыцарь должен проявлять любезность, галантность и готовность к защите, где бы эти услуги ни требовались беззащитным женщинам. Там, где это было обязательным долгом - но многие рыцари не понимали этого - в обществе возрастала утонченность; и, вероятно, нет ничего преувеличенного в старой балладе, рассказывающей о пире в Персефоресте, где восемьсот рыцарей сидели на пиру, каждый из них с дамой подле себя, ели с одной тарелки; модный тогда знак утонченной дружбы, смешанной с духом галантности. О том, что мужья иногда с беспокойством взирали на такой порядок вещей, свидетельствует беспричинно ревнивый муж из романа "Ланселот дю Лак"; но, как говорит ему дама, он не имел права капризничать, ведь уже сто лет ни один рыцарь не ел с ней из одной тарелки.

У римлян слово "*добродетель*" подразумевало и добродетель, и доблесть - как если бы храбрость мужчины была тем же, что и добродетель женщины. Среди римских рыцарей оно, конечно, не означало, что храбрый мужчина обязательно добродетелен. В более поздние

времена слово "галантность" также приобрело двойной смысл, подразумевая не только храбрость мужчины, но и его обходительность по отношению к женщине. Однако как в древние, так и в современные времена эти слова или их значения подвергались значительному злоупотреблению. В более поздний период, возможно, галантность никогда не была проиллюстрирована лучше, чем когда в столкновении враждебных эскадр под Шербуром противники замерли, когда рыцарь, одетый в цвета своей любовницы, выступил из рядов одной стороны и бросил вызов в одиночный бой тому кавалеру в противоположных рядах, который был наиболее глубоко влюблен в свою любовницу. В противниках не было недостатка, и влюбленные рыцари обрушивались друг на друга с яростью, мало похожей на любовную.

Рыцарь, убитый за свою любовь, получал должный почет от своей дамы и современников. Так, в истории Гирона ле Куртуа мы читаем, что названный рыцарский король вместе со своим кузеном Мелиадом, рыцарем по конюшне, и девицей отправились на поиски тела шевалье, который пал *от любви* этой самой дамы. Они нашли тело, живописно распростертое в луже крови, а бессознательная рука все еще сжимала эфес шпаги, которая была извлечена в честь девицы. "Ах, прелестный друг! - воскликнула дама, - как дорого ты заплатил за мою любовь! Добро и радость, которые мы делили, принесли тебе лишь смерть. Милый друг, учтивый и мудрый, доблестный, героический, добрый рыцарь во всех обличьях, раз уж ты потерял ради меня свою молодость таким образом, в таком положении и в таких муках, как это ясно видно, что еще остается мне страдать ради тебя, разве что составить тебе компанию? Друг, друг, красота твоя ушла от любви ко мне, плоть твоя лежит здесь окровавленная. Друг, друг, мы оба были вскормлены вместе. Я не знал, что такое любовь, когда отдал свое сердце, чтобы любить тебя" и т. д., и т. п., и т. д. "Юный друг, - продолжает дама, - ты был моей радостью и утешением, ибо видеть тебя и говорить с тобой одной было достаточно, чтобы внушить радость, и т. д., и т. п., и т. д. Друг, то, что я вижу, убивает меня, я чувствую, что смерть в моем сердце". Затем дама взяла окровавленный меч и попросила Мелиадуса позаботиться о достойном погребении рыцаря на этом месте и проследить, чтобы ее собственное тело было положено рядом с телом ее "друга" в ту же могилу. Мелиадус выразил большое удивление по поводу последней части просьбы, но так как дама настаивала, что ее час близок, он пообещал исполнить все ее желания. Тем временем дева опустилась на колени рядом с мертвым рыцарем, поднесла его меч к губам и тихонько умерла на его груди. Гайрон сказал, что это было самое прекрасное зрелище, которое когда-либо видел его глаз; но как ни учтив был Гайрон, а он был настолько учтив, что от своей учтивости получил фамилию, я скажу, что, несмотря на свое сочувствие и галантность, он, по-видимому, стремился получить такую прибыль, какую в те времена могли получить авторы, от готовых сочинений на интересующие их темы. Прежде чем было сказано еще одно слово, касающееся погребения двух влюбленных, Жирон намекнул, что напишет балладу о них, которая будет иметь всеобщее распространение и будет петься во всех странах, где есть нежные сердца и сладкие голоса. Жирон выполнил свое обещание, и баллада "Абсдлон и Цезала" служит примером того, какие грубые рифмы мог использовать учтивый поэт, чтобы проиллюстрировать романтический инцидент. Следует добавить, что, как бы рыцари ни подводили иногда в своей правдивости, с дамами такое случалось крайне редко. Когда Джордано Бруно был принят в своей ссылке сэром Филипом Сидни, он отплатил за гостеприимство тем, что посвятил ему стихотворение. В этом посвящении он говорит: "За одним-единственным исключением, все несчастья, которые уготованы плоти, посетили меня. Я вкусил все беды, кроме одной - когда любовь женщины оказалась ложной".

Не каждый рыцарь мог сделать такое исключение. И уж точно не жемчужина рыцарей, сам король Артур. Что за жена была у этого рыцаря в лице Гвиневер? Нет, говорят, что у него было

три жены с таким именем, и все они были настолько неверными, насколько это вообще возможно для дам. Некоторые утверждают, что описанные деяния этих трех на самом деле являются злодеяниями одной. Как бы то ни было, здесь я могу кратко отметить то, что я уже говорил о Гвиневере в другом месте. Что касается этой тройки, то очень малая добродетель одной трети целого не заквасит весь комок. Если верить романам, а в истории Гвиневеры их больше, чем в истории любой другой дамы, то она была восхитительной, дерзкой, победительной, соблазнительной, неотразимой и бессердечной шлюхой; и бесстыжей! и наглой! Только перечитайте "Сэра Ланселота дю Лака"! Да, можно не сомневаться, что в объемистых романах былых времен присутствовали исторические факты. Если хоть тысячная часть того, что написано об этой завораживающей сердце Гвиневере, правда, она должна была быть такой дамой, какую мы сейчас и представить себе не можем. Истинная дочь своей матери Венеры, когда под рукой не было сына Марса, она могла опуститься до Малсибера. Если короля не было дома, она могла слушать рыцаря. Если оба были в отъезде, эсквайр или паж могли говорить смело, не опасаясь быть не услышанными; а если все отсутствовали, в погоне или в бою, в седельной комнате всегда находился симпатичный конюх, с которым Гвиневера могла поговорить, не считая это чем-то унижительным. Я не знаю более веселого чтения, чем тонна романов под названием "Сэр Ланселот дю Лак". Но это не та книга, которую миссис Шапон рекомендовала бы юным леди или которую доктор Камминг читал бы вслух в гостиной герцога Аргайлла. Однако это книга, которую серьезный человек, немного уставший от своей серьезности, может прочесть в перерывах между серьезными занятиями и торжественными делами - книга для одинокого зимнего вечера у библиотечного костра, с вином и грецкими орехами под рукой; или для старомодного летнего вечера в беседке, сквозь листву которой солнце *прощается с вами*, такое же великолепное красное, как бургундское в вашей фляжке. По правде говоря, человек должен быть "в конкатенации соответственно", прежде чем он решится обратиться к хронике, повествующей о "бамбошах", "фрейлинах" и "бомбанах", о Гвиневере Фрейль и Ланселоте дю Лак.

Признаемся, что Артура мы ценим больше, чем его тройную жену Гвиневер. Как мне уже доводилось говорить на других страницах, "я не люблю расставаться с Артуром!". Я люблю это имя, героя и его романтические поступки. Я легкомысленно отношусь к его светлому нраву. Подумайте о его провокации в обе стороны! Какими бы ни были рыцарские привилегии, слишком многие рыцари были неверными. Они клялись в верности, но при этом нарушали обещания и пренебрегали словами. В этом вопросе я скорее склонен согласиться с доктором Лингардом, чем с мистером Халламом. Честь всегда была на их устах, но не всегда в их сердцах, и они мало уважали ее, когда находили ее во владении жен своих соседей. Как оценивает их в этом отношении Скотт, когда, описывая триаду рыцарей, говорит

"Их было двое, которые любили жен своих соседей,

И один, который любил свою собственную".

И все же как получилось, что рыцари так неизменно упоминаются с многословными похвалами римскими писателями - всегда, за исключением Лингарда, - когда они хотят проиллюстрировать преданный дух былых времен? Разве дело в том, что рыцари были правдивы, набожны, целомудренны, богобоязненны? Ничуть! Не потому ли, что кавалеры заботились только об одном, в смысле боялись только одного, а именно дьявола? Чтобы не быть окончательно побежденными Отцом Зла, они платили много, почитали внешне, безоговорочно исповедовались и получали обильное отпущение грехов. Именно по этой причине Рим похлопал рыцарство по спине. В то же время мы не должны осуждать систему, принципы которой были рассчитаны на столь значительные улучшения в обществе, как

рыцарство. Само христианство можно было бы осудить, если бы мы судили о нем по недостаткам его последователей.

Но даже мистер Халлам вынужден, наконец, неохотно признать, что мораль рыцарства не была чистой. После всех своих похвал этой системе он обращается к ее литературе и, устремив свой взор на сказки и романы, написанные для услады и наставления рыцарских дам и кавалеров, замечает, что "нарушение брачных обетов выдается в них за неоспоримую привилегию храбрых и справедливых; а опытный рыцарь, похоже, пользовался столь же несомненными прерогативами, по общему мнению, как и те, на которые претендовали блестящие придворные Людовика XV." Для этого была особая причина: придворные Людовика XV могли быть кем угодно, при условии, что наряду с галантностью они были верными, учтивыми и щедрыми. Преданность, учтивость и расточительность, называемая щедростью, были именно теми добродетелями, которые считались наиболее важными для рыцарства. Но они понимались старыми рыцарями так же, как и современными придворными. Первый пользовался в бою преимуществами, которые сейчас любой, кроме москвича, счел бы нелояльными. Вторые жульничали в карты в игорных салонах Версаля и прогоняли тех, кто нелестно отзывался об их происхождении. Так и в отношении вежливости: рыцарь был полон медовых фраз с равными и вышестоящими, но с нижестоящими был грубовато-надменен, как Меншиков. Точно так же Людовик XIV, который никогда не мог пройти мимо одной из собственных фрейлин, не приподняв своего плюмажа, мог обращаться к придворным дамам с выражениями, которые, если бы не священное величие, которое, как предполагалось, окружало его персону, могли бы обернуться для него суровым наказанием. Вспомните случай с "первым джентльменом Европы", Георгом, принцем Уэльским: он действительно лишился права на престол, женившись на католичке, миссис Фицгерберт, и бессовестно избавил себя от этой участи, произнеся ложь. Так же и с щедростью; большая часть этих рыцарей и придворных совершенно не понимала ценности денег. Например, на Поле Золотых Тканей закладывались или продавались целые поместья, чтобы их владельцы могли затмить всех конкурентов блеском и качеством своих нарядов. Подобная экстравагантность заставляет одного человека выглядеть счастливым, а всех его родственников - унылыми. Дело в том, что когда люди заблуждались, это происходило из-за несоблюдения христианского принципа; и если человек пренебрегает этим принципом, то рыцарство, как и каменщики, не в силах его исправить. Идея рыцарства действительно была "совершенной", но если рыцарь и воплощал ее в своей жизни, то лишь как почти совершенный христианин, и он был бы еще ближе к совершенству в последнем, если бы изучил несколько простых правил системы религии, а не шаткие и неустойчивые правила романтики. Изучение последних, во всяком случае, не предотвратило, а во многих случаях вызвало распущенность нравов, пристрастие к войне, а не к миру, и широкое различие между классами, делая аристократов из немногих, а злодеев из многих.

Позвольте мне добавить здесь, поскольку я говорил о романе "Ланселот дю Лак", что я вполне согласен с Монлюком, который, закончив свою хронику "История Франции", заметил, что это было бы более полезным чтением, чем "Ланселот" или "Амадис". Ла Нуэ особенно осуждает последнего как развращающего нравы эпохи. Саути также отмечает, что рыцарские романы приобрели свой яд во Франции или в Италии. Испанские и португальские романы он описывает как свободные от всякой скверны. В "Амадисе" само благополучие мира ставится в зависимость от рыцарства. "Что стало бы с миром, - спрашивается в двадцать второй книге "Амадиса", - если бы Бог не позаботился о защите слабых и беспомощных от несправедливых узурпаторов? Да и как можно было бы обеспечить защиту, если бы добрые рыцари довольствовались лишь тем, что сидели в покоях с дамами? Во что тогда превратится мир, как не в огромное сообщество разбойников?"

Ламотт Левайер придерживался иного мнения. "Оружие", - говорит он, рассуждая о рыцарстве и оружии в целом; "оружие уничтожает все виды искусства, кроме тех, которые благоприятствуют свету". В Германии, где рыцарство часто использовалось для угнетения слабых, а не для их защиты, народное презрение и страх перед "рыцарскими принципами" были рано проиллюстрированы в пословице: "Er will Ritter an mir werden", "Он хочет играть рыцаря надо мной". В этой пословице рыцарь означает угнетателя или обидчика. В нашей стране этот орден стал мало кому интересен, но по другим причинам.

Доктор Нарес в своей книге "Геральдические аномалии" сожалеет о том, что рыцарство стало презираться. Он относит это к периоду, когда Яков I поставил баронетов выше рыцарей. Наследственный титул стал предметом вожделения, но рыцари, которые всегда считались холостяками, не могли, конечно, завещать титул ребенку или детям, которых в геральдике не предполагалось. Доктор цитирует сэра Джона Ферна, чтобы показать, что Олибион, сын Астериэля, из рода Иафета, был первым рыцарем, когда-либо созданным. Этот человек был отправлен на битву после того, как его отец девять раз слегка ударил его фальшионом Иафета, выкованным еще до потопа. Мало сомнений в том, что первоначально рыцарь был просто *кнехтом*, слугой короля. Доктор Нарес говорит, что на севере так называли танов и что они, хотя и были нежной крови, выполняли при королевской особе даже функции поваров и цирюльников. Но разве не могли эти должности исполнять "унтер таны", или заместители? Впоследствии у меня будет повод рассказать о законе, который лишал потомков рыцаря его оружия, если они становились купцами; но в саксонские времена стоит заметить, что если купец совершал три плавания на одном из своих кораблей, то он становился правоверным или равным тану.

У римлян удар по уху давал рабу свободу. А удар по плечу, нанесенный рыцарю, делал из него свободного раба? По-видимому, имелось в виду нечто подобное. Титул, несомненно, был в основном, но не исключительно военным. Дуббан, от саксонского слова *dubban*, означал либо подпоясывание или надевание, "дон", либо *удар*, и, возможно, имелось в виду и то и другое, поскольку рыцарь был подпоясан шпорами, а также заколот, или *geschlagen*, как гласит немецкий термин.

Удар наносился и при разжаловании рыцаря. Затем его пятки лишались шпор, последние отбивались или отрубались. "Его пятки заслужили это", - говорит Бертрам о трусливом Пароллесе, - "его пятки заслужили это за то, что так долго узурпировали его шпоры". Меч в таких случаях тоже ломали.

Фуллер справедливо говорит, что "чем проще плащ, тем он древнее и почетнее". Он добавляет, что "два цвета необходимы и наиболее почетны: три - очень почетны; *четыре* - похвальны; *пять* - оправданы; больше - позорны". Должно быть, он был гастрономическим королем-атлантом, который так нагрузил "плащ" рыбой, мясом и птицей, что наблюдатель заметил: "Он был достаточно хорошо накормлен, чтобы выдержать осаду". *Op* - самый насыщенный цвет, но, как снова говорит Фуллер, "травы *верт*, будучи натуральными, лучше, чем *op*". Он описывает "*изгиб* как лучший из *обычных*, будучи поясом по бокам", но плащ, украшенный синильной полосой, вряд ли является отличием, которым можно гордиться. Если герольды времен Георга Второго считали монарха сыном графа Кенигсмарка, как, возможно, злонамеренно поступали герольды якобитского толка, они, несомненно, мысленно проводили унижительную полосу через королевский герб и молчаливо отрицали рыцарство, дарованное тем, кого они, в таком глупом случае, сочли бы незаконнорожденной рукой.

Упоминая о причинах некоторых пеленгов, Фуллер рассказывает, что "если графы Оксфордские издревле давали свои "плащи" простыми, с четвертями *gules* и *or*, то впоследствии в первом они взяли *mullet* или *star-argent*, потому что у главы дома была падающая звезда, как говорили, прилетевшая на его щит, когда он сражался в Святой земле".

Следует заметить, что, говоря о старшинстве, Фуллер ставит рыцарей или "воинов" вместе с моряками, гражданскими лицами и врачами, а после святых - исповедников, прелатов, государственных деятелей и судей. Рыцарей и врачей он, по-видимому, считал одинаково страшными для жизни; но в своем порядке расположения он не руководствовался каким-либо определенным принципом, поскольку среди низших он помещает "ученых писателей" и "благодетелей общества". У него, правда, есть один принцип, как можно видеть, где он говорит: "Я ставлю на первое место принцев, хорошие манеры которых обязывают всех остальных людей следовать им, как религия обязывает меня следовать примеру Бога в силу королевского признания того изначального первенства, которое он предоставил своим наместникам".

Считается, что римляне основали самый ранний из известных рыцарских орденов; их члены в свое время носили кольца, как знак отличия, как в более поздние времена рыцари носили шпоры. Рыцари Священной Римской империи были членами современного ордена, чьи правители не являются, как они сами бы считали, потомками Сезаров. Если бы мы только знали, что представлял собой наш собственный Круглый стол и где он стоял, мы могли бы более решительно высказаться по вопросу о шевалье, сидевших вокруг него. Но до сих пор не решено, не был ли стол на самом деле домом. За ним или в нем рыцари собирались в сезон Пятидесятницы, но собиралось ли это собрание в Винчестере или Виндзоре, никто, похоже, не в состоянии определить; да он и не сообщил бы особо ценных сведений, даже если бы смог.

Рыцарство было своего рода дворянством, которое стоило иметь, поскольку оно свидетельствовало о заслугах его носителя. Наследственный титул, конечно, должен заставлять того, кто его наследует, не делать ничего, что могло бы его опозорить: но сохранить блеск - не в пример лучше, чем создать его. *Рыцари-холостяки* назывались так потому, что это отличие присваивалось за некий акт *личного* мужества, на награду за который потомство рыцаря не могло претендовать. В этом отношении он был для них как будто никогда не был женат. Рыцарь-холостяк был поистине гордым человеком. Слово "*кнехт*" означало просто слугу, поклявшегося продолжать хорошую службу в честь государя, Бога и Святого Георгия. "Я остаюсь вашим присяжным слугой" - это форма эпистолярной валедикции, которая в более поздние времена проникла в письма других орденов. Манера составления была более театральной, чем в наше время; и мы бы сейчас улыбнулись, увидев на возвышенном эшафоте в соборе Святого Павла городского джентльмена, сидящего в серебряном кресле, украшенном зеленым шелком, получающего увещевания от епископа и возносимого между двумя лордами, чтобы под рукой государя быть нареченным добрым рыцарем с помощью Небес и его святого покровителя.

В старину пояса графов могли создавать рыцарей. В наше время единственным подданным, имеющим законное право оказывать рыцарскую честь, является лорд-лейтенант Ирландии, и некоторые из его "подданных" считают это самой страшной из его привилегий. Попытка оспорить это право возникла, возможно, у тех, кто опасался его осуществления в отношении себя. Однако, как бы то ни было, несомненно, что в 1823 году в этом *спорном вопросе* был положен окончательный конец, когда судьи заявили, что власть, о которой идет речь, несомненно, принадлежит лорду-лейтенанту с момента заключения Союза, как и

наместникам, которые правили викарно до этого периода. Согласно геральдическому этикету, отличительное обращение "сэр" никогда не должно быть опущено, даже если рыцарь является дворянином первого наследственного ранга. "Достопочтенный сэр Хью Перси, герцог Нортумберленд" было бы правильным геральдическим определением его милости, когда он стал рыцарем Подвязки, поскольку существует правило, что "большее достоинство никогда не топит меньшее, но оба стоят вместе в одном лице".

Рыцарь никогда не сдавал свой меч, кроме как рыцарю. "Вы рыцарь и джентльмен?" - спросил Саффолк, когда четыреста лет назад уступил Регно: "Я джентльмен, - ответил Регно, - но я еще не рыцарь". После этого Саффолк заставил его преклонить колено, нарек его рыцарем, принес привычные клятвы, а затем отдал свою старую шпагу новому шевалье.

Кларк считал, что орден выродился из своего исключительно военного характера, когда в него стали принимать халатов, врачей, мещан и художников. Он считал, что гражданские заслуги, отмеченные таким образом, теряют репутацию для военных рыцарей. Логика, с помощью которой он приходит к такому выводу, довольно слабая. Однако можно признать, что в Германии этим вопросом особенно злоупотребляли. Месье Об, этот умный джентльмен, переписавший "Толлу" из чужой книги, очень уместно замечает в своем обзоре отдела изобразительного искусства Парижской выставки, что разница между английскими и немецкими художниками заключается в том, что первые хорошо оплачиваются, но среди них очень мало рыцарей, тогда как вторые плохо оплачиваются и, соответственно, плохо одеты, но, за неимением одежды, имеют изобилие лент.

Сам доктор Нарес придерживается мнения Кларка и высмеивает идею присвоения рыцарского и воинского звания пивоварам, серебряникам, адвокатам, аптекарям, обивщикам, чулочникам, портным и т. д. Он утверждает, что рыцарское звание должно принадлежать только военным: но из них немалое число должно было бы быть не посвящено в рыцари или ждать этой чести неопределенное время, если бы строго соблюдалось старое правило, по которому никто не имел права на звание и степень рыцарства, кто не был в бою и не захватил пленного собственными руками. Что касается обязанности рыцарей защищать и содержать всех дам, джентльменов, вдов и сирот, то можно сказать, что один класс мужчин с одинаковой вероятностью выполняет эту обязанность, как и другой.

Во Франции, Италии и Германии долгое время существовали рыцари-криминалисты, определенные титулы в адвокатуре, дававшие равные привилегии; и предполагалось, что вышеупомянутые обязательства будут соблюдаться этими рыцарями, которые находили эскайров в своих клерках, в криминалистической войне, которую они постоянно вели в защиту права. К несчастью, эти кавалеры-криминалисты так часто сражались, защищая неправду и называя ее правдой, что реальные обязанности исполнялись или игнорировались без разбора.

Про "приказы" часто говорят, что они нестираемы. Как бы ни относиться к духовенству, это особенно характерно для рыцарей. Какой бы титул ни получал рыцарь - герцога, графа или барона, - он никогда не переставал быть рыцарем. В доказательство того, что последний титул считался приумножаемым, приводится случай с Людовиком XI, который во время своей коронации был посвящен в рыцари Филиппом, герцогом Бургундским. "Если бы Людовика, - говорит один выдающийся писатель (его цитирует доктор Нарес), - сделали герцогом, маркизом или графом, это умалило бы его, поскольку все эти титулы были в нем самом".

Корона, нуждаясь в рыцарском оружии своих рыцарей, обращалась за необходимой феодальной службой не к своим графам как таковым, а к своим баронам. К каждому графству примыкало баронство, где только и устанавливалась их феодальная служба с несколькими

зависимыми от нее обязанностями. "То есть, - пишет Берингтон в своей книге "Генрих II", - владение баронством, а не графством, составляло законного вассала короны. Каждый граф был в то же время бароном, как и епископы, некоторые аббаты и приоры орденов".

Некоторые из этих баронов были основателями приходских церквей, но о том, на каких условиях иногда жили священник и патрон, можно судить по закону, согласно которому патроны или феодатари, убившие настоятеля, викария или клерка своей церкви или искалечившие его, были приговорены к потере своих прав; а их потомство до четвертого поколения лишалось возможности получить бенефиций или прелатов в религиозных домах. Рыцарский покровитель, разумеется, должен был придерживаться тех же религиозных взглядов, что и его священник, иначе у его души было мало шансов на то, чтобы за нее молились. В более поздние времена мы имеем случаи, когда покровители определяли мнения священника. Так, в качестве параллели или, скорее, контраста с мерами, принятыми между сэром рыцарем и сэром священником, можно привести отрывок, включенный в старые документы баптистской часовни в Оулни. В этом документе управляющие или попечители обязались, что "ни один человек не будет избран пастором этой церкви, который будет отличаться по своим религиозным взглядам от преподобного Джона Гиббса из Ньюкасла". Переход от рыцарей-баронов к баптистским часовням - довольно резкий шаг, но этот вопрос имеет отношение к моей теме с обеих сторон. Прежде чем оставить его, я обращаю внимание на надпись, с гордостью сделанную на надгробии на кладбище Банхилл Филдс, о даме Мэри Пейдж, реликте сэра Джорджа Пейджа. Дама умерла более века с четвертью назад, и хотя на камне нет никаких свидетельств о ее добродетели, кроме того, что она была терпелива и бесстрашна в страданиях, он заботится о том, чтобы сообщить всем прохожим, что эта рыцарская дама "за шестьдесят семь месяцев была прободена шестьдесят шесть раз и приняла двести сорок галлонов воды, ни разу не упрекнув себя и не убоявшись ее действия". Я предпочитаю воспоминания о рыцарских дамах былых времен, в которых описываются их подвиги, а не болезни, и где о них говорится, как сказал Уайт о королеве Марии, что их "колени были твердыми от преклонения".

Прежде чем сменить тему, добавлю еще один случай, связанный с рыцарями, болезнями и крещением. В 1660 году сэр Джон Флойер был самым знаменитым рыцарем-врачом своего времени. В основном он выступал против неиспользования крещения погружением. Он рассматривал этот вопрос не с теологической, а с санитарной точки зрения. Он предсказывал, что Англия вернется к этой практике, как только люди убедятся, что холодные ванны безопасны и полезны. Он осудил первых новаторов, отошедших от погружения в воду, как губителей здоровья своих детей и потомства. По его словам, последовало вырождение расы, увеличилось количество наследственных заболеваний, а мужчины стали простыми рыцарями ковра, не способными совершать такие похотливые подвиги, как их предки, погруженные в воду должным образом.

Мало найдется томов, которые бы так замечательно иллюстрировали, какими *должны* быть рыцари и какими они порой *не* были, как "Хроника крестовых походов Святого Людовика" де Жуанвиля - того самого Святого Людовика, который сам был святым покровителем ордена, крестом которого сначала награждали принцев, а потом перрюкеров. Верный летописец, правда, довольно грубо, сравнивает королевского рыцаря с самим Богом. "Как Бог умер за свой народ, так и Людовик Святой часто рисковал своей жизнью и подвергался величайшим опасностям за народ своего королевства". В конце концов, это уподобление настолько же неубедительно, насколько и профанировано. Тем не менее, правда, касающаяся Людовика, достойна прославленного короля, святого и шевалье. "В разговоре он был удивительно целомудрен, ибо я ни разу не слышал, чтобы он произнес непристойное слово или

использовал имя дьявола, которое, однако, сейчас очень часто произносят все, но которое, по моему глубокому убеждению, так далеко от того, чтобы быть угодным Богу, что оно ему крайне неприятно". Король Сен-Луи, смешивая воду с вином, пытался заставить своих рыцарей последовать его примеру, добавляя, что "для благородного человека было бы чудовищно заставить себя напиться". Это была мудрая сентенция, которой, естественно, придерживался сын, чья мать часто заявляла ему, что "лучше бы он лежал в могиле, чем совершил смертный грех". И все же, как ни мудра была его мать, и как ни мудр был ее сын, первая не могла дать мудрого религиозного наставления второму, а тот не мог понять, где их наставления нелогичны. О том, что это *было* именно так, можно судить по тому, как де Жуанвиль хвалит тот факт, что рыцарственный король в свои предсмертные минуты "призывал Бога и его святых, и особенно святого Иакова и святую Женевьеву, как своих заступников".

Интересно узнать от такого авторитета, как де Жуанвиль, о том, как рыцари, следовавшие за Святым Людовиком, готовились к крестоносной миссии. "Когда я был готов отправиться в путь, я послал к аббату Шеминону, который в то время считался самым осмотрительным человеком из всех белых монахов, чтобы примириться с ним. Он дал мне мой шарф и повязал его на меня, а также вложил в мою руку посох паломника. Сразу же после этого я покинул замок Жуанвиль и не заходил в него до самого возвращения из-за моря. Я совершил паломничество во все окрестные святые места, такие как Бликкур, Сен-Урбан и другие, расположенные неподалеку от Жуанвиля. Я никогда не смел обратить свой взор в ту сторону, боясь испытать слишком сильное сожаление, чтобы не потерять мужество, оставив двух моих прекрасных детей и мой прекрасный замок Жуанвиль, который я любил всем сердцем". "Одно прикосновение природы делает весь мир родным", и здесь мы имеем то самое прикосновение, о котором говорит поэт. Вниз по Соне, а затем по Роне крестоносцы плыли на вместительных судах, но не настолько больших, чтобы вместить своих коней, которых конюхи вели вдоль берегов. Когда все высадились в Марселе и вышли в море, "капитан заставил священников и дьяков подняться на замок корабля и петь псалмы в хвалу Богу, чтобы он благоволил даровать нам благополучное плавание". Пока они полным хором пели *Veni Creator*, мореплаватели поставили паруса "во имя Бога", и сразу же в ответ на призыв поднялся благоприятный ветер, и рыцари и святые мужи быстро понеслись по волнам открытого моря, полные надежд и очень больные. "Должен сказать, - говорит де Жуанвиль, которого часто беспокоило движение судна, он был так мало похож на рыцаря и так робок на воде, что ему требовалось несколько человек, чтобы удержать его, когда он перегибался через борт в беспомощной и нерыцарственной позе кокни на борту булонского парохода, - должен сказать,"восклицает он, страдая от самого воспоминания, - что тот большой дурак, кто подвергает себя подобным опасностям, никого не обидев и не имея на совести ни одного смертного греха; Ибо, ложась вечером спать, он не знает, не окажется ли утром под водой."

Это было благочестивое размышление, и, несомненно, многие рыцари делали это на борту судна, на замке которого священники и дьяки пели *Veni Creator*, а мореплаватели сгибали парус "во имя Бога". Но то ли святые мужи не соответствовали своей профессии, то ли светские рыцари не заботились о том, чтобы воспользоваться их примером, несомненно, что, несмотря на святые службы и формальности на корабле, шевалье не успевали сойти на берег, как впадали в самую худшую практику. Де Жуанвиль, говоря о них в Дамiette, отмечает, что бароны, рыцари и прочие, кто должен был бы практиковать самоотречение и экономию, расточительно относились к своим средствам, расточали запасы, пристрастились к банкетам и порокам, которые сопутствуют чрезмерно роскошной жизни. Все было расточительно, в том числе и здоровье. Пример, поданный рыцарями, переняли воины, и разврат, который последовал за этим, был потрясающим. Мужчины опустили до

уровня зверей, а женщины и девушки, попавшие в их руки во время мародерства, - до уровня женщин. Де Жуанвиль с удивлением отмечает, что святой король был вынужден "подмигивать на величайшие вольности своих офицеров и людей". Картина королевского святого, подмигивающего похоти, грабежам и убийствам, не очень приятна. "Доброму королю рассказали, - говорит верный летописец, - что в двух шагах от его собственного шатра стояло несколько палаток, владельцы которых наживались, сдавая их в аренду для неблагоприятных целей". Эти шатры и скинии беззакония содержались личными слугами царя, и тем не менее царственный святой подглядывал за ними! Разврат был поразительным, тем более, что его практиковали христианские рыцари, которые находились за границей со святой целью, но шли с окровавленными руками, нечистыми помыслами и духовными песнями, чтобы спасти Гроб Господень от недостойного хранения неверных. Стоит ли удивляться тому, что предприятие в итоге оказалось неудачным?

Сам де Жуанвиль, хотя и был чище жизнью, чем многие его товарищи, не преминул воспользоваться недружественным преимуществом. Рыцарское правило, предписывающее быть честным в поединке, никогда не принималось во внимание этими рыцарственными джентльменами, когда победа достигалась путем нарушения закона. Так, в одном из случаев на равнинах перед Вавилоном литературный фехтовальщик самодовольно сообщает, что он "увидел, как крепкий сарацин садится на коня, которого держал за уздечку один из его оруженосцев, и *когда он положил руку на седло, чтобы сесть*, я нанес ему, - говорит де Жуанвиль, - такой удар копьем, которое я вонзил, насколько смог, что он упал замертво". Это был подлый и трусливый поступок. В том, что последовало за этим, было больше рыцарского: "Эскавайр, увидев, что его господин мертв, бросил хозяина и коня, но, наблюдая за моими движениями, по возвращении нанес мне копьем такой удар между плеч, что повалил меня на шею лошади и держал так крепко, что я не мог вытащить меч, который был опоясан вокруг меня. Я был вынужден выхватить другой меч, который находился на помпоне моего седла, и это было самое время; но когда он увидел, что у меня в руке меч, он выхватил свое копье, которое я схватил, и побежал от меня".

Я уже говорил, что этот рыцарь, так нечестно воспользовавшийся преимуществом противника, был все же большим христианином, чем многие из его товарищей. Это подтверждается еще одной чертой, весьма наглядно иллюстрирующей принципы, которые влияли на этих храбрых и благочестивых воинов. Де Жуанвиль отмечает, что в канун масленицы 1249 года он видел событие, о котором *"должен рассказать"*. В бдение того дня, рассказывает он, умер очень доблестный и благоразумный рыцарь, сэр Хью де Ландрикур, приверженец знамени самого де Жоанвиля. Погребальная служба была отслужена, но полдюжины рыцарей де Жоанвиля, присутствовавших в качестве скорбящих, разговаривали так непочтительно громко, что священник был потревожен во время чтения мессы. Наш добрый летописец подошел к ним, упрекнул их и сообщил, что "джентльменам не подобает разговаривать во время совершения мессы". Нечестивая полдюжина разразилась хохотом и, в свою очередь, сообщила де Жуанвилю, что они обсуждают, кто из шестерых должен жениться на вдове почившего сэра Хью, лежавшего тогда перед ними на костях! Де Жуанвиль, руководствуясь приличиями и здравым смыслом, "резко упрекнул их и сказал, что такой разговор неприличен и неуместен, ибо они слишком быстро забыли своего товарища". Из этого обстоятельства де Жуанвиль пытается сделать логический вывод, если не сказать заключение. Он печально путает причины и следствия, награды и наказания, практику и принцип, человеческие случайности и особое вмешательство Небес. Например, рассказав о веселье рыцарей на похоронах сэра Хью и их споре о том, кто из них должен свататься к вдове, он добавляет: "А наутро, когда состоялась первая великая битва, случилось так, что, хотя мы и можем посмеяться над их глупостью, из всех шестерых ни один не избежал смерти,

и они остались непогребенными. Жены всех шестерых повторно вышли замуж! *Это* дает основания полагать, что Бог не оставляет безнаказанным ни одно подобное поведение. Что касается меня самого, то *дела мои обстояли немногим лучше*, поскольку я был тяжело ранен в битве в масленичный вторник. Помимо расстройства ног и рта, о котором уже говорилось, у меня был такой ревматизм в голове, что он проходил через рот и ноздри. Вдобавок у меня была двойная лихорадка, называемая квартаном, от которой да защитит нас Господь! И с этими болезнями я был прикован к постели в течение половины Великого поста". Таким образом, если женатые рыцари были убиты за разговоры о сватовстве к вдове товарища, то и сам де Жуанвиль пострадал за то, что взялся их обличать! Однако я должен добавить еще один случай, чтобы показать, что на поле боя человеческий и христианский принцип не был полностью утрачен.

Бедный священник, которого злые и женатые рыцари прерывали во время служения мессы глупостями, над которыми сам де Жуанвиль, похоже, считает, что люди, *возможно*, склонны смеяться, заболел так же тяжело, как и сам де Жуанвиль. "Однажды, - рассказывает последний, - когда он пел мессу передо мной, а я лежал в своей постели, в момент вознесения хозяина я увидел, что он так ослабел, что едва не упал в обморок; но когда я понял, что он вот-вот упадет на землю, я вскочил с постели, как больной, и, взяв свой плащ, обнял его, велел ему быть спокойным и черпать мужество у Того, Кого он держал в руке. Он немного оправился, но я не отходил от него до тех пор, пока он не закончил мессу, которую он закончил, и это была последняя, потому что он больше никогда не совершал, а умер; да примет Господь его душу!" Это более приятная картина христианского рыцарства, чем любая другая, которую дает этот живописный летописец.

Рыцарство вообще подвергалось сатире и насмешкам со стороны философов больше, чем любой другой класс людей. Мудрецы клеймят рыцарей как просто хвастунов храбрости, а в некоторых выражениях, подобных тем, что использует Дюссо, они утверждают, что хвастунам своей доблести можно доверять так же мало, как и тем, кто хвастается своей честностью. "Defiez vous de quiconque parle toujours de sa probité comme de quiconque parle toujours de bravoure".

Однако философам не пристало насмехаться над своими боевыми собратьями. Теперь, когда профессор Якоби от серьезных исследований на благо человечества перешел к созданию адских машин для уничтожения храбрых и беспомощных людей на расстоянии, этот очень неудачливый, но потенциальный убийца, насколько ему известно, опустил науку на более низкий уровень, чем тот, который занимают люди, чье ремесло - оружие. Но это не первый случай, когда философы вмешиваются в военное дело. Сама война, начатая дурным честолюбием России, может быть прослежена по злему умыслу не менее известного философа, чем Лейбниц. Именно этот знаменитый человек впервые подстрекнул европейского монарха захватить определенную часть турецких владений, чтобы таким образом обеспечить себе практически всеобщее господство.

Этим монархом был Людовик XIV, к которому Лейбниц обратился с меморандумом, как к мудрейшему из государей, наиболее достойному того, чтобы передать ему проект, одновременно самый святой, самый справедливый и самый легкий для осуществления. Успех, добавляет философ, обеспечит Франции империю морей и торговли и сделает французского короля верховным арбитром христианства. Лейбниц сразу же называет Египет местом, которое необходимо захватить; и после намека на то, что необходимо, назвав его величество "чудом тайны", он намекает на дальнейшие достижения, говоря о том, что это покроет его имя бессмертной славой, поскольку он расчистил, будь то для себя или для своих потомков, "путь для подвигов, подобных тем, что совершил Александр".

По мнению мемориалиста, нет страны, завоевание которой заслуживало бы стольких попыток. Что касается каких-либо провокаций со стороны турецкого государя Египта, то он не преминул посоветовать царю даже притвориться, что получил повод для обиды. Философ *перечисляет* историю Египта, последовательные завоевания и покушения на него, чтобы доказать, что его владение во все времена считалось важным; и добавляет, что его турецкий хозяин как раз тогда находился в таком упадке сил, что Франция не могла желать более благоприятного случая для вторжения. Этот аргумент показывает, что когда царь Николай затронул эту гнусную тему, он не только был готов ограбить этого же "больного человека", турка, но и украл его аргументы, чтобы таким образом проиллюстрировать свое мнение и доказать, что его настроения были обоснованными.

"Одним удачным ударом, - говорит Лейбниц, - можно в одно мгновение низвергнуть и основать империю. В таких войнах заключены элементы высокого могущества и возвышенной славы". Нет необходимости повторять все соблазнительные термины, которые Лейбниц использует, чтобы побудить Людовика XIV привести свое рыцарство в движение против турецкой державы. Египет он называет "глазом стран, матерью зерна, местом торговли". Он намекает, что Московия уже тогда была готова воспользоваться любым обстоятельством, которое могло бы облегчить ей путь к завоеванию Турции. Завоевание Египта тогда имело для Франции двойное значение. Овладев им, Франция стала бы хозяйкой Средиземноморья, значительной части Африки и Азии, и "король Франции мог бы тогда, по неоспоримому праву и с согласия папы, принять титул императора Востока". Еще одна приманка заключается в том, что в таком положении он сможет "держат понтитиков в гораздо большей власти, чем если бы они проживали в Авиньоне". В заключение он говорит, что человечество будет "вечно благоговеть перед памятью великого короля, которому обязаны столькими чудесами!". "За исключением философского камня, - наконец замечает философ, - я не знаю ничего, что можно было бы представить себе более важным, чем завоевание Египта".

Лейбниц много рассуждает о средствах, которые необходимо использовать для достижения успеха; среди них есть и изрядная доля лжи; и следует признать, что дух мемории и ее цели, касающиеся не только Египта, но и турецкой империи в целом, были хорошо обдуманы царем, прежде чем он предпринял эту преступную попытку, в которой ему не удалось найти единомышленника.

Оригинал меморандума, который, как предполагается, был представлен Людовику XIV незадолго до его вторжения в Голландию - и, как утверждают некоторые, скорее с целью отвлечь короля от нападения на эту страну, чем с какой-либо более определенной целью, - хранился в архивах Версаля до эпохи Великой революции. Однако копия, написанная почерком Лейбница, хранилась в библиотеке Ганновера. Ее содержание, несомненно, было известно Наполеону, когда он размышлял о завоевании Египта, которое Лейбниц считал столь легко осуществимым; копия, сделанная по просьбе маршала Мортье для Королевской библиотеки в Париже, сейчас находится в этой коллекции.

Предположение Лейбница о том, что в турецких владениях находится если не вселенская монархия, то, по крайней мере, главенство христианства, никогда не было забыто Россией; и очень возможно, что некоторые из его соблазнительных аргументов могли повлиять на царя, прежде чем он повел свои войска на войну, которая показала, что Россия, при всей своей хваленой мощи, не могла ни взять Силистрию, ни удержать Севастополь.

Но в этом фрагментарном прологе, начавшемся с Лингарда и закончившемся Лейбницем, мы заблудились на обширной территории. Давайте упорядочим наши действия и рассмотрим тех, кто должен был стать рыцарями.

ОБУЧЕНИЕ ПАЖЕЙ.

"Что ты называешь страницей? Каков его юмор?

Сэр; он - *Nobilis ephesus*, и

Puer regius, ученик рыцарства,

Разбивающий сердца и надеющийся сломать копья" - *Старая пьеса*.

В другой главе я уже обращал внимание на то обстоятельство, что рыцарство было даровано ирландскому принцу в столь раннем возрасте, как семь лет. Это был возраст, в котором в менее развитой Англии благородные юноши поступали в богатые рыцарские семьи в качестве пажей, чтобы научиться послушанию, владению оружием и приобрести изящную привычку ухаживать за дамами. Особенно бедные дворяне находили свой счет в этой системе, которая давала безвозмездное образование их сыновьям в обмен на услуги, которые не считались унижительными или позорными. Эти мальчики семь лет служили пажами или варлетами - иногда очень дерзкими варлетами - а в четырнадцать лет могли стать обычными эсквайрами и помогать своим господам там, где наносились и принимались тяжелые удары, за что они "со вздохом заклепывали доспехи, которые им запрещалось носить".

Нельзя сказать, что ни пажи, ни варлеты, ни домочадцы всегда были такими ровестниками, какими их изображают современные романтики. По крайней мере, были исключения из правил - если, конечно, существовало правило ростеризации. Иногда мальчишек небезразлично учили до того, как они покидали родной дом. То есть их не готовили к той своеобразной жизни, которую им предстояло вести. Даже Борджиа, как бы ни была печально известна эта фамилия благодаря неумолимым историкам и популярным операм, в свое время были весьма респектабельны и образцово религиозны. Так, в доме герцога Гандии юный Франциск Борджиа, его сын, проводил время "среди прислуги в прекрасной невинности и благочестии". Однако это был единственный период его жизни, проведенный таким образом. Марчанги утверждает, что пажи средневековья часто были маленькими святыми; но вряд ли это было так, поскольку "*espiègle comme un page*", "*hardi comme un page*" и другие показательные поговорки пережили даже эпоху пажей. Действительно, если верить менестрелям, а они часто были столь же правдивы, как и летописец, страницы время от времени оказывались даже более знающими и дерзкими, чем их хозяева. Когда граф Ори был влюблен в юную аббатису Фармутье, он обратился за советом к своему пажу.

"Ола! Моя страничка, загляните ко мне,

Любовь меня терзает, я не могу смириться;

Как мне пройти в этот монастырь?"

Как готов был к экстазу юный мошенник со своим ответом: "Sire il faut prendre pour dans ce couvent entr".

"Sire il faut prendre quatorze chevaliers,

Et tous en nonnes il vous les faut habiller,

А потом, ближе к ночи, в порту, он должен укрыться".

Что получилось из этого совета, песня рассказывает в очень радостных выражениях, за которыми читатель может обратиться к этому грандиозному сборнику "Chants et Chansons de la France".

С другой стороны, мистер Кенелм Дигби, который, заметим мимоходом, является художником страниц, смотрящим на свой объект сквозь розовые очки, так пишет об этих молодых джентльменах в своих "Mores Catholici".

"Поистине прекрасной предстает верность рыцарской молодежи на страницах истории или романа. У каждого хозяина семьи в средние века был на службе молодой человек, который с радостью пролил бы последнюю каплю своей крови, чтобы спасти его, и который, подобно оруженосцу Ионафана, ответил бы на его призыв: "Fac omnia quæ placent animo tuo; perge quo cupis; et ero tecum ubicumque volueris". Когда Жирон ле Куртуа решился на приключение в *Перилле*, мы читаем, что камердинер, услышав откровенность и любезность, с которыми его господин говорил с ним, начал обильно плакать и сказал, весь в слезах: "Сир, знайте, что мое сердце говорит мне, что, если вы пойдете дальше, вы никогда не вернетесь; что вы либо погибнете там, либо останетесь в тюрьме; но, тем не менее, ничто не помешает мне пойти с вами. Лучше умереть с вами, если на то будет воля Божья, чем покинуть вас в таком обличье ради спасения собственной жизни"; сказав так, он вышел вперед и сказал: "Сир, поскольку вы не вернетесь по моему совету, я не оставляю вас и на этот раз, что бы ни случилось". Власть в домах средневековья, - добавляет мистер Дигби, - всегда была почтенной. Предполагается, что сам термин "*сенешаль*" подразумевал "старый рыцарь", так что, как и у греков, слово, означающее "почитать" и "оказывать уважение", происходило непосредственно от того, что обозначало старость; *πρεσβειω* используется в первой строке "Евменидов". Даже тем, кто был просто связан узами дружбы или гостеприимства, полагались те же уроки и наставления. Иоанн Франциск Пикус из Мирандолы упоминает об обычае своего дяди часто наставлять своих друзей и увещевать их к святой жизни. Я знал одного человека, - говорит он, - который однажды беседовал с ним на тему нравов и был настолько тронут всего двумя его словами, в которых говорилось о смерти Христа как о побудительном мотиве для избегания греха, что с того часа он отказался от порочных путей и исправил всю свою жизнь и манеру поведения".

Мы улыбаемся, когда видим, что мистер Дигби упоминает о высеченных в камне ангелах над воротами замка, как в Венсене, в доказательство того, что бродившие там странички были маленькими святыми. Но с еще большим интересом мы читаем, что "сеньор де Линьи привел Баярда к себе домой и вечером проповедовал ему, как родному сыну, рекомендуя ему всегда иметь перед глазами небо". Это хорошо, и то, что это оказало свое влияние на Баярда, мы все знаем; тем не менее, сам шевалье был далек от совершенства.

Что касается происхождения слова "*сенешаль*", о котором говорилось выше, мы можем заметить, что оно означает "старый человек, знающий толк". Еще одно слово, связанное с оружием, - "маршал", которое происходит от *Mar*, "лошадь", и *Schalk*, "искусный", знающий толк в лошадях; отсюда "*Maréchal ferrant*", как предполагают французские кузнецы. *Шальк*,

однако, как я видел, интерпретируется как означающий "слуга". Изначально граф Маршал был рыцарем, который присматривал за королевскими лошадьми и конюшнями, а также за всем, что к ним относится.

Но вернемся к теме образования. Если все сыновья дворян в прежние времена были так хорошо обеспечены нежными учителями, как описывают их старые историки и авторы, то они, несомненно, имели большое преимущество перед некоторыми из своих потомков в наши дни. В качестве иллюстрации этого факта достаточно привести проповеди, недавно прочитанные преподобным педагогом мальчикам, которые имеют несчастье быть его директором. Невозможно читать некоторые из этих проповедей о порке, не испытывая чувства глубокого отвращения. На порку там намекают, упоминают, угрожают, ласкают, как будто в самой идее есть некий восторг. Хуже всего тот отрывок, где любезный господин говорит своим молодым слушателям, что они благородны по рождению, что самое большое унижение для благородного человека - это нанесение удара, и что, тем не менее, ему, абсолютному господину, возможно, придется выпороть многих из них. Как же молодые люди, над которыми он властвует, должны любить такого наставника! Это обстоятельство напоминает мне покойного мистера Дюкроу, который однажды в образе пажа учил мальчика проходить сложный акт наездничества. Мальчик был робок, и его великий учитель нещадно хлестал его кнутом. Мистер Джозеф Гримальди стоял рядом и выглядел очень серьезным, обдумывая свое призвание. "Ты видишь, - заметил Дакроу Джою, - что необходимо *произвести впечатление* на этих молодых парней". "Очень может быть, - сухо ответил Гримальди, - но вряд ли нужно так сильно бить!"

Дисциплина, которой подвергались пажи в домах рыцарей и дворян, судя по всему, вовсе не была суровой. Помимо того, что они слушали наставления капеллана, внимали приказам хозяина и выполняли приятные обязанности по хозяйству, они, похоже, были предоставлены сами себе и, в общем-то, приятно проводили время. Бедным ученым жилось куда тяжелее, чем вашему "сэру пажу". И эта суровая дисциплина, царившая над бледным студентом, сохранялась вплоть до недавнего, то есть сравнительно недавнего времени. В пьесе Невилла "Бедный ученый", написанной в 1662 году, но так и не поставленной, хорошо показан характер студенческой жизни в колледже. Действие происходит в университете, где Эугенес-младший, хотя его и называют "бедным ученым", является племянником Эугенеса-старшего, который является президентом колледжа. Племянник и дядя враждуют, и власть имущий заключает в тюрьму своего юного родственника, которому удастся вырваться из гнусного заточения и жениться на девице по имени Морфе. Забава заключается в том, что молодая пара переодевается в деревенских парня и девушку, и преподобный Эугенес, сеньор, бессознательно соединяет пару, которую он хотел бы держать отдельно. Есть еще два столь же остроумно придуманных университетских брака; и когда церемонии завершены, один из новоиспеченных студентов, дерзкий, как любая страница, нагло замечает одуроченному президенту: "Наши имена ушли из бабок, а наши лица - из ваших владений". Эта фраза показывает, что в прежние времена "*ingenius puer*" в Оксфорде, если он хотел избежать порицания, должен был лишь убрать свое имя из книг. Но были и худшие наказания, чем простое порицание. Автор "Бедного ученого" часто упоминает о порке студентов, растянутых на бочке, в маслобойне. Долгое время существовала подтвержденная традиция, что Мильтон подвергся такому унижению. В пьесе Невилла один из юных Бенедиктов, преждевременно женившись, замечает: "Если бы я хоть раз побывал в маслобойне, они бы обвешали меня прутьями". К этому замечанию Эугенес-младший добавляет еще одно, говоря о своем дяде-президенте: "Он бы заставил тебя кататься на бочке и демонстрировать свои жирные щеки". Но очевидно, что даже этого страшного наказания молодые джентльмены могли избежать, если у них хватало ума; бесстрашный

Афобас хвастается: "Мое имя вычеркнуто из коллежских батек, и теперь у меня нет права садиться на бочку".

В наше время молодым отпрыскам благородных домов приходится выдерживать более суровую дисциплину, чем принято считать. С ними обращаются скорее как с масляными недоучками былых времен, чем с пажами, которые в старинных замках учились владеть оружием, прислуживали шателенам и неизменно влюблялись в дочерей. Тем, кто сомневается в этом факте, достаточно прочитав те проповеди о порке, на которые я уже ссылался. В былые времена такие проповеди, обращенные к толпе молодых людей, вероятно, обошлись бы проповеднику дорожке, чем он хотел бы потерять. В наши дни такие проповеди вряд ли могли завоевать любовь их автора. Последний, несомненно, искренне полагал, что владеет энергичным и спасительным принципом; но есть что-то неблагородное и в дисциплине, которой хвастаются, и особенно в изложении неопровержимого факта молодым джентльменам, что удар - худшее оскорбление, которое может быть нанесено людям их класса, но что *он* может и будет совершать такие нападения на них, и что нежные и благородные, какими они были, они не смеют возмущаться!

В старину рыцари порой подвергались ужасно жестокому обращению со стороны своего рыцарского господина. Самые рыцарственные из христианских рыцарей часто поступали трусливо и не по-христиански. В качестве примера можно привести случай с великим и воинственным герцогом Бургундским, потерпевшим поражение при Мурете. Он оказался зажат между свирепыми врагами и глубоким озером. Как меньшее из двух зол, он бросился в последнее, и его молодой паж вскочил на коня, когда герцогский конь уходил в воду. Крепкий конь перенес двойную ношу через озеро шириной в две мили, не без труда, но благополучно. Герцог, возможно, сначала был слишком встревожен, чтобы понять, что паж держится позади; но когда пытаящая лошадь достигла противоположного берега, суверен Бургундии так разгневался при мысли, что мальчик, уцепившись за своего коня, подверг опасности жизнь герцога, что повернулся к нему и острием ударил бедного юношу о берег. Ласселс, рассказывающий эту историю, очень метко завершает ее презрительным, но серьезным восклицанием: "Бедный принц! Ты мог бы принести Богу другую благодарственную жертву за свое спасение, чем эту!" Но "Бургундия" редко была милостива и гуманна. "Каролус Пугнакс, - пишет Бертон в своей "Анатомии меланхолии", - заставил Генри Холланда, покойного герцога Эксетера, изгнанника, бегать за своей лошастью, как лакей, и не обращал на него никакого внимания". Это был тот английский пэр, который вынужден был просить милостыню в городах Фландрии.

О пэрах вообще нам еще предстоит поговорить вскользь, а пока давайте взглянем на их хозяев дома.

РЫЦАРИ ДОМА.

"Вступайте, господа; послушайте мою монету-де-фе. Me voilà, chez moi!" - *Арлекин в Сен-Жермене.*

Риттер Эрик из Лансфельдта отмечал, что рядом с битвой он очень любит банкет. Поэтому мы начнем "Рыцаря дома" с того, что покажем его за столом. При этом мы можем заметить, что рыцари Круглого стола, как правило, ели очень сытные блюда. Король Артур, который считается основателем этого общества и который изобрел стол, чтобы, когда все его рыцари

рассаживались, никто не мог претендовать на первенство над остальными, традиционно объявляется первым человеком, который когда-либо садился за целый жареный бык. Мистер Бикерстафф в "Татлере" говорит, что "это был, безусловно, лучший способ сохранить подливку"; и далее добавляется, что "он и его рыцари накрывали на стол вокруг быка и обычно съедали его до самых костей, прежде чем приступить к какому-либо важному обсуждению".

Они питались лучше, чем рыцари-отступники, которые

"как думают некоторые,

издревле не ели и не пили,

Потому что, когда в пустынях обширных

И регионы безлюдные они проходили,

где ни над землей, ни под землей не было живота,

или под землей, не было найдено,

Если они не паслись, то не было ни слова

об их провизии:

Что заставило некоторых уверенно писать,

У них не было желудков, но они сражались".

Однако это всего лишь взгляд одного поэта на рацион питания изнеженных джентльменов древности. Поуп гораздо ближе к истине, когда говорит, что...

"В давние времена наши отцы шли на войну,

Ожидая крепких ударов и скудной пищи,

Их говядина часто тушилась в их морионе,

И в своей корзине-рукояти варили напиток".

-Та корзина-рукоять, о которой так хорошо сказано в "Гудибрасе", что...

"в ней можно хранить бульон,

И для боя, и для обеда".

Лорды и рыцарские джентльмены, которые так хорошо сражались и так крепко держались, не всегда отличались мягким нравом дома. Было замечено, что пьемонтское общество долго хранило следы рыцарской эпохи. Пример тому мы находим в "Истории Пьемонта" Галленги. Из нее мы узнаем, насколько абсолютным хозяином в собственном доме был могущественный рыцарь и дворянин. Так, из Галленги мы узнаем, что Антонио Гримальди, дворянин из Кьери, убедился в неверности своей жены. Он заставил ее собственноручно повесить своего любовника к потолку ее покоев; затем он замуровал покои, закрыл двери и окна и позволял несчастной женщине столько воздуха и света, а также своей рукой вводил столько еды и питья, сколько могло бы бесконечно продлить ее агонию. Он наблюдал за ней,

ухаживал за ней с той заботой, которую ненависть может вызвать не меньше, чем любовь, и оставил ее в слепом одиночестве с немим свидетельством ее вины - отвратительным предметом, к которому день за днем, ночь за ночью прикованы ее страшные глаза, пока он не прошел через все отвратительные стадии разложения. Этот человек, несомненно, был хуже в своей мести, чем тот сэр Жиль де Лаваль, который дошел до нас под именем Синей Бороды.

Этот знаменитый человек, прославившийся под своим псевдонимом, был не менее знаменит и в своем собственном обличье. Во время правления Карла VI и Карла VII во Франции не было более храброго рыцаря, чем этот маркиз де Лаваль, маршал Франции. Англичане боялись его почти так же сильно, как и Пюсея. Однако хозяйство этого храброго джентльмена было сущим адом на земле; разнузданность, богохульство, попытки колдовства и, более того, попытки и весьма успешные реализации убийств были маленькими причудами этого многоженца. Он превосходил самых экстравагантных монархов в своем безграничном изобилии и в варварской пышности своего двора или дома: последний был переполнен дамами очень легких манер, игроками, конюхами, притворными магами и таким же количеством поваров, какое Юлиан нашел во дворце своего предшественника в Константинополе. В его конюшне было двести оседланных лошадей, а собак у него было больше, чем сейчас можно найти у любого "любителя" этой породы. Магов он нанимал с двойной целью. Они должны были находить сокровища для его использования, а хорошенькие подручные - ухаживать за его выдающейся персоной или иным образом развлекать его демонстрацией своих достижений. По общему мнению, через некоторое время эти молодые люди были убиты, поскольку их кровь была очень полезна для заклинаний, целью которых было открытие золота. Преувеличение преувеличивало его злодеяния, которые были достаточно ужасны в своей явной, неприкрытой гнусности. В конце концов правосудие настигло это чудовище. Она настигла его не за преступления против общества, а за выходку, оскорбившую герцога Бретани. За это преступление Жиль де Лаваль был сожжен в Нанте, после того как его задушили - такое милосердие было оказано ему потому, что он был галантным рыцарем и джентльменом и, конечно, не должен был быть сожжен заживо, как какой-нибудь мелкий негодяй из крестьян. Наконец он проявил минутную слабость и перед самым затягиванием веревки на его шее публично заявил, что никогда бы не дошел до этого и не совершил столько злодеяний, если бы не его жалкое воспитание. Так и люди, достаточно проницательные, чтобы заключать сделки, и способные отличить добродетель от порока, всегда готовы, когда возмездие настигнет их на эшафоте, обвинить своего отца, мать, школьного учителя или духовного пастыря. Лишь немногие из них похожи на рыцаря дороги, который перед тем, как телега выскользнула из-под его ног в Тайберне, заметил, что ему, по крайней мере, приятно сознавать, что своим положением в обществе он обязан исключительно себе. "Пусть меня повесят, - сказал он, - если это не так". Законник не стал спорить с ним, а, прервав его, заметил с серьезностью кардинала перед завтраком, что джентльмен прогневал дьявола и дам, приписав свое величие исключительно собственным усилиям.

Я уже говорил, что, возможно, маленькие недостатки Синей Бороды были преувеличены; но, поразмыслив, я не уверен, что эта приятная гипотеза может быть подтверждена. Де Лаваль, о котором больше, чем я рассказал, можно найти у Мезерея, был не хуже Ландвогта Гугенбаха, который представляет собой столь ужасную фигуру в "Герцогах Бургундских" Баранта. Ландвогт, по словам последнего историка, заботился о небесах не больше, чем о ком-либо на земле. Он привык говорить, что, будучи совершенно уверенным в том, что попадет к дьяволу, он особенно тщательно следит за тем, чтобы не отказывать себе ни в одном удовольствии, которое он мог бы пожелать. Соответственно, не было ни одной дикой

прихоти, которой бы он не предавался. Он был отъявленным развратителем добродетели, использовал деньги, угрозы или грубое насилие для достижения своих целей. Ни коттедж, ни монастырь, ни очаг горожанина, ни замок дворянина не были защищены от его вторжений и злодеяний. Его ужасно ненавидели, его ужасно боялись - но тогда сэр Ландвогт Хугенбах давал великолепные обеды, и все семьи вокруг ходили на них, хотя и ненавидели дарителя.

На этих обедах он был необычайно лицеприятен, а иногда и свиреп. Например, Барант пишет о нем, что на одном из своих приятных званых вечеров он отослал мужей в отдельную комнату, а жен держал вместе в своем большом салоне. Он и его подручные полностью лишили их платьев, после чего, накинув покрывало на голову каждой даме, которая не смела сопротивляться, любезный хозяин вызывал мужей по одному и велел каждому выбрать себе жену. Если муж ошибался, его тут же хватали и сбрасывали вниз головой с лестницы. Ландвогт не больше беспокоился об этом, чем лорд Эрнест Вейн, когда обслуживал виндзорского управляющего по тому же принципу. Мужей, угадавших правильно, проводили к буфету, чтобы поздравить и выпить за это различные фляги вина. Но количество вина, выпитого каждым несчастным, было столь огромным, что через некоторое время он был так же близок к смерти, как и искалеченные мужья, лежавшие бесчувственной кучей у подножия лестницы.

Тех, кто захочет узнать больше об этой уважаемой личности, мы отсылаем к страницам Баранта. Там они найдут, что этот рыцарь и слуга герцога Бургундского был больше похож на воплощение дьявола, чем на что-либо другое. Его карьера была ужасающей по своей чудовищной жестокости и преступности, но, тем не менее, она закончилась на эшафоте. Его поведение там было похоже на поведение святого, который испытывает некоторую человеческую немощь - раздражение от того, что слепое правосудие людей обращается с ним как с очень злым человеком. Этот рыцарственный негодяй был так назидателен, что народ вполне принимал его за святого, которым он себя считал; и еще долго после его смерти толпы людей стекались к его могиле, чтобы молиться о его посредничестве между ними и Богом.

Грубые шутки Ландвогта напоминают мне о гораздо более великом человеке, чем он, - Гастоне де Фуа, в ранние времена которого тоже не было недостатка в грубых шутках. Портрет Гастона с пажом, помогающим ему застегнуть доспехи, работы Джорджоне да Кастель Франко, несомненно, известен большинству моих читателей - если не по оригиналу, то по гравюре. Ранее она принадлежала герцогу Орлеанскому, но много лет назад перешла во владение лорда Карлайла. Выражение лица пажа или молодого оруженосца, который помогает поправить доспехи Гастона, передано великолепно. Выражение героя придает, возможно, слишком старый вид рыцарю, который, как известно, умер молодым.

Этот Гастон был племянником Людовика XII. Его титулами были герцог Немурский и граф д'Этамп. Его воспитанием занималась мать, сестра короля Людовика. Она превозносила Гастона как человека, который был исключительно ее собственным произведением.

"Принимая во внимание, - говорит она, - что честь стала честью ее сына, она с удовольствием позволила ему искать опасности там, где он мог найти славу". Его карьера была великолепной, но пропорционально короткой. Он приобрел нетленную славу и славную смерть в Италии. Ценой своей жизни он одержал победу под Равенной, после чего удача покинула штандарт Людовика, а Максимилиан Сфорца вернул миланские владения своему отцу Людовику. Это было в начале шестнадцатого века.

Но я должен рассказать о другом Гастоне де Фуа. Я отдал предпочтение одному носителю этого имени, потому что он был более достойным человеком; но более ранний герой даст нам

лучшие иллюстрации домашней жизни благородных рыцарей, которые были государями в своих собственных округах. Фруассар с почтением упоминает о нем в своей "Хронике". Он был графом де Фуа и держал двор в Ортезе, на юге Франции. Там собирались подпоясанные рыцари и честолюбивые оруженосцы, величественные матроны и изящные девицы. Когда граф не находился на военном пути, его дом был сценой большого веселья. Звон шпор, лязг мечей, топот железных каблуков, вирели, исполняемые воинами, любовные песни, напеваемые дерзкими пажам, и романсы, исполняемые на лире менестрелями, которые были мастерами в этом искусстве, - все это, вместе с придворными пирами и величественными танцами, делало замок в Ортезе не скучной резиденцией. Ястребиная охота, похоже, была любимым развлечением "моего доброго Эрла". Он не столько владел своими страстями, сколько своими приближенными, и мало кто думал о нем хуже только потому, что он убил своего кузена за то, что тот отказался предать его доверие, и перерезал горло единственному законному сыну графа.

О практических шутках тех дней мы можем составить некоторое представление из анекдота, рассказанного Фруассаром. В один из холодных дней Гастон де Фуа пожаловался на скудный огонь, который его прислуга поддерживала в большой галерее. Тогда один из рыцарей спустился во двор, где стояло несколько ослов, нагруженных дровами. Он схватил одного из них, дрова и осла вместе, и, шатаясь, поднялся по лестнице в галерею, бросил все это, пятками вверх, на огонь. "И тут, - говорит Фруассар, - граф Фуа очень обрадовался, как и все, кто там был, и дивился его силе, как он один поднялся по лестнице с ослом и дровами на шее".

Гастон был всего лишь ленивым рыцарем. По словам Фруассара, уже в полдень он поднялся с постели. Он ужинал в полночь; и когда он вышел из своих покоев, чтобы пройти в зал, где был накрыт ужин, перед ним несли двенадцать факелов, которые держали у стола "двенадцать варлетов" в течение всего времени, пока длился ужин. Граф сидел один, и никто из рыцарей или оруженосцев, толпившихся вокруг других столов, не смел сказать ему ни слова, если только великий человек не обращался к нему заранее. Ужин, должно быть, был скучным.

Казначей коллежской церкви Шиме очень деликатно рассказывает о том, как Гастон убил его маленького сына. Жена Гастона жила отдельно от мужа, при дворе своего брата, короля Наваррского, а "маленький сын", о котором идет речь, находился там в гостях у своей матери. Когда он уже собирался возвращаться, король Наварры дал ему порошок, который он велел передать отцу, сказав, что это любовный порошок, который вернет отцу его привязанность к матери. Невинный мальчик принял порошок, который на самом деле был ядом, а через ночь или две после его возвращения в Ортез незаконнорожденный сын Гастона нашел его в одежде мальчика. Подлец донес на брата, и когда Гастон дал порошок собаке, которая тут же умерла, он с трудом удержался от того, чтобы не поколотить сына на месте. Бедного ребенка бросили в темницу, где он в ужасе и отчаянии отказывался принимать пищу. Узнав об этом, граф вошел в камеру, где находился мальчик, "в руке у него в то же время был маленький нож, чтобы резать его ногти..... В великой досаде он приложил руку к горлу своего сына, и острие ножа немного вошло в его горло в определенную вену; и граф сказал: "Ах, предатель, почему ты не ешь свое мясо?", и с этим граф ушел, ничего больше не сделав и не сказав". Никогда еще жестокое убийство не было так изящно описано, но Фруассар так боится, что не сможет внушить вам убежденность в том, что это был несчастный случай, что продолжает: "Ребенок был смущен и боялся прихода отца, а также был слаб от поста, и острие ножа немного вошло в его горло, в определенную вену в горле; и так [он] внезапно упал и умер!"

Плутоватый мессир был так же весел после этого поступка, как и до него; но и он в один прекрасный день "внезапно упал и умер". Он перегрелся на охоте и в таком состоянии искупался в холодной воде, как только добрался до дома. Описание всей этой домашней сцены - одно из самых наглядных у Фруассара, но оно слишком длинно для цитирования. Достаточно сказать, что огромные владения графа попали в руки этого злодейского незаконнорожденного сына, сэра Дженбейна де Фуа. Последний был одним из шести рыцарей, которые вместе с Карлом VI вошли в бальный зал, переодетые сатирами и скованные одной цепью. Некий человек, который, как предполагается, не был в долгу перед королем, бросил в группу факел. Их легко воспламеняющиеся платья тут же загорелись, и сэр Дженбейн де Фуа был одним из тех, кто сгорел до смерти. Самому королю, как известно, удалось спастись.

Пожалуй, одним из главных домашних удовольствий, которыми наслаждались рыцари, когда не были заняты на войне, было удовольствие от погони. Сегодня праздные деревенские джентльмены напоминают в этом отношении своих рыцарских предков и за неимением или нежеланием заниматься другими делами проводят три четверти своего сельского времени в поле. В былые времена, как и всегда, существовали клерикальные джентльмены, весьма пристрастные к охоте и, кроме того, не менее пристрастные к нарушению границ. Это были не преподобные ректоры на собственных породистых лошадях, не викарии на одолженных пони, а высокопоставленные прелаты, даже архиепископы. Один из них, Эдмунд, архиепископ Кентерберийский, в начале XIII века позволил себе охотиться без разрешения на территории молодого рыцаря, несовершеннолетнего графа Арундела. В день совершеннолетия графа он издал запрет против архиепископального нарушителя, а тот в ответ щелкнул пальцами и заявил, что его дорога так же законно открыта для любой погони, как и свободный вход в любую церковь. Соответственно, преподобный джентльмен отправился в путь, как обычно, с гончими и лошадьми, а также с "многочисленной компанией" друзей-клириков и других приверженцев, которые были рады поохотиться в такой компании. Однако их охота была испорчена прислужниками молодого графа. Они, повинувшись приказу своего хозяина, спустили собак, развязали поводья, отпугнули всадников и посмеялись над церковными громами прелата, грянувшими на них в открытом поле. Эдмунд, не найдя в себе сил преодолеть сопротивление людей, обратился к хозяину, в резкой форме отчитав его *ad inferos* за то, что тот посмел вмешаться в прелатские забавы. Ничуть не обескураженный, молодой граф, который с радостью разрешил бы архиепископу охотиться в его компании, когда бы тот ни пожелал, но который не позволил бы главе церкви Англии действовать в лесу Арундел так, словно он был еще и властелином земли, обратился в единственный компетентный суд - к папе римскому. Спорящие стороны пришли и лично изложили свои доводы: граф - спокойно, чувствуя, что право на его стороне, Эдмунд - с легким высокомерием, основанным на убеждении, что понтифик не даст мирянину одержать победу над священником. Архиепископ, однако, ошибался. Он не только проиграл свое дело, но и был осужден в расходах; и если кто-то думает, что этот указ удержал его от посягательств, то такая мысль показывает, что его обладатель мало знал о духе, который движет прелатами, любящими охоту. Архиепископ стал самым закоренелым браконьером в стране; и если он не портил рыцарский спорт, скача впереди гончих с красной селедкой, то прибегал к средствам, столь же эффективным, чтобы омрачить удовольствие других от погони. Он также относился к графу свысока, как к человеку, уступающему ему в степени, и когда они сталкивались при дворе, прелат проявлял по отношению к галантному рыцарю не больше любезности, чем лорд Коули в Париже по отношению к уполномоченным английской выставки, когда простые люди с интеллектом держались на расстоянии, которое пэр считал приличным для простых людей с чином.

Однако нет недостатка в примерах того, как молодые рыцари сами воспитывались в высокомерии и своенравии. Такое воспитание продолжалось во Франции, пожалуй, дольше, чем в других странах. Даже в прошлом веке такое воспитание преобладало, особенно там, где ученик предназначался для армии. В качестве примера можно привести воспитание маленького Видама д'Амьена. Он был неуклюж и упрям, но его можно было бы излечить от обоих недостатков, если бы его матери было позволено принимать участие в его воспитании. С ней советовались в последнюю очередь, а точнее, вообще не советовались. Чем больше малыш задирает нос, тем больше его родственники радовались такому проявлению его духа; и однажды, когда он нанес своей тетушке, маркизе де Беллиер Плесси, удар в ухо, от которого старушка пошатнулась, ее единственным замечанием было: "Дорогая моя, ты никогда не должна бить меня левой рукой". Вежливый Видам смертельно возненавидел своего воспитателя и выразил такое желание убить его, что педагога попросили позволить маленькому дикарю поверить, что он совершил желаемое убийство. Тогда в руки мальчика вложили легкий мушкет, из которого был извлечен неизвестный ему шар, и с ним, внезапно налетев на своего наставника, который притворился, что не чувствует удивления, видамэ разрядил патрон в грудь своего наставника и друга. Подневольный мудрец притворился смертельно раненым и изобразил смерть на полированном полу. От него тихо избавились, а пенсия в четыре сотни франков, то есть всего шестнадцать фунтов в год, вознаградила его тупое раболепие. Маленький шевалье гордился, как драчун Фицджеральд, тем, что, как он полагал, "убил своего человека".

Давайте вернемся к более ранним временам, чтобы найти иллюстрации рыцаря на родине, а также за границей. В приключениях Фулька Фицваррена недостатка в таких иллюстрациях нет. Фульк был одним из объявленных вне закона баронов времен правления короля Иоанна. В юности он воспитывался вместе с четырьмя сыновьями короля Генриха; он был очень любим всеми ими, кроме Джона. "Случилось так, что Джон и Фульк сидели одни в покоях и играли в шахматы; Джон взял шахматную доску и нанес Фульку сильный удар. Фульк почувствовал, что ему больно, поднял ногу и ударил Джона в середину живота; голова его отлетела к стене, и он совсем ослабел и потерял сознание. Фульк был в смятении; но он обрадовался, что в палате нет никого, кроме них двоих, и стал тереть уши Джону, который оправился от обморока, пошел к королю-отцу и стал жаловаться. Попридержи язык, негодник, - сказал король, - ты вечно ссоришься. Если Фульк и сделал с тобой что-то хорошее, то только по твоей вине"; и он позвал своего господина и заставил его хорошенько отлупить его за то, что тот жаловался. Джон сильно разгневался на Фулька, так что впоследствии никогда не мог полюбить его сердечно".

Вышеизложенное, как уже было отмечено, свидетельствует о том, как мало уважали в те ранние времена королевскую власть и доктрину непротivления. Но можно заметить, что даже в эти более вежливые времена, если бы наследник престола ударил своего товарища по играм, его королевское высочество, вероятно, встретил бы в ответ такое же готовое, если не совсем грубое, исправление, какое было применено к Иоанну. Последний не мог простить дерзкого товарища своего детства, как это сделал Яков I в последующие времена в отношении "Джейми Слейтса". Напротив, когда Джон стал королем, он сговорился с таким же беспринципным человеком, как и он сам, лишить Фулька его поместья. Разговор между королем и его единомышленником, Морисом де Повисом, был подслушан, и о том, что из этого вышло, рассказывается в истории Фулька Фицваррена, отредактированной Томасом Райтом для Уортонского клуба: - "Недалеко от дома находился рыцарь.

"Неподалеку находился рыцарь, который слышал весь разговор между королем и Морисом, и он поспешил к сэру Фульку и рассказал ему, что король собирается подтвердить своей

грамотой земли, на которые у него есть право, для сэра Мориса. Фульк и его четыре брата предстали перед королем и молили, чтобы они получили общее право и земли, на которые они претендовали и имели право, в наследство от Фулька; и они молили, чтобы король получил от них сто фунтов, при условии, что он предоставит им награду своего суда о прибылях и убытках. Король сказал им, что то, что он пожаловал сэру Морису, он будет хранить, кто бы ни был обижен или кто бы ни был обижен. В конце концов сэр Морис обратился к сэру Фульку и сказал: "Сэр рыцарь, вы большой дурак, что оспариваете мои земли; если вы говорите, что у вас есть право на Уайт-Таун, вы лжете; и если бы мы не были в присутствии короля, я бы доказал это на вашем теле". Сэр Уильям, брат Фулька, не говоря больше ни слова, выскочил вперед и ударил сэра Мориса кулаком в середину лица, так что оно стало все в крови; рыцари вмешались, чтобы не причинить больше вреда; тогда сэр Фульк сказал королю: "Сэр король, вы мой сеньор, и вам я был обязан верностью, пока находился у вас на службе и пока владел вашими землями; и вы должны поддерживать меня по праву, а вы меня подводите по праву и общему закону; и никогда не был добр тот король, который отказывал своим откровенным арендаторам в праве при дворе; поэтому я возвращаю вам ваши почести"; и с этими словами он удалился со двора и отправился в свою обитель."

Фульк был несправедливо сослан, но через некоторое время вернулся в Англию, скитался под разными личинами и в конце концов, созревший проект, поселился в Виндзорском лесу в качестве колуна или угольщика. О том, что из этого вышло, я еще раз расскажу в издании мистера Райта, посвященном этой рыцарской биографии.

"Вскоре король с тремя рыцарями, все пешие, подошел к Фульку, где тот разводил свой костер. Когда Фульк увидел короля, он хорошо его узнал, и, выронив вилы из рук, приветствовал своего господина и очень смиренно опустился перед ним на колени. Король и три его рыцаря очень смеялись и играли, глядя на воспитание и осанку Фулька. Они стояли так очень долго. Сэр Вилен, - сказал король, - вы не видели, чтобы здесь проходил олень или лань? Да, милорд, некоторое время назад. Какого зверя ты видел?" - "Сэр, мой господин, рогатого; и у него были длинные рога". Где оно?" "Сэр, мой господин, я хорошо знаю, как привести вас к тому месту, где я его видел". 'Onward then, Sir Vilain, and we will follow you.' "Сэр, - сказал колье, - мне взять вилы в руки? Ведь если бы они были отняты, я бы тем самым понес большие потери". Да, Вилен, если хочешь". Фульк взял в руку большую железную вилку и повел короля стрелять, ибо у него был очень красивый лук. Сэр, милорд, - сказал Фульк, - подождите, а я пойду в чащу и заставлю зверя пройти вот сюда. Фульк поспешно вошел в чащу и приказал своей компании поспешно схватить короля Джона, потому что "я привел его туда только с тремя рыцарями, а вся его компания находится на другой стороне леса". Фульк и его компания выскочили из чащи, бросились на короля и сразу же схватили его. "Сэр король, - сказал Фульк, - теперь вы в моей власти, и я свершу над вами такой же суд, какой вы свершили бы надо мной, если бы схватили меня". Король задрожал от страха, ибо он очень боялся Фулька".

Здесь есть, пожалуй, что-то от романтической истории, но с существенной долей правды. В конце концов Фульк, который, как нам говорят, на самом деле был одним из баронов, которым мы обязаны Магна Чарта, и который был анафематствован папой и снова и снова отправлялся в изгнание, одержал верх над всеми своими врагами, включая папу и короля. Существует две традиции, касающиеся его смерти. Согласно одной из них, он дожил до битвы при Льюсе, где был одним из друзей Генриха Третьего, утонувших в соседней реке. Другая версия рассказывает совсем другую историю и, вероятно, ближе к истине. Мы склонны думать вместе с мистером Райтом, редактором биографической истории, о которой

идет речь, что тот, кто утонул под Льюсом, был сыном Фулька. Мы добавляем следующий рассказ, не столько из-за его подробностей, касающихся смерти старого рыцаря, сколько из-за того, что он имеет отношение к тому, как рыцари жили, двигались и имели свое существование в тот период, о котором идет речь: -

"Однажды ночью Фульк и леди Кларисса, его жена, спали вместе в своей комнате; леди спала, а Фульк бодрствовал и думал о своей молодости, и сильно раскаивался в своем сердце в своих прегрешениях. В конце концов, он увидел в комнате такой большой свет, что это было удивительно; и он подумал, что бы это могло быть? И услышал он голос, словно гром в воздухе, и сказал он: "Вассал, Бог даровал тебе покаяние, которое лучше здесь, чем в другом месте". При этих словах госпожа проснулась, увидела великий свет и в страхе закрыла лицо. Вскоре этот свет исчез. И после этого света Фульк больше никогда не мог видеть, но был слеп все свои дни. Тогда Фульк стал очень гостеприимным и щедрым и велел свернуть королевскую дорогу через свой зал в поместье Аллестон, чтобы ни один чужестранец не мог проехать, не получив мяса или ночлега, или других почестей или благ его. Этот Фульк оставался слепым семь лет, и хорошо перенес свою епитимию. Леди Кларисса умерла и была похоронена в Новом аббатстве; после ее смерти Фульк прожил всего год и умер в Уайттауне; с великой честью он был погребен в Новом аббатстве - да помилует его Господь. Рядом с алтарем лежит тело. Да помилует Господь всех нас, живых и мертвых. Аминь!"

Религиозные чувства были сильны во всех нормандских рыцарях, но, пожалуй, не сильнее, чем в диком рыцарстве Северной Америки, когда его нарисованные герои впервые слышали о страстях и смерти Христа. Шарлевуа рассказывает об одном ирокезе, который, услышав о распятии, воскликнул с чувством христианского крестоносца: "О, если бы я был там!" Точно такое же восклицание однажды произнес норманнский рыцарь, слушая монаха, повествующего о великой жертве на горе Голгофе. Однако более дикие воины всегда испытывали более поэтические чувства. Вот предсмертная просьба молодого индейского вождя, также замеченная Шарлевуа. Умиравший победитель просил похоронить его в голубой мантии, потому что это был цвет неба: мода многих нормандских рыцарей на погребение в мантии и монашеской мантии имела гораздо меньше возвышенных чувств в своем мотиве.

Показав, чем занимался рыцарь дома, давайте подумаем, чему он там учил, если не своим примером, то наставлениями. Был рыцарь, известный под титулом "Белый рыцарь", которого звали Де ла Тур Ландей, он был современником Эдуарда Черного Принца и, как предполагается, сражался при Пуатье. Однако больше всего он известен или, по крайней мере, не менее известен как автор произведения под названием "Le Livre du Chevalier de la Tour Landay". Эта книга была написана или продиктована им для особой пользы двух его дочерей, а также для наставления молодых леди в целом. В некоторых местах она крайне бестактна и, таким образом, дает не очень благоприятное представление о молодых леди, которые могли бы вынести такие наставления, как здесь даются. Шевалье выполнил свою авторскую работу очень свободно и непринужденно. Он привлек к работе четырех духовных лиц, строго обозначенных как "два священника и два клерка", в задачу которых входило добыть для него все необходимые иллюстративные материалы, такие как анекдоты, апофтегмы и тому подобное. Они были собраны из всех источников, священных и нецензурных - от Библии до любого легендарного или исторического произведения, которое могло бы подойти для его цели. Их он складывал мозаикой, добавляя мудрые слова, мораль, советы или чувства, которых, по его мнению, особенно требовал случай, - с добавлением историй, собранных им самим. Критик в "Атенеуме", комментируя этот любопытный том, с

большой долей правды говорит, что он дает хорошие материалы для изучения нравов и манер того времени. "Ничто, - говорит рецензент, - не предлагается для принятия на разумных основаниях правильного или неправильного, или как соответствующее какому-либо признанному моральному стандарту, но потому, что оно было освящено долгим использованием, подтверждено притворным чудом или одобрено каким-то суеверием, которое возмущает здравый смысл".

В качестве иллюстрации к этим замечаниям показано, как шевалье рекомендует строго соблюдать скудные дни на том основании, что однажды отрубленная голова солдата позволила позвать священника, исповедаться и выслушать отпущение грехов, потому что владелец головы никогда не нарушал постов среды и пятницы в течение всей своей жизни. Избегать семи смертных грехов предписывается примерно на тех же основаниях. Например, обжорства следует избегать по той уважительной причине, что болтливая сорока однажды предала даму, съевшую блюдо с угрями, которое ее господин предназначил для гостей, которых он хотел особенно почтить. Милосердие предписывается не потому, что великий учитель ставит его не только выше Надежды, но и выше Веры, а потому, что на одну даму, которая, несмотря на предостережения священника, отдавала разбитые продукты своих домашних собакам, а не бедным, находясь на смертном одре, набросилась пара черных собак, и когда они приблизились к ее губам, последние стали черными, как уголь. Рыцарь тем более настаивает на правильном проявлении милосердия, что у него есть неоспоримый авторитет, подтверждающий правдивость этой истории. То есть он знал даму, которая была знакома с умершим и утверждала, что видела собак. На неявном повиновении жен мужьям настаивает и наглядный аргумент. Жена одного мещанина резко ответила своему господину, вместо того чтобы молча выслушать упрек и безропотно подчиниться его приказу. Тогда муж нанес жене удар сжатым кулаком, который разбил ей нос и повалил на землю. "Разумно и правильно, - говорит почтовая миссис Эллис того времени, - что муж должен иметь слово, и честь для хорошей жены - выслушать его, сдержаться и оставить все высокие разговоры своему господину; и, напротив, большой позор слышать, как женщина спорит со своим мужем, *правильно или неправильно*, и особенно перед другими людьми". Публий Сир говорит, что хорошая жена повелевает, повинаясь, но шевалье, очевидно, и не думал иллюстрировать латинскую максиму или рекомендовать цель, которую она преследует. Рыцарь ставит мужа в положение абсолютного господина; и это, в сочетании с рабством, которого он требует от жены, напоминает мне изречение Тулотта, которое так же верно, как и все, что предписывает морализирующий рыцарь, а именно: "*L'obéissance aux volontés d'un chef absolu assimile l'homme à la brute*." Эта фраза, с некоторым изменением слов, может быть применена как выражающая эффект рыцарского учения в вопросе женского послушания. Последнее действительно созвучно старым языческим представлениям. Еврипид утверждает, что самая невыносимая жена в мире - это жена, которая философствует или поддерживает свое собственное мнение. Мы удивлены тем, что христианский рыцарь так соглашается с языческим поэтом, тем более что именно в христианские времена была впервые опубликована максима, гласящая: "*Ce que femme veut, Dieu le veut!*".

Эти чувства напоминают мне, что настало время показать, как рыцарь был подвержен нежной страсти, как она иногда была его славой, а иногда позором. Иногда он был жертвой, а иногда - жертвой.

ЛЮБОВЬ В ШЕВАЛЬЕ И ШЕВАЛЬЕ В ЛЮБВИ.

"Как приятны шаги, которые мы, влюбленные, делаем,

Когда по тропинкам довольства мы шагаем

Навстречу нашим желаниям!" - *"Кабан потерял свой кошелек"*.

Батлер в своем "Гудибрасе" (часть iii. кн. 1) забавно иллюстрирует чувство, которое двигало рыцарями-изгнанниками, и конкретную цель, которую они преследовали: "Древние рыцари-изверги", - говорит он: - "Завоевали все сердца своих дам".

"Завоевали в поединках все сердца своих дам,

И резали на куски целых великанов,

Чтоб их в любовную щепоть вогнать;

Чьи упрямые кишки не желали сдаваться,

Пока их галанты не были наполовину убиты:

Но когда их кости были так изранены.

Они не могли выиграть больше ни одного боя,

Сердца дам начали таять,

Покоренные ударами своих любовников.

Так испанские герои своими копьями

Ранили быков и дам".

Как бы ни был готов рыцарь оказать почтение своей даме, последняя, если она действительно относилась к рыцарю, никогда не позволяла, чтобы его почтение к ней было оплачено ценой ущерба чести его страны или его собственной. Примером тому может служить случай Бертрана де Гесклена. Никогда не было человека, который наносил бы более сильные удары, будучи холостяком; но когда он отправился свататься, а тем более после свадьбы с несравненной Тифанией, он потерял всякую заботу о чести на поле боя и не испытывал никакого удовольствия, кроме общества своей супруги. Однако дама была полна решимости, чтобы ни его меч, ни его репутация не покрылись ржавчиной из-за какой-либо ее ошибки или красоты. Она горячо убеждала его в его склонности к домашнему хозяйству, противопоставляла их активности его холостяцких дней, и приобретенной благодаря этому славе, и тут же уговаривала его покинуть ее беседку и сесть в седло.

Англичанам не помогло красноречие дамы, потому что у наших предков не было более галантного или более трудного противника, чем Бертран. Живым его имя наводило на них ужас, а умирая, он пользовался сочувствием тех, кто был его врагом. Карл V. сделал его констеблем Франции и устроил ему могилу у подножия его собственной королевской гробницы. Де Гесклен никогда бы не стал и половиной того, кем он был, если бы не здравый смысл его жены Тифании.

В романах есть множество примеров, из которых следует, что чувства, связывающие рыцарей с уважением к дамам, были настолько напряженными, что заставляли их не отступать от них даже в крайних случаях, связанных с легкомыслием и неверностью. Великие

северные вожди, которые были своего рода очень грубыми рыцарями, были, однако, полностью под властью дистафа. Их жены могли разводиться по собственному желанию. Так, в "Саге об Эрисбигге" мы читаем о Борке, исландском вожде, который, приведя домой гостя, которого жена не только не приняла, но и попыталась зарезать, в ответ так исправил супругу, что та призвала свидетелей и развелась на месте. После этого домашнее имущество было разделено между ними, и дело было быстро и дешево улажено без вмешательства церковного суда. Современное рыцарство не допустило бы мысли о том, чтобы исправить даже неверного, а тем более просто разгневанного супруга. Действительно, любовный принцип был столь же силен, как и религиозный; и в подтверждение этого было замечено, что рыцарь должен был быть более чем обычно набожным, если по *правую* руку от него был Бог (почетное место), а по *левую* - его дама.

Скакать на ринге было тогда самым приятным занятием для рыцарей, а дамы смотрели и аплодировали успехам или смеялись над неудачами. Езда верхом, не пытаясь снять кольцо, все еще достаточно распространена на наших ярмарках для детей; но во Франции и Германии она серьезно практикуется как в простой, так и в двойной форме, людьми всех возрастов, которые скользят по кругу под скрежет органа и выглядят так серьезно, как будто они на отчаянном деле.

Несомненно, что, хотя рыцарь обязан быть нежным в своей галантности, встречались и такие, чьи ухаживания были самыми грубыми; а были и такие, которые если не были грубыми, то были плутоватыми.

Старая улица Ломбардов в Париже одно время была занята исключительно "исповедующими *rouvrpoint-makers*", как сказал бы современный портной. Они вели процветающую торговлю, особенно в те времена, когда люди, подобные Бассомпьеру, не задумываясь платили или обещали заплатить четырнадцать тысяч крон за пурпур. Когда я говорю, что улица была занята исключительно ими, я должен заметить исключение. На ней было еще несколько жителей, евреев-ростовщиков и ростовщиков; и когда я слышу старую французскую поговорку "терпелив, как ломбардец", я не знаю, относилась ли она первоначально к портным или к ростовщикам, и те, и другие были широко обмануты своими рыцарскими клиентами. Вот иллюстрация, показывающая, что не всем евреям везло так, как дочери Шейлока, и что с некоторыми евреями обращались более жестоко, чем с отцом дочери Шейлока, которого я всегда считал одним из самых жестоких людей.

На улице Ломбардов жил богатый еврей, который вкладывал свои деньги под проценты, а дочь держал дома под замком. Но еврей-отец не закрывал ставни, и ломбардская Джессика, сидя целыми днями у окна, привлекала к себе внимание многих прохожих. В основном это были рыцари, которые приходили сюда, чтобы померить очки; и ни один рыцарь не был так привлечен черными глазами молодой дамы, как шевалье Жиль де Понтуаз. Это имя, конечно, принадлежит знаменитому герою бурлескной трагедии, но в оригинале рыцарь был "моим Беверли".

Джайлс носил самый красивый в мире пурпур, за что давно заслужил похвалу. Ему пришлось в голову обратиться к еврею с просьбой одолжить несколько сотен пистолет и воспользоваться случаем, чтобы одолжить дочь. Он был уверен, что ему удастся совершить оба подвига; ведь, как он заметил, если он не сможет выплатить деньги, которые собирался занять, то сможет занять их у своих более благоразумных родственников и таким образом оправдать свой долг. Что касается дамы, то он пел ей серенады ночь за ночью, пока она не стала выглядеть такой же готовой прыгнуть к нему, как Джульетты, играющие Ромео Барри; он пел "Ecco ridente il sole" или то, что тогда было эквивалентно ей, сопровождая себя на

гитаре, и выглядел при этом так же нелепо, не имея и половины того серебряного тона, как Рубини в Альмавиве, напевающий свою восхитительную чепуху Розине. Нашему еврею, как и старому Бартоло, суждено было заплатить музыканту.

Джайлсу удалось выбить у ростовщика требуемые деньги, и с тем же успехом он убедил дочь довериться его обещаниям. Он отвез ее в Понтуаэ, обманул, сыграв свадьбу, и потратил все, что занял у отца, на празднование своего мнимого бракосочетания с дочерью. Никогда не было более отступного рыцаря, чем Жиль де Понтуаэ.

Однако векселя становятся платными, если знатные или простые люди ставят на них свои имена, и еврей сразу же потребовал и долг, и дочь. Деньги ему получить не удалось, но даму он увез насильно, причем она сама с большой неохотой покинула замок Понтуаэ и отправилась в отцовскую темницу на улице Ломбардов.

Этот шаг заставил Джайлса задуматься. Это было не то качество, которое посоветовал бы его духовник, а скорее сатанинский аспект. "В доме ростовщика, - думал Джайлс, - живут портной, которому я обязан своим пурпуром, еврей, который держит мое обещание заплатить, и прелестная дочь, которой я был так несправедливо лишен. Я подожду дом. Если я сожгу портного, ростовщика и доказательства моих обязательств, я сделаю доброе дело на ночь, если при этом мне удастся унести маленькую Джессику".

После этого Джайлс спустился на улицу Ломбардов и с помощью подручных средств, которые тогда можно было легко приобрести, вскоре окутал жилище еврея пламенем. Шейлок оглянулся на свои бумаги и мешки с деньгами. Рыцарь пробрался сквозь дым и унес дочь. У еврея остался вексель рыцаря Понтуаэ, чей поджог, однако, уничтожил половину одной стороны улицы Ломбардов. Вместе с ними погибли и пачки облигаций, которые делали шевалье рабом евреев-ростовщиков. "*Sic vos non vobis*", - подумал Джайлс, - "но в любом случае, если мой вексель у него, то Джессика у меня".

Еврей владел дочерью не меньше, чем дукатами. Он преследовал притворного мужа с упорством, которое в конце концов одолело Джайлса де Понтуаэ. Был достигнут компромисс. Рыцарь задолжал ростовщику три тысячи золотых крон и украл у него единственную дочь. Джайлс согласился отдать свою "даму" при условии, что ростовщик подпишет оправдание долга. Сделав это, еврей и дочь отправились домой, ни один из них не был удовлетворен результатом сделки с рыцарем.

На пороге рыцарской двери прожженный ломбардец обернулся и с язвительной усмешкой, как Эдмунд Кин на Шейлоке, когда тому велели поспешить домой и начать быть христианином, сказал. "Во всяком случае, от вас я получаю только горе", - сказал еврей шевалье.

"Ты так легкомысленно относишься к своему внуку?" - спросил Джайлс. И этим парфянским броском он захлопнул дверь перед лицом троицы, ставшей его жертвой.

Этот рыцарь был жертвой; но ниже мы приводим примеры рыцарей, ставших жертвами слишком смелых привязанностей.

Великий Карломан, можно сказать, был одним из тех коронованных рыцарей, в которых на самом деле было очень мало рыцарского духа по отношению к дамам. Он удачно женился на двух женах, но ни одной из них он не позволил носить титул императрицы. Однако сейчас мы имеем дело не с двумя его женами, а с двумя его дочерьми и их кавалерами, с которыми нам предстоит познакомиться.

На улице де ла Харп в Париже можно увидеть скорее остатки, чем руины, старого здания, возведенного императором Юлианом, которое долгое время было известно под названием "старый дворец". Он служил дворцом около тысячи лет и полвека назад, когда однажды ночью перед ним появилась пара рыцарей, великолепно одетых и довольно грубо сопровождаемых толпой, которая держала фонари, чтобы рассмотреть всадников, и обращалась с пиками так, словно была готова скорее расправиться с рыцарями, чем выстроить их в шеренгу.

Вся любезность, оказанная им в эту февральскую ночь, носила весьма двусмысленный характер. Их, правда, пропустили в первый и самый большой двор дворца, но старый сенешаль запер за ними ворота. Офицер тоже подошел к ним, чтобы поприветствовать, но едва он выполнил свою гражданскую миссию, как императивно потребовал от них сдать мечи.

"Мы посланники самого короля, - сказал один из рыцарей, весьма озадаченный оказанным им приемом, - и, кроме того, у нас есть депеша, написанная собственной рукой нашего милостивого господина", - заметил второй рыцарь.

"Да здравствует Людовик дебошир!" - воскликнул сенешаль; "Как дела у нашего государя?"

"Как нельзя лучше, - был ответ, - с монархом, который целых шесть недель был занят в Эксе, хороня своего отца и предшественника Карла Великого. Вот его послание". Это послание было от Людовика Веселого, или Людовика Добродушного, или Людовика Прекрасного. Он был угрюм, остроумен и плохо сложен, но поэт-лауреат дал ему это прекрасное имя, и король носил его так, словно оно было честно завоевано. Он остриг, побрил и обласкал всех своих природных братьев, а затем заточил их в монастырях. Он уважал договоры не больше, чем Магомет, и личным примером учил лжесвидетельству и мятежу тех, кого жестоко наказывал, когда они подражали своему возвышенному наставнику. Сенешаль ознакомился с письмом, адресованным ему королевским корреспондентом, и тут же попросил двух рыцарей войти в сам дворец.

Их провели в возвышенное помещение на первом этаже, которое обычно служило предбанником для дежурных стражников; в данный момент, однако, оно было пусто. Те, кто бывал в старом Дворце терм, как его называют, несомненно, отмечали и восхищались этим солидным пережитком прошлого.

Войдя в зал, сенешаль снова поднес депешу к пламени, прочел ее, посмотрел на печать, затем на рыцарей, неловко кашлянул и стал изображать неприязнь к какой-то возложенной на него обязанности. Он повторял, словно заучивая наизусть, имена Рауля де Лиса и Робера де Кверси. "Это наши имена, - заметил первый, - мы приехали сюда по приказу короля, чтобы возвестить о его приезде; и, сделав это, дайте нам огонь и еду, чтобы мы не умерли с голоду и не замерзли до его прибытия".

"Подол!" - пробормотал сенешаль, - "мне очень жаль, но, согласно этому письму, вы мои пленники и до завтрашнего дня должны оставаться в этой квартире"; и, видя, что они собираются возразить, он добавил: "Вы будете здесь совершенно свободны, если, конечно, не сможете выйти; завтра у вас будут отдельные покои".

Напрасно они спрашивали о причине своего задержания, о характере выдвинутого против них обвинения и о том, чего им следует ожидать в дальнейшем. Сенешаль сухо отсылал их к монарху. Сам он не знал ничего, кроме своих приказов, а по ним ему предписывалось

держат двух друзей в тесном заключении до прибытия государя. "Подумав, - сказал сенешаль, - я должен немедленно разлучить вас. Колокол на башне Сен-Жак звонит в полночь, и завтрашний день наступит, не успеет его железный язык опомниться. Я должен попросить кого-нибудь из вас, господ, следовать за мной". Голос был не так вежлив, как слова, и после долгих уговоров и неохоты друзья расстались. Роберт пожелал Раулю бодрости духа, а Рауль, оставшийся позади, прошептал, что будет очень трудно, если под такой крышей их постигнет несчастье.

Однако крыша этого королевского дворца очень походила на крышу помещения, в котором можно было бы спокойно причинить большой вред. Но там жили два существа, которых можно было принять за духов добра, настолько они были выигрышны, естественны и любвеобильны. Это были не кто иные, как две дочери Карла Великого, Гисла и Ротруда. Романтики, которые несут бесконечную чепуху, говорят о них, что их благоухающая красота была защищена колючками принципа. Самый шустрый аналитик сразу поймет, что это не было большим комплиментом дамам. Однако это была самая изысканная лесть, и воля была принята за дело.

Итак, оба рыцаря любили обеих дам, и если бы это было *не так*, ни отец Даниель, ни Сен-Фуа не смогли бы упомянуть об их любовной истории; ни отец Паскуале из монастыря арминианцев в Венеции не придавал бы ей оттенков романтики, ни Роже де Бовуар не сплел бы их вместе, ни недостойный эгомет не применил бы ее для иллюстрации смелых любовников.

Эти две девушки были удивительно одухотворены. За ними ухаживали императоры; но Карл Великий, не желая отвечать на ухаживания, великодушно отказался принуждать их к любви и велел им любить только там, где подсказывало сердце. Эта "лицензия" придала смелости множеству вельмож разных степеней, но Ротруда и Гисла ответили "нет" на все их очередные ухаживания. Принцессы были в чем-то похожи на мисс Лангиш, считали, что любовь ничего не стоит без небольшого волнения, и сочли бы побег достойным предшественником брачной церемонии. Их мать, Хильдегарда, была женщиной неординарной, но, подобно доброй королеве Шарлотте, которая позволяла своим дочерям читать как Полли Ханикомб, так и Ханну Мор, она немного путалась в нравах, и юные принцессы при первой же возможности влюблялись в галантных кавалеров - по сравнению с принцессами - довольно низкого уровня. В этом отношении можно провести параллель между домом Карломанов и некоторыми другими домами более современных времен.

Луи ле Дебоннер, как и подобает неприятным братьям, проявлял наглое любопытство к делам своих сестер. Он был здесь главой семьи и считал себя уполномоченным распоряжаться сердцами этих дам, как и семьями и судьбами своих людей. Ему были известны любовные похождения, и он намекнул, что когда доберется до старого дворца в Париже, то сделает его спокойным и холодным, как монастырь, и что там есть растревоженные сердца, которые должны быть быстро приведены в состояние прочного спокойствия. Барышни не стали ломать голову над тем, как разгадать загадку брата, который навсегда остался загадкой. Но они приготовились приветствовать его приезд и, казалось, обрадовались больше обычного, когда узнали, что известие о его приближении принесли два рыцаря, находившиеся в замке.

Тем временем Рауль де Лис сидел, дрожа, на каменной скамье в большом караульном зале. Затем он набросился на скудную порцию тощего кабана, очень плохо приготовленного, выпил с отвращением часть фляги гидромеля самого худшего качества, а затем, разглядывая миниатюру Ротруды, которую он достал из-под булатного плаща под корсетом, апострофировал ей, пока не захотел спать, после чего задул лампу и бросился на ужасно

жесткую кушетку. Он с удивлением обнаружил, что не находится в темноте. Для обратного были очень веские причины.

Как только он задул лампу, панель в каменной стене бесшумно распахнулась, и на пороге появился Робер де Кверси - в одной руке он держал лампу, другой вел даму. Дама была покрыта вуалью; она и рыцарь торопливо подошли к Раулю, который так же торопливо бросился им навстречу. Доспехи его были наготове, и те, кто помнит мистера Янга в "Хотспуре" и то, как он выглядел в обтягивающем буфетном костюме, прежде чем надеть доспехи, могут представить себе довольно нелепое обличье, в котором Рауль предстал перед дамой. Но она привыкла к подобным зрелищам и не успела заметить этого, даже если бы не была так привычна.

Рауль, заметив, что Роберта сопровождает только Гисла, с тревогой осведомился о Ротруде. Гисла в нескольких словах сообщила ему, что ее сестра скоро будет с ними, что двум кавалерам угрожает опасность, вплоть до смерти, и вероятная опасность грозит - как заметила Гисла, покраснев, - тем, кто их любит. Король, добавила она, гневно говорил о том, что приедет очищать дворец, о чем она слышала от графа Вольраде, который, похоже, был Полонием, что касается его должности, со всеми сплетнями, но без здравого смысла, как старый камергер в Дании.

"Смерть нам!" - воскликнул Роберт. "Да будет проклят принц, преступивший евангельское наставление не забывать друзей своих и отца своего". "Мы были любимыми слугами Карла Великого", - сказал Рауль. "Мы были его ближайшими родственниками", - воскликнул Роберт. "Никогда, - перебил Рауль, - он не поднимался на свою башню, чтобы посмотреть на звезды, не позвав нас, своих ночных стражей, как он нас называл, к себе". "Он не осмелится совершить такое преступление, ведь тело Карла Великого едва ли запечатано в его гробнице, а Людовик уже месяц как не владеет скипетром".

"Однако он держит его достаточно крепко, чтобы наказать злодея", - воскликнул сам Людовик, появляясь в дверях, ведущих к каменной лестнице, по которой Гисла указала на скорое появление Ротруда.

И здесь я прошу моих читателей поверить, что если слово "tableau!" должно быть написано в этой ситуации, и если она кажется им слишком мелодраматичной, чтобы быть естественной, я не виноват. Я отсылаю их ко всем историям и романам, в которых рассказывается этот эпизод рыцарской истории, и во всех они найдут, что Людовик появляется именно так, как я описал, и точно так же, как синьор Тамбурины в великой сцене Лукреции Борджиа.

Людовик, дав волю своему поразительному речитативу, потащил вперед Ротруда, которого он держал за запястье. На заднем плане стояли четыре стражника в капюшонах, и я не могу думать о них, не вспоминая тех же четырех старых стражников с месье Десмуссо во главе, которые всегда представляли греческую или римскую армию на сцене Французского театра, когда Тальма был Нероном или Силлой, Орестом или Капитолином этой ночи.

Помянув Ротруду как священную голубку, а себя - как ловца птиц, Луи передал сестру на каменную скамью, а затем стал добродушно ее комментировать. От этой внезапной доброжелательности по коже всей компании пробежал холодок. Они побледнели, как любой русский дворянин, с которым Николай был необычайно вежлив.

"Мы знаем извилистые ходы Термского дворца, - со смехом сказал Людовик, - не хуже наших сестер; и я прошел по ним сегодня ночью не для того, чтобы навести ужас на сестру, с которой я столкнулся там, или на другую сестру, которую я вижу здесь. Я добросердечный

брат и удивительно хорошо настроен. Мне достаточно обратиться к этим четырём джентльменам из моей гвардии, которые сейчас снимут капюшоны и послужат свидетелями этой ночи в небольшой церемонии, связанной с моей дорогой Ротрудой".

"Церемония! Этой ночью!" - воскликнули обе принцессы.

"Да, гвоздями креста! Две церемонии. Вы обе немедленно выйдете замуж. Я открою свое правление двойной свадьбой, здесь, в старом дворце Термеса. Ты, Гисла, выйдешь замуж за Роберта, графа де Кверси, а ты, Ротруда, за Рауля, барона де Лиса. Можно было бы поставить и более высокую цель, но они - галантные кавалеры, друзья моего покойного сира; и, к моему удовольствию, бракосочетание не будет лишено пышности и торжественности! Вот наши свадебные подарки женихам".

Он указал на два шикарных доспеха, части которых несли четверо стражников. Рыцари пребывали в сонном восторге. Они клялись в вечной благодарности благороднейшему из императоров и несравненному из братьев.

"Мы не очень верим в человеческую благодарность, - сказал Людовик, - и не будем ждать от вас большего, чем положено. А вы, сестры мои, - добавил он, - удалитесь на некоторое время; наденьте, что вам угодно, но не задерживайтесь здесь над туалетом воинов, как крестьянки, глядящие на снаряжение двух пикинеров".

Обе принцессы удалились, и на их губах появилась бы улыбка, если бы только они не подозревали своего брата. Надеясь на лучшее, они поцеловали рыцарям кончики своих розовых пальцев и, спотыкаясь, удалились, как две любимицы из балета. Они были истинными дочерьми своего государя, который считал любовные похождения даже лучше, чем загубленные поля. Он не был ни примерным отцом, ни верным мужем. Его *свита* была не из самых респектабельных, а в некоторых поездках его сопровождала молодая жена одного из его собственных кавалеров, одетая в кавалерийский костюм. Это был отвратительный поступок, тем более что Эрменгарда была жива. Упоминание о нем вызовет отвращение у каждого монарха в Европе, который прочтет мою книгу; и я уверен, что нигде он не вызовет такого сильного чувства упрека, как в лоне восхитительной особы "за водой".

Две принцессы, таким образом, не так сильно пострадали от колючек принципа, как о них рассказывают в романах. Но, учитывая пример, поданный им их отцом-императором, они действительно были очень сносными принцессами, учитывая обстоятельства.

"Надевайте костюмы, господа!" - воскликнул король.

Четверо стражников вышли вперед с отдельными доспехами, и два рыцаря на мгновение с любопытством уставились на них, как две лисицы на ловушку, в которой скрывается желанное счастье. Они были в восторге и в то же время наполовину напуганы. Монарху стало не терпиться, и рыцари сразу же занялись своим украшением. Они отложили свои доспехи и с помощью четырех немых кавалеров надели *брассарды*, или налокотники, которые стали им впору, словно первый Милейнер, когда-либо одевавший рыцаря, снял с них мерку. С небольшим трудом они были одеты, но не так, как подобает женихам, а не баронам, отправляющимся на битву; и вот они заняли свои места по знаку короля, который велел четырём кавалерам покончить с остатками туалета.

Рыцари не без некоторой опаски согласились на услуги четырех таинственных *камердинеров*, и через некоторое время приготовления были завершены, вплоть до шлема с

закрытым козырьком. После этого рыцари заняли свои места или, скорее, их провели к двум дубовым стульям с высокими спинками. Как только они уселись в них, четверо слишком учтивых сопровождающих приложили руки к закрытым головным уборам, и через очень короткое время головы кавалеров мягко опустились на грудь, словно они находились в глубоком сне или глубокой медитации.

В два часа с колокольни Сен-Жак раздался звон, и две невесты вошли в дом. Король с улыбкой указал на женихов и покинул апартаменты вместе со своими сопровождающими. Дамы подумали, что влюбленные не проявили особого пыла или желания встретиться с ними, так как они неподвижно сидели на своих дубовых стульях. Дочери Карла Великого подошли к ним, полушутя, полусерьезно, и, обнаружив, что рыцари не настроены обращаться к ним, мягко позвали каждого по имени. Рауль и Роберт оставались неподвижными и немymi. На самом деле они были мертвы. Они были задушены в своеобразных доспехах, которые были присланы Карлу Великому из Равенны в обмен на драгоценную вазу, подаренную императором древнему городу. "В 1560 году, - пишет месье Роже де Бовуар, цитируя итальянский манускрипт, - в этой части дворца Терм было проведено несколько исследований, одним из результатов которых стало открытие "*casque à soufflet*", все отверстия в котором могли быть закрыты в одно мгновение простым нажатием пальца на пружину. В тот же миг нижняя часть горловины затягивалась вокруг горла, и *от пациента* избавлялись. "В этом шлеме, - добавляет автор, - была найдена голова мужчины, хорошо сохранившаяся, с бородой и зубами, восхищающими своей красотой". Однако мне кажется, что в этом вопросе М. де Бовуар немного перебарщивает.

Отец Даниель в своей истории рассказывает о мести Людовика Дебоннера двум молодым дворянам, которые, по слухам, были любовниками Гисла и Ротруда. Подробности акта мести были почерпнуты из итальянского источника; утверждается, что итальянский монах по имени Пагнола сыграл заметную роль в этой мрачной драме, к чему его подтолкнул удар, нанесенный ему Раулем в наказание за несколько презрительных фраз, которые монах позволил себе применить к великому Карлу Великому.

Любовь и клинки шпаг, похоже, были так же тесно связаны, как "*Trousseaux et Layettes*", которые всегда называются вместе на витринах парижских магазинов "*Lingere*". Когда-то на старой Шоссе д'Антен, когда она была просто *Шоссе* или шоссе, а не великолепной улицей, как сейчас, было огромное поле для проявления чувств любви и храбрости. Вплоть до сравнительно недавних времен она была местом отдыха влюбленных всех мастей, от герцогов и герцогинь до простых драгун и доярок. Однако они не всегда подпадали под эту строгую классификацию.

Но какой бы ни была классификация или ее отсутствие, на одном из участков дороги постоянно происходили кровавые столкновения. Это было у узкого моста Арканс. Здесь, если встречались два кавалера, каждый с дамой под руку, было делом чести не уступать дорогу. Напротив, последняя должна была быть принуждена острием шпаги. Пока чемпионы сражались, дамы едва ли могли упасть в обморок; они стояли в стороне, беззаботно сидя на своих дженнетах или мулах, пока два простака не уколошат друг друга; или сидели в своих громоздких каретах, пока влюбленные не вернутся к ним, прихрамывая.

Именно на этом мосту, от которого теперь не осталось и следа, даже в музее, граф де Фиеск, сопровождавший мадам де Лионне, столкнулся вечером с месье де Талларом, который сопровождал Луизона д'Аркъена. Каждая пара находилась в карете, и ни один из них не уступил дорогу другому. Тогда оба кавалера выпрыгнули из карет, выхватили шпаги, уперлись

ногами в землю и принялись рубить друг друга, как два безумца, к вящему удовольствию многочисленной толпы, которой ничто так не нравилось, как зрелище двух благородных кавалеров, перерезающих друг другу глотки.

Дамы тем временем размахивали платками из окон своих карет, подбадривая своих чемпионов. Время от времени каждая из них громко смеялась, когда ее подруга делала более чем обычный удачный выпад; и каждая была достаточно великодушна, чтобы аплодировать любой особой ловкости, даже когда ее собственный любовник при этом кроваво страдал. Два глупца только еще сильнее подначивали друг друга. А когда они вдоволь порезались и разрезали рукава, дамы, устав ждать более захватывающей развязки, бросились между сражающимися, как сабинянки между спорящими хозяевами; каждый кавалер галантно поцеловал даму, которая ему не принадлежала; и вся четверка весело ужинала вместе, как будто они были лучшими друзьями на свете.

Этот инцидент вполне справедливо подводит нас к вопросам дуэли и смерти, проиллюстрированным рыцарством.

ДУЭЛЬ, СМЕРТЬ И ПОГРЕБЕНИЕ.

"Le duel, ma mie, ne vaut pas un duo, de Lully".

Криспин Муран.

Как следствие рыцарства, дуэль заслуживает некоторого мимолетного упоминания. Ее современная практика была лишь имитацией рыцарских поединков, в которых решение вопроса о сражении оставлялось на суд Божий.

Бассомпьер относит возникновение дуэли (во Франции) к периоду правления Анри II. До правления этого короля ссоры кавалеров решались по указу коннетабля и маршалов Франции. Они разрешали рыцарские поединки только в списках, когда сами не могли решить вопрос о справедливости и достоинствах спора.

"Я не считаю джентльменом того, - сказал однажды Анри, - кто, получив ложь, не наказывает дающего". Это было легкое замечание, но оно не осталось без внимания. Король фактически поощрял тех, кто по собственной воле прибегал к кровавому арбитражу своих разногласий; дуэли стали настолько "модными", что даже смертная казнь, налагаемая на тех, кто ее практиковал, едва ли была достаточно действенной, чтобы остановить дуэлянтов. В конце правления Анри IV и в начале правления Людовика XIII эта практика была наименее активной; но после последнего периода, поскольку закон не применялся строго, глупый обычай снова возродился, и кровожадные простаки смыли свою глупость кровью.

Однако дуэли имеют более отдаленное происхождение, чем то, которое приписывает им Бассомпьер. Сабин в своем "Словаре дуэлей", недавно опубликованном в Америке, датирует ее возникновение вызовом филистимлянина, принятым Давидом! Как бы то ни было, странной аномалией является появление сторонника дикой и греховной привычки дуэли в той Франции, которая претендует на роль лидера цивилизации. Жюль Жанен среди своих бесчисленных *фельетонов* опубликовал три довода, разрешающие мужчинам обращаться к одиночному бою. Вышеупомянутый Жюль Жанен делит мир на три части - мир безрассудных, мир, в котором мнение - это все, и мир лицемеров и клеветников. Он считает человека, у

которого не хватает духу рискнуть своей жизнью на дуэли, потерянным в мире трусов, потому что легион трусов, которыми он окружен, возьмет на себя храбрость за его счет.

Далее, согласно рассуждениям нашего соседа-гомосексуалиста, тот потерян в этом мире, где мнение - это все, кто не будет стремиться получить хорошее мнение на острие шпаги.

Опять же, говорит М. Жанен, человек потерян в этом мире лицемеров и клеветников, который не потребует с мечом в руках возмещения за клевету и злословие, которым он подвергся. Было бы оскорбительно для здравого смысла моих читателей пытаться указать им на гнилость подобных причин. Они могли бы убедить только таких людей, как Бекингем и Альфиери, и других, оказавшихся в обстоятельствах, подобных их; Бекингема после убийства лорда Шрусбери в Барнсе и прижатия головы леди Шрусбери к своей окровавленной рубашке; и Альфиери, который после гнусного соблазнения и почти ужасного убийства в его защиту вернулся домой и спал спокойнее, чем когда-либо прежде: "dopo tanto e si strane peripizie d'un sol giorno, non ho dormito mai d'un sonno più tenace e più dolce." Альфиери согласился бы с месье Жанином, что в дуэли заключен залог всего, что осталось нам от цивилизации. Но как же так получилось, что цивилизация оказалась в руинах, раз дуэли так долго оказывали на нее защитное влияние?

Как бы ни были малы, хотя и ослепительны, добродетели, которыми обладали рыцарские герои древней истории, следует признать, что они обладали доблестью, или пренебрежением к жизни, в выдающейся степени. Случаи трусости настолько редки, что подтверждают общее правило мужества; однако эти люди, не имея никаких ориентиров, кроме надуманного божества и ложной философии, никогда не мечтали прибегнуть к поединку как к средству отомстить за частную обиду. Мариусу, правда, однажды бросили вызов, но это был полуварварский тевтонский вождь, которому надменный римлянин посоветовал, если ему надоест жить, пойти и повеситься. Фемистокл, чьей мудрости и мужеству могут восхищаться и завидовать самые успешные из современных гладиаторов, когда Эврибиад угрожал нанести ему удар, воскликнул: "Бей, но выслушай меня!". Фемистокл, надо помнить, был человеком непоколебимой храбрости, в то время как его ревнивый провокатор был известен не чем иным, как крайней трусостью.

Но, по правде говоря, во всех странах находились храбрецы, которые препятствовали этой варварской практике. Один турецкий паша напомнил человеку, бросившему вызов своему товарищу спахи, что они не имеют права убивать друг друга, пока есть враги, которых нужно покорить. Дофин Вьеннуа сказал графу Савойскому, бросившему ему вызов, что пришлет графу одного из своих самых свирепых быков, и если граф будет так настроен, то его светлость Савойский сможет испытать свое мастерство на труднопреодолимом противнике. Великий Фридрих не потерпел бы практики дуэлей в своей армии; и он глубоко презирал аргументы, приводимые в ее оправдание. Более великий человек, чем Фридрих, Тюрэнн, никогда не позволил бы себе быть, что называется, "вовлеченным в дело чести". Однажды, когда герой Зинцгейма и Рейна наполовину выхватил шпагу, чтобы наказать отвратительное оскорбление, которому его подверг неосторожный молодой офицер, он вложил ее обратно в ножны со словами: "Молодой человек, если бы я мог стереть вашу кровь со своей совести с такой же легкостью, с какой я могу стереть с моего лица это грязное доказательство вашей глупости, я бы лишил вас жизни на месте".

Даже рыцари, считавшие дуэли достойным занятием для доблестных мужчин, свели возможности для их проведения к минимуму. Объединившись с церковью, они установили *Спасительное перемирие*, по которому дуэли запрещались со среды до следующего

понедельника, поскольку, мол, эти дни были освящены Страстями Спасителя. Таким образом, только вторник оставался свободным днем для разрешения ссор силой оружия.

Вероятно, никогда не существовало смертного, которому противостояли бы более могущественные или более злобные противники, чем святой Августин. Его великие враги донатисты, правда, никогда не вызывали его на более опасную схватку, чем война литературных споров. Но именно в ответ на один из их снарядов, брошенных в него в виде утверждения, что большинство авторов на их стороне, он метко сказал им, что это признак дела, лишенного истины, когда можно полагаться только на ошибочный авторитет многих людей.

Нормандские рыцари или вожди ввели у нас одиночный бой. Говорят, что в основном это были люди, опозорившие себя перед лицом врага и стремившиеся смыть этот позор кровью одиночек. Стоит также отметить, что когда король и государи запрещали дуэли под страхом самых суровых наказаний, папы освобождали монархов от их клятв, когда их соблюдение ставило под угрозу жизнь оскорбленных дворян, которые в своем недоумении обращались в Рим и приобретали там репутацию благочестивых, как Гектор, который считался столь высоко религиозным не иначе, как потому, что покрыв богатыми дарами алтарь отца Олимпа.

Поддерживаемые видимостью того, что безнаказанность можно купить в Риме, и поощряемые примером самих кардиналов-бойцов, дуэли и убийства шли рука об руку по всему миру. Только во Франции за короткие восемнадцать лет четыре тысячи джентльменов были убиты на *поединках* из-за ссор самого пустякового характера. За тот же промежуток времени было выдано не менее четырнадцати тысяч индульгенций за дуэли. Только в одной провинции Франции, в Лимузене, за шесть месяцев было убито сто двадцать джентльменов - большее число, чем пало с честью за тот же период, который был военным, защищая государя, свою страну и свои дома. Термин *rencontre* использовался во Франции для того, чтобы обойти закон. Если джентльмены случайно "встречались" и дрались, адвокаты утверждали, что это не *дуэль*, которая требует предварительного разбирательства между двумя сторонами. О том, насколько частыми были эти *поединки*, несмотря на смертную казнь, рассказывает Виктор Гюго в романе "*Марион Делорм*"

"Много дуэлей, три из них были между Ангеннами.

против д'Аркьена, за то, что он перехватил очко у Жене.

Лавард с Понсом встретились в шестой раз,

За то, что он привел к Понсу женщину Сурдиса.

Сурдис с Дейли в театре

де Мондорф. Следующий, Ножан с Лашатром,

За то, что он плохо написал три стиха Коллете.

Горд с Маргелланом, за то, что он был в таком состоянии.

Д'Гимьер с Гонди, за то, что они ушли из церкви.

И далее все ле Бриссак и все ле Субиз,

В результате поединка шевалея с собакой.

Энфин, Коссад с Латурнелем, без всякого повода.

За удовольствие, Коссад завалил Латурнеля.

Джереми Тейлор осудил эту практику с большой искренностью и с должным равновесием между требованиями чести и христианства. "Да, но плоть и кровь не могут вынести удара или позора. Допустим и это; но примите во внимание вот что: плоть и кровь не наследуют Царства Божьего".

О том, что человек может вынести ради чести, рассказывается в мемуарах съера де Понтиса, которого в XVII веке попросили стать секундантом друга, когда дуэли карались смертью для всех участников. Друг де Понтиса надавил на него, как это принято среди друзей; и его капитан и подполковник не просто разрешили, но и приказали ему сделать то, что хотел его друг.

Как ни смело многие рыцари встречали смерть, не мало было и тех, кто делал все возможное, и притом очень мудро, чтобы избежать "неизбежного".

Как доблестно некоторые шевалье встречали смертельную опасность, так и немецкие рыцари, особенно немецкие, старались по возможности избегать страшного противника. Для этого они надевали *Noth-hemd*, или рубашку нужды. Она должна была покрывать владельца неуязвимостью. Изготовление одежды было делом сложным и торжественным. Несколько девиц известной честности собирались вместе накануне Рождества Христова и ткали и шили эту льняную одежду, во имя дьявола! На груди рубашки были изображены две головы: одна - длиннородая и покрытая рыцарским шлемом, другая - дикая и увенчанная короной, как у царя бесов. По обеим сторонам был вышит крест. Как это могло спасти воина от смертельного удара, сказать трудно. Если ее надевали поверх доспехов, то, возможно, шлемовидное чучело должно было защищать воина, а демоническое - устрашать его противника. Но тогда эту рубашку, подобным образом сделанную и украшенную, носили дамы, когда собирались стать матерями рыцарей или простых мужчин. Какую пользу она может принести в таком случае, я оставляю на усмотрение "коммьеров". Мое собственное призвание "сплетника" не поможет мне в решении этой проблемы.

Но если в Германии рыцарство имело свои рубашки для спасения от смерти, то в Англии и Франции у него были свои "ножи милосердия" для ее быстрого нанесения. Почему их так называли, я не знаю, ведь в конце концов они использовались только для того, чтобы убивать рыцарей в полном вооружении, вонзая нож через решетку козырька в глаз. После битвы при Павии многие французы были убиты крестьянами кирками, пробивающими стыки доспехов.

Как же стремились тогдашние правители обучить своих детей тому, как лучше уничтожать жизнь! Особенно это касалось тех, кого называли "полукрещеными ирландцами" в Коннауте. В этой провинции люди оставляли правые руки младенцев мужского пола некрещеными. Они исключали эту часть, попадающую под божественное влияние крещения, чтобы дети, когда вырастут до уровня боевых мужчин, могли наносить более беспощадные и смертоносные удары. Подобные суеверные обряды, как мне кажется, существовали и в древней Германии. Нельзя сказать, что пресечение этого обряда, как заметил Стоу после того, как городские власти пресекли боевую забаву лондонских подмастерьев: они выступали друг против друга по вечерам с дубинами и засовами, в то время как множество восхищенных служанок, а также мужчин стояли рядом, чтобы аплодировать или порицать, - пресекло открытое развлечение, за которым, вероятно, последовала худшая практика внутри дома.

Крепкими парнями были некоторые рыцари романтической эпохи, если верить половине того, что о них написано. Один из них, Бранор ле Брюн, прославился тем, что был живым квинтейном. Игра, названная так, состоит в том, чтобы налететь на тяжелый мешок, подвешенный на уравновешенной балке, и по возможности уйти с его пути, прежде чем вращающаяся балка с силой обрушит его на затылок нападающего. Когда Паламед бросил вызов старому Бранору, тот довольно презрительно отмахнулся от него как от недостойного, но доблестного рыцаря. Однако Бранор предложил ему неподвижно сидеть в седле, пока Паламед скачет на него, и был сражен лишь бездействием Бранора. Я забыл, скольким рыцарям Бранор ле Брюн опрокинул крупы их лошадей после такого спокойного поведения.

В бою или на дуэли не все было вежливо. Даже Гирон, которого называли "учтивым", был очень "грубым клиентом", когда держал руку на горле противника. Мы слышим, как он со всей силы набрасывается на упавшего и беспомощного противника, срывает шлем с креплений, бьет им рыцаря по лицу до потери сознания, а затем бьет по его голове помпоном своего меча, пока несчастный не умирает. Никогда еще рыцарь не был так искусен в этом деле, как великий Баярд. Однако любезность самого дикаря в бою была неоспорима, когда речь шла о даме. Так, рассказывают, что одна девица подошла к фонтану, у которого сидели четыре рыцаря, и один из них захотел взять ее. Остальные трое возражают, замечая, что у девицы нет рыцаря, который мог бы ее защитить, и что, следовательно, по рыцарским законам, она не должна подвергаться нападению. И еще, если рыцарь убивает противника равной степени, он не сохраняет свой меч, если тот был подарен какой-нибудь дамой. В таком случае девица могла потребовать его, и ни один достойный рыцарь не подумал бы отказать ей в выполнении ее вполне естественной просьбы. Даже дам в некоторых случаях нельзя было завоевывать иначе, как доблестью; так и Артур, этот король рыцарей, не завоевал и не удержал бы Британию никаким другим способом. Голова Брана Благословенного, как помнится, была спрятана в Белом холме близ Лондона, где, пока она оставалась, Британия была неуязвима. Однако Артур убрал ее. Он не желал удерживать остров никакими другими средствами, кроме собственного меча и храбрости, и был готов сразиться с любым человеком в любой ссоре.

Никогда рыцарь не встречал смерть более благородно, чем капитан Дуглас, чей героизм записан сэром Уильямом Темплом, и который "стоял и горел на одном из наших кораблей в Чатеме, когда его солдаты покинули его, потому что никогда нельзя было сказать, что Дуглас покинул свой пост без приказа". Однако, за исключением примера героической стойкости, этот акт был в какой-то степени ошибкой, поскольку государство не получило от него никакой выгоды. В поступке фон Спейка в наше время было нечто более выгодное. В 1831 году, когда между Голландией и Бельгией шли военные действия, молодой голландский капитан, о котором идет речь, оказался на Шельде и боролся на своем канонерском судне со штормом, который, несмотря на все его старания и мореходство, выгнал его на берег, под пушки бельгийцев. Толпа бельгийских добровольцев вскочила на борт, приказала ему спустить флаги и сдаться. Фон Шпейк поспешил вниз, к магазину, упал на колени в молитве, бросил зажженную сигару в открытую бочку с порохом и разнес свой корабль на куски, почти со всеми, кто был на борту. Пожертвовав собой, он предотвратил попадание голландского судна во власть врага, но при этом лишил Голландию многих хороших моряков. Однако в этой стране только и думали, что о бескорыстном подвиге того, кто безвозмездно воспитывался в сиротском доме Амстердама, и кто оправдал свой долг перед родиной, отдав жизнь, когда такая жертва была достойна. Его король и соотечественники доказали, что способны оценить этот благородный поступок. Статуя фон Спейка была поставлена рядом со статуей де Рюйтера, а правительство постановило, что до тех пор, пока существует голландский флот, одно судно должно носить имя фон Спейка.

Возвращаясь к рыцарям прежних времен, замечу, что, как ни безразличны были многие из них к встрече со смертью, они, да и другие знатные люди, были весьма далеки от того, чтобы так же относиться к тому, как от них избавятся *после* смерти. В своих каменных или мраморных гробах они лежали в могилах, настолько неглубоких, что крышка гроба составляла часть мостовой церкви. Уиттингем, пуританский декан Дарема, забрал многие из их гробов и превратил их в корыта для лошадей или свиней. Именно этот декан, как говорят, превратил изящно сделанные сосуды со святой водой в солончаки для собственного употребления.

У современных рыцарей были и другие заботы о своих могилах, нежели те, о которых говорилось выше. Например, сэр Уильям Браун, один из рыцарей Георга II и известный медик, умерший в 1770 году, в своем завещании распорядился, чтобы, когда его гроб опустят в могилу, на него положили "в кожаном футляре или гробу мой карманный Эльзевир Гораций, пришедший *viæ vitæque dulcis et utilis*, износившийся со мной и от меня". В этом нет ничего более неразумного, чем в том, что рыцаря-воина хоронят со всем его оружием. Что же касается рыцарей-воинов и того, что с ними делали после смерти, то я не знаю ничего более любопытного, чем то, что сообщает нам Ставели со ссылкой на Стредера. Я передам это словами самого автора.

"Дон Иоанн Австрийский, - говорит Ставели, - губернатор Нидерландов для Филиппа II Испанского, умер в своем лагере в Буже" (Bouges, в миле от Намюра), "оттуда его перевезли в большую церковь в Гавре, где состоялось его отпевание и где Александр Фарнезе, принц Пармский, воздвиг ему памятник для потомков. После этого его тело было разделено на части, а кости, упакованные в почтовые отправления, были тайно перевезены в Испанию, где, скрепленные маленькими проволочками, тело было вновь соединено, и, наполненное или набитое хлопком, богато одетый дон Джон был представлен королю, целый, опираясь на свой командирский посох, и выглядящий так, как будто он жив и дышит. После этого труп был перенесен в церковь Святого Лаврентия в Эскуриале, где был похоронен рядом со своим отцом, Карлом V, с воздвигнутым ему достойным памятником".

Учитывая, что существовало и существует подозрение, что Филипп II отравил своего родственника, это интервью должно было быть поразительным. Но Филипп II, возможно, не так боялся мертвецов, как четвертый испанский король с таким именем. Филипп IV, отнюдь не бесславный монарх, родился в Страстную пятницу, а поскольку в Испании существует суеверие, что рожденные в этот день видят призраков, когда проходят мимо места, где был убит или похоронен человек, умерший насильственной смертью, этот король, чтобы не видеть этих духов, имел привычку так высоко поднимать голову, что его нос постоянно находился в воздухе, и казалось, что он никого не видит.

Романтика, а возможно, и достоверная история полны подробностей о том, как древние рыцари умирали на поле боя. Однако я сомневаюсь, что даже смерть сэра Филипа Сидни была более достойной, чем смерть солдата 58-го пехотного полка, описанная в "Анекдотах восемнадцатого века" Николса. Неглубокая пуля попала ему в живот. Поскольку он был слишком тяжело ранен, чтобы его можно было вынести, он попросил своих товарищей помолиться за него, и вся гвардия стояла вокруг него на коленях в молитве, пока он не умер. Епископ Херд заметил, когда ему об этом рассказали, что "это была настоящая религия". В таком сочувствии было больше религии, чем вкуса в соболезнованиях Алнвика по поводу смерти Хью, герцога Нортумберлендского - довольно вспыльчивого офицера и кавалера Подвязки. "О, - воскликнул поэт из Алнвика, - о горестное зрелище!

"О горестное зрелище! Как потеряны чувства

Миллионы стоят, застыв в напряжении!"

Но все это было бесплодно, ибо, как заметил менестрель в своей "Тренодии".

"Когда Время уступит Смерти, герцоги должны покориться".

"Умереть в упряжи" - любимая фраза в рыцарских летописях, иллюстрирующая храбрость рыцаря, павшего в бою, "облаченного в полную сталь". Однако умереть не всегда означало погибнуть в бою. Хьюм говорит о Сьюарде, графе Нортумберленде, что о нем рассказывают два обстоятельства, "которые обнаруживают его высокое чувство чести и воинственный нрав". Когда ему сообщили о смерти его сына Осборна, он был безутешен, пока не узнал, что рана была получена в грудь и что в бою он вел себя очень галантно. Узнав о приближении собственной смерти, он приказал слугам облачить его в полный доспех и, сидя прямо на диване, с копьем в руке, заявил, что в этой позе, единственно достойной воина, он будет терпеливо ждать рокового момента".

Посмотрите, как вождь многих полей

Готовится испустить последний вздох;

И, как хорошо подстриженный воин, уступает

Смирясь с надвигающейся смертью.

Тот единственный, суровый покоритель всех,

Вождь в башне с оружием в руках,

И лорда в древнем зале,

И дева в своей тенистой беседке.

Чтобы встретить этого самого верного из всех врагов,

С мягкого ложа и подушки,

С достоинством поднялся старый Сьюард,

И на кушетку государственную повел.

В обмороке, но с твердой целью,

Как монарх на своем троне,

Он сидел прямо, с царственным видом,

Чтобы в одиночестве встретить наступающего врага.

"Снимите с этих конечностей, - слабо вскричал он,

"Этот мягкий и женский наряд;

Пусть плащ и чепец отбросят в сторону...

Сьюард умрет, как умер его отец:

Не облаченный в шелковый жилет и рубашку,

как принцы в сказке;

Железом будут обкованы эти старые конечности.

Мой стальной жилет, моя рубашка.

"Пусть стоит мой сноп стрел;

Мой могучий боевой топор принесите;

Мое пепельное копье возьмите в руку;

Вокруг моей шеи - моя перевязь.

Пусть мои белые локоны снова будут прижаты

Старый колпак из миланской стали;

Такая солдатская экипировка подходит им лучше всего.

Они любят чувствовать свою старую защиту.

"'Tis well! Теперь пристегните к моему поясу

Мой испытанный испанский клинок.

Моя старая кровь вскочила в радостном порыве.

Чтобы снова почувствовать его на бедре.

А вот на эту подвесную петлю

подвешен кинжал моего отца;

И шпоры золотые пристегнуть...

Или Сьюард умрет не как рыцарь".

Все было сделано. Ни одна слезинка не заблестела на его глазах.

Его мужественное сердце никогда не знало страха;

Он не ответил на глубокие вздохи

друзей и товарищей, стоявших рядом.

Смерть настигла его: тот мрачный враг.

Который поражает не только храбрых, но и слабоумных.

С терпением Сьюард встретил удар.

Готовясь и желая сойти в могилу.

Манера смерти или, скорее, умирания Сьюарда, графа Нортумберленда, была отчасти бессознательно подражанием великому Мансфельдту. Когда карьера последнего почти подошла к концу, его хрупкий каркас уже изнашивался от чрезмерных усилий, его некогда сильная душа была раздражена разочарованием, а его бывшее энергичное телосложение было разрушено болезнью, которая долгое время тайно преследовала его. Самый доблестный рыцарь лежал беспомощным в жалкой деревушке Зара в Далмации. Когда

приблизился его последний миг, он надел один из своих богатейших мундиров и пристегнул к боку свой любимый меч. Именно его он постоянно носил в бою. Облечившись таким образом, он призвал к себе своих главных офицеров. Его поддерживали двое, которых он больше всего хотел выделить за их непоколебимую верность. Поддержанный таким образом, он увещевал всех неустанно идти по пути славы; и, живя или умирая, никогда не ослаблять вздоха неизбывной ненависти к Австрии, чье правительство было проклято во все времена, с тех пор как существует Австрия, за его беспредельное бесчестие. "С безразличием человека, готовящегося к путешествию, не имеющему чрезвычайной важности, - так говорит Нейлор, описывая эту сцену, - он продолжал спокойно беседовать со своими друзьями до самого последнего момента своего существования. Его тело было погребено с военной пышностью в Спалатио, в Далмации, за счет венецианцев. Так император избавился от врага, который, хотя и часто терпел поражения, никогда не переставал быть грозным; и чей выдающийся гений был настолько плодороден ресурсами, что, не имея ни малейших средств для поддержания расходов на войну, он в течение семи кампаний вел достойную борьбу с самыми могущественными монархами Европы."

Его час наконец настал:

Герой ста полей,

который никогда не сдавался, а только сдается

Тому, кто правит могилой.

Тот, чей громкий трубный звук,

Несся в дрожащем шторме

Голос смерти по холмам и далям,

наконец-то поражен сам.

Тот же самый, кто в недавнем прошлом

безмятежно наблюдал за разрушением,

И резню, проносящуюся по миру,

безмятежно встречает свою судьбу.

Дух храбрых,

Который вел его по засеянной равнине

Против шеренг врагов и бесчисленных жертв,

ждет его до самой могилы.

И с последним вздохом

Воин надевает свой гордый наряд,

Готовясь к встрече и повиновению,

Его последний командир - Смерть!

Скорбные слезы и вздохи

Не падают для того, кто, как лебедь,
Надел свой лучший плюмаж, сладко поет,
исполняет свою последнюю песню и умирает!

Что касается погребения рыцарей, то можно заметить, что вплоть до сравнительно позднего периода рыцари и бароны Англии хоронились с большой пышностью. На похоронах баронов присутствовал чиновник, который надевал доспехи покойного, садился на лошадь в полной амуниции и нес знамя, щит и шлем покойного. Так, во времена Генриха Восьмого лорда Уильяма Кортни похоронили с церемониями, соблюдаемыми на похоронах графа, в ранг которого король намеревался его возвести. По этому случаю сэр Эдмунд Кэрю, галантный рыцарь, въехал в церковь в полном вооружении, с острием боевого топора вниз - знак смерти, подобно перевернутому факелу.

Последний случай объединения древних и современных обычаев при погребении рыцаря, который я встречал, произошел в Тревезе в 1781 году при погребении тевтонского рыцаря, генерала Фридриха Казимира. Коня этого доблестного воина подвели к краю могилы, в которую только что положили тело, чиновник быстро перерезал ему горло, и туша коня была брошена на гроб рыцаря. Когда-то такие жертвоприношения были достаточно распространены. В Англии на похоронах кавалерийских солдат или конных офицеров коня все еще ведут к краю могилы, но мы слишком разумно экономим, чтобы оставить его там или бросить в нее.

Там, где рыцарство было сопряжено с большими опасностями и искушениями, мы не должны удивляться тому, что было много отпрысков знатных домов, которые либо отказывались завоевывать шпоры, сталкиваясь со смертельной опасностью, либо вскоре уставали от этой попытки. Итак, давайте рассмотрим тех неамбициозных джентльменов, которые "устали от этого".

РЫЦАРИ, КОТОРЫЕ "УСТАЛИ ОТ ЭТОГО".

"Как блаженны те, кто тратит свои усталые часы
В торжественных рощах и уединенных беседках.
Где ни глаз, ни ухо
Не видят и не слышат
Безумного веселья
И ложных восторгов резвящейся земли;
Где они могут посидеть и вздохнуть,
И дышать душой;
Где ни горе не поглощает, ни нужда не гнетет.
Не мучает, не угнетает забота!

Прочь ложные радости! Вы убиваете там, где целуетесь;

Нет ни рая для того, ни жизни для этого".

Фрэнсис Кворлс.

Как брак или монастырь были альтернативой, предложенной большинству дам в былые времена, так и у молодых людей из знатных семей не было выбора между церковью и рыцарством. Некоторые, правда, начинали с оружия, завоевывали рыцарские почести, не заботились о них, когда получали награду, и принимали профессию священника или поступали в монастыри. Есть много выдающихся примеров. Первым был святой Мочуа или Клуанус, который, отслужив в армии с большим отличием, поступил в монастырь и занялся строительством церквей и основанием городов. Первых он построил не менее тридцати; в одной церкви он провел столько же лет, сколько построил самих церквей. Он был основателем ста двадцати келий. На него следует смотреть с уважением. Старые воины в наши дни часто движимы тем же импульсом, который управлял Мочуа; и когда мы видим отставных адмиралов, занимающих кресла на собраниях, где собирается выступать доктор Камминг, или немощных генерал-майоров, поддерживающих с неослабевающей умственной энергией своих так называемых пасторов-пусейитов, мы лишь смотрим на людей, которые, действуя добросовестно, достойны уважения, и являются такими Мочуа, каких допускают современные времена и обстоятельства.

Другой пример - Аделард, двоюродный брат Карла Великого. При дворе своего императорского кузена он был прекрасным и галантным кавалером, и во всей армии не было более крепкого мастера владения шпагой; но Алард, или Аделард, устал и от лагеря, и от двора. Он бежал как от очень красивых соблазнов в одном, так и от больших опасностей в другом. Молодой принц, которому было всего двадцать лет, принял монашеский постриг в Корби, где нанялся садовником и испортил целые телеги овощей, прежде чем приступил к своей новой профессии. Иногда он был занят и на кухне, но не к вящему удовольствию монахов. Карл Великий часто настаивал на его появлении при дворе, где он в конце концов занял одну или две высокие должности; а уезжая, написал книгу в назидание придворным, от которой последние так же мало выиграли, говорят злые умы, как и другие дворяне, за которых народ долго молился, чтобы милость, мудрость и понимание были их уделом. Святой Аделард, за что был канонизирован имперский рыцарь, дожил до того времени, когда стал главным авторитетом в монастыре, где он начал работать поваром и садовником, а святой Жерар составил в его честь службу, в благодарность за то, что благодаря заступничеству святого был излечен от сильной головной боли. Мне кажется, это один из самых странных способов выразить благодарность за небольшую услугу, о которых я когда-либо слышал.

Я полагаю, что святой Седд, епископ Лондонский, в очень ранние времена также происходил из семьи, чьей профессией было военное дело. Когда и почему он вошел в церковь, я не знаю; но с военным делом его связывает тот факт, что форт Тилбери занимает часть территории монастыря, который основал святой Седд, в котором он жил и который был предметом гордости всех добрых людей в тогдашнем приятном и процветающем городе Тиллабери.

Что касается святого Олдрика, епископа Манского, то здесь нет никаких сомнений. Он происходил из знатной семьи и начал жизнь в двенадцать лет в качестве пажа Людовика Дебоннера при дворе Карла Великого. Ему быстро надоел двор, и так же быстро ему надоел лагерь. В возрасте двадцати одного года он удалился в Мец, поступил в духовное училище и

стал капелланом и духовником государя, которому когда-то служил пажом. Его военное воспитание сделало его очень строгим дисциплинарным в течение четверти века, пока он был епископом; и остается только сожалеть, что он не имел определенного влияния на короля, чью совесть он направлял и о котором будет рассказано в другой части этого тома.

Был второй сын Эрика, короля Дании, известный под именем Святого Кнута или Канута. Он был герцогом Шлезвига, и в большей степени монахом, чем герцогом. За свои добродетели он был канонизирован соответствующим образом. У него была грубая манера шутить. Его рыцари были ничем не лучше разбойников и пиратов, и он решил заставить их отказаться от насилия и жить мирно. Напрасно они утверждали, что имеют право жить, как подобает рыцарям, и Канут не оспаривал этого; он просто не соглашался с тем пониманием этого права, которое излагали сами рыцари. Чтобы предотвратить все ошибки в этом вопросе, он однажды приговорил семерых из этих джентльменов к повешению за пиратство. Один из них воскликнул, что, "как бы ни был суров приговор для его товарищей, для него обязательно должно быть освобождение". Он был похож на немецкого капрала из "Этуаль дю Норд", который прекрасно понимал, что вполне уместно повесить человека, но не мог понять, что он сам должен быть этим человеком. Шлезвигский рыцарь потребовал особого освобождения на том основании, что он был родственником Канута. Тот согласился, что это дает ему право на некоторое отличие, и святой герцог повесил своего кузена на шесть футов выше, чем любого из его сообщников.

Сразу же вернемся к рыцарю, которому надоело его призвание, в лице Наталана, шотландского дворянина V века. Он продал оружие, лошадей и поместье, разделил вырученные деньги между бедняками и посвятил себя подготовке к рукоположению и выращиванию овощей. В списке епископов Абердина он занимает весьма почтенное место.

Мы встречаемся с человеком более известным, Петром Севастийским, в родословной которого было больше героев, чем мог похвастаться любой из современников Петра. Он не является примером человека, покинувшего лагерь ради монастыря; но он и два его брата представляют нам трех человек, которые могли бы добиться большой мирской выгоды, приняв в качестве призвания оружие, но предпочли Церковь и стали, все трое, епископами.

Аналогичный пример мы имеем в лице ирландского святого Фелана. Его высокое происхождение и огромное богатство сделали бы его цветком ирландского рыцарства, но он выбрал другую профессию и, презрев рыцарство, вступил в Церковь. Он отправился *a Mundo ad Mundum*, поскольку именно из рук аббата Мундуса он принял монашеский постриг. Таким образом, как остроумно сказано, мир (Mundus) одновременно и привел, и втянул его в Церковь. Однако очевидно, что, подобно старому боевому коню, он наострил уши при звуках битвы и проявлял интерес к пострадавшим полям. К такому выводу мы должны прийти, если это правда, как утверждается о нем, что битва при Баннокберне в 1314 году была выиграна Брюсом благодаря особому заступничеству святого. Герцоги Нормандии были обязаны святому Ваненгу, который снял доспехи со своих аристократических чресел, чтобы прикрыть их рясой, и построил для норманнов церковь, где возносил постоянные молитвы за нормандских герцогов.

А еще был Вильгельм Берринджер из рода графов Неверских. Никакие уговоры не могли заставить красавца Вильгельма продолжить начатую им карьеру, рыцарскую и оружейную. Возможно, его дядя, Петр Отшельник, оказал на него значительное влияние, и смена профессии оказалась отнюдь не невыгодной: некогда любивший лошадей Уильям стал архиепископом Буржа и защищал права своей церкви перед королями и советами с такой же

смелостью, рвением и галантностью, какую мог бы проявить любой рыцарь против самых стойких нападавших.

Среди наших английских святых наиболее похож на него святой Эгвин, который происходил из королевской семьи мерсийских королей и, после недолгого испытания воинского ремесла, удалился в монастырь, но в конце концов был возведен в Вустерский престол. О духе этого человека можно судить по легенде, которая гласит, что, отправляясь в покаянное паломничество в Рим, он надел на ноги железные кандалы, ключ от которых бросил в Эйвон. Это вполне возможно; но когда нам сообщают, что впоследствии, когда ключ был найден, он обнаружил его внутри рыбы, мы видим, что автор легенды спланировал у оригинального создателя истории о Поликрате и его кольце.

Святой Эгвин был гораздо меньшим благодетелем для своих братьев, чем святой Бенедикт Бискуп, благородный рыцарь при дворе Осви, благочестивого короля нортумбрийцев. Когда Бенедикт, или Беннет, как его привычно называют, отошел от воинской профессии, чтобы следовать церковному служению, он продолжал быть столь же активным и вдвое более полезным, чем прежде. Он был большим путешественником, тратил и дарил щедро, а также привез с собой с континента рабочих из камня для возведения монастыря в Веремуте, который в своих руинах хранит память о его имени и деяниях. Он также привез из Франции первых стекольщиков, которые когда-либо занимались искусством изготовления стекла в Англии. В общем, святой Беннет - один из тех, кто находит средства, чтобы сделать добро другим, в каком бы положении они сами ни находились.

Аэльред из Ридала был человеком схожих качеств. Он был молодым дворянином из Северной Англии, когда стал самым красивым кавалером при дворе этого "святого для Церкви", шотландского короля Давида. Он отличался добрым нравом и был столь же хорошо дисциплинированным монахом, как и военным; когда однажды он случайно нарушил правило постоянного молчания, царившее в монастыре в Ридале, куда он поступил в возрасте двадцати пяти лет, он пришел в такой ужас, что стремился увеличить наказание, наложенное на него в результате этого. Он обронил всего одно слово в саду, обращаясь к монаху, который, как и он сам, был рыцарем, но тот в ответ так назидательно нахмурился, что бедный Аэльред в одно мгновение ощутил всю глубину своего неимоверного беззакония и счел себя таким же преступником, как если бы он поджег соседний женский монастырь. В дальнейшем он никогда не позволял себе читать своего любимого Цицерона, ограничиваясь собственным сочинением "О духовной дружбе" и другими книгами подобного содержания.

Великий святой Иларий был еще одним человеком из знатной семьи, для которого оружие было призванием, который отказался от профессии ради Церкви и в результате добился значительного процветания. Святой Феликс из Нолы служит нам дополнительной иллюстрацией этого факта. Этот благородный молодой солдат не находил счастья в деле забоя скота, и вся софистика мира не могла убедить его в том, что это почетно. "Это отвратительное дело, - сказал святой, - и поскольку я не могу быть Феликсом [счастливым], выполняя его, я посмотрю, не могу ли я быть Феликсом в Церкви"; и каламбурный святой нашел то, что искал.

В обращении святого Maurus есть и нечто более удивительное. Он был сыном дворянина, имел в наставниках святого Бенедикта и был предназначен для военной карьеры. Однако наставник разбудил его однажды ночью и послал вытащить из реки монаха, которого Бенедикт во сне видел упавшим в воду. Маурус, хотя и не умел плавать, послушался, прошел по поверхности воды, вытащил сопротивляющегося монаха, вернулся с ним, рука об руку, на берег и сразу же пришел к выводу, что призван к другому призванию, чем воинское. Что

касается святого Джона Калибита, то он не захотел быть солдатом, а сбежал из дома, прежде чем его богатый сир смог обеспечить ему комиссию, и вернулся только для того, чтобы, переодевшись в нищенское одеяние, стоять перед домом своего отца, где он получал милостыню до самой своей смерти. Любопытный пример идиосинкразии. Святой Гонорат был мудрее. Он происходил из консульской семьи, но, отказавшись от военной профессии, искренне стремился быть полезным в Церкви; заслуженным результатом стало то, что он стал архиепископом Арля. Святой Антоний, патриарх монахов, пошел на еще большие жертвы и предпочел быть отшельником, а не полководцем легионов. Святой Сульпиций, дебоннер, был богат и красив, но шлем и перья волновали его меньше, чем шнур и платок, и архиепископство в Бурже вознаградило его самоотречение. Не один король Канут, хотя и не отказывался от королевской власти и полководческого искусства, был более склонен и даже более приспособлен к тому, чтобы быть ученым монахом, чем рыцарским монархом. Вульстан Вустерский был настроен куда более решительно, ибо, обнаружив однажды вечером, что он горячо восхищается молодой дамой, которая была его *визави* в танце, галантный офицер был так потрясен этой неуместностью, что это послужило ему поводом немедленно надеть капот. Обмен не принес ему ничего хорошего, так как капот привел его к митре в Вустере.

Святой Себастьян был гораздо более смелым человеком, поскольку, хотя он и ненавидел военную жизнь, он в высшей степени исполнял свой долг в том состоянии жизни, к которому Богу было угодно призвать его; и если хотя бы половина того, что о нем рассказывают, то никогда не было рыцаря времен рыцарства, который совершал бы такие смелые и опасные поступки, как святой Себастьян. Что такое кавалерист, сражающийся с драконом, для римского офицера, проповедующего христианство своим людям при Диоклетиане?

В более поздние времена мы встречаем святого Раймунда Пеннафортского, богатого молодого лорда, который, вместо того чтобы служить за плату или грабеж, отправился преподавать философию просто так. Святой Иоанн, патриарх Александрийский, мог бы быть известен как завоеватель, но он предпочитал быть передаваемым по наследству под титулом Алмонера. Он был похож на того святого Кадока, который предпочел стать аббатом в Уэльсе, а не принцем. Подобное смирение проявлял и святой Поппо из Ставело. Он стремительно возвышался во фламандской армии, когда внезапно погрузился в келью и стал своего рода фламандским Джоном Уэсли. Он проповедовал против всех турниров, но добился лишь того, что отменил очень захватывающие поединки между рыцарем и медведем, которым очень покровительствовали фламандские дамы и на которых партии ставили большие суммы на любимое животное.

С другой стороны, святой Франциск Сальский, этот джентльменский святой, был спасен от рыцарской карьеры, которую, казалось бы, сулило ему благородное происхождение, клятвой, данной его матерью еще до его рождения. Она твердо решила, что он должен стать святым, а не солдатом, и, поскольку все шло так, как хотела дама, она поставила своего сына в положение, прямое для Церкви, и мир, конечно, ничего не потерял от этого поступка матроны. Я уважаю святого Франциска Сальского тем больше, что у него были небольшие человеческие недостатки, и он не рассыпал проклятия по людям, которых видел в подобном стечении обстоятельств. Сульпиций Северус во многом был похож на него, за исключением того, что у него был некоторый опыт солдатской жизни. Но он отложил меч ради пера и подарил нам тот восхитительный исторический роман, в котором так наглядно описывает жизнь другого благородного воина, оставившего командование солдатами, чтобы заняться обучением людей, - святого Мартина Турского.

В седьмом веке жила одна дама, святая Альдегонда, из королевского рода Франции, которая, по крайней мере, поощряла молодых рыцарей отказаться от своего фантастического призвания и принять монашество или монашеский сан. Ее незаслуженно, смею заметить, подвергли нападкам со стороны скандальных языков. Действительно, я никогда не слышал о даме, более преследуемой подобным образом, за исключением, возможно, тезки этой дамы, которая когда-то принадлежала к веселой *труппе* "Варьете" и на которую ссылался самый громогласный из *шансонье* в строке песни, где ставился многозначительный вопрос

Что делает Альдегонда со всем миром?

Одной из самых примечательных черт в характерах многих молодых дворян, не склонных брать в руки оружие или оставивших его ради религиозного призвания, является страх, который они испытывали перед браком. В качестве иллюстрации этого факта можно привести случай со святым Сильвином из Аучи. При дворе Чилдерика II не было ни более смелого и храброго рыцаря, ни более желанного ухажера среди дам. В свое время он сделал предложение благородной девице, которая трепетала от счастья при мысли о том, что вырвет такого холостяка из череды соперниц. Свадьба прошла блестяще, вплоть до завершения церемонии. После этого никакие уговоры не смогли убедить жениха пойти на завтрак. Как привели его к алтарю, так он и остался. Он осудил все свадьбы как нечестивую суету и, выскочив из дверей церкви, оставил невесту и новобрачных на произвол судьбы. Не было конца предположениям о причине внезапного испуга, охватившего молодого жениха. Последний списал все на вдохновение, а поскольку он принял постриг и вел образцовую жизнь, никто, кроме невесты и ее родственников, не посмел усомниться в этом.

Случай со святым Лицинием легче объяснить. Он был самым отвязным рыцарем-холостяком при дворе Клотаря I. Однако следует сказать, что он рано посеял свой дикий овес и не менее упорно боролся за то, чтобы ежедневно посещать мессу и исповедоваться раз в квартал. Он был богат, и у него была соседка-девица, которая была еще богаче. Семьи рыцаря и девицы были едины в том, что их поместья, обнесенные одной кольцевой оградой, были бы одним из самых желанных приобретений. Дева ничего не боялась, один только рыцарь не желал. Он тоже сомневался в безупречности брака, и лишь с большим трудом ему удалось добиться расположения дамы, которая сказала "да" еще до того, как плюмаж его чепца коснулся земли, когда он поклонился ей. День свадьбы был назначен, и, как гласит старая эпитафия, "свадебные одежды были приготовлены". Однако накануне этого знаменательного дня Лициний, навестив невесту, обнаружил, что она внезапно заболела проказой. Врач заверил, что ничего страшного не произойдет, но Лициний заявил, что это предупреждение, которым он не смеет пренебрегать. Он посмотрел на прокаженную даму, пробормотал слово "неприятно" и тут же себя, но не к активной военной жизни, а к религиозной миссии. Утверждается, что в этой профессии он совершил столько чудес, что они заслуживали бы канонизации, если бы хоть половина из них была правдой.

Невесту, пораженную проказой, можно с полным правом назвать неприятным зрелищем. Можно даже считать, что Лициний был вправе колебаться в выполнении своего обещания, а то и вовсе отказаться от него. Мы не можем сказать столько же в оправдание другого рыцаря, который нарушил свое слово, данное даме, и был внесен в римский календарь обожествленных мужчин. У этого джентльмена было довольно нехристианское имя. Его звали Авраам из Хидуны. На поединках и турнирах, а также в палаточных полях не было кавалериста, который бы лучше сидел в седле, управлялся с копьем и орудовал боевым

топором с более ужасающим эффектом. Он, разумеется, был благородного происхождения, богат, несколько пристрастен к легкой жизни, когда был в салате, но достаточно трезвый человек, когда это закончилось. Тогда он решил жениться, и у него хватило "хорошего вкуса", если можно так выразиться, который, как нам сказали, входит в лексикон литературного миллионера, чтобы предложить себя и попросить руки очень благочестивой девицы с весьма удовлетворительным приданым. Вскоре все было решено, и одним прекрасным весенним утром оба главных героя и их друзья оказались в церкви. Рыцарь, правда, прибыл последним, и до этого он так же не желал жениться, как мастер Барнардин - вставать и вешаться. Наконец его подвели к алтарю, и после небольшой задержки, связанной с поисками кольца, которое он потерял и нашел только после долгих поисков, брачный узел был завязан. Когда все было готово, друзья подошли поздравить друг друга, но ледяной Авраам холодно отмахнулся от них и объявил о своем намерении покончить с недолгим супружеским состоянием. Когда он тут же бросился в лес, находившийся неподалеку от церкви, раздался всеобщий крик, что он подумывает о самоубийстве. Невесту отвезли домой под всеобщее сочувствие, а жениха начали искать, но безрезультатно. Впрочем, не совсем безрезультатно, потому что по истечении семнадцати дней его обнаружили, предлагающего свои оракулы, посреди болота. Там он пробыл, по его словам, две недели и заявил, что останется там, если те, кто его ищет, не согласятся на условия, которые он предложит. Они заключались в том, что ему будет позволено удалиться в камеру, которая должна быть полностью замурована, за исключением небольшого квадратного проема для окна. Соглашение было ратифицировано, и Авраам был закрыт в соответствии со своим желанием; и в результате долгой уединенной жизни, проведенной в проповеди всем, кто подходил к окну, и принимая все, что они приносили через тот же проем, Авраам получил имя "Беатус", и это имя было записано в список святых.

Если найдется читатель, который возразит, что эта история неестественна, я хочу заметить, что подобные случаи можно встретить и в наше время. В доказательство приведу анекдот, рассказанный мне преподобным отцом одного законного рыцаря, который сам был священнослужителем на церемонии, о которой я сейчас расскажу.

Священнослужитель одной симпатичной деревушки в Уэльсе, получив должное уведомление и выполнив все предварительные требования закона, ожидал в своей ризнице, готовый обвенчать бывшего сержанта и одну из девушек деревни. Канонические часы быстро пролетали, а священника все не звали к алтарю. По некоторым звукам он догадывался, что в церкви собралось несколько человек, и два или три раза видел симпатичное лицо, заглядывающее в дверь ризницы с выражением радости, что он все еще там, и недоумения, как будто нужно было что-то сказать, а он только ждал, чтобы его спросили. В половине одиннадцатого лицо снова показалось, и тогда священнослужитель пригласил его обладателя подойти ближе. Приглашение было принято, и священнослужитель поинтересовался причиной необычной задержки, заметив при этом, что если стороны не подготовятся как можно скорее, то совершать обряд в тот же день будет уже поздно.

"Что ж, сэр, - сказала нимфа, - я как раз хотела спросить вашего совета. Я сестра невесты, и есть одна трудность..."

"В чем она заключается?" - спросил священник.

"Вот в чем, сэр", - сказала Дженни. "Сержант Джонс обещал жениться на сестре Виннифред, если отец даст пять фунтов. Отец согласен; но он говорит, что если он положит деньги до свадьбы, сержант уйдет. И сержант не придет жениться, пока не положит деньги. Итак, вы

видите, сэр, мы попали в ужасное затруднение; и мы хотим, чтобы вы предложили способ, как нам из него выбраться".

"Нет ничего проще, - сказал министр, - пусть ваш отец передаст деньги в руки надежного третьего лица, которое пообещает передать их сержанту, как только он женится на вашей сестре".

Дженни Морган в мгновение ока убедилась в превосходстве этого средства, поспешила вернуться к новобрачным, и те, чтобы показать свою признательность за предложение священника, толпой устремились к алтарю, как только предварительная процедура, рекомендованная им, была выполнена. В конце концов священнослужитель дошел до слов: "Хочешь ли ты взять эту женщину в жены?"

"Джек, - сказал бывший сержант, оглянувшись на костоправа, - у тебя есть деньги?"

"Хорошо!" - кивнул Джек.

"Тогда я так и сделаю", - сказал сержант; "а теперь, Джек, отдай *жестянку*".

Договор был неукоснительно выполнен, но если бы служитель не придумал средства, разрешившие затруднение, сержант Джонс был бы столь же нелестен для своей дамы, как Авраам, Сильвин и Лициний для своих.

Но вернемся к Аврааму. Я уже говорил, что этот рыцарь, приняв монашеский облик, замуровал себя в своей келье. Однако у меня есть подозрения, что это была театральная стена, ибо совершенно точно, что святой мог пройти сквозь нее. Рядом с ним жила женщина-затворница, которая была его "племянницей" и которую звали Мария. Эти двое были так же неразлучны, как священник Лакомб и мадам Гюйон, и, вероятно, так же мало заслуживали порицания. Эта Мэри была оригиналом "Красной шапочки". Она носила кипяченое молоко, масло и другие необходимые вещи своему дяде Аврааму. Случилось так, что бывшего рыцаря также навещал монах, которого звали Волк, или, во всяком случае, его так называли агиографы, потому что он был таким же зверем, как и четвероногий, которого так называли. Монах имел обыкновение сталкиваться с Марией, когда она направлялась в келью своего дяди с приятными приправами под салфеткой, в плетеной корзинке. Должно быть, это был монах в стиле графа Ори, и он был так же соблазнителен, как Поншар, когда пел "Gentille Annette" для "Petit Chaperon Rouge" в опере Буало. В результате монах увез Марию в соседний город - Эдессу, если я правильно помню, а если я ошибаюсь, мистер Митчелл Кембл, возможно, поправит меня, в своей мягкой и джентльменской манере. Городская жизнь, которую вели эти двое, была самой отвратительной, и когда монаху это надоело, он оставил Марию жить хуже, без него. Мария стала в Эдессе "Помаре", "Могадоре", "Розе Помпонне" и была ужасом всех семей, где были старшие сыновья и ключики от замков. Ее дела и местонахождение в конце концов дошли до слуха ее дяди Авраама, и не мало удивились те, кто знал затворника, увидев его однажды утром в богатом одеянии, в плаще, как у Альмавивы, в желтых бушлатах с кружевами по верху, в остроконечной шапочке с пером на голове, с рапирой на бедре и с конем между ног, который изгибался под его ношей, как будто веселье придавало ему легкость. На ужине у Марии этот кавалерист присутствовал в ночь своего прибытия в Эдессу. Он разбрасывал свое золото, как Крёз, и Мария считала его достойным всех остальных рыцарей без гроша в кармане, вместе взятых. Когда они ушли, как менее желанные, Авраам объявил о своем родстве и стал действовать по праву, которое давало ему право оценивать племянницу, которая была не только неблагодарной распутницей, но и такой лживой, какой только может быть неблагодарная племянница. Однако на стороне старого джентльмена была правда, и в конце

концов он так ошеломил Марию ее ужасным применением, что она безропотно последовала за ним в пустыню и провела пятнадцать лет в застенке, близком к келье своего дяди. Чудеса, совершенные этими двумя, приводятся в качестве доказательств подлинности этих людей и их истории; я не стал бы оспаривать их, даже если бы у меня было место для этого.

Следующий рыцарь, которого я могу назвать как испугавшегося брака в монашестве, - это святой Вандриль, граф дворца короля Дагоберта. В период своего рыцарства он был очень галантным Дон Жуаном и выступал против брака так же решительно, как мальтузианец. Но друзья все же заставили его жениться и познакомили с дамой, обладавшей сотней тысяч золотых качеств и столь же благодатными перспективами, как у мисс Килмансегг. Он взял руку дамы с неохотой, которую можно было бы назвать отвращением, и которую он не пытался скрыть. Когда церемония бракосочетания была завершена, рыцарь Вандриль, столь же эксцентричный, как и кавалеры, чье подобное поведение я уже отмечал, мягко намекнул, что не намерен продолжать, и что, со своей стороны, навсегда отказался от суеты этого мира. Увлекая за собой даму, он, по-видимому, внушил ей убежденность в том, что решимости ему не избежать; и нам не говорят, что она даже упрекнула его за поведение, которое кажется мне в тысячу раз более эгоистичным и непростительным, чем поведение умного, но презренного Абеяра. Церковь, однако, не осудила такой поступок, и святой Вандрил, несмотря на то что он нарушил обещание, был прощен как рыцарь и канонизирован как святой.

Гораздо более оправданным был маленький граф Арианский Эльзеар, мальчик-рыцарь при дворе Карла II, короля Сицилии, которого этот монарх женил в возрасте тринадцати лет на Дельфине Гландевской, юной леди пятнадцати лет. Когда я говорю "гораздо более оправданный", я делаю Элзеару некоторую несправедливость, поскольку мальчик был достаточно готов к свадьбе и с нетерпением ждал, что его дама будет гордиться его собственными рыцарскими достоинствами. Дельфина же предложила, чтобы они расстались у алтаря и никогда больше не встречались. Она презирала мальчика, и маленький кавалерист принял это близко к сердцу - настолько, что решил отказаться от военной карьеры и поступить в церковь. Таким образом, рыцарство потеряло достойного кавалера, а календарь приобрел очень деятельного святого.

Элзеар вполне мог чувствовать себя ущемленным. Были рыцари и моложе его, которые носили шпоры до тринадцати лет. Это напоминает мне о статье, которую я поместил в "Fraser's Magazine" в марте 1844 года под названием "Прогулка по Богемии", где, говоря об императорском цейхгаузе в Вене, я заметил "доспехи этого маленького героя, второго Людовика Венгерского, того, кто появился в этом дышащем мире за несколько месяцев до того, как его стали приветствовать, и кто поддержал свой характер быстроты, женившись в двенадцать лет и став законным носителем всех почестей отцовства, как только он вошел в подростковый возраст; И кто, кроме того, сохранил постоянство, став седым стариком в шестнадцать лет, и, наконец, завершил свой эфемерный путь на поле боя, не достигнув совершеннолетия." Элзеар тогда был, возможно, не таким уж бедным рыцарем, каким его, похоже, считала старшая дама.

Я должен более кратко остановиться на остальных людях, которые либо отбросили рыцарство ради Церкви, либо предпочли последнюю рыцарской карьере. Во-первых, это святой Аншарий, который, совершив упомянутую перемену, стоял рядом с Оласом, королем Швеции, когда тот бросал жребий, чтобы решить, должно ли христианство стать религией государства или нет. Нам рассказывают, что молитвы святого Аншария заставили короля бросить две шестерки в пользу лучшего дела.

Святой Андрей Коссини стал восхитительным святым после того, как был самым буйным из кавалеров. Так, святой Аманд Нантский обрел свою святость, отказавшись от власти над вооруженными людьми. Подобным ему был и святой Ромуальд из рода герцогов Равеннских, который, сражаясь или охотясь, любил удаляться от поединка и погони, чтобы помолиться в тишине, в тенистых местах. Святой Иоанн Мальтийский и святой Стефан Грандмонтский были людьми такого же почерка. Святой Бенедикт Анианский был тем знаменитым виночерпием Карла Великого, который оставил службу императору в зале и на поле, чтобы с меньшей показностью служить большему господину. Он последовал примеру святого Авксентия, который отказался от службы в конной гвардии Феодосия Младшего, чтобы поступить на службу в тело монахов.

Многие из тех, кто отказался от оружия или не принял бы военную службу, если бы представилась такая возможность, получили личную выгоду, приняв такой курс. Так, святой Порфирий был рыцарем до двадцати пяти лет и умер епископом Газы. Рыцарь святой Вульфран стал епископом Сенса, святой Хью получил епископство Гренобля, не только отказавшись от рыцарства сам, но и побудив своего отца последовать его примеру. Святой Норберт стал архиепископом Магдебурга, ведя веселую жизнь не только как рыцарь, но и как священник. Падение с лошади заставило его задуматься о благопристойности. Пророчество юной девы святому Ульрику принесло ему святость и епископство Аугсбургское. Если бы она не предсказала, что он умрет епископом, он бы довольствовался знаменем. Подобных примеров очень много, но я привел достаточно.

Немногие в мирском смысле принесли большую жертву, чем святой Казимир, сын Казимира III, короля Польши. Он так любил своего преподобного наставника Дуглосса, что, чтобы быть похожим на него, отказался даже от шансов на престол и стал священником. Святой Бенедикт Умбрийский прошел похожий путь, но в меньших масштабах; и все уговоры его кормилицы, которая бежала за ним, когда он убегал из дома, не смогли склонить его к тому, чтобы стать кем-то другим, кроме священника. Святой Герман Иосиф из Кельна показал, насколько полностью он отказался от рыцарского характера, когда, будучи монахом, умолял крестьян, которых он учил, быть достаточно добрыми, чтобы хорошенько его отбучать и надавать ему крепких подзатыльников, поскольку невозможно, чтобы у него было достаточно пинков и презрения. Святой Гутлак, благородный отшельник из Кройланда, проявлял больше достоинства в своем уединении, то же самое можно сказать о святом Петре Регалати и святом Убальдусе из Габио. Последний твердо решил не жениться и не брать в руки оружие. Он не любил никаких волнений, какими бы квалифицированными они ни были. Святой Винсент Леринский несколько лет носил оружие, но, по его признанию, ему не нравились сопутствующие опасности, угрожавшие ему духовно, а не телесно, и он принял постриг и занял соответствующее место в священном календаре. Святой Алоизий Гонзага, чей отец был принцем, был еще одним из тех молодых джентльменов, для которых оружие было малопривлекательным. Смирение этого молодого джентльмена, однако, имело весьма глупый аспект, если все это напоминало то, что говорит о нем отец Каперий. "Он никогда не смотрел на женщин, строго следил за своим взглядом и вообще был замкнут; никогда не оставался с матерью наедине в ее покоях, а если она посылала к нему какое-нибудь послание от какой-нибудь дамы из своей компании, он принимал его и отвечал в нескольких словах, с закрытыми глазами и полуоткрытой дверью своей комнаты; а когда с ним спорили по этому поводу, он приписывал такое поведение своей стыдливости. Именно из-за своей изначальной скромности он не знал в лицо многих дам из числа своих родственниц, с которыми часто общался, и боялся и стыдился, чтобы лакей видел только его непокрытую ногу". К чему бы ни был пригоден мягкий Алоизий, ясно, что он не годился для рыцарства. Сродни ему был святой Теобальд Шампанский, который, возможно, так и не стал бы святым,

если бы отец не приказал ему возглавить отряд на помощь осажденному кузену. Теобальд отказался и сразу же удалился в монастырь.

Святой Вальтен, один из сыновей графа Хантингдона и Мод, дочери Юдифи, которая была племянницей Завоевателя, лишь немногим избежал того, чтобы стать галантным рыцарем. Правда, в детстве он строил церкви из своего ящика с кирпичами, в то время как его братья возводили замки; но, по крайней мере, он подавал надежды стать настоящим рыцарем и однажды не только принял в дар кольцо от одной дамы, но и надел сверкающий бриллиант на палец. "Ах, ах!" - восклицали нахальные придворные, - "рыцарь Вальтен начинает испытывать нежность к дамам!" Бедный Вальтен! Он назвал это дьявольским хором, бросил кольцо в огонь, разбил сердце дамы и удалился в монастырь до конца своих дней. Ему удалось спастись лучше, чем святому Кларусу, который был глух и нем и слеп к соблазнам знатной дамы и лишь с трудом избежал убийства, совершенного двумя грубиянами, нанятыми термидором, чтобы убить человека, который не позволил ее святому лицу вызвать у него ухмылку восхищения. Но хотя я мог бы заполнить внушительный том именами рыцарей, ставших святыми, я пощажу своих читателей и завершу рассказ великим именем святого Бернарда. Он, правда, не брал в руки оружия, но, приняв религиозное исповедание, с великим триумфом побудил своего дядю, всех своих братьев, рыцарей и простых офицеров, последовать его примеру. Дядя Гуальдри, знаменитый фехтовальщик и сеньор Туйона, был первым, кто убедился в правоте Бернара. Два младших брата последнего, Бартоломей и Эндрю, отбросили шпоры и взялись за breviарий. Старший брат Гай, человек женатый и состоятельный, разорил свое хозяйство, продал доспехи, отправил свою даму в монастырь, а дочерей - в женскую обитель, надел рясу и последовал за святым Бернардом. Его примеру последовали другие члены семьи и многие друзья, и на этом я заканчиваю свой рассказ о святых, имевших хоть какое-то отношение к оружию. Что касается святого Бернара, *то* я скажу о нем, что если бы он взял в руки меч и был так же беспощаден к своим врагам, как он был в образе аббата, не испытывая сострадания к противнику, которого он мог бы сокрушить словесными аргументами, то он был бы самым ужасным кавалеристом, который когда-либо сидел в седле!

Возможно, самым совершенным кавалеристом, когда-либо сменившим сан на плащ, был шевалье де Рансе. О нем и его последователях-траппистах я скажу несколько слов.

ШЕВАЛЬЕ ДЕ РАНСЕ И ТРАППИСТЫ.

Де Рансе родился в 1626 году. Он происходил из герцогского дома, а его крестным отцом был великий кардинал де Ришелье. В юности он был очень болезненным и схоластичным. Он был предназначен для церкви, занимал полдюжины должностей, прежде чем научился говорить, а когда *смог* выразить свою волю, решил жить только своим мечом. Некоторое время он оставался ни священником, ни фехтовальщиком, а просто самым веселым из распутников. Он строил планы рыцарского отряда в обществе всех молодых кавалеров, но отказался от них ради изучения астрологии. В течение некоторого времени он был полурыцарем, полусвященником. Затем он получил полные ордена, оделся как самая легкомысленная маркиза, соблазнил герцогиню де Монбазон и отпускал другим грехи, которые совершал сам. "Куда вы идете?" - спросил его однажды шевалье де Шамваллон. "Я проповедовал все утро, - ответил де Рансе, - как ангел, а сегодня днем отправляюсь на охоту, как самый настоящий дьявол". Можно сказать, что он был похож на тех мормонов, которые описывают себя как "адски стремящихся к небесам!".

Никто так и не смог определить, был ли он солдатом или священником, пока смерть не убила герцогиню де Монбазон. Де Рансе неожиданно увидел труп, обезображенный оспой или корью, и был так потрясен, что это привело его из мира в монастырь, где, будучи скорее реконструктором, чем основателем, ордена траппистов, он провел тридцать семь лет - ровно столько же, сколько и в "мире".

Спутникам и последователям рыцарственного де Рансе стоит сказать несколько слов. Рассказ покажет, в чем заключался сильный контраст двух частей их жизни. Они научились повиновению в своей военной карьере, но подчинились гораздо более деспотичному правлению в своей монашеской карьере. Полтора века назад в Париже была опубликована ужасно мрачная серия томов, озаглавленная "Отношения к жизни и смерти некоторых религиозных деятелей аббатства Трапп". Они состоят в основном из трактатов, отчасти биографических и отчасти теологических, неинтересных в основном, но представляющих интерес с точки зрения того, какие благородные солдаты или ужасные вольные разбойники просили приюта в Ла-Траппе и терпели аскезы. Я уже упоминал о безоговорочной покорности, которую требовали от братьев. Последние, согласно только что названным томам, поклялись передавать аббату даже свои *мысли*. Те, кто таким образом выдавал себя с наименьшей сдержанностью, похоже, получали приказания на очень плохой латыни; но их акт послушания был так дорог Небесам, что их лица были окружены славой, на которую их менее общительные братья, наивно говорит автор, не могли смотреть сколько-нибудь долго: в это я безоговорочно верю.

Среди кандидатов на поступление было, без сомнения, много очень благочестивых людей, но вместе с ними были и разжалованные священники, с которыми нам мало что остается делать, и бывшие офицеры, беглые оружейники, разбойники, жившие мечом, и убийцы рыцарского звания, которые использовали свои мечи для несправедливого убийства других и искали безопасности в монастырях Ла Траппа. Все, что от них требовалось, - это послушание. Там, где этого не было, их принуждали. Там, где оно преобладало, его восхваляли. Рядом с ним было смирение. Одного брата, бывшего солдата, пропавшего кровью, хвалили за то, что он питался печеными яблоками, когда его горло болело слишком сильно, чтобы он мог проглотить более существенную пищу. Другого брата, сменившего оружие на платье, сравнивают с Моисеем, потому что он никогда не осмеливался входить в кладовую в сандалиях на ногах. И все же послушание было первой добродетелью, которую восхваляли - настолько восхваляли, что я почти подозреваю, что она была редкой. Ему придавалось такое значение, что общине сообщили, что вся их вера и все их дела без слепого послушания начальнику не обеспечат им спасения. Практическая слепота была столь же действительно предписана. Тот, кто меньше всего использовал свои глаза по назначению, считался лучшим человеком. Один бывший военный брат поступал так похвально, что за восемь лет ни разу не увидел недостатка ни в одном из своих братьев.

Однако де Рансе требовалась не такая слепота, поскольку он поощрял братьев выдвигать обвинения друг против друга. Много похвалы заслуживает брат, который никогда не смотрел на крышу собственной кельи. Еще более безмерной похвалы удостоивается другой верный рыцарь нового ордена самоотречения, который настолько не привык поднимать глаза от земли, что не знал о возведении новой часовни в саду, пока не разбил голову о стену.

Однажды герцогиня де Гиш и один видный прелат вместе посетили монастырь. После их ухода один монах вошел в апартаменты аббата, бросился в ноги своему настоятелю и попросил разрешения признаться в великом преступлении. Ему было велено продолжать.

"Когда госпожа и епископ только что были здесь, - сказал он, - я осмелился поднять глаза, и они остановились на лице..."

"Не леди, ты, негодяй!" - воскликнул аббат.

"О нет, - спокойно ответил монах, - но старого епископа!" Для искупления преступления потребовался курс хлеба и воды.

Некоторые из братьев странным образом демонстрировали, что они подразумевают под послушанием и смирением. Например, один из них, который выразил желание вернуться в мир, был задержан против своей воли. Его место было на кухне, и разрушения, которые он производил среди посуды, были просто потрясающими и, вероятно, не совсем неумышленными. Он не только постоянно разбивал фаянсовую посуду, но и беспрестанно бегал из кухни к аббату, от аббата к настоятелю, от настоятеля к субприору, а от субприора к мастеру послушников, чтобы признаться в своей вине. Затем он снова возвращался на кухню, снова разбивал целые ящики с тарелками, сопровождая свои действия обильными признаниями и получая явное удовольствие, как от уничтожения имущества, так и от шумных извинений в адрес руководящих сил, которым он решил внушить желание избавиться от него.

Несмотря на принудительное содержание, на ежемесячных собраниях создавалась видимость свободы. Братьев спросили, есть ли что-нибудь в устройстве учреждения и его правилах, что они хотели бы изменить. Поскольку утвердительный ответ, однако, навлекал на того, кто его давал, "покаяние" и "дисциплину", ободряющая фраза, что "им нужно только говорить", отнюдь не делала их словоохотливыми, и каждый брат своим молчанием выражал свое удовлетворение.

Если смерть и была целью многих самоубийц, то, судя по всему, она была достигнута со всей очевидностью. Настоятели и несколько монахов достигли преклонного возраста; лишь некоторые из братьев умерли стариками. Контузия, воспаление легких и абсцесс (при воспоминании о минутном описании которого заболевает само сердце) уносили жертвы с ужасающей быстротой. Мужчины поступали, добровольно или по другой причине, в добром здравии. Если они поступали, решив покончить жизнь самоубийством, или их загоняло правительство с целью предать их смерти, то конец наступал скоро и, если верить прочитанному, встречался с готовностью. После быстрого, болезненного и неудержимого угасания страдалец с наступлением своего последнего часа видел, как на земле в форме креста рассыпается гарь; на гарь клали тонкую россыпь соломы, и это было смертным одром, на котором умирал каждый траппист. Тело хоронили в обычае ордена, как некоторые рыцари в паноптикуме, без гроба или савана, и несли к могиле в полотно, поддерживаемом несколькими братьями. Если она падала в свое последнее вместилище со сгорбленными конечностями, де Рансе прыгал в могилу и избавлялся от бессознательных членов, чтобы они приняли покойное положение.

В правилах номенклатуры, по-видимому, царила большая путаница. Во многих случаях, когда первоначальные названия имели нечистый или нелепый смысл, изменение было целесообразным. Но я не могу понять, как брат стал более узнаваем как христианин, приняв имя Палемон, Ахилл, Моисей или даже Дороти. Теодора я могу понять; но Дороти, хотя и имеет то же значение, кажется мне безразличным именем для монаха, даже в век, когда мужские Монморанси восхищались именем "Анна".

Никто из монахов не отличался излишней плотью. Некоторые из этих бывших солдат были настолько тонкокожими, что, когда они сидели на жестких стульях, их кости протирались

сквозь очень тонкий эпидермис. Этих страдальцев, да еще и с радостью, выставляли в качестве ярких примеров благочестия.

В этих изъеденных червями и листьями шафрана томах, чьи раскрытые страницы лежат сейчас передо мной, есть повод для вздоха. Я нахожу монаха, который провел бессонную ночь от избытка боли. Чтобы проверить его послушание, ему приказывают признаться, что он хорошо спал и ничего не испытывал. Покорный солдат подчиняется приказу своего генерала. Другой признается в готовности, как это сделал доктор Ньюман, отказаться от любого из своих намеренно созданных убеждений по приказу начальника. "Я восковой, - говорит он, - чтобы вы лепили меня, как хотите", и его безоговорочная сдача себя одобряется с большой ветреностью фразы. Третий, невзначай заметив, что его обжигающий бульон пересолен, раздражается слезами от чудовищности преступления, которое он совершил, пожаловавшись; после этого похвала сыплется на него гуще, чем соль в бульон: "Да, - говорит некогда рыцарь, а ныне аббат, - не молитвы, не бдения, не покаяния просит от тебя Бог, а смирения и послушания; и *прежде всего* послушания".

Чтобы проверить верность тех, кто исповедовал это смирение и послушание, самые возмутительные оскорбления наносились тем, кто в миру считался самым высокодуховным. Утверждают, что они никогда не оставались безуспешными. Некогда вспыльчивый солдат, а теперь бесстрастный монах, целовал сандалию, поднятую для удара, и благословлял руку, поднятую, чтобы ударить его. Гордый молодой офицер мушкетеров, в отношении которого у меня есть сильные подозрения, что он присвоил значительную часть денег его величества, признал, что он самый большой преступник, который когда-либо жил; но он упорно отрицал это, когда служители закона посетили монастырь и обвинили его в мошенничестве. Этот самый молодой воин не испытывал большего удовольствия, чем когда ему разрешали чистить вертепы в часовне и подсыпать в них свежие опилки. Другой, молодой маркиз и кавалер, с упоением исполнял подневольные обязанности еще более отвратительного характера. Этот монах был цветком братства. Он постоянно обвинял себя в самых отвратительных преступлениях, ни одного из которых он не совершил и не мог совершить. "Он представлял дела так изобретательно, - говорит де Рансе, который в данном случае является биографом, - что, не лгая, выдавал себя за мерзкого негодяя, которым на самом деле не был". Должно быть, он был похож на другого умного человека, который "лгал, как правда".

Когда я говорю, что он был цветком братства, я, вероятно, немного обижаю шевалье де Сантена, который под именем брата Палемона, несомненно, был главной гордостью Ла Траппа. Он был офицером в армии; не имел ни любви к Богу, ни уважения к мужчине, ни уважения к женщине, ни почтения к закону. Вследствие разрыва между Савойей и Францией он лишился ренты, на которую жил до сих пор. Поскольку его конституция была значительно расшатана, он в то же время пристрастился к чтению. Частично он обратился в веру, прочитав историю Иосифа; окончательно же он усовершенствовался, увидев мертвое тело очень старого и очень уродливого монаха, принявшего облик и красоту молодого человека.

Это было хорошим основанием для обращения; но граф - а кавалеры различных орденов были таковыми по происхождению - был таким отъявленным негодяем в миру, что те, кто жил в последнем, отказывались верить в благочестие брата Палемона. После этого его стали показывать всем желающим, и он давал готовые ответы на все вопросы, задаваемые ему многочисленными посетителями. На зрелище стекалась вся Франция, серьезная и светская, благородная и простая. Во главе их стоял некогда суверенный глава ордена Подвязки Яков II со своим незаконнорожденным сыном, от которого происходит французский герцогский род Фиц-Джеймс. Ответы Палемона на вопросы собеседников назидали бесчисленные толпы.

Он разделил восхищение с другим бывшим военным братом, который бесхитростно поведал смеющимся дамам, стекавшимся посмотреть на него, что нашел убежище в монастыре, потому что его государь пожелал, чтобы он женился на некой даме; но его душа возмущается при мысли о том, чтобы прикоснуться даже к кончикам пальцев представительницы того пола, от первого из которых погиб мир. Последующий смех был безмерным.

Отсюда ясно, что в монастыре время от времени происходили веселые развлечения и что те, кто носил оружие, не имели привычки закрывать глаза в присутствии дам. Среди наиболее примечательных рыцарских членов братства был некий Роберт Грэм, чей отец, полковник Грэм, приходился Монтрозу двоюродным братом. Роберт родился, как нам сказали, в "Шато де Ростурн", в нескольких лигах (это добавлено в помощь, полагаю, для недоумевающих путешественников) от Эдинбурга. По материнской линии он был родственником графа Перта, о котором биограф траппистов говорит, что он был даже более прославлен своим благочестием и тем, что претерпел ради религии, чем своим рыцарством, своим наместничеством или должностями верховного канцлера Англии и "губернатора принца Уэльского, ныне (1716) законного короля Великобритании". О матери Роберта, ревностной протестантке, говорят, что она имела "столько благочестия, сколько может иметь в ложной религии". Однако, несмотря на ее наставления, юный Роберт рано проявил склонность к римской религии; в возрасте десяти лет он посетил мессу в часовне Холируда, к большому неудовольствию своей матери. Когда он повторил свой визит, она приказала воспитателю хорошенько выпороть его; но юный джентльмен заявил, что и эта процедура не сможет убедить его принять пресвитерианство. Тогда он поспешил в дом лорда Перта, "самого недавно перешедшего из англиканской церкви", и попросил у него защиты. После того как были заключены некоторые семейные соглашения, юный протеже был официально и не без неохоты передан на попечение лорда Перта его матерью. Отец отдал его на воспитание с беспечностью, свойственной тем галлийцам, которых мало волнуют вопросы религии.

Обстоятельства вынудили графа покинуть Шотландию, и тогда Роберт поселился вместе с матерью в доме ее брата, благочестивого протестантского священника. Здесь он продемонстрировал ценность наставлений, полученных им от лорда Перта и его капеллана-римлянина, поведением, которое вызвало отвращение у каждого честного человека и ужас у каждой честной девицы во всей округе. Его достойный биограф откровенно говорит, что Роберт, отпав от папства, стал не протестантом, а атеистом. Дядя выгнал его из дома. Блудник отправился в Лондон, где буйно разгулялся; затем он отправился во Францию и поразил даже Париж дурной славой своих злодеяний. По пути через Фландрию он пару раз засомневался в мудрости своего поступка и колебался, пока можно было насчитать двадцать человек, между советом добрых священников и дурным примером солдат-якобитов, с которыми он поступил на службу. Последнее возобладало, и когда шевалье Роберт появился при дворе Сен-Жермена, лорд Перт представил беглым королю и королеве такого законченного негодяя, какого нет в христианстве.

При дворе изгнанника проявлялись приличия и уважение к религии. Юный Грэм приспособился к последующему влиянию. Он изучал французский язык, читал жития святых, поступил в семинарию в Мо и в конце концов исповедовал римскую религию. Теперь его охватило желание стать отшельником, но случай привел его в Ла-Траппе, и безрассудный распутник почувствовал, что его обличает проявленная там суровая добродетель, и в порыве энтузиазма он записался в postulants, распрощался с миром и посвятил себя молчанию, послушанию, смирению и аскетизму с совершенством, которое удивляло и тех, кто видел, и тех, кто слышал об этом. Лорд Перт воспротивился принятию Роберта в монастырь. Возникли серьезные трудности, и тогда постулат впал в грех. Он богохульствовал, поносил своих

родственников, давал клятвы, повергавшие всю братию в безмолвный ужас, и наконец написал письмо своему старому опекуну, настолько переполненное яростными и нечистыми эпитетами, что аббат отказался переслать его. Последовавшее за этим волнение привело к болезни; вместе с ней пришли размышления и печаль. В конце концов все трудности исчезли, и в канун праздника Всех Святых 1699 года Роберт Грэм стал монахом и сменил имя на имя брата Алексея. Король Яков посетил его, и был немало напутствован духовными наставлениями, которые давал ему троюродный брат галантного Монтроза. Новый монах был настолько совершенен в послушании, что зимой не бросал ни крошки полуголодному воробью, не испросив предварительно разрешения у своего духовного настоятеля. "В самом деле, - говорит его биограф, - я мог бы рассказать вам тысячу правдивых историй о нем, но они настолько необычны, что, думаю, мир не поверит ни одной из них". Биограф добавляет, что Алексей, после того как весь день копал и рубил дрова, мало ел, мало пил, непрестанно молился, не мылся и не раздевался, ложился; но чтобы провести ночь, не сомкнув глаз во сне! Он действительно был братом Вигилантия.

Известность его обращения оказала большое влияние. Отец Алексиса, полковник Грэм, принял романизм, а полковник и старший сын, который уже был монахом-капуцином, отправились в Ла-Траппе, где прием первого в церковь был отмечен двойной торжественностью - де Рансе умер во время службы. Говорят, что жена полковника Грэма покинула Шотландию после получения вышеупомянутых сведений, отправилась во Францию и там приняла ту форму веры, которой следовал ее несколько легкомысленный муж. Однако в этом вопросе есть большие сомнения.

Судьба молодого Роберта Грэма была похожа на судьбу большинства траппистов. Смертельный воздух, тяжелая работа, вахты, скудная пища и нечистота, царившая там, вскоре погубили человека, который был так же бесполезен для своих собратьев в монастыре, как и в мире. Его заточение было, по сути, быстрым самоубийством. Бедного мальчика схватила чахотка, ведь он был еще совсем мальчишкой, а его строгое следование суровой дисциплине этого места только способствовало развитию того, что при небольшом уходе можно было бы легко предотвратить. Его саржевое платье пронзили кариозные кости, пробившиеся сквозь больную кожу. Части его тела, на которых он неподвижно лежал, превратились в гангрены, и, похоже, ничего не было сделано для их устранения. Он терпеливо сносил все и ждал смерти с непонятным нетерпением. "Инfirmиер" посоветовал ему не так стремиться к могиле: "Я буду молить Бога, - сказал брат-кормилец, - чтобы он благоволил спасти вас". "А я, - сказал Алексис, - буду просить его не обращать на вас внимания". Дальнейшие подробности вряд ли нужны: достаточно сказать, что Роберт Грэм умер 21 мая 1701 года, спустя чуть более полугода после поступления в монастырь, в раннем возрасте двадцати двух лет. Отец и брат также умерли во Франции, и так закончился род рыцарских кузенов рыцарского Монтроза.

Великая добродетель, привитая в Ла-Траппе, была одной из заветных добродетелей старого рыцарства - повиновение определенным правилам. Но в их выполнении не было азарта. Телесные страдания доставались рыцарю лишь ради славы. В Ла Траппе это считалось единственным средством, позволяющим спастись от сатаны. Рыцарь креста приобрел спасение, пожертвовав своей жизнью; монах из Ла-Траппа - путем невыгодного самоубийства. У обоих, несомненно, была одна великая надежда, общая для всех христиан; но эта великая надежда, столь укрепляющая рыцаря, казалось, не избавляла трапписта от страха, что сатана более могущественен, чем Искупитель. Когда-то, более подробно рассматривая эту тему, я заметил, что во сне Кювье есть хорошая мораль, касающаяся

сатаны, и ее применение могло бы быть полезным для людей, подобных этим монахам. Только что названный великий философ однажды увидел во сне популярного представителя великого врага человека. Изверг приблизился к нему с громко выраженной решимостью "съесть его". "Съешьте меня!" - воскликнул Кювье, изучая его при этом взглядом натуралиста. "Съешьте меня! Рога! Копыта!" - добавил он, осматривая его. "Рога? Копыта? *Граминоядный!* Тебя можно не бояться!"

А теперь вернемся от религиозных орденов мужчин к рыцарским орденам дам. Самое время воскликнуть: *"Place aux Dames!"*

ЖЕНЩИНЫ-РЫЦАРИ И ЖАННА ДАРК.

Mein ist der Helm, und mir gehört er zu.- Schiller.

"Ордена для дам" были любимым делом королей и королев, императоров и императриц. Австрийская императрица Элеонора де Гонзага основала два ордена, в которые принимали только дам. Первый был учрежден в память о чудесном сохранении частицы истинного креста, которая спаслась от огня, едва не уничтожившего императорскую резиденцию, в 1668 году. Кроме этого ордена Креста, та же императрица учредила орден рабов добродетели. Вряд ли это был комплиментарный титул, ведь раб обязательно подразумевает обязательного и безвольного слугу. Число членов было ограничено тридцатью, и они должны были быть благородными и принадлежать к римской религии. Девиз гласил: *"Sole ubique triumphat"*, что, возможно, означало, что только тот, кто лучше всего служит добродетели, может получить от нее выгоду. Это не было возвышением добродетели как таковой. Скорее, она ставила ее на ту точку зрения, с которой ее рассматривала Памела, которая была слишком расчетливой молодой леди, чтобы заслужить все те хвалебные отзывы, которыми ее осыпали.

Другая императрица Германии, Елизавета Кристиана, в начале прошлого века основала в Вене Орден добрососедской любви. В него входили лица обоих полов, но никто не считался соседом, если не был благородным. Что касается численности, то она была неограниченной. Девиз ордена - *Amor Proximi*; девиз, который точно характеризовал чувства королевы Гвиневеры к любому красивому рыцарю, оказавшемуся ее соседом на время. "Проксимус" на собраниях ордена был, конечно, того удобного рода, что позволяло всем членам ордена извлекать пользу из его применения. У них могла бы быть особенно подходящая песня, если бы только у них был Беранже, чтобы петь так, как это делает французский лирик.

В Германии также существовал орден, предназначенный только для дам, который носил очень мрачный характер. Это был Орден Головы Смерти; он был основан всего два века назад герцогом Виртембургским, который постановил, что во главе его всегда должна стоять принцесса этого дома. Правила обязывали дам к поведению, которое они вряд ли стали бы соблюдать, если бы правила христианства не были достаточно сильны, чтобы связать их; и, вероятно, многие прекрасные дамы, носившие двойной крест, с головой смерти, отходящей от нижней, смотрели на девиз *"Memento Mori"*, как на напоминание смелым любовникам, которые осмеливались смотреть на *них*.

Из дамских орденов Франция подарила нам, во-первых, орден Кордельеров, основанный Анной Бретанской, которая принесла Карлу VIII независимое герцогство в качестве дани и

сделала для французского двора то, что королева Шарлотта сделала для английского в гораздо более поздний период. Другая Анна, Австрийская, жена Людовика XIII, а по некоторым данным, и кардинала Мазарина, основала для дам орден Небесного ошейника Святого Розария. В него входили пятьдесят молодых дам из первых семей Франции; все они носили, в дополнение к другим и очень очаровательным знакам отличия, висевшим на шее, портрет святого Доминика, который оказался в наилучшем положении, чтобы привить девичьему лону всевозможные добрые принципы.

Орден Пчелы был основан полтора века назад Луизой де Бурбон, герцогиней Мэнской. Знак отличия представлял собой медаль, на одной стороне которой был изображен портрет герцогини, а на другой - фигурка пчелы с девизом *"Je suis petite, mais mes piqueures sont profondes"*.

В России Петр Великий основал орден Святой Екатерины в честь своей жены и дал ему девиз: *"За любовь и верность родине"*. Сначала он предназначался для мужчин, но в итоге стал исключительно женским орденом. Аналогичные изменения потребовались и испанскому ордену Дамы Милосердия, основанному в XIII веке Яковом, королем Арагона. В Испании существовали и другие женские ордена, и все они ставили своей целью поддержание религии, порядка и добродетели. В некоторых случаях членство в них присваивалось в знак признания заслуг. Кто забудет мисс Джейн Портер в ее костюме и со знаками отличия дамы одного из орденов польского женского рыцарства, и кто не знает, что миссис Отвей недавно была награждена королевой Испании орденом Марии Луизы?

Орден Святой Ульрики в Швеции был основан в 1734 году в честь дамы, правящей королевы, и в память о свободе, которую Швеция обрела и которой наслаждалась с момента ее воцарения. Кандидаты в рыцари этого ордена должны были обладать двумя особыми качествами. Необходимо было, чтобы общественный трибунал объявил, что они являются людьми чистого общественного духа; кроме того, от них требовалось доказать, что, служа стране, они никогда не руководствовались мотивами частных интересов. Когда орден только собирался быть основанным, на рыцарскую честь претендовало не менее пятисот кандидатов. Из них было отобрано только пятьдесят, и был издан указ о том, что число рыцарей никогда не должно превышать этого количества. Это был ненужный указ, если бы к требуемым квалификациям предъявлялись строгие требования. Но при присвоении почестей вообще часто не было особой связи между причиной и следствием; как, например, после того, как генерал-майору Симпсону не удалось одержать победу, которая была в его власти благодаря доблести наших войск при Редане, правительство страны было так восхищено, что произвело в фельдмаршалы двух очень старых джентльменов. Этот пример не остался без внимания короля бельгийцев. Он тоже отметил падение Севастополя увеличением числа своих рыцарей. Он не мог разбрасывать награды среди своей армии, поскольку та была всего лишь военной полицией, но он выбрал столь же разрушительное тело и назвал восемнадцать докторов рыцарями святого Леопольда.

Эти ордена, учрежденные позднее, похоже, забыли об одном из главных принципов рыцарства - любви к дамам, но, возможно, это и к лучшему. Когда Людовик II, герцог Бурбонский, учредил орден Золотого щита, он отнюдь не был столь забывчив. Он предписывал своим рыцарям почитать дам превыше всего и никогда не позволять никому безнаказанно клеветать на них; "потому что, - говорил добрый герцог, - после Бога мы всем обязаны трудам дам и всей чести, которую может приобрести человек". Одно из этих утверждений, безусловно, не может быть опровергнуто.

Однако самой прославленной из женщин-рыцарей, без сомнения, является Орлеанская дева. Бедная Жанна Дарк, как мне кажется, была и прославленной дурочкой, и невинной жертвой. Как и Шарлотта Кордей, бедствия ее страны тяготили ее дух, и, как следствие, ее страстное желание облегчить их, привело к тому, что она стала подходящим инструментом для достижения желаемой цели. Бедная Шарлотта Кордей сама поручила себе совершить героический поступок, украсивший ее имя, а Жанну Дарк, очевидно, поручили другие.

Первым шагом Жанны к Дофину стало обращение за помощью к гордому де Бодрикуру, проживавшему неподалеку от родного Домреми. Какой бы благочестивой ни была молодая девушка, де Бодрикур был не тем человеком, который мог бы устроить ей публичный прием, если бы к этому не привели какие-то предвиденные обстоятельства. Ей нужна была его помощь, чтобы она могла отправиться в Шинон. Ответ великого вождя гласил, что ей нельзя туда ехать. Служанка, которая всегда отличалась необыкновенной сообразительностью в ответах, ответила, что пойдет в Шинон, даже если ей придется ползти на коленях. Она пошла, и обстоятельства, когда молодая девушка, имевшая привычку общаться с ангелами и архангелами, таким образом одолела, казалось бы, самого могущественного человека в округе, стали для обывателей достаточным доказательством того, откуда она черпала свою силу и власть. Корпус священников, которые последовали за ней, как только ее божественная миссия была признана или придумана двором, придал ей дополнительное влияние и освятил в ее собственном сознании ее несомненно искренний энтузиазм. Молодая девушка выполнила все, что обещала, а взамен подверглась варварскому обращению со стороны друзей и врагов и самому адскому предательству со стороны Церкви, под чьим благословением она подняла свое знамя. Она обязалась освободить Орлеан от страшной английской армии, державшей его в тесной осаде, и благородно выполнила свое обещание. Можно заметить, что первым человеком, убитым во время осады, была молодая женщина по имени Белль, и таким образом представительницы прекрасного пола стали первой жертвой, а также великой завоевательницей в этом замечательном конфликте.

Я опускаю общие детали, чтобы иметь больше места для того, чтобы отметить конкретные иллюстративные обстоятельства, касающиеся нашей женщины воина. Жанна, надо признать, была чрезвычайно смела как в утверждениях, так и в ответах. Она восхитила бы и Сведенборгиан, с какой готовностью она заявляла, что общается с духами небес и пророками древности. Ничто не было так просто, как заставить ее поверить в это; и она была готова отрицать предполагаемый факт, когда ее клерикальные обвинители в день ее несчастья заявили, что такая вера была внушением дьявола. Я думаю, что в ответе Жанны было немного юмора и упрека, что она не будет утверждать или отрицать ничего, кроме того, что ей предписано Церковью.

Между тем на протяжении своей короткой, но славной карьеры она проявляла истинно рыцарский дух. Она не боялась ни одного человека, даже храброго Дюнуа. "Мерзавец, мерзавец!" - сказала она ему однажды, - "во имя Бога, послушай меня; я приказываю тебе сообщить мне о прибытии Фастольфа, как только оно произойдет; ибо, слушай, если он проедет без моего ведома, даю тебе слово, ты лишишься головы". После этого она приступила к ужину из сухого хлеба и вина с водой - полпинты первого и две пинты последнего - со спокойным видом человека, способного и решительно настроенного на осуществление любой угрозы.

Совершенно очевидно, что ее братья-рыцари, хотя и пользовались ее услугами и подчинялись (с некоторой неохотой) ее приказам, не думали и не говорили о ней ничего

хорошего. Их комментарии не были комплиментарны для репутации девственницы, которую жюри принцесс с королевой в качестве старшины признало безупречной. Она даже рисковала своим *престижем* среди простых людей, но, как правило, мерами, которые приводили к его укреплению. Так, отбив у англичан форт Августинов, она уничтожила все найденные там богатые вещи и развратное вино, чтобы не развратить мужчин, потворствуя им в этом. Можно вспомнить, что Густавус Ваза привел в крайнее отвращение своих доблестных далекарлийцев подобным проявлением здоровой дисциплины.

Дева, несомненно, ставила работу по сражению выше удовольствия от пиршества. Когда она собиралась выйти из своего жилища, чтобы возглавить атаку на бастион Турель, где, по ее прогнозам, она будет ранена, хозяин вежливо попросил ее остаться и отведать блюда из свежешвыловленной шэда. Было 7 мая, и шэд был как раз в сезон; немцы называют его своеобразной "майской рыбой". Жанна не поддавалась искушению. "Оставьте рыбу до вечера, - сказала она, - пока я не вернусь из боя; я приведу с собой Годена [Goden - "бог д-н", англичанин], чтобы он поужинал".

Она была не более готова на язык, чем на глаз. Примером последнего может служить случай, произошедший в Жаржо. Она разведывала место на значительном расстоянии. Это было более чем за полтора века до того, как Ганс Липпершай, миддлбургский мастер по изготовлению очков, изобрел и еще больше до того, как Галилей усовершенствовал телескоп. С Жанной был герцог д'Аленсон, и она велела ему отойти в сторону, так как враги направили на него пистолет. Герцог послушался, ибо знал ее остроту зрения; выстрелили, и де Люде, анжуйский дворянин, стоявший на одной линии с местом, которое занимал герцог, был убит - что, должно быть, очень порадовало герцога!

Я уже говорил, что некоторые рыцари не испытывали особого уважения к галантной горничной. Некоторые, несомненно, возражали против небесного вдохновения с ее стороны. Один, по крайней мере, не был столь категоричен. Я имею в виду барона де Ришмона, который был изгнан со двора за небольшой проступок - убийство Канны де Болье. Барон восстановил свое доброе имя активной религиозной деятельностью, проявлявшейся в том, что он охотился за колдунами и ведьмами и сжигал их живьем, на радость и в назидание скучным жителям деревни. Этот благочестивый человек нанес визит Жанне, надеясь получить благодаря ее заступничеству королевское разрешение на участие в войне. Опальный рыцарь, который привел с собой несколько тысяч человек, когда они были особенно нужны, вряд ли встретил бы отказ в услугах, и просимое разрешение было быстро получено. Жанна игриво упомянула о собственном сверхъестественном вдохновении и о призвании барона как "охотника на ведьм". "Ну что ж, - сказал де Ришмон, - что касается вас, то мне остается только сказать, что трудно что-либо сказать; но если вы с небес, то не мне вас бояться; а если вы от дьявола, то я не боюсь даже того, кто в таком случае вас посылает". После этого они весело рассмеялись и стали говорить о предстоящей на следующий день битве.

Сражение произошло на поле Патэ, где галантный Тальбот попал в плен к не менее галантному Сентрайлю. Когда великого английского полководца привели в присутствие Жанны, его с добрым юмором спросили, ожидал ли он такого результата накануне. "Такова военная удача", - философски воскликнул неподражаемый Джон; тем самым он сделал солдатское замечание, которое с тех пор часто звучит в устах доблестных потомков французских рыцарей, услышавших его, и которое часто цитируется как имеющее галльское происхождение. Но, опять же, я думаю, что "fortuna belli" не была редкой фразой, возможно, в старые времена, когда еще не было французского языка.

И здесь, говоря о происхождении, позвольте мне отметить одно интересное обстоятельство. Жанну Дарк обычно называют Жанной Д'Арк, как будто она была облагорожена. Так оно и было, но не под этим именем. К старой фамилии было добавлено имя *дю Лис*, в знак уважения к Лилии Франции, которой эта семья так хорошо служила. Братья Жанны, теперь уже Дарк дю Лис, поступили на службу в армию. Когда Гиз послал французские войска в Шотландию, среди них было несколько галантных джентльменов с фамилией Лис. Вероятно, они поселились в Каледонии, поскольку эта фамилия там не редкость; в 48-м полку есть галантный майор, который носит ее и, возможно, обязан своим происхождением благодетельствованным братьям "Орлеанской девы".

Жанна не была настолько поражена, чтобы считать, что благородство выше пустыни ее поступков. Когда ее родственники, включая братьев, Петра и Иоанна, поздравляли ее и себя со всем, что она совершила, она сказала: "Мои деяния по правде принадлежат сану; но столь же великой правды никогда не читал клирик, как бы ни был он глубок в церковной учености". Степень благородства, положенная достойной девушке, была графиней. Ее дом состоял из стюарда, алмонера, оруженосца, пажей, "ручных, ножных и камерных людей", независимо от благородных девиц, которые ухаживали за ней, и которым, похоже, одинаково прислуживали три "камердинера" (*valets de main, de pied, et de chambre*).

Но недолговечна была эта слава; нет, я не скажу *этого*, скорее замечу, что недолговечно было земное великолепие рыцарственной миледи графини. Она успела оказать все возможные услуги, когда была ранена под Парижем и на некоторое время подло покинута своей же партией. В конце концов она была спасена д'Аленсоном, но только для того, чтобы быть еще более позорно брошенной с одной стороны и злобно обойденной с другой. Когда ее, истекающую кровью пленницу, грубо утащили с поля боя в Компьене, церковь, двор и рыцарство позорно бросили бедную и храбрую девушку, которая служила всем троим по очереди. Теперь все трое преследовали ее столь же яростно; и можно с уверенностью сказать, что если англичане были рады сжечь ее как ведьму, чтобы отчитаться за поражение англичан и их союзников, то французы не менее охотно давали показания против нее.

Ее нерешительность и колебания после того, как она попала в руки своих врагов, казалось бы, должны были показать, что, если не считать побуждений тех, кто ее направлял, она была всего лишь заурядной личностью. Однако она никогда не падала духом, и ее природное остроумие не покидало ее. "Один из членов комиссии, проводившей экспертизу, задал вопрос: "Был ли Святой Михаил обнажен, когда явился вам? На что Жанна ответила: "Неужели вы думаете, что у небес нет средств, чтобы одеть его?" "Были ли у него волосы на голове?" - был следующий резонный вопрос. Жанна ответила на него другим вопросом: "Будьте добры, скажите мне, - сказала она, - почему голова Майкла должна была быть обрита?" Конечно, было легко обвинить предвзятую и заранее обреченную особу в том, что она бросила своих родителей, вела бродячую и неблагоприятную жизнь, занималась колдовством и, наконец, ересью. Ее пытались заманить в ловушку и заставить отвечать на вопросы, которые доказывали ее виновность; но, не обращая внимания на запутанную паутину, плотно сплетенную вокруг нее, и понимая, что ничто не может ее спасти, сердце рыцарской девы забилося с новой силой, и в качестве краткого ответа на все вопросы она коротко и решительно заявила: "Все, что я делала, все, что я делаю, я делала хорошо, и делаю хорошо, чтобы делать это". По ее собственным словам, "все, что я сделала, все, что я делаю, я сделала хорошо и делаю хорошо"; и это было просто достойное *резюме* в присутствии высокородных церковников, которые не стеснялись лгать друг другу, как простые пахари.

Ее приговорили к смерти, и она понесла наказание, как виновная в позоре, социальном, моральном, религиозном и политическом. Ни один палец не протянулся, чтобы спасти ее, которая спасла столько людей. Ее убийство - несмываемое пятно на двух нациях и одной церкви; тем более что обе нации объединились в почитании ее памяти, а церковь признала ее невиновной. Никогда галантная чемпионка не встречала такой подлой неблагодарности со стороны партии, поднятой ее средствами из ничтожного рабства к триумфу; никогда благородный враг не обращался так неблагородно с противником, у которого признание и восхищение доблестью соседствует с практикой ее исполнения; и никогда посох, выбранный церковью для своей поддержки, не был так легко сломан и брошен в огонь, когда он отслужил свое. Вся скорбь в мире не может изгладить эти ужасные факты, но вполне уместно, чтобы эта скорбь всегда сопровождала наше восхищение. Итак, да будет почтена память молодой девушки из Орлеана!

В конце концов, это вопрос, не отбросим ли мы наши симпатии, когда будем сочувствовать Жанне Дарк. Месье Делепьер, секретарь бельгийского легата, напечатал для частного распространения свою "Историческую книгу" (Doute Historique). Эта работа состоит в основном из официальных документов, показывающих, что "горничная" никогда не страдала, но что вместо нее был казнен какой-то преступник, и она дожила до пенсии, стала замужней дамой и матерью семейства! Труд, в котором представлены эти документы, нелегко достать, но те, кто хоть немного интересуется этим вопросом, найдут в "Атенеуме" подробное описание этой темы. Это "Историческое сомнение" так тесно связывает нас с романтикой, что мы, пожалуй, не можем сделать ничего лучше для иллюстрации нашего предмета, чем обратиться к чисто романтической теме и посмотреть, из какого металла были сделаны чемпионы христианства в отношении рыцарства.

ЧЕМПИОНЫ ХРИСТИАНСТВА ВООБЩЕ И АНГЛИИ В ЧАСТНОСТИ.

"Правда ли это?"

Тысячи людей набрасываются на них на улицах".

Сеянус "Его падение".

Вряд ли я могу выразить восторг, который испытываю как биограф в данном случае от того отрадного факта, что никто ничего не знает о происхождении святого Георгия. Если бы существовало генеалогическое древо великого чемпиона, шансы на то, что я запутался бы в ветвях, были бы невелики. Поскольку здесь только много догадок с большой долей утверждений, задача вдвойне легка, тем более что сам вопрос имеет самое незначительное значение.

Первым доказательством того, что наш национальный покровитель вообще когда-либо существовал, по мнению мистера Албана Батлера, является то, что греки почитали его под именем "великомученика". Дальнейшим доказательством схожего качества служит тот факт, что в Греции и различных частях Леванта существуют или существовали десятки церквей, возведенных в честь рыцарского святого; что Грузия приняла святого рыцаря за своего особого покровителя; и что св. Георгий в полном облачении выиграл бесчисленное множество сражений для христиан, ведя вперед резервы, когда авангард был отбит

неверными, а сами христианские генералы были слишком ленивы, больны или некомпетентны, чтобы сделать то, что они ожидали от святого Георгия.

С Востока почитание этого имени и некоего воображаемого человека, который когда-то носил его, распространилось на весь Запад. Любопытно, что задолго до того, как Англия поставила себя под щит этого религиозного воина, Франция выбрала его, по крайней мере, в качестве полезного адъютанта или помощника Сен-Дени. Действительно, одно время наш святой был почти монополизирован Францией. Святая Клотильда, жена первого христианского короля Франции, воздвигла множество алтарей в его честь - этот факт не был забыт в декорациях и иллюстрациях той великолепной церкви, которая только что была завершена в Фобур-Сен-Жермен и которая является одновременно гордостью и славой Парижа. Когда-то в этом городе хранились реликвии, которые, как говорят, принадлежали Святому Георгию; но о том, где они находятся, сейчас никто ничего не знает. Однако мы знаем, что норманны принесли с собой имя святого, как имя того, на чью руку они уповали, будь то в списках или в бою. В этом отношении у нас, саксов, если мы хотим считать себя таковыми, нет особых причин быть благодарными святому, поскольку его присутствие среди нас - это символ национального поражения, если не национального унижения. Однако прошло не более шести столетий с тех пор, как великий Оксфордский совет назначил его праздник святым днем меньшего ранга по всей Англии; и прошло около пятисот лет с тех пор, как Эдуард III учредил орден Подвязки под покровительством этого святого. Этот орден гораздо древнее ордена Святого Михаила, учрежденного Людовиком XI, Золотого руна, придуманного "добрым" герцогом Филиппом Бургундским, который обманывал всех, кому посчастливилось попасть под его герцогские ножницы, и шотландского ордена Святого Андрея, который почти на два столетия моложе ордена Святого Георгия. Венеция, Генуя и Германия также учредили рыцарские ордена в честь этого неизвестного кавалера.

Однако эти почести и всеобщее почитание ничего не доказывают о его рождении, воспитании и образовании. Возможно, именно потому, что ни о том, ни о другом ничего не известно, его более серьезные биографы начинают с его кончины и пишут его историю, которую, как одну из сказок Зшокке, можно было бы написать "Alles Verkerht". Они сообщают нам, что он пострадал при Диоклетиане, в Никомидии, 23 апреля. Далее нам сообщают, что он был каппадокийцем - потомком тех диких подневольных людей, которые однажды заявили римлянам, что не примут свободу от рук Рима и не потерпят ее по своей воле. Говорят, он был благородного происхождения и после смерти отца поселился вместе с матерью в Палестине, в поместье, которое в конце концов стало его собственностью. Молодой сквайр был красивым и крепким юношей и, как многие представители *этой* профессии, любил военную жизнь. Его продвижение по службе, должно быть, было довольно быстрым, так как, согласно традиции, в очень раннем возрасте он был трибуном или полковником в армии, а перед преждевременной смертью - человеком гораздо более высокого ранга. Его представления о дисциплине были хорошими: когда император-язычник преследовал христиан, Георгий Каппадокийский отказался от своих полномочий и назначений, и только потом, когда он был рядовым, он решительно выступил перед своим бывшим главнокомандующим против кровавых указов и жестокости этого государя по отношению к христианам. Эта праведная смелость была варварски отомщена, и на следующий день после выступления галантный солдат лишился головы. Некоторые авторы добавляют к этому рассказу, что он был тем самым "прославленным юношей", который срывал антихристианские эдикты, когда они впервые были вывешены в Никомидии, - предположение, которое агиографы называют "правдоподобным", но которое не имеет и тени доказательств, чтобы дать гарантию его обоснованности.

Причина, по которой все рыцари и воины в целом доверяли святому Георгию, основана, как нам говорят, на *фактах* его повторного появления на земле в различные периоды, и особенно во время великой осады Антиохии во времена крестовых походов. Христиане были почти так же основательно разбиты, как русские при Силистрии. Они находились в самом крайнем положении, когда из горного дефиле показался отряд, во главе которого шли три рыцаря в блестящих панатиях и белоснежных шарфах. "Вот, - вскричал епископ Адемар, - небесная помощь, которая была вам обещана! Небеса призывают к христианам. Святые мученики Георгий, Димитрий и Феодор пришли сражаться за вас". Эффект был потрясающим. Христианское войско устремилось к победе с криком: "Такова воля Божья!", а эффект своевременного появления трех вождей и их отряда, который с ожесточением обрушился на сарацин, стал решающим для одного из самых славных, но лишь временно принесших плоды триумфов.

Когда Ричард I отправился в поход против врагов той же расы, он тоже был избавлен от тяжелого положения видением святого Георгия. Армия, правда, не видела этого славного и вдохновляющего зрелища, но король утверждал, что видел, что в те легковверные времена было совсем не лишним. В наши дни люди менее доверчивы, а святые более осторожны. Таким образом, москвичи напали на Карс, думая, что с ними был святой Сергей; в любом случае, Пача Уильямс, хорошее дело и крепкое оружие оказались сильнее москвичей и святого Сергия в придачу.

Таково жизнеописание нашего боевого святого. Гиббон обрисовал его жизнь с другой точки зрения - деловой, если не сказать фактической. Ужасный историк описывает нашего великого покровителя как родившегося в лавке фуллера в Киликии, получившего образование (возможно, в Каппадокии) и в молодости добившегося от своих покровителей такого продвижения по службе благодаря умелому использованию своей профессии паразита, что получил благодаря их влиянию "выгодное поручение или контракт на снабжение армии беконом!". Говорят, что на этой работе в комиссариате он занимался мошенничеством и коррупцией, что может означать, что он отправлял в армию бекон, ржавый, как старый кираса, и назначал высокую цену за бесполезный товар. В наше время, когда имя и характер святого Георгия утвердились, можно надеяться, что христианские поставщики для христианских армий не будут, почитая Георгия Святого, подражать действиям, в которых он обвинялся как Георгий-подрядчик. Действительно, было бы трудно, если бы современный подрядчик, отправляющий испорченное сено для кавалерии, несъедобную пищу для армии в целом или ядовитое мясо в горшочках для флота, мог бы прикрываться именем и примером святого Георгия. Гиббон выдвигает против него столь же серьезные обвинения, добавляя, что злодеяния благочестивого мошенника "были настолько известны, что Георгий был вынужден скрыться от правосудия". Если он и спас свое состояние, то, как можно предположить, потерпел кораблекрушение своей чести; и он, конечно, не улучшил свою репутацию, если, как утверждается, перешел в арианство. Карьера нашего святого покровителя, описанная Гиббоном, поражает воображение. Этот писатель говорит о великолепной библиотеке, собранной впоследствии Георгием, но намекает, что тома по истории, риторике, философии и богословию, возможно, были скорее доказательством хвастовства, чем любви к учебе. То, что Георгий был возведен интригами фракции на папский престол Афанасия в Александрии, нас не удивляет. В те ранние времена епископы избирались очень нерегулярно, и иногда учителей сгоряча назначали люди, которые сами нуждались в обучении, как это происходит в некоторых просвещенных районах в настоящее время. Георгий демонстрировал имперскую помпезность в своем архиепископском характере, "но он все еще предавался порокам своего низкого и подневольного происхождения", однако был настолько беспристрастен, что угнетал и грабил

все партии одинаково. "Александрийские купцы, - пишет историк "Упадки и падения", - обеднели из-за несправедливой и почти всеобщей монополии, которую он приобрел на селитру, соль, бумагу, похороны и т. д., а духовный отец великого народа снисходил до того, что практиковал гнусные и пагубные искусства доносчика. Похоже, он так же зорко следил за выгодой, которую можно извлечь из погребений, как и некий архидиакон, считающий, что погребение мертвых внутри дома - очень гигиеничная мера для живых и особенно выгодная для духовенства. Таким образом, пример святого Георгия, по-видимому, мог повлиять как на очень "почтенных", так и на очень "воинственных" господ. Каппадокиец особенно возмутил александрийцев тем, что по собственной инициативе ввел налог на дом, а поскольку он грабил и языческие храмы, все стороны в конце концов поднялись против общего угнетателя, и "в царствование Константина он был изгнан яростью и справедливостью народа". Он был восстановлен только для того, чтобы снова пасть. Воцарение Юлиана принесло гибель архиепископу и многим его друзьям, которые после трехнедельного заточения были вытащены из темниц диким и жестоким народом и убиты на улицах. Тела были торжественно провезены на верблюдах (как тело Конде его католические противники после битвы при Жарнаке провезли на осле), и в конце концов их бросили в море. Эта последняя мера была принята для того, чтобы, если страдальцы будут причислены к мученикам, по крайней мере, не осталось их мощей, которым люди могли бы поклоняться. Гиббон заключает: "Опасения язычников были справедливы, а их меры предосторожности - неэффективны. Заслуженная смерть архиепископа уничтожила память о его жизни. Соперник Афанасия был дорог и священен для ариан, и кажущееся обращение этих сектантов ввело его поклонение в лоно католической церкви. Одиозный незнакомец, маскируя все обстоятельства времени и места, принял звание мученика, святого и христианского героя, а печально известный Георгий из Каппадокии превратился в знаменитого Святого Георгия из Англии, покровителя оружия, рыцарства и подвязки".

Романтики обращались с Георгием и его рыцарским братством на свой манер. В качестве примера того, каким чтением наслаждались наши предки, особенно те, кто любил рыцарские темы, я не знаю ничего лучше, чем "Знаменитая история семи чемпионов христианства, святого Георгия из Англии, святого Дениса из Франции, святого Иакова из Испании, святого Антония из Италии, святого Андрея из Шотландии, святого Патрика из Ирландии и святого Давида из Уэльса. Рассказывая об их почетных сражениях на море и на суше. Их тильты, юсты, дамские турниры; их битвы с гигантами, чудовищами и драконами; их приключения в чужих странах; их чары в Святой Земле; их рыцарство, доблесть и рыцарская честь в Европе, Африке и Азии; их победы над врагами Христа; также истинный способ и места их смерти, семь трагедий, и как они стали называться Семью Святыми Христианства." Любезный автор или издатель этих достоверных сведений предваряет их кратким обращением "ко всем любезным читателям", которым "Ричард Джонсон желает приумножения добродетельных знаний". "Не уподобляйтесь, - говорит он, - болтливым журавлям и приятелям Момуса, которые каркают на все лады. Что говорят простые, мне безразлично. Что говорят злобные, я не замечаю; только порицание тщеславных", под которыми добрый Ричард подразумевает ученых, "я выдерживаю; это та отметка, к которой я стремлюсь" - обращение, можно заметить, смахивающее на школу Малапропа; но оно казалось более естественным для наших предков, чем для нас.

Для этих читателей Ричард Джонсон представляет очень приправленное блюдо. Он приводит нашего святого покровителя в мир благодаря кесарийской операции, проведенной ведьмой, которая украла его у бессознательной матери и вырастила в пещере, откуда юный рыцарь в конце концов сбежал вместе с другими чемпионами, которых ведьма, теперь уже убитая, держала в заточении. Следует отметить, что чемпионы путешествуют с быстротой,

которая насмехается над "Экспрессом" и соперничает с оперативностью электрического телеграфа. Едва они сошли с семи тропинок, ведущих от медной колонны, каждый в поисках приключений, как все они оказываются "в гуще событий", почти у антиподов. На одном дыхании Святой Георгий добирается из Ковентри, своего восстановленного дома, после того как покинул ведьму, в Египет. Там он убивает страшного дракона, что, по мнению некоторых, означает победу ариан над афанасианами, и спасает принцессу Сабру, в чьей очень либеральной любви вряд ли можно найти символ Церкви, хотя ее антипатии достаточно сильны, чтобы напомнить об *odium theologicum*. Джордж продолжает совершать потрясающие подвиги, не получая никакой благодарности, пока не берется зарезать пару львов для персидского солдата, и за свои мучения попадает в тюрьму на семь лет. Биограф, как я подозреваю, запер рыцаря так надолго, чтобы иметь повод начать эпизодически с жизни Сен-Дени.

Мистическое число семь входит во все основные разделы этой истории. Так, святой Денис, забредя в Фессалию, оказался в таком бедственном положении, что стал питаться туловыми ягодами, а они так ему не понравились, что он внезапно превратился в арта - очень нелогичная последовательность. А туловое дерево на самом деле было дочерью царя Эглантия, превратившейся в метаморфа из-за своей гордыни. Так он пробыл семь лет; по истечении этого срока его конь, мудрый, как любой лекарь, принявший сан, дал ему отвар из роз, который привел к превращению и его господина, и любовницы его господина в их "человеческие формы". То, что они отправились в суд заклетыми любовниками, можно считать само собой разумеющимся. Их оставили, чтобы дать автору возможность показать, как святой Иаков, самым неортодоксальным образом влюбившись в еврейскую девицу, в результате онемел на семь лет. Однако святой Иаков - терпеливый и настойчивый любовник. Если бы у меня был злой умысел против кого-либо, я бы посоветовал ему прочитать эту очень длинную историю, но, будучи в мире со всем человечеством, я советую читателям довольствоваться тем, что апостольский чемпион и юная еврейка в конце концов соединились и отправились в Севилью, где поселились в меблированных домиках и вели счастливую жизнь; в то время как автор рассказывает о том, что случилось с мужественным святым Антонием.

Этот знатный итальянец умеет покорять великанов и дам. Жизнь этого чемпиона изобилует битвами и разрушениями, любовными утехами и речами; и когда мы вынуждены оставить его путешествующим с фракийской дамой, которая сопровождает его в театральном мужском платье и выглядит в нем как герцогиня - по крайней мере, как мисс Фареброзер в щегольском белом сержанте из "Сорока воров", - мы качаем головой в сторону св. Антония и думаем, как не похож он на своего тезку на гравюре Калло, где самая прекрасная из сирен не могла выжать вздох из морщинистого сердца якоря.

Пока они путешествуют в довольно неблагоприятной манере, о которой говорилось выше, мы сталкиваемся со святым Андреем Шотландским, у которого больше разнообразных приключений, чем у любого другого из чемпионов. Каждый час с ним происходит новое происшествие. То он сражается с духами, то борется с человеческими врагами, а то и вовсе вступает в неприятную схватку со зверями. А в конце всех этих схваток появляется... едва ли стоит говорить об этом - дама. В этом отношении шотландец вряд ли отставал от своих коллег-чемпионов. У Эндрю их шесть, они были лебедями, а теперь - прирожденные певуны. О том, что за клинок был у святого Эндрю, можно догадаться по тому факту, что когда он покидал королевский двор, куда проводил полдюжины дам, все они в полном составе бежали за ним. Никогда не было такого лихого героя, о котором мечтали романтики - хотя

рифмоплеты и сбивали с пути равных ему в ухаживаниях, и "Финлей" Бернса - единственный, кто может выдержать параллель.

Когда шесть фракийских дам попадают во власть "тридцати кровожадных сатиров", кто так может или так счастлив спасти их, как веселый святой Патрик. Как он летит на помощь, убивает одного сатира, обращает в бегство остальных и, верный, как сталь, любви или дружбе, берет под руку полдюжины девиц и поет вместе с ними в поисках бродячего шотландца! Что касается святого Давида, то все это время он не был таким победоносным и не был так испытан, как его товарищи. Он попал в дурную компанию, и "четыре прекрасные девицы завернули пьяного чемпиона в простыню из тонкого арабского шелка и отнесли в пещеру, расположенную посреди сада, где уложили его на ложе, более мягкое, чем пух Калверса". В этой приятной компании валлийский чемпион провел свои семь лет. Это было приятно, но не правильно. Но если бы автор не избавился от него таким образом, как вы думаете, смог бы он когда-нибудь вернуться к святому Георгию Английскому? Автор действительно проявляет немалое мастерство, ибо сводит вместе святого Георгия и святого Давида, и первый спасает второго от бесчестного заточения и, что еще хуже, от самого прозаического чародея, с которым я когда-либо встречался в истории, и который на самом деле вовсе не чарует. Покончив с этим, Джордж отправляется в Триполи.

Там, неподалеку, или где-то еще, поскольку романы ужасно небрежны в топографии, он встречается со своей старой любовью Саброй, которая замужем за мавританским королем. Если Джордж и недоумевает по этому поводу, видя, что дама обязалась оставаться незамужней девой, пока он не придет к ней свататься, то еще больше он недоумевает, когда она сообщает ему, что, по сути, сдержала свое слово "благодаря тайной силе золотой цепи, пропитанной кровью тигра, которую она семь раз дважды надевала на свою шею из слоновой кости". Святой Георгий не знает, что и думать об этом, но поскольку впоследствии, когда ему встретились два льва, Сабра, пока он расправлялся с одним, спокойно держала другого, положив его голову себе на колени, рыцарь объявил себя полностью удовлетворенным, и они отправились в путь, любя друг друга.

По счастливой случайности все странствующие рыцари и их дамы встретились при дворе греческого короля, о котором, конечно же, не упоминается ни в истории Гиллиса, ни в истории Голдсмита. Декорации теперь великолепны, ведь здесь и пешая царская свадьба, и турниры, и настоящая война язычества против всего христианства. Поскольку чемпионы христианства до сих пор сделали мало, чтобы оправдать свое название, можно было бы предположить, что настало время, когда они должны дать миру попробовать свои качества в этом отношении. Но ничего подобного не происходит. Семь достойных людей расходятся, каждый в свою страну, чтобы подготовиться к великим делам; но ни одно из них не совершается на благо христианства, если только мы не заключим, что когда Георгий и Сабра путешествовали вместе, и он победил всех антагонистов, а она вдохновляла любовью всех зрителей, - он покорил саму природу, и она постоянно сталкивалась с опасностями, от которых он ее спасал: -и когда, после осуждения на кол, молодая жена родила трех младенцев на дереве и, наконец, была коронована царицей Египта, то здесь имеется в виду аллегория, относящаяся к старым церковным вопросам, и не очень ясное разъяснение того, как на эти вопросы благотворно повлияли чемпионы христианства!

Я могу добавить, что когда Сабра была коронована как королева Египта, всем было приказано веселиться под страхом смерти! Далее следует отметить, что в настоящее время существует большая путаница, и эта путаница ни в коем случае не становится меньше по мере продолжения истории. Чемпионы и три сына святого Георгия поочередно оказываются то на востоке, то на западе, то на севере, то на юге, то преследуя друг друга, то внезапно и

неожиданно сталкиваясь, как главные персонажи пантомимы. Главные события - битвы, занятия любовью, закрытие жестоких и отпетых магов от "человеческих глаз", но к каждому событию примыкают десятки эпизодов, и каждый эпизод так же запутан, ослепителен и обескураживающ, как и ствол, на котором он висит.

Святой Георгий, однако, похож на более великого чемпиона, чем он сам; когда он бездельничает и находится в Италии, он поступает точно так же, как Нельсон в том же месте, - влюбляется в даму и причиняет ей бесконечные злоключения. К этому времени, однако, Джонсон начинает справедливо полагать, что его читателям это уже надоело и что пора избавляться от главных героев. Они тоже так хорошо настроены помочь ему, что когда автор убивает святого Патрика, святой хоронит себя! В память о его деяниях, о которых мы почти ничего не слышали, некоторые привыкли чтить его, говорит мистер Джонсон, - "надевая на шляпу каждому из них крест из красного шелка в знак его многочисленных приключений под христианским крестом". Так что трилистник, по-видимому, появился лишь в более поздние времена.

Так же быстро был отправлен Святой Давид. Этот чемпион отправляется в Уэльс, чтобы сокрушить там язычников. В шлеме он носит лук-порей, и его последователи придерживаются той же моды, чтобы можно было отличить друга от врага. Отважный святой, конечно, выходит победителем из битвы, но, разгорячившись, простужается и в конце концов умирает от обычной простуды. Брюс, вернувшийся целым и невредимым после исследования Нила, чтобы сломать себе шею, упав с собственной лестницы, вряд ли представляет собой более практичный батос, чем этот. Почему лук-порей стал эмблемой валлийцев, объяснять дальше не нужно.

Примечательно, что, рассказывая о том, как умер следующий чемпион, Сен-Дени, романтик менее романтичен, чем обычная традиция. Он рассказывает, как рыцарь отправился в языческую Францию, как его обвинил в христианстве другой рыцарь, как нам кажется, христианского ордена, святой Михаил, и как в результате король-язычник приказал обезглавить святого Дениса. Во время этой казни на небе происходят чудеса, которые обращают языческого государя в христианство; но ничего не говорится о том, что святой Денис, после того как ему отрубили голову, шел в монастырь с головой под мышкой. Об этом вундеркинде Вольтер заметил: "Ce n'est que le premier pas qui coute", но об этом романтик не упоминает. Святой Иаков страдает от того, что по приказу короля-атеиста его закрыли в часовне в Испании и уморили голодом. Антоний спокойно умирает в глубокой старости в Италии; святого Андрея обезглавливают жестокие язычники-шотландцы, которых он в старости посетил, чтобы обратить их в свою веру; а святой Георгий, который продолжает свой путь, одолевая диких чудовищ и спасая робких девиц, до последнего - а его склонность всегда была в сторону девиц - в конце концов встречает свою смерть от жала ядовитого дракона.

И теперь кажется, что две-три сотни лет назад авторы были очень похожи на актеров в "Критике", которые, ухватившись за хорошую вещь, никогда не могли представить ее публике в достаточном количестве. Соответственно, за биографией семи чемпионов последовала биография их сыновей. Я избавлю читателей от бурных подробностей: им, вероятно, будет достаточно узнать, что трое сыновей св. Джорджа стали королями, "как предсказала им королева-фея", и что сэр Терпин, сын Дэвида, сэр Педро, сын Джеймса, сэр Орландо, сын Энтони, сэр Юэн, сын Эндрю, сэр Фелим, сын Патрика, и сэр Оуэн, сын Дэвида, как и их сыновья, сражались с великанами, чудовищами и драконами; устраивали тильты и турниры в честь дам, сражались в защиту христианства, облегчали страдания,

уничтожали некромантов и столовержцев, словом, выполняли все, что можно было ожидать от рыцарей такой доблести и рыцарства.

Когда Ричард Джонсон достиг этой части своей истории, он отдал ее миру, ожидая суждения критиков, прежде чем опубликовать вторую часть: ту, в которой он должен был раскрыть то, о чем никто еще не мог догадаться, а именно: почему Семь Чемпионов были названы *par excellence*, Чемпионами Христианства. Боюсь, что тем временем эти ужасные, богоподобные и неумолимые критики обошлись с ним не совсем мягко. *Пунш*, который они ему предложили, состоял не только из сладостей. Его святой Георгий подвергался нападкам, а его дамы не вызывали особого почтения. Но посмотрите, как спокойно и вежливо - тем более восхитительно, что в этом вопросе наверняка присутствовало некоторое жеманство, - он обращается от осуждающих судей к благожелательному персонажу, нежному читателю. "Твоя любезность, - говорит он, - должна быть мне защитой от злобных насмешливых шутов, которые, не умея делать хорошо, обычно насмеваются над тем, что не могут исправить; порицая все, они ничего не делают, но (как обезьяны) отпускают глумливые шуточки над всем, что печатают, и ничто их не радует, если только это не пахнет насмешкой и инвективой. Что ж, что они говорят обо мне, мне все равно; твое удовольствие - мое единственное желание". Хорошо сказано, смелый Ричард Джонсон. Ему казалось, что он расправился с критикой, как Святой Георгий с драконом.

Однако я не могу сказать, что добрый Ричард Джонсон справедливо обращается со своим нежным читателем. Вторая часть его "Чемпионов" для читателя хуже, чем все труды Геракла для похотливого сына Алкмены. Историческая драма у Этли и вполнину не так обескураживает, и почти так же правдоподобна, а сам мистер Дьюкроу, когда репетировал свою знаменитую "драму-спектакль" "Святой Георгий и дракон" в старом Друри - а кто видел его в таких случаях, может его забыть?

Проследивая хитросплетения этого рыцарского романа, можно утешиться тем, что действие происходит быстро; но его так много, и оно так поразительно! Сначала нас знакомят с тремя сыновьями Святого Георгия, которые являются знаменитыми охотниками в Англии, и чья мать, леди Сабра, "ловит свою смерть", выходя в наряде Дианы, чтобы наблюдать за их успехами. После этого рыцарский вдовец отправляется в Иерусалим, его товарищи-чемпионы сопровождают его, а три сына Георга, Гай, Александр и Давид, по внушению духа матери, тоже пускаются в погоню. Перед началом путешествия парни были посвящены королем Англии в рыцари, и путь они совершают с золотыми рыцарскими шпорами, прикрепленными к их пяткам. По дороге они встречаются обычные приключения: уничтожают великанов, спасают девственниц, которым в наше беспокойное время, похоже, позволили слишком много путешествовать в одиночку. Тем временем их сир совершает еще большие чудеса и постоянно вызволяет своих товарищей-чемпионов из трудностей, из которых они не могут выбраться сами. Действительно, во всех обстоятельствах его фигура наиболее заметна; и хотя остальные полдюжины, *должно быть*, оказали определенную услугу каждом случае, Сент-Джордж упоминает о них не больше, чем маршал Сент-Арно в своих письмах о победе на Альме упоминает о присутствии и услугах англичан.

Говорят, что миссис Рэдклифф, чьи ужасы восхищали и тревожили наших матерей и тетушек в их молодые годы, сама стала страдать от ужасов, которые она рисовала, чтобы объяснить естественными обстоятельствами. Каким же должен был быть конец Ричарда Джонсона? Его сцены с чарами Черного замка вполне достаточно, чтобы автор умер от недоумения. В старом дворце принца Оранского в Брюсселе есть пол, который настолько инкрустирован мелкими кусочками дерева, тысячей разновидностей узоров, что является триумфом в своем роде. Я ничуть не удивился, когда, стоя на этом полу, услышал, что когда художник завершил

свой немыслимый труд, он окинул *паркет* дворца диким взглядом и упал замертво от приступа головокружения. Я уверен, что Ричард Джонсон наверняка столкнулся с подобным несчастьем после пересмотра этой части своей истории. Это часть, на которой невозможно уснуть ни чемпионам, ни читателям. Шум стоит страшный, происшествия сыплются как молнии, изменения сменяют друг друга с электрической быстротой, и когда наступает конец, мы радуемся тем больше, что ничего не поняли; Но особенно радует, что рыцарь Черного замка, виновник всех бед, побежден, бежит в состоянии нищеты в соседний лес и, безвозвратно "ожесточившись", закалывает себя первым попавшимся под руку предметом, так же безжалостно, как любовник "Дочери крысолова".

Время, место, приличия и уважение к современной истории забавно нарушаются во всех этих правдоподобных деталях. Ничто не может сравниться с путаницей, ничто не может быть более абсурдным, чем ошибки. Но великие люди совершали ошибки не менее серьезные. Шекспир открыл морской порт в Богемии, а мистер Маколей написал об одном Пенне то, что можно было приписать только другому. А теперь, разве драматурги обращались со святым Георгием лучше, чем романтики?

Национальный святой, несомненно, часто появлялся в мистериях; но первый случай, о котором мне известно, что он был представлен на сцене, был написан автором по имени Джон Кирк. Джон был настолько доволен своей попыткой, что никогда не писал второй пьесы. Он позволил своей славе покоиться на той, о которой идет речь и которая описана на титульном листе: "Семь чемпионов Кристендома. Представлена в "Кокковой яме" и в "Красном быке" на Сент-Джонс-стрит с общим восторгом, и никогда не печаталась до нынешнего 1638 года. Написано Дж. К. - Лондон, напечатано Дж. Окесом, и продается Джеймсом Бекетом в его магазине во Внутренних Храмовых воротах, 1638 год".

Джон Кирк относится к своей теме мелодраматично. В первой сцене ведьма Калиб, в речи, предваряющей ее признания в любви к дурной погоде и подвигам, рассказывает зрителям в качестве пролога, как она украла юного святого Георгия у его ныне покойного родителя, намереваясь сделать из его молодой теплой крови ванну для своих старых костей. Однако любовь тронула ее, и она воспитала "краснощекого мальчишку", имея неопределенное намерение сделать из него что-то, когда он станет мужчиной.

С таким настроением старуха испытывает некоторые опасения по поводу возможного приближения срока своей жизни; но, поскольку Тарфакс Девилл уверяет ее, что она не может умереть, если не будет любить слепо, ведьма, как простая смертная, считая, что она любит мудро, считает себя дочерью бессмертия и радуется безмерно. Беседу этой пары прерывает их сын Сосабуда, который из головы, только что проломленной Святым Георгием, выдает жалобу с тем комическим отсутствием веселья, которое обычно заставляло реветь все внутренности Красного Быка. Молодой клоун удаляется вместе со своим сиром, и тут входит великий Святой Георгий, похотливый юноша, с целым миром расспросов о его происхождении. Калиб объясняет, что его леди-мать не была честной женщиной, а его отец был как раз таким партнером. "Кто же вы: низкий или благородный?" - спрашивает святой Георгий. На что ведьма отвечает.

"И низкий, и благородный;

Оба низкие по тебе, но благородные по происхождению;

И ты, рожденный подлым, все же можешь писать истинным джентльменом".

И можно сказать, в скобках, что многие "истинные джентльмены" по рождению равны самому Святому Георгию.

Охваченная любовью, ведьма преподносит в дар Святому Георгию полдюжины чемпионов Англии, которых она держит в цепях в своем жилище. Один из них описывается как "живой, резвый, с крестовой шапкой француз Денис". С этими рабами Калиб отдает свой жезл власти, и не успевает тот скрыться из виду, как Джордж вызывает тени своих родителей, которые не только появляются и снабжают его исправленным изданием биографии, но и сообщают, что он законный граф Ковентри со всеми прибабасами, которые только может пожелать молодой граф.

После этого начинается шумиха, от которой, должно быть, задрожали все лампы в кабине. Джордж обращает силу Ведьмы против нее самой, и она спускается в адские области, где ей каламбурно объявляют, что она получила титул герцогини Гельвеции. Шесть чемпионов освобождены, и прославленные семь спутников отправляются на поиски приключений, а Сакабус - в качестве "оруженосца". На прощание отец последнего дает ему совет, который является пародией на совет Полония Лаэрту. "Лги", - говорит Торпакс.

"Обманивай с большой выгодой, бери в долг, не плати долгов,

Обманивай и обкрадывай - это ставки игровых дикеров".

"Если Коттингтон превзойдет меня", - говорит сын, - "он будет побежден". Так, после избрания святого Георгия седьмым чемпионом христианства, заканчивается один из самых длинных актов, которые когда-либо приходилось наблюдать и аплодировать "Быку" или "Петуху".

Следующий акт более короткий, но гораздо более суетливый. Мы находимся в удобной империи Трапезунд, где произошло все то, чего никогда не происходило, если верить романам. Весь город в смятении от разрушений, учиненных отвратительным драконом и львом, его другом и соратником. Знатные люди оплакивают этот факт в гексаметрах или, по крайней мере, в строках, призванных исполнять их обязанности; а простой народ оплакивает этот факт эпиграмматически и описывает гибель всех, кто пытался убить чудовищ, с широтой воздействия, которая, несомненно, была признана ревом смеха. Ситуация с каждым днем становится все хуже, изверги смотрят вниз, и всеобщее уныние оседает на империи, когда прибывают Андрей Шотландский и Антоний Итальянский, присылают свои карты и объявляют о своей решимости убить обоих этих чудовищ.

Таких гостей принимают более чем обычно. Император не жалеет средств на свою щедрость, а его дочь Виолетта шепчет своей служанке Каринтии, что уже влюблена в одного из них, но не говорит, в кого именно; на это замечание бойкая служанка отвечает, что влюблена в обоих и охотно взяла бы любого из них. Все идет весело, пока в ходе разговора, отнюдь не отличающегося блеском, оба рыцаря не выдают, что они христиане. Вы должны знать, что церковь в Трапезунде в это время, да и в любой другой период, была языческой. При дворе, как оказалось, в основном почитали Аполлона и Диану, а более бедные люди мирились с Паном и издевались над ним за то, что он осуждал майские столбы! Христиане никогда не были эмансипированы, более того, их никогда не терпели в Трапезунде, и это противоречило закону, что страна должна быть спасена христианской помощью даже в самой тяжелой ситуации. Рыцари обречены на гибель, если только не обратятся в язычников. Разумеется, они отказываются с достойным презрением, и тогда, учитывая их благородство, им разрешают самим выбрать палачей. Они выбирают дам, но Виолетта и Каринтия протестуют, что и помыслить не могут о таком. Их высокоцерковному сиру не нравится их

ортодоксальность, и он наконец отдает рыцарям их мечи, чтобы они сами вершили правосудие, как того требует закон. Но не успевают Андрей и Антоний снова вооружиться, как они освобождают себе дорогу к свободе, и на сцену падает разгром всей Трапезундской империи.

Третий акт имеет гигантскую длину и посвящен великанам. В Тартарии объявлен траур. Давид убил сына царя на турнире, и царь, подобно отставному аптекарю, замечает, что "пластырь времени должен затянуть болячку, прежде чем он снова почувствует покой". Чтобы наказать Давида, он вынужден взяться за уничтожение чародея Ормандина, который жил в крепости-пещере с "некоторыми избранными друзьями". Награда за успех - возвращение королевства Тартар валлийскому рыцарю. Последний отправляется на задание, но так долго его выполняет, что вступает наш старый друг Хор, чтобы объяснить то, что, как он утверждает, они не успели сделать - а именно, великие деяния Святого Георгия, который, как мы узнаем, убил никогда не забываемого дракона, спас Сабрину, был обманут в своей награде и семь лет просидел в тюрьме на хлебе и воде. Его оруженосец, Сокабус, упоминает о великанах, которых он и его хозяин уже убивали, и чьи могилы были такими же большими, как Тотилл Филдс. Он также отмечает "закон Плойдона" и другие вещи, которые вряд ли могли быть связаны с прекрасными временами королевства Тартария. Тем временем Давид смело нападает на Ормандин, но чародей окружает его несколькими восхитительно выглядящими нимфами, тонко одетыми и чрезмерно соблазнительными; и мы с сожалением должны сказать, что валлийский чемпион, не имея кавалерийской стойкости, поддается соблазну и после различных падений под разными искушениями оказывается в постели у раскатистой нимфы Пьянства.

Но никогда добрые, хоть и падшие, люди не нуждались в друге на крайний случай. Святой Георгий находится поблизости; и, как ни жалко ему после семи лет в безвестности, когда у него нет ничего более существенного в качестве пищи, чем хлеб, и ничего более бодрящего в качестве напитка, чем *вода*, чемпион Англии делает работу Давида и с большей щедростью, чем справедливость, делает ему подарок в виде головы чародея. Давид преподносит ее тартарийскому королю, чтобы тот, согласно обещанию, данному в случае такого подарка, провозгласил его наследником тартарийского престола. Этим обманом заканчивается длинный третий акт.

В четвертом акте Джеймс, Дэвид и Патрик лишь частично успешно нападают на жестокого чародея Аргалию, который, по крайней мере, обращен в бегство, и *это*, как замечают рыцари, уже повод для благодарности. В пятом, грандиозном акте перед нами предстает могущественный маг Брандрон в своем замке. Он держит в плену царя Македонского - это обстоятельство не отмечено в истории; в его распоряжении семь дочерей его величества, превращенных в лебедей. Лебеди ухитряются взять в плен шестерых рыцарей, которые совершали "легкую прогулку" по его крепостным стенам. Их арестовывают как нарушителей, и Брандрон, у которого есть какие-то низкие комедийные дела с Сукубом, не отпускает их только при условии, что они будут честно сражаться в его защиту против Святого Георгия. Шесть поединков состоялись, и, конечно же, чемпион Англии одолел всех своих дружественных антагонистов, после чего Брандрон в присутствии зрителей выбивает себе мозги своей дубиной.

В этот момент появляется царь Македонский, вернувший себе власть, и спрашивает о своих дочерях. Святой Георгий и остальные, используя двойное отрицание, которое потрясло бы Линдли Мюррея, заявляют.

"Мы никогда не знали и не видели здесь никаких дам".

Лебеди, однако, вскоре принимают свой первозданный вид, и три дочери появляются свежими из своих плюмажей и после долгого купания в озере. После этого следует умный диалог, который мы приводим в качестве примера того, как остро царь Македонский заботился о своих семейных интересах и как эти рыцари-чемпионы были "взяты в оборот", прежде чем они поняли, как это было сделано.

Мак. Преподобные рыцари, позвольте узнать, кто из вас неженаты?

Ант., Ден. и Пат. Мы.

Гео. Тогда вот эти дамы, отнесите их в свои постели.

Мак. Георгий высоко чтит престарелого Македонского.

Три рыцаря. Но разве любовь дам может быть согласна с нами?

Три дамы. Охотно!

Три рыцаря. Таким образом, мы скрепляем наш договор.

Гео. Который, таким образом, мы ратифицируем.

Садись с невестами, благороднейший Македонский;

И раз уж судьба послала такой счастливый случай,

Мы украсим ваше бракосочетание солдатским танцем.

И, представь, Джордж, как говорили наши отцы, они устраивают ночь. Пьеса заканчивается двойным военным барабаном, и зрители "Быка" и "Петуха" наверняка насвистывали эту мелодию, возвращаясь домой за крабовым яблочным элем и пряниками со специями.

Рядом с чемпионами христианства рыцарь-чемпион Англии, возможно, является самой важной персоной с точки зрения рыцарства. Кажется, кто-то из французских авторов сказал, что революции напоминают игру в шахматы, где пешки или фигуры (*les pions*) могут погубить короля, спасти его или занять его место. Так вот, *champ pion*, как напоминает мне это французское замечание, есть не что иное, как полевой *pion*, пешка или фигура, выдвинутая для борьбы в королевской ссоре.

Можно заметить, что семья чемпиона Англии носит именно то имя, которое подходит для такого рода призвания. Название "Даймок" происходит от *De Umbrosâ Quercu*; я скорее должен сказать, что это его перевод; а Гарри De Umbrosâ Quercu - это всего лишь Гарри из Тенистого или Тусклого Дуба, очень подходящее место жительства и имя для того, чьей главной профессией было быть полевой пешкой короля.

Подобное выведение или адаптация имен из оригинальных латинских фамилий встречается довольно часто, и на эту тему можно написать несколько забавных страниц в дополнение к тому, что так ловко собрал мистер Марк Энтони Лоуэр в своем томе, посвященном разъяснению английских фамилий.

Королевские чемпионы появились вместе с Завоеванием. Нормандские герцоги получили их в семье Мармионов - наследников того Мармиона из книги сэра Вальтера Скотта, который совершает подлоги, как обычный плут более дегенеративных времен. Завоеватель пожаловал своим поборникам множество обширных земель в Англии; среди прочих - земли,

прилегающие к замку Тамворт. Недалеко от этого места находился первый женский монастырь, основанный в этой стране. Его обительницами были монахини Святой Эдит из Полесворта. Роберт де Мармион поступил с дамами очень "бесцеремонно", изгнал их из дома и лишил имущества. Но у таких жертв был удивительно ловкий способ вернуть свое.

Мои читатели, возможно, помнят, как некий восточный владыка нанес ущерб церкви, вызвал отвращение у христиан в целом и особенно раздражение у Симеона Стилита, который днем и ночью сидел на вершине столпа и не сходил со своего места пребывания. Преступнику было видение, в котором он не только увидел возмущенного Симеона, но и был избит почти до полусмерти *симулякром* этого святого. Я очень сомневаюсь, что сам Симеон находился в своем воздушном жилище в тот час ночи. Об этом мне напомнило то, что случилось с защитником герцога Робертом де Мармионом. Его пробудило от глубокого сна видение крепкой дамы, которая представилась обиженной святой Эдит и принялась высказывать свое мнение о поведении де Мармиона по отношению к своим монахиням, колотя его по ребрам своим посохом, пока не покрыла его бока синяками, а его самого - покаянием. Что за силач-монах играл роль святой Эдит в ту ночь, сказать невозможно; но то, что он успешно справился с ролью, видно из того, что Роберт вернул дам в Полесворт и в достаточной мере возместил все, чего они были лишены. Монахини, в свою очередь, с готовностью согласились перебить всех умерших Мармионов в доме главы их аббатства, причем за бесценок.

Вместе с поместьем Тамворт в Уорикшире Мармион владел поместьем Скривелсби в Линкольншире. Последнее принадлежало королю по праву великого сержанта, "чтобы исполнять обязанности чемпиона во время коронации короля". После смерти Роберта ему наследовал сын с тем же христианским именем, который служил монахам Честера точно так же, как его сир обращался с монахинями в Полесворте. Этот второй Роберт укрепил свой незаконно приобретенный приз - приорство; но когда он, осматривая укрепления, упал в один из недавно сделанных рвов, солдат графа Честера без труда убил его, когда он лежал со сломанным бедром и ляжкой на дне оута. Следующий преемник, третий Роберт, был в чем-то судьей, а в чем-то и воином, и он разделил свои владения между двумя сыновьями, оба Роберты, от разных матерей. Старшего сына и главного владельца после суетливой и подчеркнуто "боевой" жизни сменил его сын Филипп, который в царствование Генриха III попал в неприятности за то, что, не получив должного поручения, позволил себе выступать в качестве мирового судьи или судьи. Тем не менее, этот Филипп был одним из самых верных слуг короля, который нашел так много неверных; и если в связи с этим ему были оказаны почести, он вполне заслужил их все. Он был счастлив и в браке, ибо взял в жены даму, единственную наследницу большого поместья, которая принесла ему четырех дочерей, сонаследниц отцовских и материнских земель Мармионов и Килпеков.

Однако это уже блуждания. Давайте еще раз вернемся к упорядоченной иллюстрации. В "Святом Георгии" я показал, как чистая романтика обращается с героем. В следующей главе я попытаюсь показать, в каком духе жизнь и поступки реальных английских героев трактовались отечественными историками. При этом я перескажу историю сэра Гая Уорика, следуя их моде, с оригинальными иллюстрациями и "современными примерами".

СЭР ГАЙ УОРВИКСКИЙ,

И ЧТО С НИМ СЛУЧИЛОСЬ.

"Его желания

выше, чем его состояние, а его заслуги

Не намного меньше того, что он может пожелать".

Чепмен "Заговор Байрона".

Христианское имя Гай когда-то было очень популярным в графстве Йорк. Я никогда не слышал объяснения причин этого, но думаю, что оно могло возникнуть из-за восхищения деяниями и человеком, чье прозвище и репутация сохранились до наших дней. Я не имею в виду Гая Фо; *этот* молодой джентльмен был отцом извращенцев, но отнюдь не первым из них.

Мастер Гай", о котором я рассказываю или, скорее, собираюсь рассказать, был юношей, чья семья происходила из Нортумберленда. Эта семья была в одном смысле более благородной, чем императорская семья Московии, поскольку ее члены могли похвастаться не только хорошими принципами, но и крепкими зубами.

Зубы и принципы Романовых, как известно, находятся в плачевном состоянии.

Так вот, эти нортумбрийские парни, жившие очень быстро и вынужденные рассчитывать со своими кредиторами, грабя последних и выплачивая им по нулю в фунте, перебрались на юг и в конце концов обосновались в Уорикшире. Глава дома обладал немалой долей здравого смысла, и после долгих страданий в состоянии дряхлого дворянства он не только отправил своих дочерей зарабатывать на жизнь самостоятельно, но и, к вящему отвращению супруги, нанялся управляющим к этому благородному джентльмену, графу Уорику. "Моя кровь хороша, как никогда", - говорил он прекрасной леди, своей жене. "Это кровь высшего слуги", - воскликнула она, - "а дочь моего отца - супруга подкидыша".

Муж не унывал; он не только открыл свою контору в замке своего покровителя, но и взял с собой своего единственного сына и сделал его своим первым клерком. Сына звали Гай, и он был весьма склонен к ловле птиц, охоте на зайцев и вообще к "джентльменству". За несколько месяцев до своего рождения он был очень подвижным юношей и доставлял своей госпоже-матери такие ужасные неудобства, что ей постоянно снились битвы, огненные машины, сильно пахнущие драконы и разгневанный Марс. "Ну что ж, - замечала она своим подругам, пока джентльмены пили вино, - я полагаю, что этот мальчик" (она так и решила) "наделает шуму в мире, навлечет на своего отца счета и станет ужасом для служанок. Знаете ли вы..." - и тут она замолчала, и я не считаю себя вправе повторять то, что она рассказала.

Но мастер Гай, "маленький незнакомец", о котором шла речь, оказался лучше, чем можно было ожидать. Он мог бы быть значительно хуже, и все же не был бы таким плохим, каким его представляло материнское пророчество. В восемь лет... Но я слышу, как вы спрашиваете: "Когда все это произошло?" Ну, о рождении было объявлено в ноябрьской "Морнинг пост", а что касается года, то мастер Гай сам указал его в старинном метрическом романсе,

"Двести двадцать лет с лишним,

После рождения нашего Спасителя Христа,

Когда король Ательстан носил корону,

Я жил здесь на земле".

В восемь лет, как я уже собирался заметить, юный Гай был самым невыносимым щенком в своей округе. Он выигрывал все призы в атлетических видах спорта, и к шестнадцати годам во всей Англии не было человека, который осмелился бы принять его вызов на борьбу обеими руками, а не только одной.

В это время у него хранились книги отца и поводок с гончими, с которыми он совершал такие необыкновенные подвиги, что граф Уорик пригласил его из комнаты управляющего за свой стол, где отец Гая менял ему тарелки, а мастер Гай дергал его за бороду, когда делал это.

Во главе стола графа сидела его дочь Филлис Фэйр, дама, которая, как и ее тезка в песне, была "то откровенна, то жеманна", а в целом так мило улыбалась и так очаровательна, что когда граф спросил Гая, не хочет ли он пойти поохотиться (обед был в 10 часов утра), Гай ответил, что не хочет. М.), Ги ответил, как француз, не выносящий спорта, "*Merci, j'ai été!*" и, изобразив приступ подвздошной кишки, намекнул на необходимость остаться дома.

Юношу тут же отнесли в постель. Филлис прислала ему опосля, граф - своего лекаря, и этот ученый джентльмен, после долгих недоумений, скрытых под самым приветливым и уверенным сюсюканьем, написал рецепт, который, если и не принесет пациенту пользы, не причинит ему вреда. Он был искуснейшим человеком, и его пациенты почти всегда выздоравливали при таком лечении. Иногда он жертвовал одним или двумя, когда проводился консилиум, и его призывали прописывать *secundum artem*; но он компенсировал это профессиональное убийство тем, что в других случаях оставлял дела на усмотрение Природы, которая была активным партнером в его фирме и чьим успехам он ничуть не завидовал. Итак, написав рецепт, мастер Гай пустился в рассуждения о любовной страсти, причем с такой полнотой и разнообразием иллюстраций, словно он был автором главы на эту тему в "Анатомии меланхолии" Бертона. Доктор дослушал его до конца, нежно потирая указательным пальцем правой руки одну сторону носа, а когда его пациент закончил, джентльмен-медик улыбнулся, напевая "Филлис - моя единственная радость", и вышел из комнаты, кивая головой, как китайский мандарин.

К этому времени солнце в четыре часа сделало зеленые и золотые столбы на деревьях в соседнем лесу, и Гай встал, посмотрел на падающие листья и подумал об осени своих надежд. Он насвистывал "Down, derry, down", с заметным акцентом на "*down*"; но внезапно его надежды вновь вспыхнули, когда он увидел Филлис среди ее цветочных клумб, занятую полезным занятием, которое возвышенный поэт дал героине, которую он назвал и чьи действия он описал, когда сказал нам, что

"Однажды мисс Дайна прогуливалась в саду".

Ги надел очки, подтянул рукава, нахлобучил на голову чепец, прихлопнул к бедру богги, а затем вышел в сад с видом юного д'Эгвиля в балете, присматривающего за нимфой, чему он и впрямь был не прочь предаться, когда стал *старым* д'Эгвилем и не мог больше танцевать свои балеты, потому что окоченел в суставах.

Ги, конечно, опустился на одно колено и сразу же погрузился в самый пылкий стиль декламации, но Филлис не зря читала тогдашнюю миссис Шапон. Она вернула его к прозе и приличиям, и тогда они начали разговор заново, да еще как! Гай поначалу чувствовал себя немного "на взводе", но вскоре восстановил самообладание, и юному уму было бы полезно послушать, как эти две красотки разговаривали и отвечали друг другу нравоучительными сентенциями, украденными с верхних страниц их тетрадей. Они сыпали ими наперебой, и

притчевая философия, которую они излагали, на самом деле послужила основой для книги, названной так Мартином Таппером. Он перенял все это у Филлис и Гая, чьи потомки, носящие ту же фамилию, были так знамениты своими школьными учебниками. Я надеюсь, что мистер Таппер (не) упомянет об этом в своем следующем издании.

После продолжительного и выгодного обмена мнениями по этому поводу дама мягко намекнула, что мастер Гай ей небезразличен, но что он низшего происхождения, однако обладает качествами, которые делают его равным ей; добавив, что до сих пор он только и делал, что убивал чужую дичь, тогда как есть дела более благородные. А затем она велела ему отправиться на поиски опасных приключений, закончив тостом и словами: "Мастер Гай, орлы не заботятся о том, чтобы ловить мух".

Читатель, если ты когда-нибудь видел, как принц пантомимистов мистер Пейн рвал волосы на своем театральном парике в приступе любовного отчаяния, ты можешь представить себе, с какой силой мастер Гай иллюстрировал свое собственное отчаяние. Он бил по земле с такой энергией, что все доселе спокойные осины сотрясались, и их потомки с тех пор придерживаются той же манеры. Филлис расплакалась от этой демонстрации и заметно смягчилась. Прошло пять минут, и она, краснея, велела мастеру Гаю "поговорить с папой".

Из всех ужасных интервью это, пожалуй, самое ужасное. Нельсон говорил, что на свете есть только одна вещь, которую он боится, - это обед с мэром и корпорацией. Несомненно, это ужасно, но *что* это по сравнению с тем, когда смотришь в лицо серьезному человеку, в котором нет ни капли сентиментальности, и чье первое замечание обязательно будет: "Ну, сэр, будьте добры, скажите мне - что вы можете устроить для моей дочери? Что вы можете сделать, чтобы обеспечить ее счастье?"

"Ну, - сказал Гай в ответ на это шаблонное замечание, - я могу убить корову Дун на пустоши. Она сама убила многих, кто пытался ее обмануть; а прошлой ночью она пожрала посевы клевера и вдвое больше полей ячменя в поместье вашей светлости".

"Сначала убейте корову, а потом...", - с улыбкой сказал граф; и эхо этой речи было у Шекспира в ушах, когда он начинал пятый акт своего "Отелло". Гая было нелегко запугать. Если бы мне захотелось сделать каламбур, я мог бы легко сказать "струсил", но в серьезном и назидательном повествовании такой вольный способ написания был бы крайне неуместен. Гай, таким образом, не был трусом - нет, под этим эпитетом ничего не скрывается. В ту ночь он немного повалялся в постели, обдумывая ситуацию, а на следующее утро смял листы бумаги, как коровьи рога, поскольку отверг планы нападения, которые он на них наметил, и сидел, не зная, как ему поступить в отношении своей судьбы. В конце концов он решил навестить страшное животное "инкогнито". Именно это слово использовал один из биографов Гая, анонимный нортумбриец, опубликовавший его жизнь на широком листе с изображением мастера Гая, которое могло бы напугать корову и которое бесконечно уродливее. Ни в поэме, написанной черными буквами, ни в старой пьесе, ни в памфлетах или балладах не используется термин "*инкогнито*", но все они утверждают, что Гай действовал с большой осторожностью, а на его шкуре был стальной кираса. Я упоминаю об этом, потому что без корректности мое повествование было бы бесполезным. Я не фантазер, и ни за что не стал бы выкраивать простой костюм из фактов.

Аккуратность Гая должна быть доказана. Вот корова, которая была разрушительнее, чем когда-либо волк Красной Шапочки - этот граф Волк, который имел обыкновение хватать юных девиц и жил так легкомысленно, как и следовало ожидать от человека, когда-то приписанного к "походному полку" и ставшего монахом. Высота коровы составляла двенадцать футов, от копыта до плеча, а длина восемнадцать футов, от шеи до корня хвоста.

Все драконы, о которых когда-либо слышали, никогда не были виновны в таких разрушениях жизни и имущества, как эта ужасная корова. Гай посмотрел на нее, и она ему не понравилась. Корова обнаружила его и бросилась на свою жертву. Ги был активен, атаковал ее спереди и сзади, как союзники атаковали форты Бомарсунда; очень сильно смутил ее, вогнав свой боевой топор ей в череп; держался за ее хвост, когда она пыталась взлететь; и наконец совершил *переворот*, быстро и многократно проведя своей рапирой по ее особенно уязвимому месту за ухом. В подтверждение этого факта место конфликта до сих пор носит название Дансмор Хит, а это более весомое доказательство, чем многие "факты", с которыми нас заставляют соглашаться назойливые учителя.

Кроме того, в Бристоле выставлено ребро этой самой коровы. Конечно, сейчас это не ребро коровы, но из почтения к древности утверждения, которое якобы делает его таковым, я думаю, мы обязаны верить тому, что таким образом выдвигается. Не то чтобы я сам верил, но это не имеет значения. У меня есть уверенность, что корова была не коровой, а графией (не графией Каупер), которая сама вела войну, вела неблагоприятную жизнь, была столь же губительна для богатых молодых лордов, как *Лоретта*, и выигрывала целые поместья, жульничая в *экзарте*. Ги взял ее за руку и побил.

Бедный мастер Ги, он был так же малоупотребителен, как и Якоб, и много размышлял об этом в полях на закате. Суровый граф ни за что не дал бы согласия на брак своей дочери с юным чемпионом, пока тот не совершил бы несколько более крутых поступков, чем этот. Юноша (он был еще в отрочестве) внял милости, разделил с Филлис кривой шестипенсовик и сразу же отплыл в Нормандию, куда прибыл, встретив по дороге столько же разбойников, сколько если бы он целый месяц бродил по улицам Дувра. Но мастер Ги убивал всех, кого встречал; существует глупое судебное, если не сказать общественное, предубеждение против того, чтобы мы поступали так же с разбойниками Дувра. Не могу предположить, почему; возможно, у них есть привилегия в некоторых городских компаниях, по которой они считаются законными обирателями всех, кто в них останавливается, неся грязную корысть.

В Нормандии Ги встретился с последним, кого он мог ожидать, - не иначе как с императором Альмейном, удивительно вездесущим человеком, которого можно встретить в легендах, и часто встречающимся в морских портах внутренних городов. Здесь историки немного расходятся во мнениях. Один рассказывает, что мастер Гай, обнаружив некую Доринду, привязанную к колу и ожидающую чемпиона, готового пожертвовать своей жизнью ради ее спасения, поинтересовался "происхождением" этого положения. Оказывается, Доринда была так грубо использована, как только может быть использована молодая леди, "герцогом Блуа, его сыном", и герцог был так разгневан обвинением Доринды против его любимца Оттона, что приговорил ее к сожжению заживо, если только не появится чемпион, который вовремя спасет ее, победив вышеупомянутого Оттона в одиночном бою. Гай, разумеется, успешно провернул это маленькое дельце, испортил красоту Отто, отрезав ему нос, и так очаровал Доринду, что она никогда не обвиняла своего чемпиона в том, что он сделал что-то неприятное для нее.

Озабоченный правдивостью этого рассказа, я записал то, что сообщают биографы, хотя и не своими словами. Но я должен добавить, что в некоторых историях этот эпизод с Дориндой вообще опущен, и мы слышим только о появлении мастера Ги в паноптикуме на турнире, устроенном императором Аллеманией в Нормандии, - это то же самое, господин читатель, как если бы я за ваш счет устроил концерт и бал, с ужином у Фарранса и всем прочим, не в своем доме, а в вашем. Тем не менее в Нормандии состоялся турнир, и отцовский император Аллеманией, имея тогда дочь Бланш, от которой он хотел избавиться, выставил ее в качестве приза рыцарю-победителю на турнире.

Мне кажется, вы заметили, что этот обычай не терпит отлагательств. Но это обычай, священный для нашего времени; и наши соседи (ибо, конечно, ни вы, ни я не могли бы снизойти до таких нравов) устраивают вечерние турниры по висту, кадрили и разнообразному пению - любому, кроме хорошего и внятного, а на этих современных турнирах, проводимых с той самой целью, которую имел в виду этот почтенный старый джентльмен, император Аллемании, когда открывал свои списки, "девушки" являются призами рыцарей ковра. Так что, господа, *faites votre jeu*, как говорил философ, председательствовавший у Фрескати, - *faites votre jeu, Messieurs*; и идите и выигрывайте. Возможно, если вы почитаете Каупера, вы будете лучше вооружены против поражения в таком конфликте.

Нет нужды говорить, что хорошая шпага мастера Ги, сверкавшая на арене, как молния, и сыпавшая удары быстрее, чем когда-либо сыпал их мистер Бланшар в потрясающих кобургских боях на уязвимый гребень мистера Брэдли, завоевала для него несравненный приз, не говоря уже о собаке и соколе. Мастер Гай довольно бесславно отказался от дамы, хотя ее отец дал бы ему *карт-бланш*; он посмотрел на нее, пробормотал ее имя, а затем пробормотал: "Бланш, как ты ни хороша, но ты все же чернее мавра по сравнению с моей Филлис;" - и с этим нерыцарским признанием, ибо рыцарство состоит в том, чтобы говорить одно, а думать другое, он вернулся в Англию, увозя с собой "королевского спаниеля Чарльза", как пишут французские авторы, и сокола, с кольцом и насестом, похожего на огромного паррока.

Мастер Гай въехал в Уорик в "корыте", как теперь принято говорить, и ему пришлось несладко с этой беспокойной птицей. При каждом повороте машины распускались крылья, вытягивалась шея, и мастеру Гаю приходилось играть в "уловки" с соколом, который так и норовил вонзить свой страшный клюв в нос кавалеру. Однако в конце концов замок был благополучно достигнут; подарки были положены к ногам Филлис Прекрасной, и Гай, подобно Пери, надеялся, что вот-вот откроются ворота рая, а также, подобно тому нежному духу, которому предстояло разочароваться. Но не тут-то было: Филлис горячо похвалила его малое внимание к этой прелестной распутнице Бланш, или, как она лукаво добавила, *Блан д'Эспань*, погладила спаниеля и предложила сахар соколу, а после ужина, на который *был* приглашен Ги, шепотом намекнула, что они оба "еще слишком молоды" (не то чтобы она так считала) и что Ги должен совершить еще больше подвигов, прежде чем папа позовет адвокатов, чтобы они добились чего-то своего.

Юноша Ги отправился в путь "неохотно, но решительно", и на ходу он *бы* спел,

"Elle a quinze ans, moi j'en ai seize,"

Седана и Гретри, но ни поэт, ни композитор, ни опера *Ришара Кёр де Льва* еще не явились, чтобы порадовать сердце и слух. Но чувство было, и, возможно, Седан знал о нем, когда писал эти слова. Как бы то ни было, мастер Ги, хоть и был мягкосердечен, не был таков в обращении с оружием, ибо на этом поприще он совершил такие подвиги, что от их перечисления захватывает дух. Его один меч очищал целые леса от полчищ разбойников, сквозь бока которых его прочный клинок проходил так же легко, как сабля капрала Саттона через мертвую овцу. Наш герой ни в коем случае не задумывался о том, что он делает, если он что-то делает; и за какое дело он сражается, если есть дело и борьба. Так, мы видим, как он помогает герцогу Лувенскому против своего старого друга императора Аллемании. Он возглавил войска герцога, уничтожил тысячи и тысячи врагов и, словно удача современной московитской армии, не потерял больше "одного человека", слегка повредив шлем второго.

Мастер Ги, которому еще не исполнилось и двадцати, превзошел того, кого мистер Тьерс называет "англичанином", мистера Питта, поскольку стал премьер-министром еще до достижения совершеннолетия. В этом качестве он вел переговоры с императором о заключении мира для герцога. Оба государя были настолько довольны переговорщиком, что из комплимента предложили ему командовать их объединенным флотом против язычника Солдана из Византии. Они совсем не ожидали, что он примет это предложение; но тогда они не знали, что мастер Гай обладает духом, который Сидней Смит в последующие годы разглядел в лорде Джоне Расселе, и предприимчивый Гай принял командование всем флотом с полным доверием.

При этом он сделал, если верить летописцам, больше, чем мы могли бы ожидать от лорда Джона Рассела, если бы этот государственный деятель командовал эскадрой под Ла-Маншем. Захватив море, он довольно преждевременно, если верить датам, почти уничтожил магометанство - и был столь же непобедим и победоносен против всех видов язычников. Именно на Востоке он в одиночном бою поверг великанов Колбрана и его брата Монгадора. После этого поединка он отдыхал, опираясь, как хорошо дышащий Хотспур, на меч, у входа в свой шатер, когда к нему подошел турецкий правитель Эсдалант и вежливо попросил взять его голову, так как он обещал ее одной османской даме, здоровье которой могло пострадать от отказа. Мастер Гай так же вежливо попросил его взять голову, если он может, и тут они сошлись "как французские сокольники", и Гай оторвал голову своему противнику, вместо того чтобы потерять свою собственную. Уладив это небольшое дело, Гай бросил вызов самому неверному Солдану, поставив христианство против исламизма и тем самым заявив, что решает вопросы веры, как это сделал Галерий, оставив Олимп и Голгофу на усмотрение римского сената. Мастер Гай, трижды вооружившись справедливостью своей ссоры, покорила неверного Солдана, но тот, чтобы показать, как нам говорят, свою непреодолимую ненависть к христианству, взял горсть собственной крови и бросил ее в лицо своему победителю - несомненно, победитель держал в уме правдивую историю о том, как Юлиан оскорбил "галилеянина". Таким образом, мы видим, как история становится вкладом в легенду.

И вот аппетит изверга-любовника разросся от того, чем он питался. Он ввязывался в каждую ссору и не мог видеть, как лев и дракон спокойно решают свои споры в лесу с помощью когтей, не нападая на льва, не убивая его врага и не получая с удовлетворением признания от более благородного зверя.

Он добился чего-то более полезного, когда встретил в лесу лорда Терри, искавшего свою жену, унесенную целым отрядом разбойников. Пока благородный лорд сидел на мшистом берегу, как джентльмен в мелодраме, Гай в его присутствии спас жену и расправился со всеми разбойниками "в похоронном порядке", причем первым был самый младший. Впоследствии он стал крестным отцом ребенка своего друга Терри, и, поскольку я люблю исторические параллели, могу заметить, что сэр Вальтер Скотт выполнял ту же функцию для Терри, который если и не был лордом, то часто представлял их, не говоря уже о монархах и других персонажах.

Возвращению мастера Гая в Англию немного помешало еще одно характерное приключение. Проезжая через Лувен, он обнаружил, что герцог Отто осаждает его отца в его собственном замке - "губернатора" замка и герцога. Ничто так не шокирует мастера Ги, как сыновья неблагодарность, и, несмотря на все, что Отто мог наплести о скудном содержании, проигрышах в игре, долгах чести и скупости "губернатора", наш чемпион нашел общий язык с "возмущенным родителем" и не только смертельно ранил Отто, но, перед смертью последнего, Ги привел его в "чувство своего положения", и Отто умер в счастливом

расположении духа, оставив все свои долги отцу. Наследство было в виде "сувенира", и, конечно, губернатор никогда его не забывал. Что касается Ги, то перед отъездом в Англию он убил знаменитого лувенского кабана и, вытаскивая меч из бока животного, заметил, что здесь лежит большой кабан и не меньший зверь, чем сам Отто. Однако он взял с собой голову и окорока, поскольку Филлис очень любила и то, и другое; и, как она любила говорить, если что и может ее соблазнить, так это мускулы!

Когда мастер Гай сошел на берег в Харвиче, где ныне лежит этот город-амфибия, его ждали депутаты со всех сторон, чтобы просить помощи против некоего ужасного дракона на севере, который опустошал все земли и завладевал всеми талиями, которые желали заключить в себе люди. Король Ательстан находился тогда в Йорке, надеясь навести ужас на неукротимое чудовище силой армии, которая в бою с вредным созданием делала такой же длинный хвост при отступлении, как и сам дракон.

Чем бы ни была эта неприятность, так ужасно мучившая добрых людей на Севере, - драконом ли с языком длиной в тридцать футов или чем-то еще, что трудно себе представить, - наш мастер Гай, несомненно, одержал над ней верх. По возвращении он встретил овацию в Йорке; Ательстан устроил для него пир, покрыл его почестями, одарил хорошей круглой суммой, и *таким образом* все новорожденные дети мужского пола в графстве стали Парнями. По меньшей мере две трети из них получили это народное имя, и на протяжении многих веков оно оставалось в фаворе, пока его не опозорил сын йоркского проктора, чье чучело до сих пор скользит по нашим улицам в каждое повторяющееся 5 ноября.

Я не буду останавливаться на этом вопросе. Добавлю лишь, что граф Уорик, найдя Гая человеком, которого король с удовольствием почитал, принял его в зятья; а затем, всегда мудрый, вежливый и корректный, он незаметно умер. Король сделал Гая графом Уориком вместо себя, и наш герой, будучи теперь женатым человеком, разумеется, перестал быть *мастером* Гаем.

На этом я мог бы закончить свою легенду, но в ней есть мораль: Гай совершил глупый, но обычный поступок, пустился в непомерные расходы и вдруг обнаружил, что болен, печален и неплатежеспособен. Обиделась ли на него жена, достали ли кредиторы, нагнали ли судебные приставы, сказать трудно. Одно, однако, несомненно: чтобы спастись от всего этого, граф Гай поступил так, как часто поступают дворяне сейчас, оказавшись в таком же затруднительном положении, - "отправился за границу". Гай, однако, путешествовал в примитивном стиле. Он шел пешком и устраивал ночлеги в церковных дворах, где вел беседы с черепами по примеру Гамлета с черепом "бедного Йорика". Он объявил, что идет в Иерусалим, но, услышав, что датчане осаждают Ательстана в Винчестере, отправился туда и, скромно переодевшись, разгромил их собственной рукой без помощи. Среди своих противников он встретил великана Колбрана, которого ранее убил в восточных землях, и эти двое снова сражались, причем с такими одинаковыми результатами, что это напоминает своеобразную философию мистера Боцмана Чикса.

Это появление Колбрана в двух местах - прекрасная иллюстрация к "мифу", и я упоминаю о нем специально для следующего издания "Исторических заблуждений" преподобного доктора Уэйтли. Но продолжим.

Ги, доверительно сообщив королю о своей личности и намерениях, покинул его и поселился в пещере, в скале, неподалеку от его резиденции; а у ворот собственного замка он под видом нищенки принимал милостыню в виде денег и хлеба из рук своей жены. Я сильно

подозреваю, что в основе этой части нашей легенды лежит тот вероятный факт, что Филлис была того качества, которое, как говорят, присуще серым кобылам; и что она вела жизнь Гая, которая сделала его действительно несчастным Гаем; и что бедный нерадивый человек попал в плохую компанию за границей, а дома встречал лишь упреки, *и так* он "умер".

Драматический автор времен правления Карла I, однако, воскресил его в "Трагической истории Гая, графа Уорика", которая несколько раз разыгрывалась в присутствии монарха и якобы была написана неким "Б. Дж.", которого я нисколько не подозреваю в том, что это Бен Джонсон. Низкая комедийная часть этой трагической драмы - самого грязного сорта, в ней используются фразы и фигуры, которые, как я могу предположить, сейчас были бы терпимы в самом низком притоне Сент-Джайлса, а уж тем более за его пределами. Если Чарльз слышал это более одного раза, как указано на титульном листе, "еще больший позор для него". Если его королева присутствовала при этом, она, возможно, не поняла *verba ad summam caveam spectantia*, а если дочь могла присутствовать на королевском развлечении, то сама мысль об этом вызывает отвращение, и жалость почти теряется в негодовании. То, что сам автор хорошо думал об этом произведении, которое он напечатал в 1661 году, доказывает вызывающий эпиграф, который гласит

"Carpere vel noli nostra vel ede tua".

Я не должен посвящать много места ретроспективному обзору этой пьесы, тем более что действие начинается после того, как Гай перестал быть "хозяином", и когда, объявив о его поездке в Иерусалим (возможно, к евреям, чтобы сделать небольшой бизнес на счетах), Филлис делает несколько матросских замечаний в перспективном смысле и вольностей в иллюстрациях, которые привели бы в ужас месячную медсестру.

Однако Гай отправляется в путь и встречается с великаном, настолько огромным, что, по словам его оруженосца Спэрроу, требовалось четыре с половиной десятка человек, чтобы бросить ему в рот горчицу, когда он обедал. От таких великанов Небеса защищают заблудшего Гая и вместе с отрядом фей переносят его в Иерусалим. Здесь он застаёт Шамурата Вавилонского, штурмующего город, но Гай творит чудо за чудом и добивается таких поразительных результатов, что Шамурат, наблюдающий за делами и их исполнителем, спрашивает с подозрением на Коннаутский акцент в вопросе: "Что это за див или человек?"

Неверный изумляется еще больше, когда Гай, победив его, вступает с ним в спор и, ухватившись за него, как доктор Гумминг за романизм, так издевается над его верой, что солдат, изрядно выдохшись и исчерпав все аргументы, сдается и объявляет себя христианином по убеждению.

В течение двадцати лет Гай ведет беспокойную жизнь в пяти действиях этой назидательной трагедии, и когда его снова видят в Англии, побежденным датчанами, он сообщает Ательстану, что ему предстоит еще шесть лет провести в маскировке, прежде чем обет, о котором мы ничего не слышали, будет исполнен. Ательстан принимает все сказанное с доверием и вежливо обещает, "под честное слово", не выдавать тайну. Гай рад слышать, что Филлис "вполне здорова"; затем он устраивается на новом месте, как я уже рассказывал, в соответствии с легендой. Время от времени они с Ангелом ведут заумные беседы, но самая показательная сцена, несомненно, происходит там, где Филлис раздает хлеб нищим. Гай переодевается в пальму, и Филлис спрашивает, знаком ли он с великим графом, на что Гай отвечает, подмигнув глазом, что они с графом часто пили из одного и того же хрустального источника. Но Филлис слишком скучна или слишком меланхолична, чтобы понять столь жалкую шутку.

И вот, когда настал час завершения обещанного срока переодевания, Гай умирает, и в таком состоянии его находит Рэйнхорн, сын, который его не знает. Он посылает знак от молодого парня Филлис, которая начинает подозревать, что пальмер, который так часто просил "коричневый хлеб" у ее ворот, должно быть, и есть "мастер Гай" времен солнечной юности, коротких кирт и долгих любовных утех. Мать и сын спешат на место, но жизненная искра уже угасла. Филлис восклицает со всей рассудительностью, неестественной для женщины, чей муж прожил семь с половиной лет вдали от дома и чья память хороша: "Если это он, то у него под ухом бородавка", на что сын столь же спокойно замечает: "Посмотри на него, добрая мама, удовлетвори свой разум". После этого "партия" была определена правильно, и вдова готовилась к завещанию, не приложив к нему ни слова, когда Рэйнхорн велел ей прогнать печаль, поскольку скоро придет король. Сын, очевидно, считает, что честь живого короля должна утопить печаль по умершему родителю; подобно тому как римская семья, которая может похвастаться наличием в ней Папы, не объявляет траур даже после смерти этого Папы; то, что *он был у нее*, считается радостью, которую не должно уменьшать никакое горе.

Ательстан, очевидно, король Кокейна, ибо он приветливо выражает удивление по поводу смерти старого путешественника, видя, говорит его величество, что "*я назначил* встречу с сэром Гаем", на что сын, который теперь вступил в наследство, отвечает в духе наследника, который долго ждал наследства: "что смерть случилась, и теперь уже ничего не поделаешь".

Но самое примечательное в этой трагедии то, что произносит Время, которое играет пролог, эпилог и интермедию между актами. Что бы ни думал Чарльз об этой пьесе, он, несомненно, был доволен Временем, который обращается к зрителям в стихах, придавая политический оборот уроку на сцене. Смею предположить, что следующие строки вызвали громкие аплодисменты если не у короля, то у галантов, придворных и кавалеров в целом: - "В Святой земле за границей Гай.

"В Святой Земле за границей духи Гая бродят,

А не в землях деканов и капитулов дома.

Его священный гнев угрожает тому народу,

Который держит Иудею под секвестром.

Он не бьет по сюртукам и наколкам,

чтобы нанести оливковое масло сектам и сипетам;

Но наносит свои воинственные и смертоносные удары

Против врагов своего Спасителя и своего государства".

Как, должно быть, ревели аплодисменты роялистов, и вполне заслуженно, при виде этих гениальных строк; и как, должно быть, захлебывались от восторга церковники в яме, когда Тайм впоследствии уверял их, что Гай отвез всех своих вавилонских пленников в Иерусалим и, вероятно, окрестил их епископально назначенными священниками! Если зал не зазвенел от ликования церковно-королевской публики, значит, они были недостойны наставлений, пропущенных через легенду и трагедию.

Такова история "мастера Гая"; история, в которой, несомненно, есть смысл, но которая никогда не использовалась с большей практической целью, чем когда ее использовали для поддержки шатающегося алтаря и упавшего трона. Читатель, давай выпьем за бессмертную

память мастера Гая; и, увидев, каким человеком он был, которого король с удовольствием почтил, посмотрим, какие почести были учреждены королями для других достойных людей.

ГАРТЕРИАНА.

"Честь! Твои достоинства прежде

Была достаточной подготовкой" - *"Месть девы"*.

Краткий очерк истории основания ордена Подвязки вы найдете на другой странице. Ограничившись анекдотическими подробностями, я начну с того, что в прежние времена ни один рыцарь не мог отсутствовать на двух праздниках ордена подряд, не будучи оштрафованным драгоценным камнем, который он должен был принести в дар алтарю Святого Георгия. Штраф должен был удваиваться каждый год, пока он не искупит свою вину. Кроме того, каждый рыцарь был обязан носить Подвязку публично, где бы он ни находился, под страхом штрафа в полмарки. В равной степени рыцарь, в какой бы части света он ни проживал или чем бы ни был занят, обязан был носить сангвиническую мантию ордена с кануна святого Георгия до весперы на следующий день после праздника. Некоторые из шевалье, находившиеся в дальних странах, должно быть, вызывали своим костюмом не меньшее удивление, чем мальчик в голубом плаще, бродящий в своем странном одеянии по улицам Парижа. Мне нет нужды упоминать об абсурдных последствиях, к которым привело бы введение такого порядка в наши дни. Охота, как правило, заканчивается до кануна дня святого Георгия, и поэтому рыцаря Подвязки в одежде никогда не увидят за двойным забором, канавой и перилами, в хвосте "Мелтон Моубрей". Но даже вид полудюжины из них, скачущих по улице Парламента в тот период, о котором идет речь, вряд ли был бы странным зрелищем. Небольшое денежное подношение в размере одного пенни освобождало любого довольно беспринципного рыцаря от посещения богослужения в часовне Святого Георгия, когда он находился в Виндзоре или рядом с ним. Когда рыцарь умирал, все его оставшиеся в живых товарищи были вынуждены оплачивать определенное количество месс за его душу. За суверена-лорда ордена была отслужена тысяча месс в честь его спасения из чистилища. По шкале, проходящей через различные ранги, добивались до рыцаря-бакалавра. Для него было отслужено всего сто месс. Это доказывает либо то, что душа рыцаря была не столь трудна для избавления от того, что князь Горшаков назвал бы "feu d'enfer", либо то, что душа короля была настолько сильно придавлена своими преступлениями к самым глубинам чистилища, что для ее спасения требовалось приложить в разы больше усилий.

Можно заметить, что "товарищество" приносило рыцарю определенную пользу, если, будучи не только рыцарем, но и плутом, он попадал под обычное наказание "нарисован, повешен и обезглавлен". В таком случае рыцарь Подвязки страдал только от обезглавливания, как сэр Саймон Берли в 1388 году. Сумма милости, оказанной рыцарю-нарушителю, не позволяла ему испытывать особую благодарность к тому, от чьих рук она была получена. Следует отметить, что не всегда дворянин, избранный в рыцари, добровольно принимал предложенную Подвязку. Первым, кто отказался от нее после должного избрания в 1424 году, был герцог Бургундский. Он отказался от нее с таким же презрением, как Уланд от звезды заслуг, предложенной поэту нынешним королем Баварии.

Рассказывая о сценических рыцарях, я, как видно, поставил во главе их сэра Джона Фальстафа. Оригинал этого персонажа, по мнению некоторых, а именно сэр Джон Фастольф,

заслуживает внимания как рыцарь Подвязки, который был не более трусом, чем Фальстаф - надутый шут, за которого его принимают некоторые комментаторы. Сэр Джон Фастольф был избран рыцарем Подвязки в 1426 году. Монстреле говорит, что он был исключен из ордена за то, что убежал, не нанеся ни одного удара, в битве при Патае. Популярный шекспировский сэр Джон не имеет ничего общего с этим другим сэром Джоном, но у нас есть сам Фальстольф в Генрихе VI. акт iv. sc. 1, с Талботом, ссылаясь на свою клятву, что

"Когда я встречусь с тобою в следующий раз,

Сорвать подвязку с ноги твоей,

Что я и сделал, ибо недостойно

Ты был возведен в эту высокую степень".

Подобное отстранение или лишение личной жизни не допускалось правилами ордена, которые предписывали формы разжалования рыцаря, уличенного в трусости. Битва при Патаях произошла в 1429 году; и поскольку существует множество свидетельств того, что сэр Джон владел Подвязкой и всеми ее почестями еще долго после этого периода; и, кроме того, его могила в Пулхэм Мэри, Норфолк, изображает его в золоченых доспехах, с его гербом и двумя эскулапами, с крестом Святого Георгия в ордене, мы можем справедливо заключить, что если это обвинение когда-либо и выдвигалось, от которого не осталось и следа, оно, несомненно, никогда не было доказано.

Если были люди, которые вообще отказывались принимать эту честь, то были и другие, которые боялись делать это без любопытных расспросов. Так, в правление Генриха VI мы слышим о посольстве от Фридриха III. императора Германии (некий сэр Хертук фон Клуks), заявляющего, что его господин желает знать, "чем это ему грозит, если он будет принят в этот почетный орден!". Осторожная Австрия!

Среди рыцарей Подвязки есть примеры как вежливости, так и сарказма. Я могу привести, например, случай с герцогом Йоркским во времена правления Генриха VI. 1453 ГОД. Король был слишком болен, чтобы председательствовать на капитуле; герцог Бекингем был его представителем; и герцог Йоркский, столь мало щепетильный в большинстве вопросов, оправдался тем, что не присутствовал на заседании по этому случаю, поскольку, как он сказал, "государь некоторое время был сердит на него, он не мог присутствовать, чтобы не навлечь на себя его дальнейшее неудовольствие и тем самым не усугубить болезнь, от которой страдал король". Когда тот же герцог пришел к власти, он вручил Подвязку наиболее полезным людям из партии Йорков, обезглавив нескольких ланкастерских рыцарей, чтобы освободить для них место. На капитуле, созванном для избрания претендентов от Йорков, честный Джон де Фуа, граф Кендал, вообще отказался голосовать. Он утверждал, что не в состоянии определить, являются ли кандидаты "без упрека" или нет, и предоставил решать этот вопрос дальновидным людям. Граф был ланкастерцем, и таким образом он избежал неприятного поступка - голосовать за личных и политических врагов.

Но какую бы неприязнь ни испытывал один рыцарь к другому, бывали случаи, когда во время мессы они шли рука об руку, чтобы поцеловать эту почитаемую реликвию - сердце святого Георгия. Эта реликвия была привезена в Англию императором Сигизмундом. Анстис замечает, сославшись на упрямство тех, кто не желает верить всему, что говорит святой Амвросий о фактах, связанных со святым Георгием, его убийством дракона и спасением королевской девы, что "кто настолько упрям, что упорно осуждает каждую часть этой истории, с тем не стоит мириться". Затем он добавляет: "Этот истинный мученик и

превосходный и ценный солдат Христа, после многих невыразимых мучений, причиненных ему нечестивым тираном, когда он склонил голову и уже готов был расстаться с призраком, искренне молил Всемогущего Бога, чтобы тот, кто в память о нем и его имени благочестиво попросит о чем-либо, был услышан, с небес мгновенно раздался голос, означающий, что было дано то, о чем он просил. Еще при жизни он молитвой добился, чтобы всякий, кто прибегнет к нему за заступничеством, не молился и не взывал напрасно. Он приказал отправить им туловище, происходившее от неверных, чтобы те, кому он не мог служить при жизни, могли получить от него пользу после смерти; чтобы те неверные, которые по несчастью лишились рассудка, придя к нему или в его часовню, могли быть возвращены к здравому уму и рассудку. Его голову и другие члены должны были нести, одни в одну сторону, другие в другую. Но его сердце, олицетворение живой любви, было завещано исключительно христианам, к которым он питал самую горячую привязанность. Не всем вообще, хотя они и христиане, а только англичанам; и не во все части Англии, а только в его родной Виндзор, который по этой причине должен был быть более приятным для государей и всех остальных рыцарей этого самого прославленного ордена. Таким образом, его сердце вместе с большой частью черепа хранится там с должным почтением и уважением. Сигизмунд, император Алеманнский, всегда августейший, будучи избранным в этот почетный орден, подарил это сердце непобедимому Генриху V., который отдал приказ сохранить его в этом удобном месте, где он уже учредил для себя торжественные экзекуции на вечные времена, чтобы уважение, которое он питал ко всем остальным, было бесспорным." Это, конечно, очень далеко от логики, но факт остается фактом: во время правления Генриха VI рыцари двух фракций, раздиравших Англию, относились к сердцу с большим, чем обычно, почтением. Каждая из них надеялась заполучить святого Георгия в единомышленники.

Главы не всегда проводились в Виндзоре и не в таких торжественных местах, как часовня. В 1445 году Генрих VI провел капитул в гостинице Lion Inn в Брентфорде. В этом заведении король посвятил в рыцари Подвязки сэра Томаса Гастингса и сэра Алонзо д'Альмаде. Последнему, который также стал графом Авраншем, в лучшей комнате трактира в Брентфорде монарх также вручил золотой кубок. Вся компания, похоже, провела ночь в этом приятном месте, а новые шевалье были установлены на следующее утро - после чего, вероятно, глентвейн отправился в золотой кубок.

Шекспир заставляет Ричарда III поклясться своим Георгом, Подвязкой и Короной; но Георг и Воротник были новинками, введенными Генрихом VII. Последний король провел один из самых великолепных соборов, которые когда-либо собирались, в Йорке, предварив его работу тем, что поехал со всеми рыцарями в их одеяниях на утреннюю заупокойную мессу, а затем таким же образом поехал на вечернее пение. Это было более пристойно, чем кабацкая глава Генриха VI в "Красном льве" в Брентфорде. Генрих VII любил торжественную пышность инсталляций, на которых он менял свои костюмы, как разноплановый актер, был окружен дамами и рыцарями, а рядом находился поэт Скелтон, чтобы делать записи для песен и сонетов, описывающих это событие. Такой государь ордена, как Генрих VII, столь ревностно следивший за его великолепием и эффективностью, заслужил подарок, который преподнес ему кардинал Руанский, - кости одной из ног Святого Георгия. У святого было много ног, но неизвестно, где были добыты эти кости, и те, кто видел их на соборе Святого Павла в 1505 году, вероятно, мало беспокоились о том, откуда взялись драгоценные реликвии. Генрих, в свою очередь, оставил образ святого Георгия весом в сто сорок унций, украшенный массой драгоценных камней, Виндзорскому колледжу, "чтобы он оставался, пока существует мир,

и ставился у главного алтаря на всех торжественных праздниках". Кости ноги и дорогое изображение теперь будут искать напрасно. Мир пережил их и не страдает от их утраты.

Именно преемник Ричмонда, а именно Генрих VIII, даровал этим рыцарям привилегию, которую можно назвать суммарной: им разрешалось носить шерстяную ткань из королевства. Ни один рыцарь, кроме пэров, не смел надеть плащ или мантию из иностранной ткани. В любви к пышности Генрих не уступал своему предшественнику, и, пожалуй, никогда не было более блестящего зрелища, чем 27 мая 1519 года, когда король с блестящим кортежем проехал из Ричмонда в Виндзор, сменил коня и выпил кубок в "Колесе Екатерины" в Колнбруке, по дороге. Королева и целая плеяда дам встретили их в Итоне, и за обычными торжественными мероприятиями последовал великолепный банкет, на котором было столько мяса и музыки, сколько вряд ли когда-либо до этого получали на празднике. Середина зала была заполнена зрителями, но по окончании трапезы их выгнали, когда "королю подали его пустоту, рыцари также стояли вдоль всего зала", что, должно быть, было необычайно назидательным зрелищем.

Генрих перестроил орден и разработал статуты, по которым он теперь в основном и управлялся. Среди них был и тот, который предписывал не избирать людей низкого происхождения, и король сам очень быстро нарушил его, избрав Томаса Кромвеля. Последний поблагодарил за оказанную честь в самом скромном тоне, и хотя он, казалось, сознавал, что совершенно недостоин этой чести, он, похоже, желал заверить насмешливых соратников-рыцарей, которые были вынуждены отдать ему свои голоса, что, как бы ни был он низок, он будет подражать благородству настолько близко, насколько это возможно. Но со времен учреждения ордена и до эпохи Генриха были люди, которые если и были выше Кромвеля по происхождению, то не были более достойными. Очень многие из них лишились рыцарского достоинства в результате измены, и Генрих распорядился, чтобы везде, где эти имена встречались в записях, на полях против них писали слова "Vœ Proditor!" - "Выйти на предателя". Таким образом, текст получил истинно тюдоровский комментарий.

При следующем государе, Эдуарде VI, значительная часть пышности религиозных церемоний была упразднена. Именно в это царствование Нортумберленд добился изгнания лорда Пейджета из ордена на том основании, что подлость его рождения всегда лишала его права, или, как пишет Эдуард VI в своем дневнике, "за различные проступки, и *главным образом* потому, что он не был джентльменом крови ни со стороны отца, ни со стороны матери". Однако при Марии лорд Пэджет был восстановлен в должности, а запись о его разжаловании была удалена из реестра.

При Марии, если и было некоторое придворное раболепие, то и общественный дух тоже был на высоте. Когда королева посвящала своего мужа Филиппа в рыцари, один из благоговейных герольдов, из комплимента "совместным государям", снял герб Англии в часовне в Виндзоре и собирался установить герб Испании. Однако это было запрещено "некоторыми лордами", а они были храбрыми людьми, поскольку такое проявление английского духа грозило навлечь на себя недоброжелательство Марии, которая не уставала осыпать милостями иностранного короля-консорта, которого она сделала бы генералиссимусом своих войск, если бы посмела. Любопытно, что Филипп не был изгнан из ордена, даже когда отправил испанскую армаду опустошать владения государыни.

В качестве иллюстрации того, что Подвязка никогда не покидала ногу кавалера ордена, можно привести несколько строк елизаветинского поэта Пилля, очень подходящих к этому случаю. Говоря о графе Бедфорде, Пилл говорит: - "Мертв Бедфорд!

- "Мертв Бедфорд! Добродетельный и прославленный

За оружие, честь и религиозную любовь;
И все еще живо его имя в записях славы,
Что хранил свою подвязку и хорошо ее носил.
Какой-нибудь достойный рыцарь возвеличит его заслуги:
Это лишь рассказ, который я вспомнил по дороге,
Когда я заметил его почетное имя.
Я слышал, что ему посчастливилось, отойдя от сна,
вздремнуть возле фермерского домика.
Я немного доверял себе,
Этот престарелый граф в своей простой одежде,
завернувшись в свой русский халат, прилег отдохнуть,
Знак почета пристегнут к ноге.
Босой и нагой. Пришел вороватый подкаблучник
И, желая поживиться этим украшением.
Попытался расстегнуть пряжку, думая, что он спит.
Благородный джентльмен, почувствовав, что он имеет в виду...
"Погоди, глупый парень, - сказал он, - найдется добыча получше":
Эта подвязка не подходит ни для одной ноги,
И я считаю ее лучше, чем мой кошелек".
Варлет убежал, а граф проснулся.
И друзьям своим рассказал, и, улыбаясь, сказал,
"Не стал бы я, если б понимал по-французски
'Написать на моей подвязке, не осмелился бы так же".
Эту историю я обдумал, и она показалась мне правдивой,
Тем более, что за нее похвалили Позы,
Правдивый и почтенный, что много значит.
"Зло тому, - говорится в ней, - кто зло думает".

Елизавета отличалась тем, что любила держать новоизбранных рыцарей в напряжении, прежде чем утвердить их избрание своим одобрением. Юбилейные банкеты тоже вышли из употребления во время ее правления, и она представила самого недостойного рыцаря, который когда-либо стоял на учете ордена. Им стал Карл IX Французский. С другой стороны, она послала Подвязку Анри Четвертому. Он был последним французским монархом, который был кавалером ордена, до правления Людовика XVIII. В день, когда последний приехал из

Хартвелла в Стэнмор, направляясь во Францию, в период первой реставрации, принц-регент вручил ему этот знак отличия в Карлтон-Хаусе. Именно по этому случаю Людовик XVIII заметил, что он был первым королем Франции, который носил подвязку со времен Анри Четвертого. Людовик вычеркнул свое имя из Золотой книги дворянства Венеции, когда узнал, что туда было внесено имя Бонапарта. Возможно, он отказался бы от получения Подвязки, если бы мог предвидеть, что королевская племянница принца-регента в последующие годы вручит этот орден императорскому племяннику Наполеона.

Период правления Якова отмечен некоторыми серьезными ссорами среди чиновников. Так, во время инсталляции принца Генриха состоялся праздник, который едва не превратился в драку. В самом его начале пребенды и герольды сцепились друг с другом из-за деликатного вопроса о старшинстве. Рыцари милостыни вмешались в ссору, встав на сторону пребендов и претендуя на следующую степень старшинства перед герольдами. Были упомянуты графы Ноттингемский и Вустерский. Судьи постановили, что герольды имеют право старшинства перед пребендами. После этого гордые пребенды, забыв о христианском смирении, отказались идти в церковь в хвосте герольдов. Последние с ликованием входили без них, а пребенды входили только по прошествии долгого времени, так что нельзя было сказать, что они следовали за господами в табардах. Щекотливый вопрос снова гневно обсуждался и в конце концов был передан на рассмотрение всего рыцарского корпуса. После серьезных размышлений благородное братство, наконец, постановило, что на следующий день святого Георгия, в воскресенье, в процессии к церкви первыми должны идти рыцари милостыни, затем преследователи оружия, потом пребенды (многие из которых были докторами богословия) и, наконец, герольды. Последние были хитрыми плутами и пользовались немалым авторитетом в вопросах старшинства; они сразу же заявили, что рыцари определили им лучшее место, так как в большинстве процессий главные персоны не шли первыми.

Из рыцарей этого царствования наиболее известными были Морис Грейв, принц Оранский, и Фредерик (Добрый) Пальсграф Рейнский. Они были возведены на престол в 1613 году, принц - по доверенности, а Пальсграф - лично. Молодой и изящный граф Людовик Нассауский был выбран в последний момент, чтобы представлять принца, чей назначенный представитель, граф Генрих, был задержан в Голландии из-за неблагоприятных ветров. "Пир, - рассказывает очевидец, - проходил в Большом зале, где король обедал за верхним столом в одиночестве, прислуживали лорд Джерард в качестве стряпчего, лорд Моррис в качестве виночерпия, лорд Комптон в качестве резчика; все, кто был в ордене, за длинным крестовым столом в другом конце зала. Принц был один, а Палатин - на некотором расстоянии от него. Но граф Нассау расположился напротив милорда адмирала, и так происходило со всеми после суверенных принцев, не без некоторого ропота наших лордов, которые хотели бы, чтобы он расположился по старшинству, если бы король не отменил это прерогативой".

Уилсон в своей истории Якова I рассказывает любопытный анекдот об этом Могиле Мориса и орденской ленте. "Принц Морис считал большой честью быть принятым в братство этого ордена и постоянно носил ее; пока впоследствии некоторые злодеи в Гааге, получившие награду за свои проступки (один из них, француз, был конюхом в покоях принца), не ограбили ювелира из Амстердама, который привез принцу драгоценности. Этот конюх, заманив его в свои покои, чтобы посмотреть драгоценности, вместе со своими сообщниками задушил его одной из голубых лент принца; что было впоследствии обнаружено, принц никогда бы не допустил, чтобы столь смертоносный инструмент оказался на его шее".

Яков, возведя своего фаворита Бекингема, тогда еще только сэра Джорджа Вильерса, в степень рыцаря Подвязки, считался таким же оскорбителем ордена, как и Генрих VIII,

наградивший этим знаком отличия Кромвеля. Чемберлен в письме к сэру Дадли Карлетону пишет: "Король уехал на следующий день после праздника Св. Георгия в Ньюмаркет и Тетфорд; в то утро граф Ратленд и сэр Джордж Вильерс были избраны в орден Подвязки, что поначалу казалось странным выбором, учитывая, что жена первого - открытая и известная рецидивистка, и вокруг *него*, как говорят, много опасных людей; а второй так недавно появился на свет, и при этом есть сомнения, что у него недостаточно способностей, чтобы поддерживать достоинство места, согласно четким статьям ордена. Но чтобы устранить это сомнение, король пожаловал ему земли лорда Грея и, как говорят, намерен дополнить его пожалование еще большим, находящимся неподалеку, в нынешнем владении графа Сомерсета, если тот *уступит* и уступит в текущем деле". Последний отрывок относится к убийству Овербери.

В это время спуск в Виндзор представлял собой помпезное зрелище. Современник так рассказывает о поездке туда избранных рыцарей: "В понедельник" (день святого Георгия, 1615 год) "наши рыцари Подвязки, лорд Фентон и лорд Ноллис, едут в Виндзор, с большими приготовлениями, чтобы поспорить друг с другом, кто лучше покажет себя. Хотя я считаю, что последний одержит верх, благодаря союзу с домами Говардов, Сомерсетов, Солсбери и Дорсетов, а также со многими другими великими семьями, которые приведут ему своих друзей и большую часть пенсионеров. Однако большинство убеждено, что другой унесет колокол, поскольку у него лучшая часть двора, вся опочивальня, все слуги и приверженцы принца, с сотней гвардейцев, у которых специально сшиты новые богатые плащи, кроме того, сэр Джордж Вильерс (фаворит) и господин секретарь, чье присутствие, по моему мнению, лучше было избежать по многим причинам, но каждый человек преувеличивает в своем понимании". Джеймс попытался в какой-то мере пресечь дорогостоящую поездку избранных рыцарей в Виндзор, но лишь с частичным успехом. Его попытка провести реформу также имела эгоистический аспект: он пытался сделать ее выгодной для себя. Он запретил дарить ливрейные плащи, "чтобы сэкономить расходы и избежать подражания", и в то же время приказал, чтобы все существующие и будущие компаньоны дарили кусок пластины стоимостью не менее двадцати фунтов стерлингов для использования алтаря в часовне Святого Георгия.

Карл I проводил соборы в большем количестве мест в Англии, чем любой другой король: то в Йорке, то в Ноттингеме, то в Оксфорде, то в других населенных пунктах. На этих церемониях иногда присутствовало всего четыре рыцаря, и по большей части они были лишены многих древних церемоний. Тем не менее, он провел несколько блестящих собраний в Виндзоре. На одном из них избрание графа Нортумберленда вдохновило барда, чью песню я привожу, поскольку она иллюстрирует несколько инцидентов, далеко не лишенных интереса.

"Краткое описание триумфального представления, устроенного достопочтенным Олджерноном Перси графом Нортумберлендом во время его избрания и посвящения в княжеское братство Подвязки 13 мая 1635 года".

На мелодию песни "Утоли гордыню".

"Вы, благородные бутоны Британии,

Что растут на древе чести,

Кто любит слушать о высоких замыслах,

Послушайте меня немного.

И я (вкратце) расскажу, что

Слава велит мне взять в руки...

Чтобы пылать

восхвалять

Великого Нортумберленда.

"Орден Подвязки,

еще со времен правления третьего Эдуарда

В королевстве Англии

Бесподобной чести удостоен.

В мире нет общества,

Подобного этой княжеской группе,

чтобы возносить

хвалу

Великого Нортумберленда.

"Честь его родословной

Претендует на высокое уважение,

И многие из его предков

К славе стремились без труда.

И он, благодаря благородным качествам,

Которые точно отсканированы,

возносит

хвалу

Великого Нортумберленда.

"К назначенному дню

Его светлость готовился;

Чтобы огласить свое великолепие

Не жалел он расходов.

Подобное в памяти людской

Не было дважды в руках

Чтобы вознести

хвалу

великого Нортумберленда.

"В тот день, казалось.

Вся Бретань стремилась,

И делали все возможное, чтобы почтить его

Всем, что могли придумать.

Ибо все наши высокородные

Соединились в одной земле

Чтоб пылать

славу

Великого Нортумберленда.

"Глаза простых людей были ослеплены

С удивлением глядя

Блеск нарядов богатых,

серебра, жемчуга и золота,

Которые на храбрых конях восседали,

Сверкали по Стрэнду,

Чтобы пылать

славу

великого Нортумберленда.

"Но прежде чем я продолжу

О прогрессе доложить,

я должен был упомянуть о пире.

устроенном в Солсбери-Корт.

Почти пятьсот блюд

На столе стояло,

чтобы поднять

хвалу

Великого Нортумберленда".

Вторая часть на ту же мелодию.

"Могущественнейший принц и монарх

Что в мире царствует,

На столь роскошном пиру мог бы

Пужинать без презренья,
Где мешок, как вода в водопроводе,
Был всегда свободен,
Чтобы пылать

славу

Великого Нортумберленда.

"Знаменитый канал на Флит-стрит,
прославленный так давно,
Не пренебрегла выражением любви
Она была обязана милорду.

Как старая гордячка

Нарисованное лицо стоит

Чтобы пылать

хвалу

Великого Нортумберленда.

"Несколько храбрых галантов,
Некоторые рыцари и некоторые эсквайры,
Присутствовали на этом великом триумфе,
Одетые в полные наряды.

Серебряный полумесяц славно

На рукавах их стоит,

Чтобы пылать

хвалу

Великого Нортумберленда.

"Все они на величественных конях,
Которые плохо переносили удары,
Были запряжены в роскошные копыта,
Как и подобает времени.

Их перья были белыми и красными,

Как у боевого оркестра,

Чтобы пылать

славу

Великого Нортумберленда.

"Благородные графы и виконты,

и бароны, ехали в полном вооружении:

С этой великой и высокой торжественностью

Все поздравляли.

В честь храброго графа Перси

Каждый протягивал руку помощи

Чтобы пылал

хвалу

Великого Нортумберленда.

"Король Карл, наш королевский государь,

И его прославленная Мария,

И надежда Британии, их потомство,

Все с любовью остановились

У благородного виконта Уимблтона,

В прекраснейшей части Стрэнда,

чтобы воспеть

восхвалять

Великого Нортумберленда.

"В знаменитый Виндзорский замок,

со всей своей галантной свитой,

Граф *Пирси* отправился в тот день

Чтобы добиться своей чести.

И там он был установлен

Один из оркестра Святого Георгия,

Чтобы воспевать

славу

Великого Нортумберленда.

"Пусть долго живет он в почете,

В изобилии и в мире;

За него и за всех его благородных друзей,

Молиться я никогда не перестану".

Эта частушка (которую я сейчас закончу)

Была только в руках

Чтоб вспыхнуть

хвалу

Великого Нортумберленда".

На этой показательной балладе есть инициалы "М. Р.". Вероятно, они не означают ни члена парламента, ни представителя дома Перси. Под инициалами помещена легенда: "Напечатано в Лондоне для Фрэнсиса Коулза и продается в его лавке в Олд-Бейли" (стихи *subaudiuntur*). Текст иллюстрируют три гравюры на дереве. Первая изображает графа верхом на лошади; и пэр, и заряжающий очень богато одеты, а конь выглядит так же интеллигентно, как и пэр. Перед этой величественной, солидной и неторопливо вышагивающей парой - конный слуга, вооруженный палкой и скачущий полным галопом на всех парах. На иллюстрации ко второй части изображен граф, возвращающийся из Виндзора в карете, очень похожей на "Арабу" на турецкой выставке. Новый рыцарь носит шляпу, плащ, воротник и звезду; его фигура, широко расставленная к дверному проему, не имеет отдаленного сходства с тревовым рыцарем, а его аристократическое самообладание и спокойствие поразительны, если учесть, как он ударяется, о чем свидетельствуют колеса его колесницы, оторвавшиеся от земли на несколько дюймов. Темп движения лошадей, которых видно две с половиной головы, однако, не очень велик. Они едва ли идут шагом. Но, возможно, босоголовый кучер и такой же босоголовый конюх просто остановили их, чтобы дать возможность бегущим лакеям добраться до кареты. Двое из них видны у заднего борта машины, бегущие, подобно бравым мифологическим персонажам Овидия, которые бежали на знаменитом поединке, в котором яблоки играли столь значительную роль. Опоздавшие лакеи только что попали в поле зрения своего господина, который не позволяет нарушить свою безмятежность, укоряя их. Перси выглядит так же глупо, как и его слуги, и единственный признак интеллекта в группе можно найти в колесничем, сидящем сбоку, чья голова откинута назад, с насмешливым выражением лица, как будто он высмеивает идею всего этого шоу и убежден, что рисует такое же глупое животное, как и он сам.

Граф, похоже, поехал на восток, в направлении, указанном его собственным львиным рассказом, прежде чем отправиться в Виндзор. Зрелище, похоже, заинтересовало всех чиновников между короной и кондуитом на Флит-стрит. Где находился дом виконта Уимблдона, "в самой красивой части Стрэнда", я предположить не могу, а поскольку не могу найти сведений на этот счет в "Справочнике Лондона" мистера Питера Каннингема, делаю вывод, что место это неизвестно.

В связи с Карлом I и его Подвязкой я приведу здесь отрывок из третьего тома "Истории Англии" г-на Маколея, стр. 165. "Лувуа ненавидел Лазуна. Лазун был любимцем в Сен-Жермене. Он носил Подвязку, почетный знак, который очень редко вручался иностранцам, не являвшимся суверенными принцами. При французском дворе считалось, что для того, чтобы выделить его среди других рыцарей самого прославленного из европейских орденов, он был украшен тем самым Георгием, который Карл I на эшафоте вложил в руки Жаксона". О Лазуне мне придется рассказать в разделе об иностранных рыцарях. Здесь же я возвращаюсь к Георгию, завоеванному Карлом и подаренному Лазуну. Это была очень

необычная драгоценность, любопытно ограненная в ониксе, украшенная двадцатью одним крупным бриллиантом в форме подвязки. На нижней стороне Георгия был изображен портрет Генриетты Марии, "на редкость хорошо написанный", - говорит Эшмол, - "и помещенный в золотой футляр, крышка которого была аккуратно эмалирована ювелирной работой, и окруженный другой подвязкой, украшенной таким же количеством бриллиантов одинакового размера, как и вышеупомянутый". Ониковый Георг Карла I находился во владении покойного герцога Веллингтона и является собственностью нынешнего герцога.

В истории подвязки, которую носил Карл I, есть нечто столь же любопытное, как и то, что рассказывает мистер Маколей о Георгии. Бриллиантов на ней, образующих девиз, было более четырехсот. В день казни это ценное украшение попало в руки одного из капитанов кавалерии Кромвеля по фамилии Пирсон. После одной смены рук оно было продано Джону Иретону, бывшему лорду-мэру Лондона, за двести пять фунтов. Во время Реставрации была назначена комиссия, которая должна была следить за разбросанным королевским имуществом; комиссары не только вернули несколько картин, принадлежавших Карлу, у миссис Кромвель, которая отдала их на хранение одному торговцу на Темз-стрит, но и обнаружили, что Подвязка находится у Иретона, и потребовали от него передать ее. Говорят, что комиссары предложили ему стоимость драгоценности, если он откажется от нее. Это не так. Сообщение было основано на неверном понимании условий. Иретон не отрицал, что владел Подвязкой путем покупки, после чего "ему была предложена композиция, в соответствии с указаниями комиссии, как и во всех других подобных случаях, когда ничего нельзя было получить в натуре". То есть ему было приказано отдать драгоценность, или, если она была уничтожена, ее стоимость, или какую-то компенсацию вместо нее. Иретон полностью отказался от этих условий. После этого король, Карл II, подал на него в суд королевской скамьи, где королевский истец получил вердикт на двести пять фунтов и десять фунтов расходов по иску.

В феврале 1652 года парламент отменил все титулы и почести, присвоенные Карлом I с 4 января, за два года до этого. Это было сделано на том основании, что покойный король присвоил эти титулы и почести, чтобы способствовать своим злым и коварным замыслам против парламента и народа Англии. На каждого преступника, использовавшего отмененный титул, был наложен штраф в сто фунтов, за исключением рыцаря, который был отпущен по более дешевой ставке в сорок фунтов. Любой осужденный за обращение к человеку по любому из отмененных титулов подлежал штрафу в десять шиллингов. Парламент с молчаливым презрением отнесся к рыцарским титулам и орденам, пожалованным Карлом I. Поскольку монархия прекратила свое существование, то и эти придатки монархии были признаны недействительными. Протектор не создал ни одного рыцаря Подвязки или Бани. "Эти ордена, - говорит Николя, - никогда не были формально упразднены, но, вероятно, они считались настолько неразрывно связанными с личностью, именем и должностью короля, что никакая другая власть не могла их учредить". Кромвель, однако, сделал одного пэра, Говарда, виконта Говарда из Морпета, десятью баронетами и рыцарями и предоставил определенные степени старшинства. Он редко называл недостойного человека, рассматривая его с точки зрения самого протектора, но Реставрация не успела стать свершившимся фактом, как высмеять одного из рыцарей Оливера стало само собой разумеющимся делом для уморительных драматических поэтов. На эту тему можно найти материал в разделе "Рыцари сцены". Между тем, хотя о рыцарях Подвязки при Содружестве ничего не известно, мы можем отметить один случай, показывающий, что король-оруженосец Подвязки не был совсем уж бездельником. Этот инцидент будет достаточно объяснен следующей выдержкой из третьего тома "Истории Англии" мистера Маколея. Автор рассказывает о цареубийце Ладлоу, который после

Реставрации жил в изгнании в Женеве. "Революция открыла перед ним новые перспективы. Право народа сопротивляться угнетению, право, которое в течение многих лет никто не мог отстаивать, не подвергая себя церковным анафемам и гражданским наказаниям, было торжественно признано эстами королевства и провозглашено королем-оруженосцем Гартером на том самом месте, где был установлен памятный эшафот."

Карл II не стал дожидаться Реставрации, чтобы произвести или не произвести рыцарей. Он не проводил соборов, но в Сен-Жермене, на Джерси и в других местах он лишил рыцарского звания тех, кто забыл о своей верности во время "позднего ужасного мятежа", как он выразительно называет парламентский и кромвелевский периоды, и разрешил другим лицам носить этот знак отличия, увещевая их терпеливо и с надеждой ждать своего возведения в Виндзор. В Сен-Жермене он вручил Подвязку своему фавориту Бекингеми, а из Джерси отправил ее двум гораздо более достойным людям - Монтрозу и Стэнли, графу Дерби. Злейшие враги этих людей не могли отрицать их рыцарских качеств. Монтроз на эшафоте, когда ему на шею повесили (в насмешку) книгу, в которой были записаны его многочисленные храбрые подвиги, очень метко сказал, что он носил запись о своей храбрости с такой же гордостью, как когда-либо носил Подвязку. Рыцарство Стэнли никогда не было столь выдающимся, как во время стычки перед Вустером, когда в жаркой схватке он получил семь выстрелов в нагрудный знак, тринадцать порезов на бобре, пять или шесть ран на руках и плечах, и под ним были убиты две лошади. Когда ему предстояло умереть, он вернул Подвязку руками верного слуги королю, "со всем смирением и благодарностью", как он заметил, "безупречную и свободную от всяких пятен, как он получил ее, согласно почетному примеру моих предков".

Карл произвел в рыцари Подвязки генерала Монка и адмирала Монтегю. Избрание главы состоялось в аббатстве Святого Августина в Кентербери. Это было первое удобное место, которое король смог найти для подобной цели после высадки на берег. "Они были единственными двумя, - пишет Пепис, - кто в течение многих лет получал Подвязку до того, как они удостоились чести графства или чего-то подобного, не считая герцога Бекингема, который был всего лишь сэром Джорджем Вильерсом, когда его сделали рыцарем Подвязки". Эта честь была предложена Кларендону, но он отказался от нее, сочтя, что это выше его достоинств и может нажить ему врагов. Однако Джеймс, герцог Йоркский, гневно объяснил отказ Кларендона от избрания на Подвязку тем, что Джеймс сам попросил его об этом, и что канцлер по глупости не желает принимать любую честь, которая может быть оказана при посредничестве герцога.

Прежде чем перейти к следующему царствованию, позвольте мне заметить, что Георг и Подвязка Карла II пережили столько же приключений и злоключений, сколько и его отец. В битве при Вустере его ошейник и подвязка стали добычей Кромвеля, который отправил с ними гонца к парламенту в знак и трофей победы. Меньший Георг короля, украшенный бриллиантами, был сохранен полковником Блейгом. Он прошел через несколько рук с большим риском. В конце концов он снова попал в руки полковника, когда тот был заключен в Тауэр. Блэг, "учитывая, что она уже прошла через столько опасностей, был убежден, что она еще сможет уберечь его от одной опасной попытки". Восторженный роялист смотрел на него как на талисман, который спасет его из плена. Правы или нет были его чувства, результат оказался благоприятным. Ему удалось совершить побег и вернуть Джорджа своему государю.

Короткое правление Якова II не содержит ничего достойного внимания широкого читателя в отношении этого украшения; то же самое можно сказать и о более длительном правлении Вильгельма III. Небольшой интерес в истории ордена при королеве Анне связан с ее

иностранными назначениями, о которых будет рассказано в следующем разделе. Невелик интерес к этим вопросам и при Георге I, за исключением того, что при *нем* мы находим последний случай разжалования рыцаря подвязки в лице Джеймса, герцога Ормундского, который был обвинен в государственной измене. Его разжалование произошло 12 июля 1716 года. Во время этого царствования было проведено множество выборов. Единственные, которые заслуживают особого внимания, - это выборы сэра Роберта Уолпола, первого лорда казначейства. Он отказался от бани, получив Подвязку в 1726 году, и был единственным простолюдином, получившим это отличие со времен сэра Джорджа Монка и сэра Эдварда Монтегю, которые были созданы шестьдесят шесть лет назад.

Первое обстоятельство, достойное упоминания при Георге II, заключается в том, что цвет подвязки и ленты был изменен со светло-голубого на темный, или "подвязочно-голубой", как его называют. Это было сделано для того, чтобы отличить компаньонов, созданных Брунsvиком, от тех, которые, как предполагается, были обманным путем созданы претендентом Стюартом. Было произведено и другое изменение, но гораздо менее удачное. В связи с религиозной, социальной и политической революцией выяснилось, что рыцари присягают уставам, которые не могут соблюдать. Их совесть была встревожена - по крайней мере, они так говорили; но государь успокоил их, постановив, что в будущем все рыцари должны обещать не нарушать никаких уставов, кроме как по разрешению государя! Таким образом, дело осталось на прежнем месте.

Первым обстоятельством, заслуживающим внимания в правление Георга III, стало избрание графа Гоуэра президентом совета в 1771 году. Острый глаз Юниуса обнаружил, что выборы были фарсом, поскольку вместо государя и по меньшей мере шести рыцарей, присутствовавших, как того требовал устав, там было только четыре рыцаря - герцоги Глостер, Ньюкасл, Нортумберленд и граф Хартфорд. Первый герцог тоже был там против своей воли. Он, как говорит Юний, "просил, умолял и умолял", чтобы его отпустили с заседания, но все было напрасно. Новый рыцарь, похоже, был незаконно избран и так же незаконно введен в должность. Единственный неприятный результат был для бедных рыцарей Виндзора. Люди, заинтересованные в этом вопросе, сделали свои замечания, и пока незаконное избрание президента совета должным образом ставилось перед королем, ему было доложено, что бедные рыцари в течение очень долгого времени недобросовестно нарушали свой устав. В течение многих лет им разрешалось проживать со своими семьями в любом месте, где они пожелают. Это было признано неправильным, и Георг III, столь мягкий по отношению к лорду Гоуэру, был очень строг по отношению к этим бедным рыцарям. Всем им было приказано жить в своих апартаментах, пристроенных к Виндзорскому замку, и там поддерживать достоинство своего благородного ордена, дважды в день посещая церковь в полной форме. В то время среди них были и такие, кто с таким же успехом дважды в день выходил на встречу с драконом.

Орден Подвязки, безусловно, плохо использовался этим государем. Чтобы принять всех своих сыновей, он отменил статут Эдуарда (у которого было столько же сыновей, сколько у Георга, когда он сделал это нелепое нововведение, но который не позаботился сделать из них рыцарей, *потому что* они были его сыновьями), ограничив число компаньонов двадцатью пятью. Отныне сыновья государя должны были считаться только сверх этого числа. Как будто это было недостаточно абсурдно, король впоследствии постановил предоставить право избрания неопределенному числу лиц при условии, что они смогут проследить свое происхождение от короля Георга II!

Ни один компаньон не заслужил такой чести, как тот, кто был самым прославленным из английских рыцарей, созданных во время правления преемника Георга III, регента; а именно,

покойный герцог Веллингтон. Г-н Маколей, подробно описывая заслуги и почести, оказанные Шомбергу, приводит отрывок, в котором он объединяет имена этих двух воинов, герцогов и рыцарей Подвязки. "Палата общин при всеобщем одобрении компенсировала потери Шомберга и вознаградила его заслуги грантом в сто тысяч фунтов. Прежде чем отправиться в Ирландию, он попросил разрешения выразить свою благодарность за этот великолепный подарок. В баре для него поставили стул. Он занял свое место, держа булаву под правой рукой, поднялся, в нескольких изящных словах поблагодарил и удалился. Спикер ответил, что общинники никогда не смогут забыть обязательств, которые они уже взяли на себя перед его светлостью, что они с удовольствием видели его во главе английской армии, что они полностью уверены в его рвении и способностях, и что на каком бы расстоянии он ни находился, он всегда будет, в особой манере, объектом их заботы. Прецедент, созданный по этому интересному случаю, был соблюден с особой тщательностью сто двадцать пять лет спустя, по случаю еще более интересному. Точно на том же самом месте, где в июле 1689 года Шомберг признал либеральность нации, в июле 1814 года был установлен стул для еще более прославленного воина, который пришел отблагодарить за еще более великолепный знак общественной благодарности".

В истории ордена со времени избрания последнего названного рыцаря нет ничего, требующего особого внимания. Ни один из тех, на чьи плечи была возложена "мантия небесного цвета", не заслужил с таким трудом и так хорошо честь товарищества. Эта честь, однако, обходится каждому рыцарю, который подчиняется требованию, не менее чем в сто восемь фунтов стерлингов в виде гонорара. Сам по себе является крупным штрафом, налагаемым на тех, кто оказывает исключительные услуги стране и кому вручается орден Подвязки, а также приказ короля-оруженосца о выплате взамен более ста гиней. Штраф, однако, как правило, выплачивается с готовностью; ведь хотя неуплата не лишает рыцаря звания, она приводит к тому, что его имя не заносится в реестр.

Я уже отмечал, что мистер Маколей в своей недавно опубликованной "Истории" утверждает, что очень немногие иностранцы, за исключением суверенных принцев, были когда-либо приняты в общество Подвязки. Давайте же пройдемся по списку прославленных иностранцев и посмотрим, насколько верно это утверждение.

ИНОСТРАННЫЕ РЫЦАРИ ПОДВЯЗКИ.

В утверждении мистера Маколея есть некоторая ошибка, которую, с точки зрения истории, возможно, стоит исправить. Так как в орден принималось мало иностранцев, за исключением суверенных принцев, факт, за исключением недавних времен, прямо противоположный. Орден предполагал прием иностранцев с самого дня своего основания. В этот день были приняты три иностранца, ни один из которых не был владетельным князем. Ни один из иностранных государей, с которыми Эдуард состоял в союзе, ни один из королевских родственников королевы не был в числе первоначальных спутников. Иностранцами, не являвшимися суверенными принцами, были капитан де Буш, знатный гасконский дворянин, и два баннерета или рыцаря, которые вместе с другими первоначальными спутниками служили в экспедициях, отправленных Эдуардом против Франции.

Опять же, при Ричарде II, среди самых известных иноземных дворян, ставших рыцарями Подвязки, были гасконский солдат Дю Преисн, Солдан де ла Тур, владетель многих земель в

Ксентонже, голландский граф Вильгельм Остервантский, который сделал одолжение, приняв этот почетный знак, герцог Баварский (еще не император) и Альберт, герцог Голландии, который едва ли был суверенным принцем, но которого, тем не менее, можно считать таковым, поскольку, в незначительной степени, скорее как барон, чем как монарх, он осуществлял некоторые суверенные права. Герцога Британского можно с большей справедливостью включить в список суверенных герцогов, которые были членами ордена. При Генрихе IV не было избрано ни иноземного дворянина, ни иноземного принца, но при его преемнике, пятом по счету, Эрик X., король Дании, и Иоанн I, король Португалии, были созданы компаньоны. Они стали первыми королями-регантами, принятыми в орден. Существуют некоторые сомнения относительно даты их принятия, но нет никаких сомнений в том, что они были рыцарскими компаньонами. Дабричекур - имя джентльмена, которому посчастливилось быть избранным также в это царствование, но я не знаю, был ли он иностранного происхождения или только по происхождению. Число членов братства пополнилось в это царствование благодаря избранию императора Сигизмунда. При Генрихе V иностранные принцы, члены ордена, были, несомненно, более многочисленны, чем простые иностранные джентльмены; но, считая от основания, иностранных рыцарей не суверенного происхождения было больше, чем тех, кто ими был. Суверенные принцы, похоже, не так заботились о чести, как частные джентльмены в чужих землях. Так, немец, сэр Хартук фон Клакс, принял эту честь с готовностью, но королю Дании потребовалось пять лет, прежде чем он намекнул, что с радостью или покорностью принимает ее. На первом юбилейном празднике ордена, состоявшемся при Генрихе VI, для рыцарей-иностранцев, не являющихся владетельными князьями, было изготовлено столько же орденских мантий, сколько и для подвязанных монархов иностранного происхождения. Иностранные принцы так мало ценили честь избрания, что, когда при Генрихе VI был предложен суверенный герцог Бургундский, рыцари не шли на выборы, пока тот не заявил, примет ли он эту честь. Его потенциальная возможность очень четко заявила, что не примет; и он - первый принц-суверен, который положительно отказался стать рыцарем Подвязки! В то же царствование Эдуард, король Португалии, был избран вместо своего отца, Иоанна: это один из немногих случаев, когда эта честь переходила от отца к сыну. Герцог Коимбра, также избранный в это царствование, принадлежал к иностранному княжескому дому, но не был суверенным принцем. В целом он может считаться с рыцарями-иностранцами. Герцог Австрии Альберт тоже был избран до того, как вззошел на королевский и императорский престол; и против этих принцев я могу поставить имя Гастона де Фуа, которого Генрих V сделал графом Лонгвиля, как простого рыцаря-иностранца с хорошим состоянием и рыцарскими привилегиями. Один или два отпрыска королевских домов были избраны, как, например, Альфонсо, король Арагона. Но есть веские основания полагать, что Альфонсо отказался от этой чести. Существует некоторая неопределенность в отношении периода избрания Фридриха III, что экономный император Австрии, который просил сообщить, каковы будут расходы, прежде чем "принять заказ". Все подвязки, не распределенные по домам, не пошли на украшение ног иностранных принцев. Ближе к концу правления избирается виконт де Шастильон, а также д'Альмада, португальский рыцарь, о веселой инсталляции которого во Льве в Брентфорде я уже рассказывал. Арагонский дворянин Франциск де Сурьенн был еще одним иностранным рыцарем просто благородного происхождения; он был избран в спальне короля в Вестминстере; и рыцари-иностранцы с лихвой уравнивают иностранных принцев, даже если мы включим Казимира, короля Польши, который был добавлен в братство при королевском Ланкастере.

Первым иностранцем, которого Эдуард IV возвел в компаньоны ордена, был не принц, а частный дворянин по имени Гайяр Дюрас или Дюрефор. Эта честь была оказана в знак признания услуг, оказанных королю во Франции; и новый рыцарь был очень быстро лишен ее

за предательскую передачу своих услуг королю Франции. Из иностранных монархов, которые, как говорят, были *избраны* компаньонами во время этого правления - а именно, короли Испании и Португалии - есть большие сомнения в том, была ли вообще оказана эта услуга. Герцоги Феррары и Милана были посвящены в рыцари, и их можно причислить к герцогским государям, хотя они и меньше королей; и позвольте мне добавить, что если короли Испании и Португалии *были* избраны, то выборы стали недействительными, поскольку эти монархи не прислали доверенных лиц, чтобы вступить во владение своими креслами. Молодой Эдуард V. не председательствовал ни на каких выборах, а его дядя и преемник Ричард III не принимал в орден ни одного иностранного принца. Однако при посвящении в рыцари недолговечного сына Ричарда этот государь возвел в рыцари Джеффри де Сасиолу, посла королевы Испании, нанеся ему три удара мечом по плечам и одарив золотым ошейником.

Генрих VII не был либерален к иностранцам с многочисленными подвязками, которые попали в его распоряжение после Босворта и во время его правления. Похоже, что он обменял подвязку Максимилиана на Золотое руно и пожаловал тот же знак отличия одному или двум наследникам иностранных престолов, которые не были суверенными принцами на момент избрания. Нечасто эти принцы были установлены лично. Однако такие случаи иногда происходили; и никогда не было более необычного случая по своему происхождению и обстоятельствам, чем случай с Филиппом, эрцгерцогом Австрийским. Филипп решил претендовать на трон Испании по праву своей жены Жанны, дочери Фердинанда Кастильского и Арагонского. Он направлялся в Испанию, когда штормовые ветры и бурное море пригнали его в Уэймут. Генрих пригласил его в Виндзор, оказал ему большое гостеприимство и посвятил в рыцари Подвязки. Филипп "дал клятву соблюдать устав без каких-либо оговорок, кроме того, что он не будет обязан лично присутствовать на заседаниях или носить ошейник, кроме как по собственному желанию". Надевая ему на шею ошейник и проводя его в свою каморку, Генрих обратился к нему "Mon fils", а Филипп в ответ назвал короля "Mon père", и эти ласковые обращения повторяются в договоре о мире и единстве между двумя странами, который был подписан Генрихом и Филиппом, когда они сидели в своих кабинках, и в соблюдении которого они оба торжественно поклялись. Перед началом жертвоприношения Филипп пожелал встать перед своей стойкой, как и другие рыцари, и последовать за королем к алтарю, прося позволить ему исполнить свой долг, как подобает рыцарю и брату ордена по отношению к государю; но Генрих отказался, и, взяв его за левую руку, оба короля принесли жертву вместе. После церемонии Филипп возложил на Генриха, принца Уэльского, ошейник Золотого руна, в орден которого он, как говорят, был избран в Миддлбурге в предыдущем, 1506 году.

При Генрихе VIII мы видим первого шотландского монарха, который когда-либо носил Подвязку, а именно Якова V. Он принял этот знак отличия "с княжеским сердцем и волей", но в официальном документе он указал статуты, которые он поклялся соблюдать, и отверг все остальные. Франциск, король Франции, Карл V., император Германии, и Фердинанд, король Венгрии, также были членами ордена. Но *государевы* принцы, избранные в это царствование, не превосходили чужеземных рыцарей меньшей степени. Когда Генрих находился в Кале, он провел капитул, на котором маршал Монморанси, граф де Бомон, и Филипп де Шабо, граф де Нейблан, были избраны в орден. Это событие стало первым и единственным случаем, когда короли Англии и Франции присутствовали вместе и голосовали в качестве компаньонов в главах своих соответствующих орденов. Как и другие рыцари, Франциск выдвинул для избрания в Подвязку трех графов или лиц высшей степени, трех баронов и трех рыцарей-бакалавров, и эти имена представляют собой интересный факт, который не был замечен в целом. В то время Генрих был влюблен в Анну Болейн, которую он

недавно сделал маркизой Пембрук и которая сопровождала его в Кале. За единственным исключением, французский король отдал все свои голоса за своих соотечественников, а поскольку исключение было сделано в пользу ее брата, Джорджа, лорда Рочфорда, оно, очевидно, было задумано как комплимент будущей королеве Англии.

По замыслу Эдуарда VI, Льюис, маркиз Гонзага, должен был стать рыцарем ордена, но нет никаких свидетельств того, что он был избран. Трудно определить точный ход событий в это царствование; ведь впоследствии Мария отменила все изменения, внесенные Эдуардом, чтобы привести статуты в соответствие с требованиями реформированной религии. Она сделала даже больше, чем это; она заставила реестр быть испорченным, стирая каждую запись, которая не соответствовала римской вере. Известно, однако, что Анри II. Французский был избран. Его инвеститура состоялась в спальне Лувра в Париже. Он наградил короля-оруженосца золотой цепью стоимостью двести фунтов и собственной королевской мантией, украшенной "аглетами" и стоившей двадцать пять фунтов. Против этого одного суверенного принца мы должны поставить личность рыцаря-иностранца - коннетабля Франции. Однако после воцарения Марии в списке иностранных королевских имен было три против одного иноземных рыцарей низшей степени. Избрание Филиппа Испанского вскоре сделало иностранное королевское большинство еще более значительным; и можно сказать, что это большинство еще более увеличилось благодаря избранию суверенного герцога Савойского. Мария не избирала ни одного иностранного рыцаря ниже степени суверенного правителя - будь то король или герцог.

Елизавета очень точно следовала тому же принципу. Ее иностранные рыцари были государями или собирались ими стать. Первым был Адольф, герцог Голштинский, сын короля Дании и наследник Норвегии. Вторым был Карл IX Французский, третьим - Фредерик, король Дании; император Рудольф был, возможно, четвертым, а пятым - Анри Четвертый, последний король Франции, носивший Подвязку до воцарения Людовика XVIII. Что касается испанского вдовца Марии, сэр Харрис Николас замечает: "Филипп, король Испании, как говорят, вернул Подвязку из рук посла королевы, виконта Монтегю, который был послан, чтобы побудить его возобновить союз между Англией и Бургундией. Филипп не скрывал своего сожаления по поводу перемен, произошедших в религии и политике его страны; но он не проявлял сектантского ожесточения, выражал желание противостоять замыслам французов, стремившихся отлучить Елизавету от церкви, и заявлял, что принял меры, чтобы предотвратить это, в глазах сына Римской церкви, величайшее из всех бедствий, постигшее ее без ее собственного согласия. Однако, судя по всему, Елизавета не приняла отказ Филиппа от Подвязки, поскольку он продолжал оставаться ее компаньоном до самой своей кончины, несмотря на войну между Англией и Испанией и попытку вторжения в эту страну испанской Армады в 1588 году".

Когда я говорю, что Елизавета строго следовала примеру Марии, я должен добавить в качестве примера, когда она от него отклонилась, избрание Франциска герцога Монморанси посланником от французского короля. Королева оказала герцогу эту честь "в знак благодарности", говорит Камден, "за любовь, которую питала к ней Анна, коннетабль Франции, его отец". Однако на момент воцарения Якова I Анри IV Французский был единственным иностранцем, сувереном или кем-то еще, кто носил орден Подвязки. К ним Яков добавил короля Дании, принца Оранского и принца Палатина. О последнем я уже говорил в другом месте; здесь же замечу лишь, что при Якове у принцев, не достигших определенного ранга, было отнято всякое первенство в получении жезлов; то есть последний избранный рыцарь, даже сын самого короля, должен был занять последний жезл.

Также было объявлено, "что все принцы, не абсолютные, должны отныне устанавливаться на место *puisne*".

Однако *был один* иностранный рыцарь, чья инсталляция заслуживает отдельного слова, поскольку она отличалась необычной пышностью, если учесть, насколько мелкий правитель был удостоен этой чести. Это был Кристиан, герцог Брауншвейг-Вольфенбюттельский. В последний день 1624 года Яков своими руками надел на шею герцога ленту с Георгом. Последнему было тогда двадцать четыре года. "Герцог Брауншвейгский, - пишет Чемберлен в письме к сэру Дадли Карлетону от 8 января 1625 года, - не может пожаловаться на свое развлечение, которое было во всех отношениях полным, очень хорошие и любезные слова от короля, с честью Подвязки и пенсией в две тысячи фунтов в год. Принц поселил его в своих собственных покоях, а при расставании подарил ему три тысячи фунтов золотом, помимо других подарков". Яков пожаловал Подвязку не менее чем семи своим шотландским подданным. Если их считать сейчас, как считали тогда, простыми иностранцами, то рыцари-иностранцы снова превысят число иностранных принцев, носящих Подвязку.

Первым рыцарем, пожалованным Карлом I, был кавалер-иностранец, только благородного происхождения. Это был герцог де Шеврёз, который был доверенным лицом Карла на его бракосочетании с Генриеттой Марией и который, таким образом, легко завоевал рыцарские почести среди компаньонов Святого Георгия. Однако, похоже, этой чести обычно удостоивались иностранцы, поскольку они занимались содействием королевским бракам. Так, когда агент короля в Швейцарии, мистер Флеминг, в 1633 году предложил правительству избрать герцога Роханского рыцарем Подвязки, секретарь Коук ответил: "Предложение это неудобно тем, что обряды этого древнего ордена не соответствуют новшествам, и нельзя найти прецедента, чтобы в него когда-либо принимали иностранного подданного, если он не был занят в межбрачных отношениях с этой короной, как это недавно сделал герцог Шеврёз". В том, что намеренно заявил секретарь Коук, не было ни слова правды. Мало того, что Подвязка часто вручалась иностранным подданным, которые не имели никакого отношения к брачным отношениям между государевыми любовниками, но всего через двенадцать лет после того, как Кок написал это, Карл вручил орден герцогу д'Эспернону, который не имел никаких прав на него, основанных на такой службе, как отмечает ученый секретарь.

К моменту смерти Карла I не было, строго говоря, ни одного иностранного принца, принадлежащего к ордену. Три иностранных принца, Руперт, Вильгельм Оранский и курфюрст Палатинский, не могут быть справедливо названы таковыми. Другими иностранными рыцарями были герцоги Шеврёз и Эспернон.

Иностранцами рыцарями ордена, созданного Карлом II, были принц Эдуард, сын "Елизаветы Богемской"; принц Морис, его старший брат; Генрих, старший сын герцога де Туа, Вильгельм Нассауский, которому тогда было три года, а впоследствии наш Вильгельм III; Фредерик, курфюрст Бранденбургский; Гаспар, граф де Моршин; Кристиан, принц королевский Дании; Карл XI, король Швеции; Георг, курфюрст Саксонии; и принц Георг Датский, муж принцессы Анны. Как видно, число тех, кого можно строго назвать "суверенными принцами", требующими подданства и не имеющими его, не превышает числа рыцарей-иностранцев, от которых ожидалось повиновение, но которые не могли его оказать в суверенном порядке. Дания и Швеция, как можно заметить, ссорились из-за старшинства в лавках с таким же ожесточением, как если бы они были мещанами "Краховинкеля" из Коцебуэ.

Короткое правление Якова II представляет нам только одного иностранного рыцаря Подвязки, а именно Луи де Дюраса, созданного также графом Февершамом. "Он был вторым

из своего рода", - говорится в "Универсальной биографии", - "кто удостоился этого знака отличия, особенно примечательного для французского дворянства".

Великий герцог Шомберг, этот восхитительный воин, подаренный Англии тиранией Людовика XIV, был первым, кого Вильгельм III пожаловал Подвязкой. Другими иностранными рыцарями, инвестированными им, были первый король Пруссии, Вильгельм герцог Целльский, курфюрст Саксонии, Вильгельм Бентинк (граф Портленд), фон Кеппель (граф Альбемарль) и Георг Ганноверский (наш Георг I.) Здесь иностранные рыцари, не принадлежащие к суверенной степени, снова превышали число тех, кто *принадлежал* к этой степени. Саксонский курфюрст отказался присоединиться к Вильгельму против Франции, если ему предварительно не будет дарована Подвязка.

Анна пожаловала Подвязку Мейнхарду Шомбергу, герцогу Лейнстерскому, сыну великого Шомберга, а также Георгу Августу Ганноверскому (впоследствии Георгу II Английскому). Анна намекнула Георгу Людовику, отцу Георга Августа, что, будучи рыцарем Подвязки, он мог бы с полным основанием посвятить в рыцари своего собственного сына. Однако Георг Людовик ненавидел этого сына и не желал иметь ничего общего с присвоением ему какого-либо достоинства. Он предоставил комиссарам, Галифаксу и Ванбругу, действовать по своему усмотрению. Они исполняли свои заместительные обязанности как могли, и то лишь с "искалеченными правами". Джордж Людовик, со свойственной ему злобной подлостью, приказал прервать церемонию, лишив ее всякой демонстрации. Он даже не позволил, чтобы его сын был облечен в обычай, под балдахин, как это было принято, и как это было сделано в его собственном случае; все, что он предоставил, это обычное кресло, на котором избирательный принц мог бы сидеть в государстве, если бы он захотел или был в состоянии сделать это! Это были единственные иностранцы, которым Анна даровала Подвязку; орден, который она охотно давала очень немногим.

"Примечательно, - говорит Николя, - что этот орден не был пожалован королевой Анной ни императору, ни кому-либо из других государей, с которыми она в течение многих лет находилась в конфедерации против Франции. Ее Величество не пожаловала его ни королю Испании Карлу III, прибывшему в Англию в сентябре 1703 года, ни принцу Евгению (хотя, когда она вручала ему шпагу стоимостью пять тысяч фунтов стерлингов при отъезде в марте 1712 года, семь лент оставались свободными), ни кому-либо другому из великих полководцев союзных армий, которые под командованием герцога Мальборо одержали те великолепные победы, сделавшие ее правление одним из самых славных в летописи этой страны".

Георг I ценил своего внука больше, чем сына; он сделал Фредерика (впоследствии отца Георга III) кавалером ордена, когда тому было не более девяти лет. Он возвел в эту же честь своего родного брата, принца Эрнеста Августа, и посвятил обоих в рыцари на капитуле, состоявшемся в Ганновере в 1711 году. За этим семейным исключением, орден Подвязки не был пожалован ни одному иностранному принцу в правление Георга I.

Георг II подарил Подвязку деформированному принцу Оранскому, который женился на его возбудимой дочери Анне. Той же чести удостоились принц Фредерик Гессен-Кассельский, который взял в жены очаровательную дочь Георга Марию; принц Фредерик Саксен-Готский, герцог Саксен-Вейсенфельсский, маркграф Анспахский, безотцовщина принца Оранского, названного выше, и, достойнейший из всех, принц Фердинанд Брауншвейгский, который получил эту честь, выиграв битву при Миндене. Перед его шатром и перед лицом всей его армии ему были вручены шапка, привычка и знаки отличия. Его доблестный противник, де

Брольи, чтобы оказать честь новому рыцарю, объявил о приостановке вооружения на день, вывел свои войска туда, где они могли наблюдать зрелище мужества и мастерства, получающих свою награду, и вместе со своими главными офицерами обедал с принцем вечером. "Каждая сторона, - говорит мисс Бэнкс, - вернулась ночью к своей армии, чтобы возобновить военные действия, которые они вели по приказу своих соответствующих наций друг против друга, на следующем восходе солнца". Не знаю, что больше доказывает этот анекдот - жестокую нелепость войны или истинное рыцарство воинов.

Эпоха Георга III действительно была тем временем, когда иностранные принцы, государи и не только, изобиловали орденами. Первым, кто получил Подвязку, был брат королевы Шарлотты, правящий герцог Мекленбург-Стрелицкий. Затем появился герцог Брауншвейг-Вольфенбюттельский, который женился на Августе, сестре Георга III. От этого брака родилась Каролина Брауншвейгская. О королях, *ройтелях* и мелких принцах Германии, которые были присоединены к Подвязке или, скорее, получили ее, говорить не стоит; но есть один инцидент, связанный с иностранными рыцарями, который заслуживает того, чтобы быть сохраненным. Когда Бонапарт основал Почетный легион, он уговорил короля Пруссии (готового взять все для себя и не желающего жертвовать ничем ради общественного блага) принять крест легиона для себя и несколько других, предназначенных ему для раздачи. Король вызывал справедливое отвращение к себе за этот позорный поступок; но он обнаружил, что мелкие немецкие князья так же охотно, как и он, носят значок тогдашнего врага Европы. Благородное исключение представилось в лице герцога Брауншвейгского, кавалера Подвязки, которому несчастный король послал знаки отличия французского ордена в 1805 году. Герцог в письме к королю отказался принять эту честь, "поскольку в своем звании рыцаря благороднейшего ордена Подвязки он не имеет права принимать рыцарские знаки, учрежденные лицом, находящимся в состоянии войны с сувереном этого ордена". Прусский король нашел более легкую совесть в принце Гессен-Кассельском, который также был рыцарем Подвязки. Этот человек, подлый и двуличный, как и король, носил вместе с Подвязкой крест Почетного легиона. В *тот* смутный период это было точь-в-точь как если бы некоторые нервные лэрды во времена вражды горцев одновременно носили пледы Макдональдов и Кэмпбеллов, чтобы спасти свои шкуры и поместья, выдавая себя за членов двух враждебных партий.

При регентстве Георга IV иностранные принцы были приняты в орден без всякой оглядки на предписания статута. В течение одного года, или чуть больше этого срока, два императора, три короля и наследник престола, который вскоре после этого вступил в наследство, были зачислены в компаньоны ордена. Но это была эпоха побед и ликований, и никто не думал возражать против расточительности, которая поразила бы царственного основателя. Однако еще долго после периода побед та же либеральность продолжала проявляться по отношению к иностранным принцам суверенной степени. Так, при воцарении Карла X. английский монарх направил герцога Нортумберленда в качестве чрезвычайного посла для присутствия на коронации французского монарха и последующего вручения ему ордена Подвязки. Я помню, как английская процессия прошла от резиденции герцога на Рю дю Бак через Пон-Рояль к Тюильри. Это чрезвычайно озадачило французов. Это произошло во вторник, 7 июня 1825 года. В полдень "четыре королевских кареты, - пишет Галиньяни того времени, - запряженные восемью лошадьми, в которых находились барон де Лаливр и мсье де Вивье, были отправлены в отель Галифе для герцога Нортумберленда". Два посланника, которым таким образом удалось проехать в четырех каретах и на восьми лошадях - более удивительный подвиг, чем когда-либо совершал мистер Дюкроу, - добравшись до герцогского отеля, были приняты герцогом, лордом Грэнвиллом, нашим обычным послом, и сэром Джорджем Нейлором, уполномоченным Его Британского Величества по

инвестированию короля Франции знаками отличия Подвязки. Затем процессия отправилась в путь; и, как я уже говорил, она чрезвычайно озадачила французских зрителей. Они не могли себе представить, что для того, чтобы надеть подвязку на ногу и повесить ошейник на королевскую шею, необходимо столько церемоний. Кроме четырех французских карет-восьмерок, здесь были три кареты герцога, запряженные шестеркой лошадей; одна карета такого же состояния и две другие, более скромные, запряженные парами, принадлежали лорду Грэнвиллу. Замыкала процессию карета самого "Подвязки", позади пара обычных лошадей; и еще восемь карет, в которых находились свиты посольских или привилегированных лиц, выдававших себя за таковых, чтобы принять участие в зрелище. Вокруг герцога собралась весьма знатная компания: достопочтенный Алджернон Перси, его секретарь, маркиз Кермартен, граф Хоуптаун, лорды Прудхо (нынешний герцог), Стратхейвен, Пелхэм и Херви, достопочтенный Чарльз Перси и добродушный архидьякон Синглтон. Такова была *свита* чрезвычайного посольства. Обычный посол, лорд Грэнвилл, был окружен несколько менее благородно. С ним были достопочтенный мистер Блай, а также господа Мандевиль, Гор, Аберкромби и Джонс. Сэр Джорджа Нейлора в табарде сопровождала целая туча герольдов, некоторые из которых с тех пор стали королями-оруженосцами: господа Вудс, Янг и Волластон, а также его секретарь, господин Говард. За ними следовали более заметные люди. Среди них были граф Гауэр и лорд Бургерш, "достопочтенные" мистеры Тауншенд, Говард и Клайв, капитан Буллер и два человека, более примечательные, чем все остальные, - два посольства, а именно: сэр Джон Малькольм и сэр Сидней Смит. Между восхищенными зрителями, которые были глубоко поражены видом герцога в его одеяниях, процессия прибыла во дворец, где после паузы и реорганизации в Зале посольств, партия в большом состоянии проследовала в Галерею Дианы. Здесь специально для инвеституры был воздвигнут трон, и зрелище, несомненно, было самым великолепным. Карл X. выглядел обладателем восхитительного здоровья и бодрости духа - в общем, всего, кроме яркого интеллекта. Он был великолепно окружен. Герцог носил вместе с одеждой знаменитую шпагу с бриллиантовой рукоятью, подаренную ему Георгом IV и стоившую, я забыл, сколько тысяч фунтов. Один только плюмаж цапли, по слухам, стоил пятьсот гиней. Его великолепную мантию из синего бархата, расшитую золотом, поддерживали его юный племянник Джордж Мюррей (нынешний герцог Атол), одетый в гусарский мундир, и достопочтенный Джеймс Драммонд, одетый в костюм Хайленда. Семь джентльменов несли знаки отличия на подушках, а сэр Джордж шел впереди них, держа дубинку, как "главный король-оруженосец Подвязки". Герцог произнес соответствующую речь, в которой кратко изложил историю ордена и поздравил себя с тем, что ему поручена столь почетная миссия. Инвеститура прошла с обычными церемониями; но я помню, что не было артиллерийского салюта, как предписывалось в книге инструкций, составленной Гартером. Последний исполнил свою должность самым изящным образом и прикрепил к особе короля Франции в тот день жемчуг стоимостью в миллион франков. Королевский рыцарь произнес очень приятную речь, когда все было закончено, и обычное гостеприимство последовало за великолепными трудами, продолжавшимися полтора часа.

Вечером следующего дня герцог устроил в своем отеле великолепный *праздник* в честь коронации Карла X. и его принятия в орден Подвязки. На празднике присутствовали король и королева Вюртембургские, а также около пятнадцати сотен лиц менее высокого ранга, но многие из них занимали важное положение в обществе. Возможно, не менее примечательной особенностью вечера было присутствие в одной группе дофина и герцогини Ангулемской, которую в народе называли "сиротой из Храма", с герцогиней Беррийской, герцогом Орлеанским (Луи Филиппом) и Талейраном. Последний все еще носил длинную краватку времен Революции и выглядел так хитро, словно знал о судьбе, которая ожидала

всю группу, трое из которых с тех пор умерли в изгнании, а один лишь вздохнул в последний раз в спокойствии и безмятежности на своей земле.

Карл X. преподнес герцогу, носившему знак Подвязки, великолепный подарок - одну из самых прекрасных и дорогих ваз, когда-либо изготовленных на королевской фарфоровой мануфактуре в Севре. Роспись на ней, изображающая Трибунал Дианы, принадлежит М. Легуаи и заняла у этого выдающегося художника целых три года, прежде чем была завершена. Учитывая ее огромные размеры, характер росписи и то, что она дважды прошла через огонь без малейших изменений, она является уникальной в своем роде. Сейчас эта колоссальная ваза стоит в центре бального зала в Нортумберленд-Хаусе.

Последним монархом, которому комиссия передала знаки отличия Подвязки, был царь Николай. Характерным для него было то, что при всей своей учтивости к членам комиссии он не стал, как это было принято в подобных случаях, обедать с ними. Однако, согласно его приказу, их принимали другие члены его семьи. Именно со времен правления Георга III можно считать обоснованным замечание г-на Маколея о том, что Подвязка редко вручается иностранцам, за исключением суверенных принцев. Сейчас ни один иностранец, не имеющий княжеского звания, не носит Подвязку. Самыми известными из иностранных рыцарей являются двое, которые в последний раз были созданы по патенту, а именно: император Луи Наполеон и король Сардинии. Король Пруссии также является рыцарем этого ордена, и, как таковой, он обязан по своей клятве никогда не действовать против суверена этого ордена; Но в нашей борьбе с преступной Россией прусское правительство, стараясь быть нейтральным, сажает в тюрьму английского консула под предлогом, что тот пытался завербовать уроженцев Пруссии на английскую службу, а с другой стороны, передает России материалы для ведения войны и санкционирует сбор русского займа в Берлине, чтобы он был направлен, насколько возможно, на вред Англии. Король - всего лишь бедный рыцарь! И, кстати, это напоминает мне о том, что так называемые бедные рыцари Виндзора не могут быть представлены более уместно, чем здесь.

БЕДНЫЕ РЫЦАРИ ВИНДЗОРА,

И ИХ ДЕЛА.

Основатель ордена Подвязки хорошо поступил, когда подумал о "Milites pauperes", и, создав братство для богатых и знатных кавалеров, создал его и для такого же количества "бедных рыцарей, немощных телом, неимущих и обветшавших", которые должны содержаться ради чести Бога и св. Георгия, постоянно служить Богу в своих набожных делах и после дней суеты и сражений не иметь более тяжких обязанностей, чем молиться о процветании всех живых рыцарей Подвязки и об упокоении душ всех умерших. Было решено, что никто, кроме действительно бедных рыцарей, не должен состоять в братстве, будь то названный, как это было их привилегией, товарищем по благородному ордену или государем, как в конце концов стало исключительно принято. Если бедный рыцарь имел несчастье стать обладателем имущества любого рода, превышающего двадцать фунтов в год, он сразу же лишался права на членство в братстве. Даже в очень ранние времена его положение с домом, пансионом и различными помощниками, духовными и телесными, стоило больше, чем это.

Быть рыцарем милостыни, как называет Ашмола каждый член общества, не означало никакой деградации, скорее наоборот. Каждый бедный, но достойный джентльмен был поставлен в один ряд с канониками-резидентами Виндзора. Как и те, они получали по двенадцать пенсов каждый день, когда посещали службу в часовне или жили в колледже, а также гонорар в сорок шиллингов в год на мелкие нужды. Их ежедневное присутствие в часовне было обязательным, если только не было веских и законных причин для обратного. Старые рыцари должны были присутствовать не только на службе, но и на высокой мессе, мессе Девы Марии, а также на вечерне и комплине - от начала и до конца. Они честно зарабатывали свои двенадцать пенсов, но, тем не менее, церковная корпорация, ответственная за их выплату, часто делала то, что такие корпорации, разумеется, никогда не пытались делать со времен Реформации, а именно - обманывала тех, кто должен был получать положенное. Ужасными были дискуссии между бедными (и настойчивыми) рыцарями и деканом, канониками и казначеями Колледжа. Чтобы разрешить спор, потребовался архиепископ Йоркский в митралитете и лорд-канцлер Англии, и мы можем составить очень высокое мнение о практическом смысле церкви и канцелярии во времена Генриха VI, когда узнаем, что выдающийся человек с двойной должностью не только быстро пришел к счастливому заключению и приказал выплатить все долги бедным рыцарям, но и постановил, что доходы казначея должны быть полностью прекращены, пока "беднякам-милиционерам" не будет выплачено полное удовлетворение. Ради такой канцелярской практики можно было почти согласиться на то, чтобы унести с собой Церковь.

Но не только мелкие чиновники этой церкви обманывали рыцарей-ветеранов, но и их чешущаяся ладонь причиняла им другие страдания. Было принято делить штрафы, взимаемые с отсутствующих на общественных богослужениях, между более набожными братьями. Однако постепенно декан и каноники присваивали эти деньги себе, так что чем менее благочестивыми были рыцари, тем богаче становились декан и каноники. Кроме того, многие умирающие дворяне завещали колледжу и бедному братству ветеранов очень ценные наследства. Эти завещания деловитые церковники использовали для собственной выгоды; и потребовалось строгое распоряжение короля и епископа в царствование Ричарда II, прежде чем они допустили военных легатов даже к доле в завещанном имуществе.

Не факт, что крепкие старые ветераны всегда были безупречны. Хорошая жизнь и мало забот сделали из некоторых из них "быстрых людей". Особенно много скандалов вызвали двое в последнее царствование. Это были некие сэр Томас Тоун и сэр Джон Бретон. Они были женатыми мужчинами, но глупые старики воздавали почести сосудам беззакония, поставленным ими на домашний алтарь. Иными словами, они были слишком любезны с парочкой шлюх с красными лицами и короткими косынками, и *это* - не то чтобы это обстоятельство ухудшало дело - до глаз их верных и законных жен. Епископ, несомненно, пришел в ужас, и образцовым церковникам Колледжа было предписано увещевать, обличать и, если исправление не последует, изгонять нарушителей.

Сэр Томас, надо полагать, внял увещеваниям и стал вести более благопристойный образ жизни, поскольку больше о нем ничего не сказано. С веселым сэром Джоном дело обстояло сложнее. Возможно, он тоже отстранил Сисели и помирился с бедной леди Бретон, но, тем не менее, старый рыцарь держал Колледж в напряжении. Он, конечно, возобновил посещение часовни, но делал это по своей собственной моде. Он медленно шел в процессии краснорубашечников, направлявшихся на службу, чтобы мешать тем, кто шел сзади, или же он шел в нелепой манере, чтобы вызвать неприличный смех. Боюсь, что старый сэр Джон был очень грустным псом, и, как бы ни вел себя другой старый джентльмен, он действительно был безбожником. Свидетельством тому служит тот факт, что, попав в

часовню, он, уединившись для молитвы, тут же засыпал и с трудом мог или хотел держать глаза открытыми даже во время причастия у алтаря.

В конце концов, среди бедных рыцарей нашелся старик похлеще сэра Джона Бретона. Говорят, что некий сэр Эмануэль Клуэ был настоящим Дон Жуаном среди глупых девиц и веселых жен Виндзора. Он вечно смотрел то на подъябник, то на танкетку, а от любви к канарейкам и специям не мог усидеть на мессе, но любил бегать среди прихожан. Сам святой Георгий не смог бы рассказать, какую чепуху он нес на этих праздниках.

Когда мы читаем о том, как епископ предложил королю и Совету найти средство, чтобы сдержать буйную карьеру сэра Эдмунда, мы сначала недоумеваем, почему лечение не было поручено религиозным чиновникам. Однако дело в том, что они были так же плохи, как и рыцари, а то и хуже. Их тоже нередко можно было застать с губами на краю кубка или на щеке девицы. Был такой каноник Лоринг. Он пристрастился к ястребиной охоте и веселью, и, прежде чем каноник переставал нарушать приличия, к нему прибегали, угрожая увольнением без возможности восстановления на прежнем месте. Викарии были так же плохи, как и каноники. Приписываемые им качества "надутых и распутных" в достаточной степени описывают, какими грехами были одержимы эти весьма преподобные джентльмены. Они не выказывали никакого почтения к резвящимся каноникам, как можно было ожидать; и если обе партии объединились в проявлении столь же малого почтения к декану, то причина, несомненно, заключалась в том, что декан, как заметил епископ, сам был небрежен, прост и небрежен. Он был еще хуже. Он не только позволял документам, связанным с орденом, ветшать или теряться, но и не платил викариям жалованья, пока его не принуждала к этому высокая власть. Короче говоря, декан был жалким плутом; он даже присваивал сборы, выплачиваемые викарию при занятии нового помещения, которые должны были идти на общую прибыль капитула, и прикарманивал всю выручку для своей личной выгоды и удовольствия. Каноники снова сократили молитвы и мессы, уделяя им всего час в день. Такое решение, возможно, не вызвало недовольства у более набожных рыцарей; и каноники обратились к епископу с просьбой указать на то, что в уставе мешает им сократить службу и легко зарабатывать свои шиллинги. В отношении этого церковного нарушения епископ, как ни странно, просил государство вынести ему приговор; приказ короля и Совета считался хорошим средством для священников с распущенными мыслями и практикой. Более важные дела передавались в юрисдикцию более мелких инстанций. Так, когда один из викариев, Джон Чичестер, "оскандалился в отношении жены Томаса Свифта" (что очень красиво выражает его проступок), дело было передано на исправление декану, который сам был порицаем, если не под порицанием, за небрежность, халатность, глупость и мошенничество. Мошенничество декана доходило до того, что наследство в 200 фунтов стерлингов, переданное братству бедных рыцарей, попало в руки декана, а декан не отчитался за него, и его заставили дать такой отчет; и *это*, похоже, все наказание, которое он когда-либо понес за свое безрассудство. Там, где священники были такого пошиба, не приходится удивляться, что рыцари наблюдали в грязных и сильно обремененных монастырях разнузданность, которая когда-то была обычным делом для мужчин в лагере.

Церковники и рыцари продолжали заниматься прежними делами, несмотря на вмешательство инквизиторов. Были внесены изменения в статуты, чтобы справиться с этим злом; некоторые рыцари добивались инкорпорации между собой, отдельно от церковных властей; но эти и другие средства были тщетны.

В правление Генриха VIII рыцари-резиденты не все были военными. Некоторые из них были выдающимися личностями, которые, как считается, удалились от мира и присоединились к братству из преданности. Таким был сэр Роберт Чамплейн, который действительно был

похотливым рыцарем и вновь проявил себя таковым, вернувшись к активной жизни. Среди мирян, признанных бедными рыцарями, были Халм, бывший король-оруженосец Кларенсье; Карли, лекарь короля: Мьютес, секретарь короля по французскому языку, и Уэсли, который в 1509 году стал вторым бароном Казначейства.

Орден, похоже, пришел в безнадежное замешательство, но Генрих VIII, совершивший много добрых дел, несмотря на свои дурные поступки и склонности, завещал земли, прибыль от которых (600 фунтов стерлингов) должна была пойти на содержание "Тринадцати бедных рыцарей". Каждый из них должен был получать шиллинг в день, а их губернатор - три фунта, шесть и восемь пенсов дополнительно в год. Для этих рыцарей были построены дома на южной стороне нижней палаты замка, где они находятся и сейчас, стоимостью около 3000 фунтов стерлингов. Каждому рыцарю также полагалась белая суконная мантия и красная суконная мантия, украшенная соответствующим образом. Король Яков удвоил денежное пособие и сделал его ежеквартально выплачиваемым в Казначейство.

Карл I намеревался увеличить число рыцарей до их первоначального количества. Он не пошел дальше этого намерения. Однако двое из его подданных, которые сами были рыцарями, сэр Питер Ла Мэр и сэр Фрэнсис Крейн, оставили земли, которые позволили содержать еще пять рыцарей.

Кромвель особенно заботился о том, чтобы в Виндзоре не проживал ни один рыцарь, враждебно настроенный к его правительству; он также заботился о том, чтобы там не выступал ни один проповедник, который не был бы более дружелюбен к содружеству, чем к монархии.

В этот период и за сто лет до него в ордене не было ни одного человека с настоящим рыцарским званием, и не было до сих пор. В 1724 году благосклонный мистер Трэверс завещал имущество на содержание семи морских рыцарей. Вряд ли можно поверить, но это факт, что прошло семьдесят лет, прежде чем наш закон, по которому тогда повесили беднягу за грабеж на сумму в сорок шиллингов, выпустил на свободу средства, которые должны были быть распределены согласно воле завещателя и с санкции государя. Какие советники и адвокаты наживались на издержках, сейчас не имеет смысла спрашивать. В 1796 году тринадцать вышедших в отставку или ставших инвалидами лейтенантов флота - офицеры только этого ранга имели право на получение пособия по завещанию мистера Треверса - были должным образом обеспечены. Морские рыцари, все неженатые, имеют резиденции и по шестьдесят фунтов в год каждый, в дополнение к своему половинному жалованью. Из "нескольких пособий, чтобы поддерживать постоянный стол", еженедельно вычитается сумма в десять шиллингов.

Военные и морские рыцари - поскольку термин "бедняки" был отменен по приказу Вильгельма IV - больше не носят мантии, как в прежние времена; но костюмы символизируют их профессию и их ранг в ней. Их двадцать пять, на одного меньше первоначального числа, и они живут в гармонии друг с другом и с Церковью. Церковная корпорация не имеет никакого отношения к их средствам, и эти неженатые морские рыцари не тревожат сон ни одного мистера Брука в пределах Виндзорской вольницы.

Завершая этот раздел, позвольте мне добавить пару слов, касающихся

РЫЦАРЕЙ БАНИ.

В свое время не было более галантного кавалера, чем Джеффри, граф Анжуйский. Он был столь же кроток, сколь и галантен. В подтверждение своей скромности он взял веточку веника (*planta genista*) в качестве своего символа и тем самым дал имя Плантагенет длинному и прославленному роду.

Если его храбрость возвысила его в глазах женщин, то мягкость духа заслужила для него насмешки. Матильда, "императорски порочная", откровенно смеялась, когда ее сир предложил ей принять руку Джеффри Анжуйского. "Он так похож на девушку", - сказала Матильда. "Во всем христианстве нет рыцаря с более львиным сердцем", - ответил король. "Конечно, нет ни одного с таким овечьим лицом", - возразила высокомерная наследница; затем она неохотно согласилась спуститься в приятели к обладателю метлы.

Матильда создавала столько препятствий, сколько могла, чтобы завершить церемонию бракосочетания. Наконец, это торжественное дело было окончательно решено совершить в Руане 26 августа 1127 года. Джеффри, должно быть, был рыцарем до брака с Матильдой. Как бы то ни было, в честь этого события он, как говорят, был произведен в английские рыцари. Чтобы показать, как он ценит двойное достоинство рыцаря и мужа, он подготовился к обоим событиям, сначала приняв ванну, а затем надев чистую льняную рубашку. Летописцы уверяют, что это первый случай со времен прихода в Англию норманнов, когда купание упоминается в связи с рыцарством. Поверх льняной рубашки Джеффри носил расшитую золотом одежду, а главное - пурпурную мантию. Нам также говорят, что он носил шелковые чулки, которые, как предполагается, были неизвестны в Англии до гораздо более позднего периода. Его ноги были обуты в парадные туфли, на внешней стороне каждой из которых был изображен золотой лев. В этом обличье он сочетался браком с Матильдой, и никогда еще домочадцы не были столь любвеобильны к дамам.

От этого обстоятельства, как говорят, и ведут свое происхождение рыцари Бани. В течение значительного периода этот рыцарский орден был высшим военным орденом в Европе. Все его члены были компаньонами. Был только один вождь, и ни один рыцарь не был выше или ниже любого другого брата общества. Тем не менее, орден постепенно устаревал. Вакансии не заполнялись, Подвязка вытеснила Бат, и только в правление Георга II почти исчезнувшее братство было возобновлено.

Его возрождение произошло по политическим причинам, которые хорошо описаны Горацием Уолполом в его "Воспоминаниях о дворах Георга Первого и Второго". "Это была мера, - говорит он, - сэра Роберта Уолпола, и она представляла собой хитроумный пучок из тридцати шести лент, чтобы обеспечить фонд милостей вместо мест. Он также намеревался предотвратить спрос на подвязки, и предполагал, что красные должны были стать ступенью к синим; соответственно, он сам взял одну из первых. Он предложил новый заказ старой Саре, герцогине Мальборо, для ее внука герцога и для герцога Бедфорда, который женился на одной из ее внучек. Она надменно ответила, что они не должны брать ничего, кроме Подвязки. "Мадам, - холодно ответил сэр Роберт, - те, кто примет баню, скорее получат подвязку". В следующем году он принял ее сам, вместе с герцогом Ричмондом, оба были ранее посвящены в рыцари возрожденного института".

Сэр Роберт уважал формы и законы старого института, и они продолжали соблюдаться вплоть до периода, последовавшего за битвой при Ватерлоо. Вместо того чтобы создавать новый орден для награждения претендентов на отличия, было решено расширить орден Бани, который, таким образом, был разделен на три класса.

Во-первых, это Большой крест Бани (G. C. B.), награда за военные и дипломатические заслуги.

Второй класс, рыцари-командоры (С. В.), был открыт для тех заслуженных людей, которым посчастливилось занимать должности не ниже подполковника или капитана. Члены этого класса стоят выше обычных рыцарей-бакалавров.

Третий класс - рыцарей-компаньонов - был учрежден для офицеров, имевших более низкие чины, чем вышеперечисленные, и чьи заслуги перед отечеством позволяли им быть принятыми в него.

Впоследствии этот порядок был несколько изменен, и не без оснований. Часовня Генриха VII в Вестминстерском аббатстве - место, где происходит посвящение в рыцари. Устав ордена разрешает разжалование рыцаря, "осужденного за ересь против основ христианской религии", "уличенного в государственной измене" или "трусливо бежавшего с поля боя". Весьма любопытно, что уголовное преступление не является основанием для деградации. Герцог Ормонд был последним рыцарем Подвязки, который был разжалован за измену Георгу I. Аддисон, после разжалования, неизменно говорит о нем как о "покойном герцоге". Более тяжким преступником, чем он, был граф Сомерсет, который был безрассудным пажом и недостойным рыцарем Подвязки при Якове I. Его осудили за убийство, но не казнили, и до самой смерти он продолжал носить Подвязку, которой был признан недостойным. Последними случаями лишения ордена Бани были лишения лорда Кокрейна (в 1814 году) за якобы совершенный проступок и сэра Эйра Кута, двумя годами позже. В этих случаях народное мнение не одобрило суровых мер, принятых властью имущими^[1].

^[1] Впоследствии принц-регент приказал вычеркнуть имя капитана Ханчетта из списка Бата, поскольку он был вычеркнут из списка капитанов Королевского флота.

В былые времена новые рыцари Бани демонстрировали себя на публике столь же галантно, как и рыцари Подвязки. В связи с этим мистер Маккензи Уолкотт в своем "Вестминстере" приводит отрывок из книги автора, которого он не называет. Преподобный джентльмен говорит: "В воскресенье, 24 июля 1603 года, была совершена торжественная церемония, когда рыцари Бани с честью проехали от Сент-Джеймса до Двора, продефилировали со своими оруженосцами и пажами по Тилт-Ярду, а после отправились в парк Сент-Джеймса, там сошли с коней и поднялись в присутствии Короля, в галерею, где получили орден Рыцарства Бани".

Нынешняя "Конная гвардия" занимает часть старого Тилт-ярда; но о рыцарских делах там, а также в Смитфилде, я должен отослать всех любопытных читателей к "Живописной истории Лондона" мистера Чарльза Найта.

Орден Чертополоха, если верить шотландским антикварам, почти такой же древний, как времена, когда первый чертополох был сорван первобытным диким ослом. Однако известно об этом очень мало, и это малое не стоит повторять. Самые ранние достоверные сведения относятся к Роберту II, на чьих монетах были изображены святой Андрей и его крест. Яков III - первый монарх, который, как известно, носил чертополох в качестве своего знака отличия. Нет никаких свидетельств того, что эти эмблемы были связаны с рыцарством вплоть до правления Якова V. Впоследствии реформаторы подавили рыцарский орден как попский, и только во времена правления Якова II Английского чертополох и рыцарство вновь расцвели вместе. Орден доступен только пэрам. Простолудин мог оказать своей стране больше чести и услуг, чем все шотландские пэры вместе взятые, но никакие заслуги не могли обеспечить ему прием в орден Чертополоха. Тем не менее три простолудина однажды стали его членами, но их особой заслугой было то, что они были наследниками герцогств.

Ирландия оставалась без ордена до 1783 года, когда Георг III добродушно учредил орден Святого Патрика, к большому удовольствию многих, кто желал стать рыцарем, и к бесконечному отвращению всех, кто был разочарован. Кроме названия и местных обстоятельств, его ничто не отличает от других орденов.

Я не должен завершать этот раздел, не отметив, что вскоре после того, как суверенитет Мальты и Ионических островов был уступлен Великобритании, в 1818 году был учрежден Орден Святого Михаила с целью иметь то, что Уолпол называет "фондом рибандов", чтобы награждать тех местных джентльменов, которые заслужили или хотели получить благосклонность, если не места.

Орден Гельфов был основан принцем-регентом в 1815 году. Георг III задумал такой орден для самых выдающихся из своих ганноверских подданных. Однако вплоть до воцарения королевы Виктории орденом было награждено большее количество англичан, чем уроженцев Ганновера. С тех пор как последнее королевство перешло под власть наследника мужского пола из рода Брауншвейгов, орден Гельфа стал иностранным орденом. Лицензия на принятие этого или любого другого иностранного ордена не дает права на принятие какого-либо стиля, наименования, звания, старшинства или привилегии, полагающихся рыцарю-бакалавру этих королевств. Таков закон, изложенный в решении лорда Элленборо, которое не согласуется с суждением Коука.

История иностранных орденов заняла бы слишком много места; но в истории рыцарского ордена под названием "Рыцари Святой Ампулы" есть нечто столь забавное, что несколько слов на эту тему могут оказаться неприятными для тех читателей, которые не знакомы с эфемерными кавалерами, о которых идет речь.

РЫЦАРИ "СВЯТОЙ АМПУЛЫ".

"Mais ce sont des chevaliers pour rire." - *Le Sage*.

Были рыцари, которые, подобно "особым констеблям", создавались лишь "на время"; они были столь же эфемерны, как и недолговечные мухи, которых так называли. Так было, в частности, с рыцарями Священной Ампулы, или масла для помазания, которое использовалось при коронации королей Франции.

Это масло, по преданию, было принесено святому Реми (Ремигию) голубем с небес и помещено великим преобразователем Хлодвигом в его собственную гробницу, где оно и было найдено чудесным образом. Сам святой Реми никогда не упоминал ни о масле, ни о связанной с ним истории. Спустя четыре столетия после смерти святого об этом впервые заговорил - более того, смело дистиллировал масло - Хинкмар, архиепископ Реймский. Этот архиепископский биограф святого Реми вставил в житие святого чудеса, которые ошеломляли и одновременно забавляли читателей, имевших возможность читать его труд у камина, в зале замка или в трапезной. Я могу упомянуть только одно из этих чудес - а именно, "Святую Ампулу". Хинкмар утверждал, что, когда святой Реми собирался освятить маслом смиренного короля Хлодвига во время его коронации, с небес спустился голубь и вложил ему в руки маленький пузырек со святым маслом. Хинкмар бросил вызов любому, кто докажет обратное. Далее он заявил, что пузырек с елеем все еще можно найти в гробнице святого, и так как он был найден, Хинкмар был признан доказавшим свою правоту. После этого на день

коронации государя были учреждены шевалье Святого Ампула. Они завладели флаконом, передали его архиепископу и проследили, чтобы он был возвращен в свое хранилище; на этом коронация и их рыцарский характер завершились. С тех пор, вплоть до эпохи Людовика XVI, рыцари и флакон составляли наиболее заметную часть коронационной процессии и действий при коронации королей Франции.

Затем последовала Революция; и поскольку этот могучий двигатель никогда не прикасался ни к чему, не разбив его, можно быть уверенным, что флакон Сен-Реми едва ли избежал разрушения.

6 октября 1793 года гражданин Рюль вошел в скромную квартиру Филиппа Уреля, *главного маргинала* Реймского собора, и без церемоний потребовал отдать ему старинную стеклянную бутылку *ci-devant* Remy. Парик Филиппа от ужаса приподнялся; но поскольку гражданин Рулл сказал ему, что в случае неповиновения голову с плеч снимут так же легко, как парик с головы, *маркиз* заикнулся, что ковчег находится у куратора, месье Серайна, к которому он немедленно обратится.

"Принесите поматум и все остальное", - приказал гражданин Рулл, который таким образом неправильно назвал священный бальзам или густое масло, которым помазывали голову и чресла стольких королей, начиная с Карла Лысого и ниже.

"Могу я спросить, - робко произнес Филипп, - что вы собираетесь с ним делать?"

"Смажу *вам* шею, чтобы нож легче проходил сквозь нее, если вы не поднесете его в течение десятка минут".

"Слишком много чести", - воскликнул Филипп. "Я проскользну к куре так же быстро, как если бы всю дорогу скользил на драгоценной мази. А пока вот бутылка бургундского..."

"Которую я прикончу в указанный срок. Итак, отчаливайте; и дайте нам еще одну бутылку!"

Когда Филипп Урель передал просьбу куратору, месье Серен с быстротой мысли, отвечающей его воображению, воскликнул: "Мы возьмем этих мошенников и выдадим им фальшивый товар за настоящий". Но времени было в обрез, под рукой не оказалось второго древнего флакона, в доме не было ни щепотки поматума, ни ложки масла, и куре признался со вздохом, что подлинную реликвию придется отдать. "Но мы можем спасти кое-что из этого!" - вскричал месье Серайн; "Вот пузырек, дайте мне освящающую ложку". И, взяв ручкой ложки несколько небольших порций, которые куратор впоследствии тщательно завернул и довольно неразборчиво пометил, флакон был передан Филиппу, который передал его гражданину Рулле, который отнес его к фасаду самого прекрасного собора Франции и к подножию статуи Людовика XV. Гражданин Рулл торжественно разбил флакон в порошок и, во имя Республики, топтал драгоценную мазь ногами, пока ее нельзя было отличить от грязи, с которой она была смешана.

"Так мы покончим с принцами и поматумами", - воскликнул он.

Филипп уклончиво кашлянул, улыбнулся, как будто он был одного образа мыслей с республиканцем, и воскликнул, очень мысленно: "Живы принцы и поммада". Ни то, ни другое, как он был уверен, не было безвозвратно уничтожено.

Время принцев, действительно, пришло, и Наполеон должен был короноваться в Нотр-Даме. Его мало волновало, что стало с мазью, спущенной с небес, и он мог не только помазать, но и короновать себя. Нашлось несколько дюжин джентльменов, которые надеялись, что можно

найти оправдание для создания обычного ордена рыцарей Ампулы; но императору не было дела ни до рыцарей, ни до мази, и, к ужасу всех, кто надеялся стать шевалье, императорская коронация была отпразднована без того и другого. Но затем Наполеон был свергнут с престола, чего и следовало ожидать от такого сквернословия; вместе с ним вернулись Бурбоны, которые, ничего не забыв, вспомнили о Сен-Ампуле. Месье де Шевриер, магистрат в Реймсе, взялся за двойную работу - обнаружение и восстановление. Некоторое время он был безуспешен. Наконец, в начале 1819 года, к нему явились три сына покойного Филиппа Урелле. Они поклялись, что им известно не только о том, что часть священной мази хранилась у их покойного отца, но и о том, что наследство досталось его вдове, и что она считает ее одним из своих самых ценных сокровищ.

"Ей ничего не остается, как передать его мне, - сказал месье Шевриер, - она войдет в историю как мать рыцарей Ампулы Реставрации".

"Это досадно, - сказал старший сын, - но сокровище было потеряно. Во время нашествия наш дом был разграблен, и реликвия была первым, к чему приложил руку враг".

Последовавшее за этим разочарование было лишь временным. Вскоре появился судья по имени Леконт, который дал клятву, что у него хранится часть того, что сначала было передано вдове Урелле. Эта часть была столь мала, что требовался глаз веры, очень острый и готовый, чтобы разглядеть ее. Власти посмотрели на реликвию и решили, что если Людовик XVIII не может быть коронован, пока не будет найдено достаточное количество святого миро, которым его помажут, то коронация вряд ли состоится еще какое-то время.

Тогда собралась толпа священников, монахов и бывших монахов, все они заявили, что куратор, месье Серен, открыл им тайну сохранения части засохшего масла помазания, но они не смогли сказать, где он его хранит. Прошло несколько месяцев колебаний, и вот летом священник из Берри-о-Бак месье Буре объявил, что именно он является хранителем давно утерянной реликвии и что он сохранил ее в части обмотки самого святого Реми. Через неделю появился месье Шампань Провоциан и дал следующие показания: он стоял рядом с Рулло, когда тот в октябре 1793 года уничтожил флакон, принесенный с неба голубем, у подножия статуи Людовика XV. Когда республиканец ударил по флакону, несколько осколков стекла попали на рукав пальто упомянутого месье Шампаня. Он ловко сохранил их, забрал с собой домой и теперь предъявил в суде.

Комиссия осмотрела различные реликвии и осколки стекла. Все было признано подлинным, и председатель решил, что, если соединить "то и это", то легенды, флакона и миро будет достаточно, чтобы законно помазать и удовлетворить любого христианского короля.

"Теперь ничто не помешает коронации вашего величества", - сказал ему однажды утром его варлет, после того как он провел три часа на службе, за которую надеялся быть назначенным одним из рыцарей Сент-Ампул; "теперь абсолютно ничто не помешает этой величественной церемонии".

"Allons donc!" - сказал Людовик XVIII с тем недоверчивым смехом, что пожал плечами, и с тем добродушным нетерпением к легендам и нелепостям, из-за которых священники говорили о нем как о неверном.

"Что делать с мазью?" - спросил рыцарь-ожидатель.

"Заприте ее в ризнице и больше не говорите о ней". И это было сделано с некоторой церемонией и чувством разочарования. Собранные мощи, помещенные в серебряный ковчег, обтянутый белым шелком, и заключенные в металлический футляр под тремя

замками, были помещены в гробницу святого Реми. Там они оставались до торжественного коронования Карла X. в 1825 году. В тот год, положительно в последний раз, рыцари Сент-Ампул были торжественно созданы и исполнили свой долг. Как только Карл вошел в хор, он преклонил колени перед алтарем. Поднявшись, он был проведен в центр святыни, где его августейшая особа заняла тронное кресло. Великолепная группа наполовину окружила его; затем подошли рыцари из Сент-Ампул в величественной процессии, неся все, что осталось от того, что священный голубь принес или не принес в Сен-Реми для помазания Хлодвиг. Не менее трех прелатов, архиепископ и два епископа, приняли миро из рук рыцарей и понесли его к главному алтарю. Можно сказать, что их превосходительства и преосвященства исполнили свой долг с благоговением, но народ смеялся и над рыцарями, и над поматумом, и над церемонией - все это вместе взятое не могло наделить Карла X. разумом, достаточным для того, чтобы сохранить свое место. Теперь можно сказать, что рыцари из Сент-Ампул навсегда утратили свое занятие.

Из всех памятных вещей, хранимых в Реймсе, добрые люди этого города не запомнили ни одну так сильно, как старую и великолепную процессию этих рыцарей из Сент-Ампуля. Коронационный кортеж казался лишь второстепенным пунктом процедуры; а великолепный балдахин, поддерживаемый рыцарями над флаконом на пути из аббатства Сен-Реми в собор, вызывал не меньшее внимание, чем корона короля.

Однако не всегда происходящее носило мирный характер. Великий приор Сен-Реми всегда был носителем флакона в футляре или святыне. Она висела у него на шее на золотой цепи, а сам он был посажен на белого коня. Когда передавал флакон в руки архиепископа, тот давал торжественную клятву вернуть его по завершении церемонии; в качестве залога давали полдюжины баронов. Шествие в аббатство по улицам, затянутым гобеленом, было столь же пышным, как и шествие в собор.

Лошадь, на которой восседал великий приор, была предоставлена правительством, но приор потребовал ее в собственность аббатства, как только вернулся туда. Это требование оспаривали жители Шен-ла-Популе, или, как его еще называют в просторечии, "Шен-ла-Пуйе". Они обосновали свои претензии привилегией, данной их предкам. Оказалось, что в давние времена англичане захватили Реймс, разграбили город и разграбили гробницу святого Реми, из которой унесли святую Ампулу. Однако жители Шена обрушились на захватчиков и вернули себе неоценимое сокровище. С тех пор, в память о содеянном и в знак признания, они пользовались, по их словам, правом идти в процессии вместе с рыцарями Сент-Ампуля и имели право претендовать на коня, на котором ехал Великий приор. Приор и его люди называли этих претендентов "цинготными рыцарями" и ни в коем случае не придавали этой истории никакого значения. Во время коронации Людовика XIII они не побрезговали подкрепить свои притязания насилием. Они стащили приора с лошади, жестоко избили монахов, пришедших ему на помощь, разорвали в клочья балдахин, с ожесточением избивали рыцарей и с триумфом унесли коня. Стороны тут же обратились в суд и потратили стоимость дюжины коней, споря о владении одной лошадью. Спор был решен в пользу религиозной общины, и буйные жители Шена были вынуждены отвести четвероногого обратно в конюшню аббатства. Впоследствии они возобновили свои старые притязания и снова угрожали насилием, к большому удовольствию адвокатов, которые думали заработать на раздорах. Во время коронаций Людовика XV и Людовика XVI эти государи издали специальные указы, согласно которым жителям Шена запрещалось претендовать на какую-либо собственность на лошадь и поддерживать такие претензии актами насилия.

История иностранных орденов потребовала бы такого же большого тома, как у Антиса; но хотя я не могу включить такую историю в число моих сплетен, я могу упомянуть несколько любопытных происшествий, связанных с

ОРДЕНОМ СВЯТОГО ПРИЗРАКА.

С этим орденом связано одно необычное обстоятельство. Он был основан последним из Валуа, а вышел вместе с последним из Бурбонов. Луи Филипп питал особую неприязнь к орденам, которые больше всего лелеяла династия, которую он так ловко вытеснил. Король-гражданин, можно сказать, уничтожил и "Святого Людовика", и кавалеров "Святого Духа". Он не отменил эти ордена своим указом, но ясно понимал, что никто, носящий эти знаки отличия, не будет желанным гостем в Тюильри.

Орден Святого Духа был учрежден Анри в знак благодарности за два события, за которые ни один другой человек не имел повода быть благодарным. В день Пятидесятницы 1573 года он (будучи герцогом Анжуйским) был избран королем Польши, и в тот же день в следующем году он унаследовал корону Франции. Отсюда орден с сотней членов и королем в качестве великого магистра.

Сен-Фуа в своей объемной истории ордена описывает злодейского королевского основателя в довольно хорошем свете. Это больше, чем сделал любой другой историк; и это не очень удовлетворительно выполнено самим историком. Он опирается на принцип, согласно которому о характере короля, или скорее о его нраве, можно судить по его фаворитам. Он указывает на Ла Марка, Манжирона, Жуайеза, д'Эпернона и других. Их репутация не из лучших, скорее из самых худших; но затем Сен-Фуа говорит, что все они были восхитительными фехтовальщиками и носили шрамы на себе, спереди, в доказательство своей доблести: он, очевидно, считает, что *воинская добродетель* - это то же самое, что и другие добродетели.

В первоначальном списке рыцарей есть имена, которые сейчас более достойны того, чтобы о них вспомнить. Луи де Гонзаг, герцог де Невер, был одним из них. Однажды он отбил лошадь у капитана-гугенота де Бомона, который, лежа на земле, выстрелил из пистолета и разбил герцогский наколенник. Герцогский оруженосец наклонился вперед с ножом, чтобы схватить капитана; герцог, однако, велел тому подняться. "Я хочу, - сказал он, - чтобы вы могли рассказать историю, достойную повествования. Когда вы будете рассказывать у камина, как вы ранили герцога де Невера, будьте добры добавить, что он подарил вам жизнь". Герцог был благородным человеком. Если бы его щедрость могла восстановить его колено! Но он хромотал до конца своих дней.

Но был и более благородный человек, чем он, в лице барона д'Асье, впоследствии графа де Крюссоля и герцога д'Юзеса. Он был гугенотом, и я, признаться, не могу объяснить тот факт, что в какой-либо период своей жизни он был кавалером ордена Святого Духа. Анри III вряд ли вручил бы этот знак отличия даже извращенцу. Тем не менее, его имя на слуху. Он был храбр, милосерден, благочестив и безукоризненно честен. При взятии Бергерая он пощадил всех, у кого не было в руках оружия, а женщин, запертых в церквях, он уговорил вернуться домой, пообещав оградить их от всяких домогательств. Эти бедняжки, должно быть, были удивительно красивы, и хвалебные речи барона о них напоминают мне слова солдат, когда они вели Юдифь через лагерь Олоферна: "Кто может презирать этот народ, имеющий среди себя таких женщин".

Барон ничуть не гордился своим подвигом и считал, что если весь мир говорит о целомудрии Сципиона, то и он вправе претендовать на похвалу как защитник женской добродетели.

Поэтому, отправляя герцогу де Монпансье отчет обо всем происшедшем, он приложил к нему и несколько образцов дам. "Я выбрал *только* двадцать самых красивых из них, - пишет он, - которых я послал вам, чтобы вы могли судить, не могли ли они склонить нас к репрессиям; они сообщат вам, что не потерпели ни малейшего бесчестия". Отправив их в покои Монпансье, дамы подвергались большой опасности навлечь на себя то, от чего их спас барон. Но он заканчивает небольшую лекцию. Он пишет герцогу: "Вы набожный человек [!]; у вас призрачный отец; за вашим столом всегда сидят монахи; вы слышите две или три мессы каждый день; вы часто ходите на исповедь. Я исповедуюсь только перед Богом. Я не слышу месс. За моим столом нет никого, кроме солдат. Честь - единственный руководитель моей совести. Она никогда не посоветует мне приказать совершить насилие над женщиной, предать смерти беззащитного врага или нарушить данное однажды обещание". В этой лекции, по сути, был нанесен удар с двух рук. Одним выстрелом были убиты два зайца. Барон порицал, косвенно, и герцога, и его религию. Я вспомнил о нем, прочитав рецензию в "Гардиан", где тот же искусный метод применяется к критике. Темой рецензента был том Канона Вордсворта об "Ипполите" шевалье Бунзена. "Книга каноника, - сказал рецензент (цитирую по памяти), - напоминает нам - и это должно быть унижением и унижением для умного, образованного и вдумчивого человека - одну из лекций доктора Камминга в Эксетер-Холле". Здесь ультра-высокоцерковный критик одним ударом ошеломил просто высокоцерковного священника и нецерковного пресвитерианца.

По крайней мере, в другом рыцаре этого ордена, Франциске Гоафье, лорде Кревекёра, было великодушие. Екатерина Медичи объявила ему о назначении его сына командиром пехотного полка. "Мадам, - сказал рыцарь Святого Духа, - моего сына ночью или два дня назад атаковали пятеро убийц; капитан Ла Вернь выступил на его защиту и убил двоих из нападавших. Остальные бежали, потеряв сознание. Если ваше величество соизволит отдать полк тому, кто его заслуживает, вы отдадите его Ла Верну". "Да будет так, - сказала Екатерина, - и ваш сын будет не менее обеспечен".

Один, по крайней мере, из первых рыцарей этого ордена прославился своими несчастьями; это был Шарль де Алливин, лорд Пьеннский. Он участвовал в шести с половиной двадцати осадах и сражениях, и ни из одной не вышел невредимым. Его домашние раны были еще тяжелее. У него было пять сыновей и одна дочь, которая была замужем. Все они, а также его зять, были убиты или погибли случайно, насильственной смертью. Старый шевалье сошел в могилу с разбитым сердцем и без наследников.

Ле Рой, лорд Шавиньи, которого не следует путать с предком того Ле Роя, который погиб на Альме под титулом маршала Сент-Арно, является хорошей иллюстрацией прямого, честного рыцаря. Карл IX как-то заметил ему, что его мать, Екатерина Медичи, хвасталась, что во Франции нет человека с десятью тысячами ливров в год, у очага которого не было бы шпиона на жалованье. "Я не знаю, - сказал Ле Рой, - то ли тираны делают шпионов, то ли шпионы тиранов. Со своей стороны, я не вижу в них никакой пользы, кроме как на войне".

За честность еще более высокого рода порекомендуйте мне Сципиона де Фьерка, лорда Лаваньи. Екатерина Медичи предложила сделать этого своего дальнего родственника маршалом Франции. "Боже правый, мадам!" - воскликнул он, - "мир посмеялся бы над нами обоими. Я просто храбрый джентльмен и заслужил *эту* репутацию; но, возможно, я ее потеряю, если вы сделаете из меня маршала". В наши дни это достоинство принимается с меньшей неохотой. Именно этого честного рыцаря попросили добиться назначения капелланом королевы для человека, который в качестве взятки представил галантному Сципиону два документа, которые позволили бы ему выиграть тяжбу, которую он вел против упорного противника. Сципион ознакомился с документами, увидел, что они доказывают

правоту его противника, и тут же отказался от противодействия. Он оставил кандидата в капелланы королевы добиваться поставленной цели наилучшим способом.

Среди этих рыцарей, как и следовало ожидать, были и остроумцы. В качестве примера можно привести Джона Блоссе, барона де Торси. Его обвинили в переписке с врагом в Испании и сообщили, что он недостойн ордена Святого Духа. Он доказал свою невиновность перед главой ордена. По окончании следствия он остроумно применил два отрывка из молитвенника рыцарей, обратившись к королю и сказав: "*Domine ne projicias me a facie tuâ, et spiritum sanctum tuum ne auferas a me*". "Господи, изгони меня от лица твоего, и духа святого твоего не бери от меня". И король велел ему оставить это, а сам посмеялся над нескромным остроумием Джона Блоссета.

Среди рыцарей Святого Духа было и остроумие более практического характера. Королевский основатель иногда уезжал с рыцарями в Венсенн. Там они уединялись, как они говорили, чтобы поститься и каяться; но, как говорил мир, чтобы предаваться удовольствиям весьма чудовищного свойства. Королевские герцоги более позднего периода во Франции искупали неумеренные пороки, заставляя своих любовниц поститься; королевские герцогини сводили свой маленький баланс с Небом, заставляя поститься своих слуг. Похоже, что в случае с Анри III и его рыцарями не было ничего похожего на заместительное покаяние. Не то чтобы все рыцари охотно подчинялись покаянию, умерившему их аппетиты. Шарль де ла Марк, граф Брейн, был одним из тех нетерпеливых кающихся. В один из дней, когда было предписано строгое воздержание, король проходил мимо апартаментов графа, когда его поразил острый запах. Король тут же приткнулся к замочной скважине графской двери и увидел, что рыцарь с усердием дует на маленький огонь под тарелкой, в которой жарятся две превосходные подошвы в пикантном соусе. "Брат рыцарь, брат рыцарь, - воскликнул Анри, - я все вижу и многое чую. Неужели вам не стыдно преступать святое правило?" - "Мне было бы гораздо стыднее, - сказал граф, открывая дверь, - если бы я стал врагом своего желудка. Я больше не могу выносить такого воздержания. Вот я, рыцарь и джентльмен, вдвойне голодный в этом двойном образе, и я, собственной персоной, покупаю эти солы и все необходимое для самого вкусного из соусов: Я готовлю их сам, и они уже готовы. Приготовленные *aux gratins*, ваше величество и сами не смогут удержаться от дегустации. Позвольте мне", - и он пододвинул стул, на который уселся Анри, а к "*soles aux gratins*", подобных которым Вефур и Вери никогда не готовили, сел монарх и вместе с голодным графом обсуждал достоинства поста, пока они наслаждались рыбой. В конце концов, это был всего лишь скудный обед; и, вероятно, трапеза на этом не закончилась.

Примером благотворительности может служить доблестный Уильям Пот (очень древняя фамилия очень древнего рода, потомком которого, вероятно, был покойный архидиакон Мидлсекса и викарий Кенсингтона). Он направил наследство в шестьдесят тысяч ливров на поддержку раненых солдат. Анри III, который всегда намеревался совершить какое-нибудь доброе дело, решил построить приют для немощных военных; но, конечно, он забыл об этом. Анри IV, получивший гораздо больше похвал, чем он заслуживает, также выразил намерение сделать что-то для своих старых солдат; но он был слишком увлечен прекрасной Габриель, а она не была похожа на Нелл Гвинн, которая обратила свою близость с королем на пользу людям, проливавшим за него свою кровь. Старыми солдатами снова пренебрегли; и только в правление Людовика XIV пример Пота снова вспомнили, и в результате были приняты выгодные меры. Когда я думаю о наследстве галантного Пота, о том, что он сделал с его помощью, и о том, как французские солдаты выиграли от этого, я склонен полагать, что немецкие войска, о которых меньше заботились, возможно, получили отсюда свою некогда любимую клятву, и что "*Потц таузенд!*" может иметь некоторое отношение к шестидесяти

тысячам ливров, которые сострадательный рыцарь Родоса и Святого Духа посвятил утешению и успокоению храбрецов, получивших выдающиеся увечья на войне.

Короли Франции имели обыкновение создавать партию рыцарей Святого Духа в день, следующий за коронацией, когда монархи становились суверенными главами ордена. Впоследствии весь корпус отправлялся из собора в церковь Святого Реми в грандиозной конной процессии, известной как "кавалькада". Ничто не могло превзойти величие этой процессии, когда короли были деспотичны во Франции, а средства легко находились. Кавалерия и пехота в парадных мундирах, нарядные пажи в трепете перьев и лент, группы великолепных чиновников предшествовали маршалам Франции, за которыми следовали рыцари Святого Духа, а за ними ехал их королевский Великий магистр, сверкающий, как восточный король, и кивающий, как мандарин, когда он ехал.

Король и рыцари совершили молебен перед святыней святого Маркула, которую специально привезли из церкви Корбени, что в шести лье от Реймса. Эта особая церемония была совершена в честь прославленного старого аббата Нантуа, который при жизни прославился тем, что успешно излечил болезнь, называемую "королевским злом". После этого благочестивого служения суверенный магистр ордена Святого Духа считал себя вправе сам исцелить зло. Поэтому, облачившись в мантию и воротник ордена и наполовину окруженный рыцарями, он отправился в парк аббатства, чтобы прикоснуться и вылечить тех, кто страдал от этой болезни. Это был не малый труд. Когда Людовик XVI совершил обряд, он коснулся двух тысяч четырехсот человек. Форма проведения процедуры была достаточно необычной. Первый врач короля клал руку на голову пациента, после чего капитан гвардии немедленно хватал и держал руки пациента, тесно соединенные вместе. Затем король вышел вперед с непокрытой головой в сопровождении своих рыцарей и прикоснулся к страдальцам. Он провел правой рукой ото лба к подбородку и от одной щеки к другой, совершая таким образом крестное знамение и одновременно произнося слова: "Да исцелит тебя Бог; король прикасается к тебе!"

В связи с этим я могу добавить, что Эвелин в своем дневнике пишет, что Карл II. "начал первым прикасаться к злу, согласно обычаю", 6 июля 1660 года, и именно так. "Его Величество сидит в своем штате в Банкетном доме, хирурги вызывают больных и подводят их к трону, где они становятся на колени, король гладит их лица или щеки обеими руками сразу, и в этот момент капеллан, соблюдая формальности, говорит: "Он возложил на них руки, и они исцелились". Это говорится каждому в отдельности. Когда все прикоснулись, они снова поднимаются в том же порядке, и другой капеллан, стоя на коленях, с ангельским золотом, нанизанным на белую ленту на руке, подает их по одному Его Величеству, который надевает их на шеи прикоснувшихся, когда они проходят мимо, а первый капеллан повторяет: "Вот истинный свет, пришедший в мир"". Французская церемония кажется мне менее претенциозной; ведь слова, произнесенные королевским главой ордена Святого Духа, были просто молитвой и констатацией факта: "Да исцелит тебя Бог; король прикасается к тебе!" И все же кто может сомневаться в действенности королевской руки Карла II, видя, что одним прикосновением он не только вылечил сквернословящего квакера, но и обратил его в добропорядочного церковника?

История последнего отдельного рыцаря, приведенная на этих несовершенных страницах (Гай Уорикский), показала, как история и романтика сплелись в биографии. Переходя к более позднему периоду, мы можем найти еще одну индивидуальную историю, которая может послужить иллюстрацией к тому, что я имею в виду. Шевалье де Баярд занимает видное место. Но до *него* был рыцарь, которого приветствовали почти теми же отличительными титулами, что и Баярда. Речь идет о Жаке де Лелане, известном как "рыцарь без страха и

сомнений". Его история менее известна нам, и поэтому ее лучше рассказать. Кроме того, Баярд был всего лишь мясником. Если его нельзя так считать, то скажи нам, нежная тень дона Алонзо ди Сотомайора, почему твой болезненный дух бродит по рощам Элизиума, прикладывая надушенный платок попеременно то к дырке в горле, то к ране на лице? Разве не с жестокой изощренностью Баярд вонзил свою рапиру в твою шею "на четыре пальца", а когда ты уже не мог сопротивляться, он не всадил свой кинжал в твои ноздри, восклицая при этом: "Уступи, сеньор Алонзо, или умрешь!" Тень разрубленного испанца склоняет голову в скорбном согласии, и слабый звук словно плывет к нам по воздуху, в котором мы различаем отголосок "*Поля Монервинов*".

ЖАК ДЕ ЛЕЛАНГ,

ДОБРЫЙ РЫЦАРЬ БЕЗ СТРАХА И СОМНЕНИЙ.

"Молчите, я буду говорить о нем!" - Буало.

Между городом Намюр и причудливым старинным городком Динант есть столько же интересного для историка, сколько прекрасного для путешественника и художника. Война была самым страшным бичом этих двух населенных пунктов на Мёз, которые я только что назвал. Намюр славится своими столовыми приборами, а также старыми "колющими клинками" другого типа. Дон Иоанн, великий победитель при Лепанто, покоится в городе, став жертвой яда и ревности своего брата Филиппа. Здесь великий Людовик показал себя лучшим солдатом, чем Буало - поэтом, когда попытался переложить подвиги королевского солдата на рифму. Кто может стоять у ворот Святого Николая и не вспоминать о "моем дяде Тоби" и французах, о смерти которых он так мало заботился на леднике в Намюре? В настоящее время это место, правда, имеет лишь тусклый и мечтательный вид. О его жителях, как и о любовниках Молли Кэрю, можно сказать: "Им в голову приходит не сон, а драм". Так, по крайней мере, кажется, если я могу сделать вывод из того, что я видел прошлым летом в книжном киоске на вокзале в Намюре, где я нашел больше экземпляров работы, исповедующей толкование снов, чем любой другой продукции, будь то *grave* или *gaillard*.

Динант, любопытный старинный город, за которым возвышаются известняковые скалы, словно выталкивающие его с узкой площадки в Мёз, имеет еще более кровавые воспоминания, чем Намюр; но о них я сейчас говорить не буду. Между этими двумя городами, в самой живописной части потока, на самом высоком утесе, возвышающемся над ним, находятся огромные руины старого *титанического* замка Пуальваш, некогда довольно шумного дома буйных домочадцев этих ужасных братьев, известных в рыцарской истории как "четыре сына Аймона". В один из немногих прекрасных вечеров прошлого лета я смотрел на эту высоту с противоположного берега, а вокруг меня группами стояли блестящие глазами, мягкоголосые, остроумные валлоны, которые, как говорят, являются потомками римского легиона, члены которого колонизировали эту страну и женились на ее жительницах! Валлонский священник, или, по крайней мере, один из тех, кто прекрасно говорил на этом диалекте, но имел сильный фламандский акцент, когда обращался ко мне с замечанием на французском, оставался во время моего наблюдения рядом со мной. "Эти люди, - спросил я его, - довольные люди?" Он подошел к веселому старику и, предположив, что тот доволен судьбой, назначившей его рабочим, спросил его, какую часть своего труда он любит больше всего? После минутной паузы старый крестьянин ответил на очень хорошем французском языке: "Я думаю, что самое приятное занятие для меня - это косить луг

в Блокемоне, потому что дикий тимьян на нем одурманивает сам воздух". "Но ваше зимнее время, - сказал я, - должно быть, мрачное и тоскливое". "Ни темное, ни тоскливое, - заметила опрятная женщина, его жена, которая в этот момент стояла на коленях и зашивала лохмотья на габердине валлонского нищего, - ни темное, ни тоскливое". В зимнее время, дома, нам не нужен свет, чтобы собрать детей и научить их катехизису". Священник улыбнулся. "А что касается весны, - сказал ее муж, - то вы должны быть здесь, чтобы насладиться ею; ведь поля тогда все в цветах, а небо - одна песня". "В их выражениях есть поэзия", - сказал я священнику. "Это еще лучше, - ответил он, - в их сердцах есть любовь"; и, обратившись к женщине, которая чинила одежду пассивного нищенствующего, он спросил ее, не боится ли она заразиться. "Почему я должна бояться?" - ответила она. "Я делаю совсем немного; Христос делал больше; Он омывал ноги нищим; и мы должны чем-то рисковать, если хотим обрести Рай". Нищий, к которому она проявляла практическую благотворительность, был отнюдь не живописным ночлежником, но, чтобы не отстать от него, я выразил сострадание к его участи. "Моя участь не столь плачевна, - сказал он, обнажив голову, - у меня есть Бог, на которого я надеюсь, и милосердие гуманных людей, которые меня поддерживают". Когда он это говорил, мой взгляд переместился с него на пастуха, который только что присоединился к нашей группе и ждал, когда его переправят в маленькую деревушку Хоукс. Я знал его по имени и кое-что знал об одиночестве его жизни, и я заметил ему: "Жак, у тебя, по крайней мере, скучная жизнь, и ты даже сейчас выглядишь усталым от долгих часов, проведенных в одиночестве". "Одиночество!" - воскликнул он радостным тоном, - "Я никогда не бываю одинок и никогда не устаю. Да и как я могу устать, когда мои дни проходят в обществе невинных животных, и у меня есть время подумать о Боге!" Священник улыбнулся еще более одобрительно, чем прежде; и я заметил ему: "Мы здесь, в Аркадии". "Но не без человеческих грехов", - сказал он и, указав на женщину в отдалении, которая была нанята женой фермера, спросил ее, как она могла еще иметь что-то общее с известным вором. "Эх, отец, - ответила женщина, которую Джон Говард расцеловал бы, - голодание в безделье не излечит ее от воровства; а между работой и хорошим присмотром она скоро оставит свои дурные привычки". "Вы добрая христианка, - сказал я ей, - к какой бы общине вы ни принадлежали". "Она хорошая католичка", - добавил священник. "Я такая, какой меня создал добрый Бог", - просто ответила жена валлонца, - "и моя религия заключается в том, чтобы вставать на колени, когда весь дом спит, и молиться за весь мир". "Ай, ай", - хором закричали окружающие, - "это и есть истинная религия". "Это часть истинной религии", - вмешался священник; но я не мог не подумать, что он поступил бы так же хорошо, если бы оставил текст Мари Жюстин без комментариев. Мы вместе спустились к берегу реки напротив замка молодого графа де Левиньона, владельца и бургомистра города У. Я смотрел из современного замка на руины огромного замка, где сыновья Аймона когда-то держали варварское государство, вели непрерывные войны и благоговели перед матерью Того, Кто был Князем Мира. Добрый священник, казалось, угадал мои мысли, ибо заметил: "Мы живем в лучшие времена; церковь менее великолепна, а рыцарство менее "славно", если не вымерло; но есть более тесное братство всех людей - по крайней мере, - добавил он нерешительно, - по крайней мере, я надеюсь на это". "Я не могу припомнить, - сказал я, - ни одной добродетели, которой бы обладали Аймон или его сыновья, кроме грубой храбрости, и грубого великодушия, не основанного на принципе, но рожденного импульсом. Жаль, что Бельгия не может похвастаться более совершенными шевалье, чем старые владельцы Пуальваша, и что у вас нет героя, который мог бы сравниться с Баярдом". "Бельгия, - был его ответ, - может похвастаться подобным, и у нее был герой, который закончил свою героическую карьеру задолго до рождения Баярда. Неужели вы никогда не слышали о "добром рыцаре без страха и сомнений"?" "Я слышал о нем без страха и упрека". "Этот титул, - заметил он, - был всего лишь плагиатом того, который современники присвоили Жаку де

Лелану". Затем он в общих чертах обрисовал карьеру доброго рыцаря и направил меня к источникам, где я мог бы почерпнуть более подробные сведения. Мне было интересно то, что я узнал, и именно потому, что я надеюсь также заинтересовать читателей дома, я осмеливаюсь представить им, пусть и в несовершенном виде, набросок карьеры храброго человека до времен Баярда; человека, который иллюстрирует старую поговорку о том, что...

"Vixere fortes ante Agamemnona".

Жак де Леланг, добрый рыцарь без страха и сомнений, родился в замке Леланг в первой четверти пятнадцатого века. Точный год неизвестен, но это было за полвека до рождения Баярда. Он происходил из знатного рода, то есть из рода, мужская часть которого видела больше чести в убийстве, чем в науке. Его мать славилась как красотой, так и благородством. Она была мудра, обходительна и *дебоширна*; хорошо воспитана и полна всех добрых качеств. Так, по крайней мере, почти в таких же выражениях, писал о ней Жорж Шастеллан всего два века назад.

Жак де Леланг был таким же развитым мальчиком, как и герцог Уортон в юности. В семь лет наставник-священник довел его до совершенства во французском и латыни, а тот настолько привил ему литературные вкусы, что в дальнейшей жизни добрый рыцарь находил время для знакомства с капитаном Пенем, а также с капитаном Мечом; образцы его трудов, как говорят, до сих пор хранятся в библиотеках Фландрии и Брабанта.

Жак, однако, никогда не был простым студентом, "измученным бледными мыслями". Он любил мужественные виды спорта; он был еще цветущим юношей, когда "демуазо из Клеве", племянник того великого герцога, которого люди без всякой причины называли Филиппом *Добрый*, увез своего юного друга из замка Леланг и сделал его оруженосцем, не из дам, а из рыцарей, при бурном дворе герцога Филиппа, с благосклонной квалификацией к его имени.

Юноша начал свою карьеру с отцовским обеспечением, которое свидетельствовало одновременно о либеральности и мудрости его отца, крепкого Уильяма де Лелинга. Он подарил сыну четырех великолепных лошадей, опытного конюха и "*служивого джентльмена*", что в просторечии означает камердинера или "кавалера". Но у молодого солдата было не только это, а именно: хорошо образованный священник, которому было поручено вечно объяснять и наставлять, причем с особой целью, чтобы Жак не забыл латынь! Отличная забота сира о своем сыне! Если бы только современные отцы могли посылать в казармы со своими сыновьями, когда те только вступают в свои полки, преподобных священников, в обязанности которых входило бы держать своих учеников в курсе катехизиса, Итонской грамматики и английской орфографии, каким благословением это было бы для молодых джентльменов и для всех, кто с ними знаком! А пока у нас офицеры хуже обучены и менее умны, чем сыновья художников, которые шьют им мундиры.

Когда Жак выходил в свет, его государь дал ему столько же хороших советов, сколько Полоний вывалил на своего сына Лаэрта. Суть его сводилась к старой французской максиме "*Noblesse oblige*": "Поскольку, - сказал старик, - ты благороднее других по рождению, то и по добродетели должен быть благороднее их". Сердобольный старик-отец добавил, что "немногие великие люди прославились доблестью и добродетелью, не испытывая любви к какой-нибудь даме или дамуазель". Последнее, однако, было лишь двусмысленным заверением, поскольку, посоветовав Жаку влюбиться в "какую-нибудь даму или дамуазель", он просто посоветовал ему сделать это с женой или дочерью любого мужчины. Но это был совет, который обычно давали молодым кавалерам, и которому они следуют по сей день. Жак улучшил отцовское наставление, влюбившись в двух дам одновременно. Как это свойственно честолюбивым юношам, он прошел мимо белых и розовых барышень, которых

встречал, и с поразительным успехом обратился к двум замужним герцогиням. Ни одна из них не подозревала, что гладковыбритый молодой "оруженосец" клянется в вечной верности другой, или что этот легкомысленный Макит сватается к своей мадемуазель Полли с карманами, набитыми "одолжениями", только что подаренными ему ничего не подозревающей Люси. Так всегда любили друг друга офицеры и разбойники.

Но если Жак любил двоих, то при бургундском дворе не было ни одной дамы, которая бы его не любила. Самые добродетельные из них со вздохом выражали желание, чтобы их мужья или любовники были такими же, как он. Мужчины ненавидели его, но при этом восхищались его грацией, осанкой и неотразимой храбростью. Жак благодушно принимал любовь женщин и зависть мужчин; чувствуя, что ему есть за что благодарить, он отправился к святилищу Девы Марии в Хале и возблагодарил "Богоматерь" соответствующим образом.

Филипп Добрый был добр так же, как царь Николай. У него было честное лицо и черное сердце. Филипп, как и Николай, соединял внешнюю демонстрацию супружеских приличий с частными, но очень грязными непристойностями; а герцог, как и царь, был отъявленным лжецом своего времени. Филипп увеличил герцогскую территорию Бургундии таким образом, что обеспечил Финляндию для Московии, путем предательства самого гнусного свойства; а в 1442 году, вообразив, что Люксембург находится в больном состоянии, которое Николай описал как состояние Турции - когда имперский преступник думал, что делает единомышленником сэра Гамильтона Сеймура, герцог решил захватить эту территорию, и молодой Жак де Леланг был в экстазе от восторга, когда ему разрешили присоединиться к этой самой безрассудной из экспедиций.

В течение года опустошение охватило всю округу. Огонь и меч совершали свою разрушительную работу, и земля, лежавшая между захватчиками и Люксембургом, была очищена от посевов, жилищ и людей. В конце концов город был захвачен врасплох, и добрый Филипп предал его разграблению; затем последовала сцена, с которой не мог сравниться сам ад; и герцог со своими последователями, натворив ужасов, от которых черти бы отшатнулись, вернулись в Брюссель, где их приняли в десять раз с большим восторгом, чем если бы они вернулись из экспедиции, предпринятой на благо человечества.

Наступил так называемый мир, и Жак де Леланг, отточив свою девичью шпагу, заслужив похвалу храбрых мужчин и любовь прекрасных женщин, решил начать серию провинциальных экскурсий для своей особой пользы. Как в наше время профессора без ученых и актеры без ангажементов кочуют из города в город и читают лекции у "королевского оружия", так и Жак де Леланг отправился в путь, предлагая сразиться со всеми желающими в присутствии самих королей.

Его первое появление в этом провинциальном турне состоялось в Нанси в 1445 году, где блестящий французский двор устраивал радостный праздник в ожидании приезда Саффолка, которому было поручено сопровождать в Англию королевскую невесту в лице Маргариты Анжуйской. Французские рыцари высмеивали бургундского солдата, но Жак, объявив, что именно он является хозяином турнира, добавил, что ни один французский рыцарь не должен снять с него копыта, если только Бог и его добрая госпожа не укажут иного.

Последнее было маловероятно, и он чувствовал себя в полной безопасности, тем более что ехал в списках, украшенный милостями, золотым шитьем и богатыми драгоценностями - дарами герцогинь Орлеанской и Калабрийской, каждая из которых горячо верила, что именно она - та единственная красавица, глядя на которую Жак де Леланг давал свою самую красивую клятву. Соответственно, не было ни одного кавалера, выступившего против него в

этой схватке, который не покинул бы поле боя с переломанными или ушибленными костями. "Что это будет за человек?" - кричали они, - "если, даже будучи мальчишкой, он так сильно бьется?"

На последующем пиру, куда его доставили с триумфом, юноша вновь доказал, что обладает способностями мужчины. Он был свеж, как только что распустившаяся роза, весел, как жаворонок ранней весной. Королевы Франции и Сицилии беседовали с ним по полчаса, а дамы более низкого происхождения смотрели на него, пока не вздыхали; и вздыхали, прекрасно зная, *почему*, и очень заботясь, *почему*. Карл VII тоже отнесся к нему с особым почтением и вручил ему богатые призы, которые он получил как победитель в грубом турнире того времени. Но в тот вечер ему были вручены и другие гердоны, которые он ценил еще больше. Жак посетил герцогиню Орлеанскую в ее беседке и, уходя, унес с собой самый богатый бриллиант, который она могла подарить. Затем он перешел в павильон герцогини Калабрийской, дамы, которая среди прочих подарков, охотно сделанных ею, надела ему на палец блестящий рубин в великолепном золотом перстне. В ту ночь он лег в свою постель нагло и счастливо, как современный лейб-гвардеец, успешно одурачивший двух служанок. Его *духовник* покинул его, и Жак перестал заботиться о поддержании латыни, за исключением, пожалуй, спряжения повелительного наклонения *amo*. "*Amemus*", *let us love*, было любимой частью настроения, и именно ее чаще всего повторяли он и его брадобрей герцогини.

Через некоторое время после этого очень удачного первого появления, в конце 1445 года, наш отважный оруженосец проходил по собору Нотр-Дам в Антверпене и как раз собирался проклясть певчих за их дурные голоса, как это почти оправданно делать сейчас, настолько они ужасны; он был там и занимался этим, когда сицилийский рыцарь по имени Бонифацио, звеня шпорами, прошел по трансепту и задорно и дерзко смотрел, проходя мимо. Жак смело взглянул на этого "красавчика" того времени и заметил, что на левой ноге у него золотая кольчуга, которую удерживает цепь из того же металла, прикрепленная к циркулю над коленом. На его щите было начертано: "Кто имеет прекрасную даму, пусть хорошо за ней ухаживает!" "Это дерзкое приспособление", - сказал Жак, дотронувшись до щита в знак того, что он будет драться с его носителем за то, что тот его носит. "Ты всего лишь бедный оруженосец, хотя и смелый человек", - сказал сицилиец с видом человека, который был готов наказать хайнолтера за его дерзость. Глашатай Туазон д'Ор шепнул на ухо хайнолтеру, после чего Жак воскликнул: "Если мой господин, герцог Филипп, разрешит мне сражаться, ты не посмеешь мне отказать, на территории его светлости". Бонифацио поклонился в знак согласия. Разрешение было получено, и поединок состоялся в Генте. В первый день состоялся предварительный поединок на лошадях, в котором Жак показал себя настолько достойным шпор, которые он еще не носил, что на следующий день Филипп прикрепил их к его пяткам и в торжественной обстановке нарек его рыцарем. На второй день, когда бойцы выстроились в ряд, герцог Орлеанский заметил своей герцогине, что Жак не такой "джентльмен, как сицилиец". Герцогиня улыбнулась, как улыбалась Гвиневера, глядя на сэра 1600 Лонселота, когда ее муж, король Артур, комментировал его; и сказала, выражаясь словами, известными всем, кто читал Спенсера: "Он любит леди Джент"; и добавила, с большей улыбкой и меньшим румянцем: "Он лучший мужчина, чем сицилиец, и, как я думаю, он докажет это сегодня".

"Посмотрим", - небрежно заметил герцог.

"Посмотрим", - повторила герцогиня с самой солнечной улыбкой.

Жак, как и подобает рыцарскому "джентльмену", с честью выполнил свидетельство герцогини. Бойцы схватились, как крепкие мужчины. Жак осыпал своего противника ударами посоха, сицилиец отвечал ударом копья в непокрытое лицо противника. Затем они отбросили оружие и щиты и стали колоть друг друга боевыми топорами. Испортив их края и ослабив рукоятки, колотя друг друга по черепам, они, наконец, выхватили свои пылкие и хорошо закаленные мечи и стали сражаться так яростно, что от блеска их стремительно маневрирующих клинков казалось, будто они поражают друг друга молниями. Жак уже почти нанес смертельный удар сицилийцу, когда, по вмешательству герцога Орлеанского, Филипп Добрый метнул свою дубинку в списки и тем спас иноземного рыцаря, прекратив поединок. Герцогиня упрекнула своего супруга за излишнюю назойливость, но при этом улыбнулась еще более задорно, чем прежде. "Куда вы, сэр Жак?" - спросила она, когда тот скромно поклонился, проходя мимо нее, а толпа в это время оглашала окрестности одобрительными криками. "В часовню в лесу, - ответил Жак, - чтобы поблагодарить за помощь, оказанную мне нашей госпожой". "Марри, - прошептала герцогиня, - мы тоже будем там". Она считала, что видеть рыцаря за богослужением не менее полезно, чем наблюдать за ним во время поединка. "Я благодарен Госпоже Доброй Помощи", - сказал Жак. "И ты верно поступаешь", - прокомментировала герцогиня.

Победа бельгийского кавалера над сицилийцем дала ему отличительное имя, которое он никогда не терял, - "Добрый рыцарь". Чтобы сохранить его, он стал кочевать от двора к двору, как это делают драчуны, от ярмарки к ярмарке, демонстрируя свое мастерство и собирая похвалы. Мелкий драчун смотрит не только на похвалу, но и на пенс, а древний рыцарь смотрел и на прибыль - он неизменно уносил коня, доспехи и драгоценности побежденного. Считая себя непобедимым, сэр Жак рассчитывал на выгодное турне. "Отправляйся в путь, с Божьим благословением", - воскликнул его сир. "Отправляйся в путь, Жак, - сквозь слезы прошептала его мать, - ты найдешь в своем саквояже мазь, чтобы вылечить все синяки. Небо пошлет тебе хирурга, и ты переломашь себе кости".

Через французскую границу весело скакал сэр Жак, за ним следовал его оруженосец и сопровождал его паж. С его левой руки свисал великолепно сделанный шлем на золотой цепи - приз, который он предлагал любому, кто сможет одолеть его в одиночном бою. Жак объявил, что, кроме того, он подарит бриллиант любой даме или демазель, которую укажет ему победитель. Он оговорил, что тот, кто первым уронит топор, должен подарить браслет своему противнику; и Жак будет драться только при условии, что ни один из рыцарей не будет пристегнут к седлу - правило, на котором я никогда не думал настаивать, разве что конные олдермены, когда они едут на лошадях мистера Бэтти на встречу с государем в Темпл-Бар. В остальном Жак уповал на Бога и полагался на силу, которую давала ему любовь "прекрасной дамы, имевшей над ним большую власть, чем кто-либо другой во всем мире". Сотня прекрасных дам, матроны и девицы, услышав об этом широко разрекламированном доверии, не замедлили воскликнуть: "Восхитительный парень! Он имеет в виду *меня!*"

Жак гордился тем, что объехал столицу и провинциальные города Франции, не встретив ни одного рыцаря, который бы принял его вызов. Правильнее было бы сказать - рыцаря, который *мог бы* принять его вызов. Карл VII запретил своему рыцарству встречаться со свирепым хайнольтером где-либо, кроме как на праздничном совете. На юге Франции, который в то время занимали англичане, он встретил такое же вежливое отношение; и он спокойно въехал в Испанию, его копье было наготове, прежде чем его дальнейшая карьера была остановлена присутствием противника. Этим противником был дон Диего де Гусман, великий магистр Калатравы, и, хотя он этого не знал, предок будущей императрицы

французов. Дон встретил бельгийца на границах Кастилии и принял его опубликованный вызов из простой любви, как говорил один глупый парень о другом, из простой любви к своей *"прекрасной даме"*. Дамы в те времена не получали такого удовольствия, как видеть, как джентльмены колотят друг друга; а учитывая, каким никчемным сборищем были эти последние, у дам были логически комичные причины для поддержки своих аргументов.

Однако дону Диего необходимо было получить согласие своего государя на смертельный поединок с рыцарем из Бургундского дома, находившегося в то время в союзе с Испанией. Государь отсутствовал в стране, и пока от него ждали ответа на должным образом поданное прошение, Жак во главе великолепной свиты неторопливой рысью въехал в Португалию, чтобы склонить лузитанских рыцарей направить против него свои копыя. Он проскакал в столицу, и его приветствовали на дороге, как если бы он был таким же прославленным монархом, как и его герцогский господин. Ему устроили оvation от границы до Лиссабона, где его ждал самый многоядный королевский бал, на котором король (Альфонсо XV.) пригласил его разделить его с королевой. Король, однако, был лишь равнодушным хозяином церемоний. Покойному мистеру Симпсону из Воксхолла или прославленному барону Натану из Рошerville и в голову не пришло бы взять даму, чтобы представить ее кавалеру. Однако Альфонсо поступил именно так, взяв свою супругу за руку, подвел ее к мессире Жаку и попросил его помериться с ней силой. Мессир Жак согласился, и было более чем достаточно танцев, пиршеств и поисков удовольствий, но никаких сражений. Лиссабон был так же скучен для бельгийца, как ярмарка в Доннибруке, где не было ни одного скриммиджа, для всех ее оживленных *обитателей*. "Я пообщался с королевой, - сказал Жак, - а теперь позвольте мне померяться силами с вашими капитанами". "Бургундия - мой добрый друг", - ответил король, и он был прав в двойном смысле, ибо Бургундия была ему так же дорога, как Шампань камердинеру царя Фридриху Вильгельму, живущему в Берлине. "Бургундия - наш добрый друг, - ответил Альфонсо, - и не дай Бог, чтобы рыцарь такого двора грубо обращался с кем-либо из моих рыцарей". "Клянусь Святым Георгием! Я бросаю им вызов!" - воскликнул Жак. "Так и быть, пусть это останется в прошлом, - сказал монарх, - поезжай обратно в Кастилию и сделай все, что в твоих силах, на твердых ребрах Гусмана". Жак принял это предложение, и 3 февраля 1447 года в Вальядолиде не было ни одной кровати, которую можно было бы занять "по любви или за деньги"; так переполнен был этот сильно пахнущий город еще более сильно пахнущими испанцами, чье любопытство было еще сильнее, чем запахи, которые они распространяли, чтобы стать свидетелями "схватки" между бельгийским цыпленком и кастильским бриттом!

Я не буду подробно описывать предварительные церемонии, шествия к полю, выход государей, трепетание дам, волнение рыцарей и нетерпение бесчисленной толпы. К десяти часам Жак был на поле, где Гусман заставил его ждать до трех, а потом пришел с топором, который был настолько длиннее, чем у бельгийца, что даже испанские судьи запретили его использовать. Сам "крестный отец" дона Диего чуть было не вздумал ударить его рукояткой, и пришлось приложить все усилия, чтобы убедить его выбрать другую. После этого каждого рыцаря проводили в его палатку с условием, что он не выйдет оттуда до тех пор, пока трижды не прозвучат сигналы кларионов. Однако при первом же взрыве вышел Гусман, свирепый, как сценический Ричард, убивший пять фальшивых Ричмондов и с тревогой ищущий настоящего, чтобы прикончить полдюжины. Слишком непостоянного дона главный глашатай поманил обратно так же надменно, как если бы вечный Уиддикомб указал хлыстом на какую-нибудь очевидную обязанность, которую должен выполнить мистер Мерримен. Диего удалился, что-то бормоча, но снова появился перед своим шатром при втором звуке трубы и удалился только после того, как король обрушился на него "с гадким словом". На третьем "расцвете" два чемпиона бросились друг на друга с боевыми топорами в руках. Этим

оружием они били друг друга по голове, пока ни в одном из них не осталось разума. В конце концов Диего был обезоружен; затем началось состязание, состоявшее отчасти из борьбы, отчасти из бокса; наконец, они прибегли к мечу, когда король, понимая, что может последовать убийство одного или обоих, бросил свой батон в списки, положил конец бою и отказал противникам в разрешении продолжить борьбу верхом. Антагонисты пожали друг другу руки, и народ закричал. Бельгийские хронисты считают, что испанский рыцарь оказался "вторым по силе" в этой схватке; но также ясно, что Диего де Гусман был, безусловно, самым "жестким клиентом", который когда-либо противостоял Жаку де Лелингу. Ибериец испытывал некоторую ревность, но в целом его поведение отличалось великодушием. Он высоко оценил доблесть Жака и подарил ему андалузского коня, покрытого самыми богатыми атрибутами; а де Леланг, не желая уступать в щедрости, как и в бою, послал к Гусману герольда с великолепной колесницей, покрытой синим бархатом, расшитым золотом, и седлом из лилового бархата, сидеть в котором было само по себе роскошью. Последовало много танцев при дворе; и наконец "добрый рыцарь" покинул Вальядолид, нагруженный подарками от короля, похвалами от мужчин и любовью от дам, которые отдали ему больше сердец, чем он успел принять.

В Наварре и Арагоне он бросал вызов всем желающим, но тщетно. Мечи спали в ножнах, боевые топоры спокойно висели на луках седел, и пиров было больше, чем сражений. В конце концов Жак, проехав через Перпиньян и Нарбонну, прибыл в Монпелье, где стал гостем знаменитого Жака Кёра, серебряных дел мастера и банкира Карла VII. Старый Кёр был радушным хозяином, он предложил рыцарю любую сумму денег, которую тот сочтет за честь принять; и он намекнул, что если де Леланг во время своих странствий сочтет нужным заложить какую-нибудь свою тарелку или драгоценности, он (Жак Кёр) выкупит их безвозмездно. "Мой добрый господин, герцог Бургундский, - ответил шевалье, - обеспечивает меня всем необходимым и позволяет мне ни в чем не нуждаться"; после этого он отправился ко двору Бургундии, где его приняли с большим почетом, чем если бы он выполнял миссию, направленную на особое благо человечества.

Но эти почести были невелики по сравнению с тем ликованием, которое охватило "доброго рыцаря", когда он вновь посетил родной замок и родителей, проживавших в нем. Сир обнимал его до тех пор, пока его доспехи снова не стали теплыми, а его леди-мать ходила по залам в состоянии экстаза и благодарности. Наконец, стропила задрожали от усилий радостных танцоров, и многие благоразумные матроны наставляли свою дочь, как Жак, покоривший самых крепких рыцарей, может быть покорен самой нежной из дам. Наставления были напрасны. Добрый шевалье занимался любовью и с молодыми вдовами, и с женами, и с дочерьми, и, разбив больше сердец, чем когда-либо ломал копий, внезапно покинул дом в поисках новых приключений.

Велико было изумление, *причем* весьма приятное, когда в июле 1449 года при шотландском дворе появился герольд Шароле и передал вызов от Жака всем Дугласам. Он был принят от их имени Джеймсом Дугласом, братом генерал-лейтенанта королевства, и в декабре прошлого года Жак со свитой из боевых дядей, кузенов и друзей отплыл в Эклуз и отправился в Каледонию. На море они подверглись большому избиению, чем когда-либо от врагов на суше; И когда они прибыли в Лейт, они выглядели такими "трясущимися", такими бледными и изможденными, и у них было так мало "косолапного" вида, закутанных в сюртуки и утешители, что шотландские кавалеристы, наблюдая за потасканным состоянием незнакомцев и за плюмажами, которые, казалось, линяли с их шлемов, справедливо спрашивали их, что побудило их проделать столь долгий путь в столь плачевном состоянии, только ради того, чтобы получить синяки от рыцарей на берегу после того, как их, больных и

жалких, кувыркали целые ночи в море. Когда северные кавалеры узнали, что бельгийцами движет честь, а не выгода, они немало изумились, но тем не менее приготовились встретить новоприбывших в грозной схватке в Стирлинге.

Яков II председательствовал на кровавом поединке, в котором трое сражались против троих. Что говорят об этой схватке шотландские летописцы, я узнать не могу, но бельгийские историки описывают своих чемпионов как одерживающих победу всеми силами; и, по их словам, Дугласы были не только крепко разбиты, но и приняли свое поражение со значительной угрюмостью. Но в бельгийской истории много поэзии, и, возможно, отважная партия Дугласов не была так уж сильно разбита, как описывают ее приятные летописцы. Несомненно, завоеватели вели себя хорошо, как мы знаем, "les braves Belges" никогда не подводили, если верить истории. Как бы то ни было, Жак и его друзья поспешили из Шотландии, предстали в Лондоне перед кротким ланкастерским королем Генрихом VI; а поскольку тот не разрешил своим рыцарям встретиться с бургундцами в списках, иностранные боевые джентльмены получили свои паспорта *visé* и, сев на быстроходный парусник "Цветок Хайно", прибыли домой, где их встретили с восторгом.

У Жака было мало места, чтобы отдышаться. Английский рыцарь по имени Томас Карр быстро появился при дворе Филиппа Герцога и бросил вызов де Лелингу, отстаивая честь старой Англии. Это дело произвело большой фурор, и списки были одеты в поле неподалеку от Брюгге. Английский рыцарь был тяжелее в плоти и доспехах, но фаворитом, конечно же, был Жак. Конфликт был ужасным. Противники пытались зарубить друг друга топорами, как мясники - быков. Карр парализовал, если не сломал, руку Жака, но бельгиец, бросив топор, сомкнулся со своим противником и после борьбы упал на него. Карр должен был, как побежденный, отнести перчатку победителя к указанной им даме. Но упрямый Том Карр запротестовал против этого, так как упал только на локоть. Судьи заявили, что у него было полное падение: "головой, животом, руками и ногами"; Жак, однако, был великодушен и не стал настаивать. Напротив, ссылаясь на то, что он сам первым выронил свой топор, он подарил Карру богатый бриллиант в качестве неустойки, причитающейся тому, кто первым потерял оружие в бою.

Карр тяжело ранил Жака, и рана последнего долго не заживала. Герцог Филипп ускорил его выздоровление, назначив его советником и камергером; и как только человек, столь почитаемый своим господином, оправился от ран, он отправился в Шалон на Соне, где открыл "турнир", о котором в стране говорили еще долгие годы. Жак поклялся, что до достижения тридцатилетнего возраста тридцать раз попадет в закрытые списки, и этот турнир в Шалоне он провел против всех желающих, чтобы дать ему возможность исполнить свой обет. Подробности были бы утомительны; достаточно сказать, что дело было поварварски пышным, и рыцари ломали друг другу конечности ради личной чести, любви дам и славы Богоматери в слезах! Победители получали богатые призы, а с побежденных взыскивались богатые неустойки, и в этой великолепной жестокой схватке пролилось не только море хорошей крови, но и столько же плохой, сколько было пролито хорошей крови. Но зато была добыта пустая честь, получена хрупкая привязанность, а к несуществующей короне воображаемой Венеры Виктрикс, украшенной именем Богоматери Слез, добавилась еще и бесплотная слава! Чего еще желать истинным рыцарям? Рыцарство было удовлетворено, а обычные люди, руководствуясь лишь здравым смыслом, должны были смотреть на происходящее в восхищенном молчании, рискуя подвергнуться поношению, если осмелятся высказаться.

Сейчас Жак находился на пике своей славы. Он был "добрым рыцарем без страха и сомнений", и герцог Филипп вложил последнюю розу в его почетный венок, произведя его в

рыцари прославленного ордена Золотого руна. Отличившись, он поскакал по Европе, приглашая противников помериться с ним мечами и не встречая желающих принять приглашение. В 1451 году он был послом Бургундии в Риме, которому было поручено согласовать проект крестового похода против турок. Месье Александр Хенне, автор лучшего сборника, собранного из хроник, о деяниях Жака де Леланга, рассказывает, что после миссии рыцаря в Рим он появился на пассаже, устроенном в парке Брюсселя в честь сына герцога Бургундского, графа Шароле, которому тогда исполнилось восемнадцать лет и предстояло первое появление в списках. Герцогиня, нежная к своему сыну, как вдовствующая царица, которая держала своих мальчиков дома и не имела ни слезинки для других матерей, чьи дети были кроваво принесены в жертву диким амбициям Николая, - герцогиня, внимательная к молодому графу, желала, чтобы он сделал сочинение до своего появления в списках. Жак де Леланг был выбран для того, чтобы бегать с ним на копьях. "За три дня до праздника герцог, герцогиня и двор отправились в брюссельский парк, где должно было состояться испытание. В первом же выпаде граф де Шароле разбил свое копье о щит Жака, который поднял свое собственное оружие и прошел мимо, не задев противника. Герцог заметил, что добрый рыцарь пощадил своего молодого противника; он был недоволен этим и послал Жаку весточку, что если тот намерен продолжать в том же духе, то ему лучше больше не вмешиваться в это дело. Тогда принесли другие копья, и Жак, бросившись прямо на графа, оба копья разнес в щепки. Герцогиня, в свою очередь, выразила свое недовольство, но герцог только рассмеялся, и таким образом мать и отец разошлись во мнениях: одна желала справедливого суда, другая - безопасности для своего сына". В день великого турнира на большой площади Брюсселя собралось вместе с толпой не менее двухсот двадцати пяти принцев, баронов, рыцарей и оруженосцев. Некоторые из самых благородных из них ломали копья, а возможно, и конечности своих противников. Граф де Шароле в этот день сломал восемнадцать копий и унес приз, который ему вручили дамы.

Это был последний из показательных боев, в которых участвовал Жак де Леланг. Более кровавые схватки, в которых он участвовал впоследствии, были гораздо менее удачными. Они стали частью дикой войны, которую деспотичный герцог и дворяне вели против свободных и богатых городов, чей дух свободы был предметом ненависти, а богатство - предметом жадного желания герцога и его джентльменского отряда убийц. Герцог и его последователи, вдохновленные религиозными чувствами, желанием мира и нежеланием завоеваний, опустошили множество прекрасных городов. Таким образом, можно понять, что покойный царь был лишь увеличенным бургундским герцогом, руководствующимся теми же принципами и склонным к подобной правдивости. Это было время беспредельных ужасов, когда дворяне совершали достаточно преступлений, чтобы сделать имя аристократии навсегда позорным во всей Бельгии; а разъяренные общинники творили жестокости, достаточные для того, чтобы плебеи навечно возненавидели своих патрицианских угнетателей. Ни возраст, ни пол, ни состояние не вызывали уважения ни у одной из сторон. Люди всех сословий превращались в злейших извергов - убивали, сжигали, насиловали и грабили, а отрываясь от своего проклятого дела, преклоняли колени перед святыней той Марии, чей благословенный Сын был Князем мира. Каждая сторона убивала, вешала или топила своих пленников; но дворяне провоцировали, подавая пример, а коммуны не были жестоки, пока дворяне не показали себя лишенными и чести, и милосердия. Оружие народной партии разжигалось позором их противников, но многие невинные люди с обеих сторон были осуждены на незаслуженные страдания за грехи других. Наибольшие усилия были направлены против жителей округа и города Гента, но вся Фландрия сочувствовала им в войне, которая считалась национальной. В этой борьбе герцог не одержал ни одной победы над народом, за которую последний не заставил бы его заплатить страшную цену; он

от души устал от войны еще до того, как она была наполовину завершена - даже когда его знамя с успехом поддерживала сильная рука и тонкие угрызения Жака де Лелинга.

Однако добрый рыцарь был, надо признать, одним из немногих - если не единственным - благоразумных дворян. Герцог поручил ему поджечь аббатство Энаэма, и он повиновался без колебаний и в то же время с неохотой. Он уничтожил религиозное сооружение со всем, что в нем находилось и что можно было заставить гореть; но, выполнив свой долг солдата, он тут же выполнил свой столь же обязательный долг христианина и, оплатив три мессы, на которых он благочестиво помогал, исповедался одному из монахов-предикатов, "оправдываясь перед совестью, - говорит один из его биографов, - что из уважения к дисциплине совершил поступок, который по чистоте сердца был вынужден осудить как преступный". Никогда не было лучшей иллюстрации того так называемого разнообразного состояния вещей, которое, как говорят, представляет собой различие без различия.

Раскаяние Жака де Лелинга, надо надеяться, пришло вовремя. Во всяком случае, он хорошо сделал, что не стал больше откладывать его, ибо вскоре оказался на пороге того мира, где вера кончается и начинается убеждение. Он был занят, хотя и тяжело ранен, осмотром осадных сооружений перед замком де Пукес, этой фламандской колыбелью пуков, обосновавшихся в Англии. Июньским днем 1453 года Жак в окружении толпы дворян выехал на улицу, несмотря на протесты своих врачей (ведь, по его словам, если он останется без дела, то непременно умрет), чтобы ему было чем заняться. На бургундской стороне находилась знаменитая артиллерийская установка, которая доставляла немало хлопот маленькому отряду, защищавшему Пукес. Она называлась "Пастушка", но никогда еще пастушка не говорила таким громовым и нелюбезным голосом и не бросала своих благосклонностей с таким ужасным разрушением для тех, на кого они сыпались. Жак встал за *мантией* этой пушки, чтобы, подобно нашим доблестным морякам в Севастополе, наблюдать за последствиями выстрела из нее. В тот же миг каменный снаряд, выпущенный из кельверина рукой молодого артиллерииста из Гента, известного как сын Генриха Слепца, ударил Жака в лоб, снеся ему верхнюю часть головы, и растянул его на поле мертвым. Брат-кармелит бросился к нему, чтобы принести помощь и утешение, но было уже слишком поздно. Жак испустил последний вздох, и монах благородно сложил руки мертвого воина у себя на груди. Скорбный отряд понес тело обратно в лагерь.

Герой своего времени умер в упряжке. Он обладал добродетелями, которые подходили ему для более утонченного, более честного, короче говоря, более христианского периода. Он проявлял их при каждом удобном случае, но такая возможность выпадала редко. Он жил в то время, когда, по замечанию месье де Сисмонди, "рыцари не думали ни о чем, кроме как о том, чтобы сравняться с Роландами и Оливерами времен Карла Великого, уничтожая мерзкие каналы" - развлечение, которое недавно было рекомендовано в нашем сенате, хотя времена рыцарства уже прошли. Благородные товарищи Жака, как отмечает М. Хенне, признавали только один вид высшего удовольствия и славы, который заключался в том, чтобы заставить обильно течь кровь злодеев - или, как их теперь называют, низших орденов. Но на самом деле современного "злодея" или человека низшего сословия можно встретить не только в тех сословиях, которые получили такое название. Как радостно пел Боскье-Гаводан лет тридцать назад в "*Эрмите де Сент-Авель*":...

"Les gens de bien

Sont souvent des gens de rien;

Et les gens de rien

Sont souvent des gens de bien!"

Для рыцаря Жак был очень уважаемым человеком, и ему так не нравилось его занятие, похожее на мясницкую работу, что незадолго до смерти он решил передать свое поместье младшему брату и, поскольку судьба сделала из него разрешенного убийцу, впредь не убивать никого, кроме восточных неверных - убивать которых считалось скорее добродетелью, чем грехом. Добавим, что он был слишком честен, чтобы заслужить репутацию, проявив сострадание к полудюжине беспомощных врагов, после того как приказал своим людям зарубить десяток изувеченных и беззащитных противников. Жак де Леланг скорее направил бы свой кинжал по самую рукоять в собственное сердце, чем нарушил бы гарантию перемирия. *Такие* дни и такие поступки рыцарства - не самые приятные для русского рыцарства. Свидетель тому Одесса, где благочестивый губернатор направил огонь на флаг перемирия, которого, как он клялся, не видел; свидетель тому резня в Ханго, убийц, причастных к подвигу, защищал их достойный начальник де Берг.

Однако не следует забывать, что Жак де Леланг пал по самой недостойной причине - из-за деспота, вооруженного против свободного народа. Его великолепный господин поклялся отомстить за него; и он сдержал свое слово. Когда замок де Пукес был вынужден сдаться, Филипп Добрый приказал повесить на стенах всех, кого найдут в нем живым. Исключение составили лишь священник или двое, один солдат, страдавший тем, что называлось *проказой*, но теперь получило другое название в каталоге мстительных болезней, и несколько мальчиков. Именно один из этих мальчишек своим метким выстрелом убил "доброго рыцаря без страха и сомнения", но Филипп не знал об этом, пока тот не оказался далеко за пределами его досягаемости и не оказался в безопасности в Генте.

Тем, кто интересуется ходом войны до ее окончания Лилльским договором, рекомендуется изучить хроники де Леттенхуа, Оливье де ла Марша, Шастелена и Дю Клери. Приступая к работе, я не собирался рисовать батальную картину, а просто сделал набросок одной фигуры. Моя задача выполнена, пусть и несовершенно, и, как любили говорить старые летописцы, да благословит Небо нежного читателя, да пошлет пистолы и обильную благодать недостойному автору.

Такова история отдельного человека; теперь давайте проследим судьбу рыцарского дома. История Гизов полностью относится к рыцарству и государственному искусству.

СУДЬБА РЫЦАРСКОГО РОДА.

"Здесь речь идет о более благородных рыцарях и монархах, полных великих страхов, великих надежд, великих предприятий".

Антоний Брюэр, "Лингва".

В приятную весеннюю пору 1506 года маленький мальчик, запряженный в мула и сопровождаемый пешим слугой, перешел границу Лотарингии с Францией. Мальчик был симпатичным ребенком лет десяти. Одет он был скромно, но под серым камзолом билось веселое сердце, и дух его был легок, как перо в чепце. Слуга, который шел рядом с ним, был простым, но верным хозяином дома, но в его лице было не больше спекуляции, чем в лице мула. Ничто не могло выглядеть более безобидным и невинным, чем эта троица; и все же все

вместе - радостный ребенок, непоседливый слуга и мул, чьи колокольчики звенели, когда он шел, - составили одно из самых замечательных вторжений, жертвой которых когда-либо становилось королевство Франция.

Мальчик был пятым ребенком Рене и Филиппы де Гельдрес, герцогских государей Лотарингии. Это герцогство, часть старого королевства Лотарингия, в спорах за обладание которым дети Карла Великого пролили реки крови, сохранило свою независимость, несмотря на неоднократные попытки Германии и Франции подчинить его себе. К началу шестнадцатого века в нем на протяжении семи столетий сменялась законная череда суверенных и независимых хозяев. Царствующим герцогом был Рене, второй представитель этого имени. Он приобрел поместья во Франции и унаследовал ненависть Лотарингии к роду Капетингов, свергнувших наследников Карла Великого. Именно по этой двойной причине он негласно отправил в королевство Францию одного из своих сыновей, многообещающего мальчика. Миссия еще не осознавшего себя ребенка заключалась в том, чтобы увеличить территориальные владения своей семьи во французских доминионах и в конечном итоге управлять церковью и государством - если не с трона, то из-за него.

Веселый мальчик со временем доказал, что не является неподходящим инструментом для достижения этой особой цели. Он воспитывался при французском дворе, изучал рыцарство и практиковался в пассажах с французскими рыцарями; был первым на *реверансе*, последним на пиру, самым набожным на мессе и самым выигрышным в дамской беседке. Принцы крови любили его, как и принцессы. Армия приветствовала его с восторгом, а церковь увидела в нем и его брате, кардинале Иоанне, двух чемпионов, которых она с радостью записывает и с готовностью канонизирует.

Таким был Клод Лотарингский, завоевавший сердце и земли Антуанетты де Бурбон и получивший от Франциска I не только письма о натурализации, но и титул герцога Гиза. Местность, названная так, находится в Пикардии. Она перешла к Лотарингскому дому в результате брака, и графское достоинство, сопровождавшее ее, было заменено на герцогское. Прошло немного времени, и Клод сделал этот титул знаменитым. Меч Гизов никогда не выходил из его рук, и его острие было постоянно направлено против врагов его новой страны. Он проливал свою и чужую кровь со свирепой радостью. Франциск видел в нем самого теплого из своих друзей и самого храброго из своих солдат. Его храбрость способствовала славе, добытой при Мариньяне, в Фонтарабии и в Пикардии. Против внутреннего бунта или иностранного вторжения он был одинаково неотразим. *Его меч* отбросил немецких империалистов в пределы их собственной границы; и когда в ночь под Павией воины Франции сидели и плакали, как девушки, на фоне окружавших их обширных руин, только *его* сердце билось в надежде, и только *его* разум был наполнен яркими видениями грядущих побед.

Они действительно пришли, но иногда это были триумфы, которые принесли ему бессмертие и позор. Герб его дома представлял собой двойной крест, и этот знак, хотя и не являлся эмблемой интенсивности религии, которую испытывали те, кто его носил, свидетельствовал о двойном кровожадном рвении семьи - рвении, используемом исключительно в корыстных целях. Апостольские реформаторы Франции в этот период обладали определенной властью. Их проповедники были на кафедре, а люди - в поле. Они слушали Евангелие, опираясь на мечи, и, закончив беседу, смело бросались в бой, чтобы защитить услышанное.

Против этих благочестивых, но крепко стоящих на ногах единомышленников гнев Гизов был ужасен. Он не сменялся приступами милосердия, как у Франциска I, который в один день пировал с неортодоксальными друзьями, которых на следующий сжигал. Он бушевал без

перерыва, и реформаторы Эльзаса были повержены перед ним, как перед взрывом, в горячем дыхании которого была смерть. Он не щадил ни пола, ни возраста и оправдывал свои кровавые деяния, кощунственно утверждая, что его вел к ним свет креста, пылавшего перед ним в небесах. Церковь почитала его именем "доброго и верного слуги", но в Эльзасе есть христианские очаги, где о нем до сих пор шепотом говорят как о "проклятом мяснике".

Когда его собственные пальцы стали менее крепко держать рукоять меча, он также начал искать среди своих детей тех, кто был наиболее способен выполнить миссию его дома. Его глаз с одобрением отметил осанку старшего сына Франциска, графа д'Аумале, и не меньшее удовлетворение получили братья Франциска, которые, будь то солдаты или священники, были одинаково готовы отстаивать интересы Лотарингии и называть их интересами Неба. Свою дочь Марию он отдал Якову V Шотландскому, а невеста принесла в приданое разорение. На себя и своих детей Франциск I, а затем и Генрих II смотрели со смешанным восхищением и страхом. Почести и богатства сыпались на них с расточительной и даже предательской либеральностью. Щедрый король отдал ненасытному Гизу имущество народа, а когда тот несколько угрожающе жаловался, Гиз совершал какой-нибудь новый подвиг, всеобщие аплодисменты по поводу которого позволяли спокойно наслаждаться своими незаконно нажитыми сокровищами.

Для этого он удалился в свой замок в Жоинвиле. Эта резиденция была не столько дворцом, сколько монастырем. Здесь царил беспросветный мрак и обитала покинутая жена. Запущенный сад был подстрижен к приезду герцога, но не ради него и не ради верной Антуанетты. На глазах этой верной жены он построил беседку для любовницы, которая ежедневно унижала ударами героя сотни исстрадавшихся полей. Он слезами и золотом порицал грубое обращение куртизанки; и все же для добродетельной матери своих детей у него не нашлось лучшей почести, чем холодная вежливость. Его почти внезапная смерть в 1550 году была объяснена как действие яда, принятого по предложению тех, кому было неприятно его растущее величие. Это обвинение было смело высечено на его памятнике; и, вероятно, оно соответствует действительности. Однако никто не получил выгоды от этого преступления.

Трон нашел в своих детях более опасных сторонников, чем когда-либо был сам; и народ заплатил за свое народное восхищение потерей жизни и свободы. Церковь, однако, ликовала, ибо Клод Лотарингский, первый герцог Гиз, подарил ей законного сына, кардинала Карла, который придумал резню в день святого Варфоломея, и незаконного сына, аббата де Ключи, который в тот ужасный день заставлял свой кинжал пить кровь гугенотов, пока его владелец не пьянел от бешенства, как от огненного вина, которое было его особым и сильным наслаждением.

Первый герцог Гиз лишь заложил фундамент, который оставил своим наследникам и преемникам достраивать по своему усмотрению. Тем не менее, он многого добился. Он приобрел для своей семьи значительное богатство; и если он не получил корону, то стал обладателем богатых коронных земель. Дарование ему этих земель вызвало народное осуждение короля; в то же время люди признали, что заслуги Гиза достойны не меньшей награды. Когда король Франциск увидел, что его упрекают в том, что он дарит то, что получатель считал достойным того, чтобы его наградили, можно не удивляться, что Франциск, признавая заслуги честолюбивой семьи, велел членам своей собственной быть начеку против замыслов каждого ребенка из дома Лотарингии.

Но *он* не был ребенком, который теперь наследовал почести своего отца, первого герцога. Франциск Гизский, возведенный в герцогский титул, видел перед собой два препятствия на

пути к дальнейшему величию. Одним из них был слабый король Генрих II, а другим - могущественный фаворит, коннетабль де Монморанси, из семьи которого, как поговаривали, произошел первый христианин во французском королевстве. Франциск быстро избавился от фаворита и почти так же быстро возвел себя на освободившийся пост, который он использовал для достижения своих отдаленных целей. Тем временем королю внушили, что его корона и счастье зависят от его лотарингских кузенов, которые, со своей стороны, не только стремились к трону Франции для одного члена дома, но и к тиаре для второго, к короне Неаполя для третьего, к влиянию во Фландрии и в Испании и даже к диадеме Елизаветы Английской, наследование которой было признано за ними Марией Стюарт в случае ее собственной смерти без прямых наследников. Говорят, что британские романисты с нескрываемым самодовольством ожидали того времени, когда скипетр этого острова попадет в запятнанную кровью хватку "католической Гизы".

Франциску посчастливилось не только исправить неудачу, постигшую Монморанси на поле боя, но и получить такие преимущества в сражении, каких Франция еще не видела. Император Карл V уже почти овладел осажденным Мецем, когда Гиз бросился туда, отвоевал его у императора и вытеснил империалистов из Франции. Его пылкий гнев остыл только в присутствии раненых, с которыми он вел себя мягко и услужливо. Гигантские труды привели к приступу лихорадки, и когда он был вынужден отдохнуть в своем доме в Марсезе, вокруг его двора собралось множество священников и кардиналов из его семьи, которые возбуждали его смех грубыми играми, плохо сочетавшимися с их призванием.

Второй герцог унаследовал ненависть своего отца к "еретикам". Великий Коллиньи был его закадычным другом; но когда этот знаменитый реформатор высказал свои новые взгляды на религиозные вопросы, последовали сначала холодность, затем приступы яростной ссоры и, наконец, дуэль, на которой, хотя ни один из участников поединка не получил даже царапины, дружба была загублена навсегда. Герцог Франциск был расточителен, как и его отец, но тогда министром финансов был его брат, кардинал Карл, а король и его любовница, Диана де Пуатье, не заботились о том, как распоряжаться доходами, чтобы деньги появлялись в случае необходимости. В результате королевская казна была разграблена, чтобы обеспечить экстравагантность Гизов. Но потом люди стали связывать с этим именем идею избавления от угнетения; и они не считали цену. И все же победа не всегда выбирала для своего трона сверкающий шлем честолобивого герцога. Папа выбрал его командующим папской армией, действующей против Неаполя, но интриги парализовали руку, которая еще никогда не была побежденной, и понтифик вместо лавров осыпал его эпиграммами.

В этом кратковременном затмении солнца своей славы герцог подставил собственную шею под папский каблук. Он служил в папской капелле в качестве аколита, смиренно нес мантию тучных и надменных кардиналов и проявлял смирение, которое было небезуспешным. Когда на банкете, устроенном кардиналом, Гиз скромно сел в нижнем конце стола, он спросил французского офицера, пытавшегося протиснуться ниже него: "Зачем ты пришел сюда, друг?" "Чтобы не говорили, - ответил солдат, - что представитель короля Франции занял самое низкое место за столом священника!"

От таких упреков Гиз с радостью бежал, чтобы застегнуть доспехи и отразить вторжение во Францию испано-фламандцев с севера. Услуги, которые он теперь оказывал своей стране, заставили народ почти забыть о позоре своего короля, коротавшего жизнь в своей столице, и о деспотичных поборах финансового кардинала, которого страдальцы в шутку называли кардиналом *Ла Руином*. Разорение, которого он добился, было прощено, учитывая славу, достигнутую его братом, который разбил и уничтожил армии, угрожавшие столице с севера, и добился гораздо большей славы, внезапно обрушившись на Кале с силами десять к

одному и вырвав у англичан последнее из завоеваний, до тех пор удерживаемых ими во Франции. Старый лорд Уэнтуорт, губернатор, обрушил на свою артиллерию такой грохот, который был слышен на всем английском побережье, но все было напрасно. Среди наших соседей бытовала пословица, которую они применяли к каждому человеку посредственной квалификации: "Он не из тех, кто может изгнать англичан из Франции". Таким человеком оказался Гиз; и столица стала естественным образом противопоставлять его бессердечному королю, который сидел у ног наложницы и мало заботился о национальной чести или позоре. И все же на медалях, выпущенных в честь восстановления Кале, были начертаны имена только Анри и Дианы. Они опускают все упоминания о великом освободителе, Гизе!

Однако недостатки Анри не следует полностью возлагать на него самого. Он испытывал некоторое сострадание к несчастным, но стойким гугенотам, с которыми в отсутствие Гиза он заключил договоры, которые в присутствии Гиза был вынужден нарушить! В погоне за мечтами о владычестве во Франции и тиаре в Риме честолюбивый дом стремился лишь к тому, чтобы заручиться поддержкой церкви и верующих. Чтобы завоевать их улыбки, на публичных эшафотах лилась кровь еретиков; таковыми считались все, кто отказывался приклонить чепец перед изображениями Девы Марии, воздвигнутыми на дорогах по предложению герцога и кардинала. Это страшное преследование породило протесты; но когда к протестам отнеслись как к мятежу, последовал мятеж, на что, возможно, и рассчитывали; и мечи гвардейцев пронесли по всем районам Франции, неся смерть везде, где обитали предполагаемые враги Бога, осмелившиеся общаться с Ним по совести, а не по велению Рима. На конгрегации, как в Васси, нападали и хладнокровно убивали без сопротивления. В гугенотском "храме" в этом последнем месте была найдена Библия. Ее принесли герцогу. Этот благородный джентльмен умел читать по буквам не лучше великого герцога Мальборо; кроме того, Гиз был хуже обучен вере, которую исповедовал. Он заглянул в Книгу Жизни, не понимая, что держит в руках, и с удивленным восклицанием, что это может быть за книга, отбросил ее в сторону и обратился к дальнейшей расправе над теми, кто верил в нее.

В таких действиях он видел свою особую миссию на данный момент, но ему не позволяли беспрепятственно выполнять ее. Его интриги и жестокость сделали мятежниками даже принцев крови, и Конде вышел на поле боя, чтобы отомстить им, а также реформаторам. Вопрос был решен в кровавый день при Дрё, когда заходящее солнце застало протестантскую армию разбитой, а Конде - пленным, но разделившим, по обычаю того времени, ложе своего победителя Гиза. Никогда еще два более смертельных врага не лежали на одном диване, лишённые сна и полные взаимных подозрений. Но ненависть Конде была верной ненавистью, а ненависть Гиза отличалась коварной злобой. Протестантская партия в присутствии этой горячей ярости, казалось, растаяла, как снежные рейтузы на солнце. Он и его гвардейцы наводили ужас на так называемых врагов веры. Тех, до кого он не мог дотянуться мечом, он уничтожал, замахиваясь на них беспомощной рукой короля, который повиновался с пассивностью *марионетки*, и поднимал колья, и стрелял из лука, и приносил жертву, просто потому, что так хотел Гиз.

Герцог получил хотя бы часть своей желанной награды. На каждой резне беззащитных протестантов с католических кафедр звучали библейские имена, которыми осыпали его ликующие проповедники. Когда его знамя триумфально взвивалось над сменяющимися друг друга полями, чьи урожаи были богаты кровью еретиков, церковь объявляла его воином, вооруженным божественным образом, который наконец-то "освятил свои руки и отомстил за брань Господа".

Гиз жил, правда, в то время, когда ничто не стоило так дешево, как жизнь. Жестокие поступки были слишком распространены во всех фракциях. Если он отдавал целые города на разграбление и сопутствующие ему ужасы, по сравнению с которыми смерть была милосердной, то сам проявлял сострадание, основанное на порыве или капризе. Он был героем, согласно представлениям своей эпохи, которая считала, что героизм состоит исключительно в непоколебимом мужестве. Во всех остальных отношениях герцог, каким бы великим он ни был, был таким же подлым, как и самый ничтожный плут, который ходил с пикой наперевес в своих отрядах. Едва ли письмо, адресованное его офицерам, доходило до них, не будучи предварительно прочитанным их светлейшему господину. В королевстве не было ни одного особняка, чей хозяин был бы влиятельным человеком, но за столом и у очага не сидел бы гость, который был платным шпионом Франциска Гизского.

Вряд ли стоит добавлять, что его мораль в целом не уступала тем конкретным примерам, которые мы привели. Толпы куртизанок сопровождали его в лагерь, а собственную жену Анну Эсте, сестру тассовской Леоноры, он сознательно подвергал оскорбительному почтению со стороны никчемного короля. Можно с уверенностью сказать, что в нем не было правды. Он прославился лживостью. Ни один другой человек, которого я могу назвать, не сравнился с ним во лжи - за исключением, пожалуй, тех высокопарных героев, которые кичились в греческих трагедиях. С помощью лжи он добился смертного приговора Конде. Последний избежал наказания и обвинил герцога в своей лжи. Гиз поклялся своим мечом, своей жизнью, своей честью, своей душой, что он невиновен в этом обвинении. Конде смотрел на герцогского лжеца с язвительным презрением и отворачивался от него с сарказмом, который должен был пронзить его, как меч. Но острое не смогло пробиться сквозь корсет к его сердцу. Он встретил его шуткой и счел грех незарегистрированным.

Тем не менее, общественность внимательно следила за тем, как рыцарский герцог и его брат кардинал продвигаются к величию. Генрих II только что получил смертельный удар, нанесенный ему на турнире копьем Монтгомери. Франциск II, его брат, муж Марии Стюарт и, соответственно, племянник Гизов, унаследовал нелегкий трон и болезненные привилегии Анри. В ночь кончины этого монарха двое придворных прогуливались по галерее Лувра. "Эта ночь, - сказал один из них, - канун праздника Трех королей". "Что вы хотите этим сказать?" - спросил другой с улыбкой. "Я имею в виду, - ответил первый, - что завтра в Париже будут три монарха: один из них - король Франции, другие - короли Франции и Лотарингии".

Под началом двух последних, герцога и кардинала, разыгрывался второй акт великой политической драмы Лотарингии. В целом это была мелодрама, в которой в изобилии присутствовали свет и тень. Временами герой демонстрирует образцовую честность, а затем становится то мрачным заговорщиком, то свирепым и открытым убийцей себе подобных. Есть захватывающие сцены поединков, где его противники обращают против него свои мечи по наущению отвращенного короля, который не успел увидеть триумфатора Гиза, как тот предал смерти оставшихся в живых, которых он тайно побудил вступить в схватку.

Сражения велись, с одной стороны, за свободу совести, с другой - за всеобщий деспотизм. Плохая сторона одерживала победу в течение долгого сезона, и поле за полем виднелось развевающееся над ним зеленое знамя Лотарингии. Екатерина Медичи и ее сын Карл IX не раз сопровождали герцога в борьбе, после того как закончилось недолгое правление Франциска II. Они прошли бок о бок через брешь в Руане; но случай разделил их в Орлеане, где собрались те немногие, кто отказался отчаиваться ради протестантского дела.

Гиз осаждал город и был страшно разъярен его упорством в сопротивлении. Однажды вечером он выехал со своим штабом, чтобы поближе рассмотреть стены, из-за которых ему бросали вызов. "Вы никогда не сможете войти", - грубо заметил слишком самонадеянный чиновник. "Попомните меня!" - прорычал герцог, - "завтра заходящее солнце будет знать, как проникнуть за этот вал; и, клянусь небесами, я тоже!" Он повернул коня и галопом поскакал один в свои покои. По дороге его встретил гугенотский офицер Полтро де ла Мер, который свалил его выстрелом из пистолета. Глаза умирающего герцога, когда он лежал на земле, в последний раз встретились со слабыми лучами уходящего солнца, с которым он поклялся встать и действовать на следующее утро. Он умер в своей хижине. Его состояние было крайне "комфортным". Он ограбил королевскую казну, чтобы удовлетворить собственные страсти, и благодарил Небо за то, что был верным подданным своего государя! Он был печально известен своей неверностью благородной и добродетельной жене; и он внушал ей своими дрожащими губами, что "вообще говоря" его неверность как мужа не заслуживает упоминания! Он признался в этом двум своим братьям, кардиналам Джону и Чарльзу, и был от них отлучен. Первый был более великим человеком, чем герцог. Последний был известен в свое время и во все последующие как "бутылочный кардинал" - имя, которого он не только не стыдился, но и титул, который он всегда демонстративно стремился оправдать и утвердить.

Первый герцог получил во владение коронные земли, второй - государственные сокровища, а третий надеялся добавить к приобретениям своей семьи столь желанный скипетр королей Франции.

Анри, прозванный *Ле Балафре*, или "покрытый шрамами", стал преемником своего отца в 1560 году. На протяжении большей части его последующей жизни двумя главными целями были уничтожение протестантизма и обладание личностью короля. При этом он льстил национальному тщеславию, заявляя, что естественными границами Франции с двух сторон являются Рейн и Дунай - расширение границ, которое так и не было осуществлено, разве что временно, в последние дни Наполеона. Но декларация принесла герцогу популярность, которая только возросла после его победы при Жарнаке, когда французские протестанты не только потерпели поражение, но и потеряли своего лидера, храброго и несчастного Конде. Этот доблестный вождь сдался, но был подло убит пистолетным выстрелом, а его мертвое тело, перекинутое через осла, пронесли в качестве трофея через ряды победителей. Насколько герцог был соучастником преступления, не установлено. То, что он относился к подобным инцидентам легкомысленно, достаточно ясно из его собственной прокламации на семи языках, в которой он обвинял Колиньи в подстрекательстве к убийству покойного герцога Гиза и назначал цену за эту благородную голову, которую должен был получить любой убийца.

За это так называемое убийство Гиз отомстил в день святого Варфоломея, когда он тщетно надеялся, что враги его дома погибли навсегда. Ответственность за тот страшный день лежит на голове не одного члена дома Гизов. Во время резни Гиз отомстил, но потерял свою любовь. Плач жертв был брачной песней, которую пели на церемонии бракосочетания Анри Наваррского и Маргариты, сестры короля. Последняя с нескрываемым отвращением смотрела на предложение, сделанное ей Гизом, который был пылким ухажером. Но в ухаживаниях грубо вмешался брат дамы, герцог д'Анжу, который громко заявил в Лувре, что если Гиз посмеет смотреть влюбленными глазами на "Марго", то он всадит нож в горло любовника! Угроза возымела свое действие, и неверный ухажер, который все это время был торжественно обручен с принцессой Екатериной Клевской, женился на этой замечательной брюнетке, демонстрируя свое уважение к ней тем, что говорил и писал о ней как об "этой

милой даме, негритянке". Заметим мимоходом, что возражения д'Анжу против Гиза как шурина не были личными; они имели под собой политическую основу. Два герцога действительно стали родными братьями; не Гиз женился на сестре д'Анжу, а д'Анжу женился на сестре Гиза и поделил с ней трон, который он впоследствии скорее занимал, чем занимался, как Анри III.

Когда Генрих Анжуйский был призван на престол в результате неутешительной смерти Карла IX, он был королем Польши. Он с трудом бежал из этой страны, чтобы надеть более блестящую, но более роковую корону во Франции. Он не успел принять ее, как увидел, что Гизы окружили его и не оставили ему ни свободы, ни воли. Протестанты были вынуждены восстать. Они нашли вождя в лице Генриха Наваррского, а Гиз и его друзья начали против них войну, независимо от согласия короля, и разрубили на куски своими мечами договоры, заключенные между двумя Генрихами, без согласия третьего Генриха - Гиза и Лотарингии. Последние настолько поработили слабого и несчастного государя, что вырвали у него, вопреки его протестам и убеждениям, знаменитые Немурские статьи, в которых от имени короля и за подписью Гиза было торжественно постановлено, что впредь волей Божьей во Франции должна быть только одна вера, и что противники ее будут обречены на смерть.

Существует предание, что когда Анри III. сообщили об этом указе, он сидел в глубокой задумчивости, положив голову на руку; и когда он вскочил на ноги от волнения, пораженный нечестивостью декларации, было замечено, что часть его усов, которую прикрывала рука, внезапно поседела.

Бедствия, последовавшие за публикацией этих позорных статей, были широко распространены и охватили не только гугенотские очаги. Меч, мор и голод превратили улыбающуюся страну в пустыню, и всеобщий народ в своем общем горе проклинал все стороны - "короля и королеву, папу и Кальвина" - и просил у небес лишь освобождения от всех и мира для тех, кто пострадал от национальных разногласий. Король, действительно, не был ни злонамеренным, ни нетерпимым; но Гиз так интриговал, чтобы убедить "католическую" часть нации в неспособности Анри. Фракции стали смотреть на могущественного подданного как на человека, наиболее подходящего для решения чрезвычайной ситуации. Он довольно убедительно склонил их к восстанию. Они были готовы поддаться на уговоры столь либерального в обещаниях лидера, но он был известен как жестокий и либеральный человек. Своих солдат он часто держал на голодном пайке, а малейшее неповиновение в полку влекло за собой смертную казнь. Для своих врагов он был еще более ужасен. Когда он стоял в центре завоеванного города, который удерживали гугеноты, для него было спортом видеть, как последние бросаются в пламя. Однажды он приказал разорвать на части гугенотского офицера с помощью молодых лошадей за то, что тот изуродовал деревянного идола в церкви. Офицер поместил изуродованную фигуру на бастиионе города с пикой на груди в качестве сатиры на опеку, которую, как считалось в народе, должен обеспечивать такой защитник.

Однако он мог быть гуманным, когда юмор и веские причины для этого совпадали. Так, он расстался с домашней львицей, которую держал у себя в покоях, на том самом достаточном основании, что этот царственный зверь в одно прекрасное утро зарезал и проглотил одного из его *любимых* лакеев! Заурядного лакея он мог бы пощадить, не жалуясь; но он не мог без раздражения слышать о том, как пожирают *камердинера*, который, будучи камердинером, глубоко верил, что его хозяин - герой.

На "Варфоломее" не были уничтожены все враги Гизов. То, что не было достигнуто в этот день, пыталась достичь "Лига". Целью этого общества было возвести герцога на трон Анри,

либо до, либо после смерти последнего. Король был бездетен, а предполагаемый наследник престола, Анри Наваррский, был протестантом. Таким образом, у лотарингцев была двойная причина надеяться на себя. Царствующий государь был последним из трех братьев, унаследовавших корону, а в те времена существовало суеверное представление о том, что если во Франции царствуют три брата, то смена династии неизбежна.

Гиз воодушевил своих сторонников, заверив, что вторжение в Англию и установление там папства будет тем предприятием, которое они должны будут осуществить. Король был в большой тревоге от "Лиги", но он благоразумно сделал себя ее членом. Конфедераты держали его в неведении относительно своих целей. С другой стороны, подозрительный монарх поощрял своих приспешников досаждать своему доброму кузену из Лотарингии. Один из этих недостойных фаворитов, Сен-Мегрим, сделал больше: он оклеветал жену Гиза, которая предприняла в связи с этим необычный ход испытаний и мести. Он поднял герцогиню с ее уединенной кушетки посреди ночи, прошептал ей на ухо проклятые слухи, ходившие по миру, и велел немедленно принять из его рук кинжал или чашу с ядом, которые он ей предложил, добавив, что ей лучше умереть, так сильно согрешив. Оскорбленная и невинная жена не заботилась о жизни, поскольку ее подозревали, и выпила содержимое чаши, заверив в своей невинности. Напиток был безвредным, так как герцог был уверен в безупречном характере супруги, которую он сам ежедневно позорил своими неверными поступками. Он поцеловал ей руку и удалился; но во двор Лувра он послал десяток своих верных людей, которые обрушились на Сен-Мегрима и зарубили его почти на пороге королевских апартаментов.

Монарх не выразил ни малейшего недовольства, но воздвиг над растерзанными останками своего любимого приспешника гробницу, над которой триада амуров изображала королевскую скорбь, прижимая каменные костяшки пальцев к бесслезным глазам, изображая страсть, которую они не могли почувствовать.

Тем временем, пока народ подталкивали к восстанию на родине, герцогская семья интриговала почти при каждом дворе Европы. Между интригами Гизов и безрассудством короля общественное благосостояние потерпело кораблекрушение. Разрушение было настолько полным, что в народе говорили: "Миньоны жаждут всего: король дает все; королева-мать управляет всем; Гизы противятся всему; Красная задница (кардинал) опутывает все, и дьявол хотел бы иметь все!"

Но противодействие Гиза имело определенную цель. Пользуясь этим, он добился от короля сдачи нескольких сильных городов. Они были немедленно гарнизонированы гвардейцами, хотя номинально принадлежали государю. От последних герцог выжал почти все, что было в силах уступить монарху; но когда Гиз, задумавший покуситься на жизнь протестанта Анри Наваррского, попросил королевский указ, запрещающий предоставлять гугеноту "четверть" в поле, король с негодованием изгнал его из столицы. Гиз притворился, что повинует; но его знаменитая сестра, герцогиня Монпансье, отказалась разделить с ним даже временное изгнание. Эта смелая женщина выходила на публику с ножницами у пояса, которые, как она намекнула, послужат для *пострижения* брата Анри Валуа, когда усталость приведет его из дворца в монастырь.

Король, несколько встревоженный, созвал вокруг себя свою старую швейцарскую гвардию, и поскольку большинство этих людей исповедовали реформатскую веру, Гиз воспользовался этим обстоятельством, чтобы добиться больших целей, чем те, которых он добивался раньше. Народ был убежден, что его религия находится в опасности; и когда герцог, нарушив свой запрет, въехал в Париж и, галантно одетый, прошел рядом с седаном

Екатерины Медичи, направлявшимся в Лувр, чтобы поспорить с неортодоксальным королем, церковные колокола радостно приветствовали его, а возбужденные жители повисли на ступенях герцога, осыпая его благословениями и богохульными восклицаниями. "Осанна новому сыну Давидову!" - кричали те, кто считал себя наиболее набожными; а пожилые женщины, целуя его одежду, когда он проходил мимо, поднимались с колен, восклицая: "Господи, отпусти раба Твоего с миром, ибо видели глаза мои спасение Твое!"

Менее богохульные или более искренние выражали свое удовлетворение, приветствуя его, когда он шел по дороге, улыбаясь: "Король Парижа!"

Звук этого титула дошел до ушей Анри. Соединив его с самовольным возвращением Гиза ко двору, он впал в чередование приступов неудержимого гнева и глубокой меланхолии. Он находился под влиянием последних, когда до его слуха донеслись слова, заставившие его вскочить с места: "*Percutiam pastorem, et dispergentur oves*"; оглянувшись в поисках говорившего, монарх увидел аббата д'Эльбена, который таким спокойным образом цитировал Писание, чтобы порекомендовать убийство. Король, хоть и был ошеломлен, но не расстроился. Напротив, он улыбнулся; и улыбка еще не сходила с его губ и глаз, когда в присутствие вошел Гиз и принял выражение королевского лица за приветствие. Герцог, ободренный увиденным, поспешил изложить длинный список претензий, особенно останавливаясь на снисходительности, чтобы не сказать благосклонности, с которой Анри обращался с еретиками в целом. Государь несколько раз оправдывался, но Гиз не обращал на это внимания; напротив, он поспешил обличить приспешников, загрязнявших дворец. "Любите меня, любите мою собаку", - хриплым голосом произнес Анри. "Да, - ответил Гиз, заглядывая в королевские и неестественно сверкающие глаза, - если только он не кусается!" Двое мужчин предстали друг перед другом, и с этого часа борьба стала смертельной. Анри не выдавал себя, ссылаясь на свою швейцарскую гвардию; а Гиз, проезжая по Парижу с обнаженной шпагой, пробуждал дух восстания и благодушно взирал на то, как воздвигаются баррикады, чтобы воспрепятствовать шествию отвратительных кальвинистских лучников Гвардии. Король Парижа" одержал решающую победу; но прежде чем она была достигнута, король Франции в агонии трусливого страха поспешил из своей столицы. Уезжая, он некоторое время смотрел на город, проклиная его неблагодарность, ибо, сказал беглый монарх, "я любил вас больше, чем свою собственную жену", что было неоспоримой правдой.

Теперь Гиз мог бы взойти на трон, если бы не был слишком осторожен. Он считал, что королевское дело проиграно, но пока довольствовался тем, что правил в столице, как генералиссимус. Он останавливал курьеров короля и вскрывал его письма. Он конфисковал имущество гугенотов и продал его в свою пользу, в то время как исповедовал заботу только о Содружестве. Наконец, он заявил, что беспокойное положение дел должно регулироваться Генеральным штатом, который он скорее приказал, чем попросил Анри, созвать на совещание в Блуа. Король согласился, и 18 октября 1588 года было назначено для открытия. Гиз вошел в старый город со своей семьей и целым отрядом приближенных, закованных в латы и ошетилившихся сталью. С Анри была его мать Екатерина; кроме того, во дворце в Блуа с ним находилось несколько верных и беспринципных сторонников; глядя на тех, кто случайно приветствовал его, король мрачно улыбался, и с его губ срывалось "*Percutiam pastorem*" с бормочущим удовлетворением. Сатурнически настроенный монарх сразу же стал внешне жизнерадостным, даже когда Гизы так управляли государствами, что их дела оборачивались во вред монархии. Фракция Гизов стала беспокоиться о безопасности своего лидера, чьи покои находились во дворце; но когда король в знак примирения попросил герцога принять участие вместе с ним в праздновании Святых Таинств, вряд ли нашелся человек, способный истолковать нравы времени, который не почувствовал бы уверенности,

что под столь торжественным обещанием безопасности скрывается самое подлое предательство. Гизы, слишком самоуверенные, презирали как открытые предупреждения, так и темные намеки. Он был настолько силен, а его королевский противник настолько слаб, что презирал саму мысль о применении насилия к нему - тем более что ключи от дворцового замка находились в его руках, как "Великого магистра" двора.

Наступило 23 декабря. Король намекнул, что рано утром, вскоре после рассвета (но до проведения совета, на который он созвал герцога и кардинала), он отправится к святилищу Богоматери Клери, расположенному примерно в двух милях; ключи от ворот были затребованы, чтобы позволить Анри выходить по своему желанию, но в действительности для того, чтобы держать Гизов внутри, изолированными от их друзей снаружи. Ларшан, один из лучников гвардии, также ждал герцога, чтобы попросить его ходатайствовать за себя и своих товарищей перед королем, дабы добиться для них увеличения жалованья. "Мы окажем себе честь, - сказал Ларшан, - утром, в полном составе, передать наше прошение вашему высочеству". Это было сделано для того, чтобы Гиз не удивился, увидев столько вооруженных людей вместе в прихожей короля до начала заседания совета. Анри провел бессонную ночь. Его тезка Гиз, который только что отправил свою герцогиню на родину, ожидая ее скорого заключения, провел всю ту же ночь в апартаментах графини де Нуармутье.

Перед рассветом его видели выходящим оттуда, нарядно одетым, и направляющимся в часовню Девы, чтобы совершить утреннюю молитву. Задолго до этого король был на ногах, навещая отборных лучников, принявших на себя кровавую миссию избавить озадаченного монарха от его нетерпеливого противника. Он расставлял их по местам, менял расположение, снова расставлял, снова и снова обращался к ним с речью о законности их должности и с некоторым трудом подавлял энтузиазм, грозивший разбудить спящую внизу королевскую мать и возбудить подозрение гвардейцев, находившихся поблизости. Лестницы и залы, чуланы и аррасы - ни в одном из выгодных мест не было убийцы, готового действовать, если бы его товарищи не успели.

Ровно в семь часов Гиз, одетый в светлый костюм из серого атласа, сопровождаемый Перикаром, своим секретарем, вошел в зал совета, где собралось несколько членов; среди них был и его младший брат, "бутылочный кардинал" де Гиз. Прошел час, пока не появилось какое-либо сообщение от короля, который находился во внутренних апартаментах, то наполовину испугавшись бледных лиц своих приближенных, то пытаясь возбудить свою собственную решимость, то пытаясь поощрить их. Это был долгий и утомительный час для всех сторон. По мере того как он медленно проходил, Гиз, сам не зная почему, все больше тревожился. Он жаловался на холод и подкладывал в огонь охапки дров. Он говорил, что чувствует себя больным, слабым и нервным; из своего серебряного чемоданчика он взял несколько конфет, чтобы позавтракать. Затем он попросил немного дамасского изюма и консервированных роз, но и это не избавило его от безотчетной нервозности, которая внезапно усилилась, когда глаз рядом со шрамом, из-за которого он получил свое прозвище *Ле Балафре*, начал наливаться слезами. Он возмущенно вытер непрошеные слезы и уже совсем пришел в себя, когда вошел Риволь, государственный секретарь, и попросил его пройти к королю, который ожидал его в своих покоях.

Гиз весело разбросал свои *бонбоньерки* по столу совета и со смехом заставил серьезных советников хвататься за разбросанные сладости. Он встал, опрокинув при этом стул, накинул на себя тонкую мантию и, держа в руках шляпу и перчатки, помахал на прощание присутствующим государственным деятелям. Он прошел через две комнаты и, сопровождаемый лучниками, достиг гобеленового входа в кабинет короля. Никто не предложил ему поднять аркан. Гиз поднял правую руку, чтобы помочь себе, и в то же время

полуобернулся к лучникам, стоявшим рядом. В этот момент в его грудь вонзился кинжал по самую рукоять. Удар был нанесен Монсери сзади. Герцог опустил руку на рукоять своего меча, когда один убийца вцепился ему в ноги, второй, также сзади, ударил его в шею, а третий пронзил своим оружием ребра герцога.

Первым криком Гиза было: "Друзья!". Второй, когда Сарин пробил ему нижнюю часть спины, был: "Пощади, Иисус!". Он с трудом передвигался по камере, истекая кровью из дюжины ран, в каждой из которых сидела смерть. Убийцы рубили его, пока он пошатывался, и дико, но слабо сопротивлялись. Все остановились на мгновение, когда он достиг крайнего конца комнаты, где он снова попытался поднять меч; но в этот момент он перевернулся, упав камнем вниз, у изножья кровати Анри III.

В этот момент гобелен был поднят, и король, прошептав "Неужели это сделано?", подошел к телу, угрюмо заметив при взгляде на него: "Он выглядит лучше, чем при жизни". При герцоге был найден рукописный меморандум с такими словами: "Для поддержания войны во Франции мне требуется 700 000 ливров в месяц". Этот меморандум послужил в сознании короля оправданием убийства, только что совершенного по его приказу. Затем тело бесцеремонно завернули в турецкий ковер, на который оно упало, засыпали негашеной известью и бросили в Луару. Некоторые искалеченные обряды были предварительно совершены над ним королевским капелланом Дуржином, который не мог пробормотать "*De Profundis*" без бегущего и испуганного комментария "Христос! Второй брат Гиза кардинал и архиепископ Лионский были убиты на следующий день; но меньшие жертвы были забыты в судьбе, постигшей более знаменитых, но, несомненно, более виновных персон.

Вдова Гиза вскоре после этого страшного события родила сына, впоследствии шевалье Луи де Гиза. "Мальчик, - рассказывала убитая горем дама, - появился на свет со сцепленными руками, словно молясь об отмщении убийцам своего отца". Каждый член семьи мужского пола, до которого мог добраться король, теперь подвергался аресту. Юный наследник *Балафре*, Карл, теперь уже четвертый герцог Гиз, был помещен под строгий арест в Турском замке, где, когда он спал или бодрствовал, четыре живых глаза неотрывно следили за ним - *voire même allant à la garde-robe* - но от этих глаз ему все же удавалось ускользнуть.

Тем временем Рим отлучил от церкви убийцу своего чемпиона. Париж объявил траур; на улицах появились чиновники, которые раздевали и бичевали дам, осмелившихся появиться без признаков скорби. Восковые чучела короля приносили в церкви, и священники неистово кололи их у алтаря. Затем священники торжественно прошествовали по улицам, скандируя на ходу: "Да истребит Бог Валуа!".

Весь город охватило восстание, и брат Гизов, герцог де Майенн, встал во главе "лиги", целью которой было низложение короля и передача короны ребенку Лотарингии. В последовавшей за этим борьбе Валуа и Наварра объединились против гизардов и несли победу, где бы они ни поднимали свои знамена. Ликование Анри III было смягчено лишь неоднократными призывами папы отправиться в Рим и там ответить за свое преступление.

Анри Наваррский побудил его думать скорее о завоевании Парижа, чем о том, чтобы задобрить Папу; и он был занят именно этим, когда двойная месть церкви и дома Гизов настигла его в самый момент победы.

Герцогиня де Монпансье, сестра убитого герцога, не скрывала своего намерения публично отомстить за совершенный в частном порядке поступок, в результате которого она потеряла брата. Было принято достаточно мер предосторожности, чтобы она не приближалась к королевской армии или покоям короля; но женщина и священник сделали все

предосторожности тщетными. Немногословная герцогиня была в необычайно близких отношениях с молодым монахом по имени Жак Клеман. Этот добрый брат был фанатичным приверженцем своей церкви и слишком пылким поклонником герцогини, которая обратила оба чувства в свою особую пользу. Она шепнула ему на ухо обещание, заручившись выполнением которого, он с неистовой поспешностью принял нож, вложенный в его руки самой красивой женщиной Франции. Говорят, что этот нож до сих пор хранится в Риме, как драгоценное сокровище.

Как бы то ни было, 1 августа 1589 года молодой брат, спрятав оружие в складках своего монашеского габердина и с письмом в руке, искал и получил доступ к королю. Он сразу же приступил к своему мясному делу и, едва пройдя под крышей королевского шатра, вогнал сталь глубоко в грудь монарха. Он повернулся, чтобы с горячностью бежать к даме, от которой получил поручение; но дюжина мечей и пик вырвали из него жизнь, прежде чем он сделал три шага в направлении обещанного вознаграждения.

Той, что взялась расплачиваться за преступление, не было дела ни до одной из жертв. Она действительно кричала, но от истерической радости, которая грозила ей смертью, и которую успокаивала лишь мысль о том, что последний король рода Валуа не знал, что погиб от кинжала, направленного сестрой Гиза.

В подтверждение своего ликования она раздала жителям Парижа зеленые платки, цвет Лотарингии. Она привезла из провинций мать Климента, которой была оказана честь триумфального въезда. Священники и народ поклонялись матери убийцы, когда она с удивлением проходила мимо; они кощунственно приветствовали ее, скандируя: "Благословенно чрево, родившее его, и сосцы, давшие ему сосать". Ее провели на почетное место за столом Гизов, а Рим укрыл позор убийцы и обнародовал свой собственный, объявив его дело богоугодным делом. По распоряжению Ватикана в память и честь погибшего были отчеканены медали, но гугеноты, прочитавшие на них профессию и имя убийцы, - француз *Жак Клеман*, - изящно обнаружили в них анаграмматическое толкование "*C'est l'enfer qui m'a crée*" - "Это ад создал меня".

Последний Валуа на последнем издыхании назвал протестанта Анри Наваррского своим законным преемником на троне; но между Анри и его наследством стояли Рим и фракция Гизов. Затем последовали войны Лиги, во время которых тяжелый Майенн терпел поражения от Анри со снежным шлейфом. Пока шла борьба, народ доверял кафедрам, чтобы получить сведения с места событий. С этих кафедр ежедневно за один час произносилось больше лжи, чем на всех конных ярмарках Соединенного Королевства за год. Когда голод уничтожил тех, кто жил в этих стенах, люди были вынуждены питаться пастой, сделанной из человеческих костей, которую они называли "пирогом мадам де Монпансье".

Анри Наваррский, их освободитель, не без труда добрался до ворот Парижа. В 1521 году Шарль Гиз, молодой герцог, галантно сбежал из замка Турне, соскользнув с крепостных стен по веревке, которая просто обмозолила ему руки и прорвала рукава. Он был быстро экипирован и выехал в поле, а в тылу ему помогала Испания. То он бросался на Анри, то спрыгивал со своего лагерного ложа, чтобы спастись от него. В остальное время он бездействовал, пока его дядя Майенн преследовал заветную цель их дома - корону, которая удалялась от них стремительнее, чем когда-либо. Для бдительного Бурбона медлительный и крепко пьющий Майенн был не соперник. Последний думал однажды поймать первого в беседе своей дамы, но бодрствующий любовник уже мчался галопом в свои покои, прежде чем трубы Майенна протрубили "сапог и седло". "Майенна, - сказал Папа, - сидит за столом дольше, чем Анри лежит в постели".

Ворота Парижа были открыты для Анри 21 марта 1591 года. Старый кардинал Пеллеви умер от отвращения и негодования, узнав об этом факте. Герцогиня Монпансье, рвавшая на себе волосы и грозившая упасть в обморок, благоразумно заключила с Генрихом IV не только свой мир, но и мир своей семьи. Главные члены дома Гизов были приняты на очень ответственные посты, в ущерб более достойным людям. Молодой герцог де Гиз отличался чрезмерной преданностью. Взамен король не только передал ему управление несколькими главными городами, но и в знак уважения к нему запретил совершать протестантские богослужения в пределах владений герцога! Такое поведение было естественным для короля, который, чтобы обеспечить себе трон, отказался от своей веры; который легкомысленно говорил, что у него нет такой мощной пушки, как канон мессы, и который был лишен большинства добродетелей, кроме мужества и добродушия. Последним злоупотребляли те, на кого оно распространялось; а различные посягательства на его жизнь, как предполагалось, были направлены теми самими Гизами, которых он осыпал местами, пенсиями и помилованиями, в которых они постоянно нуждались и над которыми постоянно насмехались.

Молодой герцог Гиз пользовался, помимо прочих назначений, должностью губернатора Марселя. Он был легкомысленным, эгоистичным, тщеславным и жестоким. Он повесил в городе своих старых приверженцев, как врагов короля; он сделал свое имя навсегда позорным, соблазнив красивую и благородную девушку-сироту Марсель де Кастеллан, которую впоследствии подло бросил и оставил умирать от голода. Он послал ей несколько широких кусков руками лакея, но запоздалое милосердие было отвергнуто, и бедная жертва умерла. У него было мало времени думать о ней при блестящем дворе первых Бурбонов, где он и представители его дома боролись за сохранение репутации, которую теперь мало что могло поддержать, кроме воспоминаний о прошлом, а многие из них вряд ли стоили того, чтобы к ним обращаться. Он был просто прекрасным джентльменом, дерзким и интригующим; он надеялся, что судьба его дома снова повернется и приблизит его к трону, а тем временем сам отличался тщеславием, напускным величием и жеманством. Будучи храбрым, он оставил своих братьев, кардинала и шевалье, орудовать шпагами и улаживать ссоры, которые постоянно вспыхивали из-за спорных вопросов, касающихся предполагаемого величества дома Гизов.

Улицы Парижа стали сценой, на которой разыгрывались эти кровавые трагедии, но они, как и все другие притязания, были подавлены непреодолимой силой - кардиналом де Ришелье. Он пользовался мечом Гизов до тех пор, пока в нем была необходимость, но когда Карл стал доставлять беспокойство, кардинал не только изгнал его, но и ранил гордость его семьи, разместив гарнизоны в доселе суверенном герцогстве Лотарингия. Когда кардинал Флери впоследствии присоединил саму Лотарингию к территории Франции, Гизы подумали, что наступил конец света. Однако вселенная пережила это потрясение.

Герцог Карл умер в изгнании в Кюне, близ Сиенны, в 1640 году. Из десяти его детей от герцогини де Жуайез в живых осталось пятеро. Его преемником стал старший Анри, который был епископом и кардиналом. Он был возведен в сан епископа еще на руках своей кормилицы; он был в рясе, когда на его длинные локоны надели алую шапку кардинала. Ему было двадцать лет, когда он стал герцогом Гизом. Он сразу же сбросил с себя все, что принадлежало его религиозной профессии - платье и титулы, - и отправился за границу со шпорами на каблуках, плюмажем на шапке, длинной шпагой и дурным сердцем между ними!

Вся жизнь этого рыцарственного негодяя была сплошным романом, ни одна часть которого не отражает достоинств героя. Он едва достиг зрелого возраста, когда заключил брачный контракт с прекрасной Анной Гонзага. Он подписал договор не чернилами, а собственной кровью, призвав при этом в свидетели небеса, что никогда не даст клятву ни одной другой

даме. Лжесвидетельство едва успело вырваться из его уст, как он женился на графине Боссю и тут же бросил ее, чтобы возвыситься в глазах мадемуазель де Пон - властной любовницы, которая растратила имущество, которое он ей выделил, и затыкала уши экс-кардиналу, когда он с униженным смирением пытался упрекнуть ее в том, что она разорила его имение.

Он был так же нелоялен своему королю, как и своей "леди"; он подстроил мятеж, был приговорен к смерти и помилован. Но состояние благопристойного спокойствия плохо сочеталось с его конституцией. Чтобы не дать ей и своим нервам заржаветь, он однажды выхватил шпагу на улице, набросившись на сына Колиньи, чье присутствие казалось ему упреком, и зарубил его на месте. Он вытер окровавленную рапиру о свою мантию и на некоторое время отправился в Рим, где умело, но безрезультатно интриговал, пытаясь заполучить тиару для брата Мазарина. Апатия уже опустилась бы на него, если бы не голос из Неаполя, заставивший его разбушевавшееся сердце биться с силой, которая едва не грозила смертью.

Мазаньелло только что завершил свою короткую и безумную карьеру. Неаполитанцы не были настроены на то, чтобы вновь подчиниться Испании. Они метались в поисках короля, когда появился Гиз. Это было в 1647 году. Он покинул Францию на хрупкой фелюке, в сопровождении нескольких смелых авантюристов в цветах Лотарингии, переплетенных с "буфф", в знак комплимента любовнице герцога. Церковь благословила это предприятие. Ялик пронесся невредимым сквозь воющие бури и громы испанских флотов; а когда герцог сошел на берег Неаполя и сел на коня, кричащие жители, которые его сопровождали, возжигали фимиам перед новоприбывшим, словно перед грядущим богом.

По любви и храбрости этому Гизу не было равных. Он побеждал всех своих врагов и давал клятвы всем дамам. Однако в любви он растерял все плоды храбрости. Неаполь был всего лишь шуточным сарданапальским двором, когда испанцы собрали достаточно сил, чтобы напасть на нового, смелого, но изможденного короля. Они взяли его в плен и в течение четырех лет держали в Испании. Свободу он получил с помощью двойной лжи - обычной монеты Гизов. Он обещал раскрыть мадридскому двору секреты парижского двора и связал себя узами и клятвой никогда не возобновлять покушения на Неаполь. Однако его двойное коварство не принесло ему никакой выгоды. В конце концов, когда судьба, казалось, не обращала внимания на величие его некогда высокопоставленного дома, этот неугомонный развратник постепенно превратился в простого придворного красавца, проводящего время в напудривании перука, порочащего репутацию и воздающего непристойные похвалы залатанным и разукрашенным дамам дворца. Он умер до старости, как и большинство принцев его дома, и на пятидесятом году жизни этот бездетный человек оставил свое достоинство и дурное имя своему племяннику, Людовику Жозефу.

Шестой герцог переносил свое величие кротко и недолго. Он был добросердечным джентльменом, чья незаметная карьера оборвалась из-за оспы в 1671 году. Когда он умер, в соседней комнате лежал в колыбели младенец. Это был его маленький сын Джозеф, которому еще не исполнилось и двенадцати месяцев, и он не осознавал ни потери отца, ни его приобретения в виде несколько обветшавшей короны. На его юном челе этот символ земного звания покоился всего четыре года. Затем маленький Нобль пал жертвой болезни, унесшей его отца, и стал герцогом - последним, самым юным, самым невинным и самым счастливым из рода.

На протяжении большей части карьеры герцогов священник и мечник в семье стояли бок о бок, каждый из них угрожал трону; один - в рыцарских доспехах, другой - в страшном церковном облачении. Из семи герцогских вождей дома только один оставил после себя

репутацию безобидного человека; возможно, это произошло потому, что он жил в то время, когда не имел возможности нанести оскорбление. Мальчик на муле, 1506 год, и ребенок в колыбели, 1676 год, - это две приятные крайности линии, где все между ними, действительно, ужасно привлекательно, но и такого качества, которое может заставить плакать не только людей, но и ангелов.

Следует признать, что герцоги Гиз играли за высокий приз и проиграли его. Однако не раз они были на грани того, чтобы схватить этот привлекательный, но обманчивый приз. Если они и были так близки к триумфу, то в основном благодаря сотрудничеству своих братьев, гордых и способных кардиналов. Герцоги были представителями грубой силы; кардиналы - того, что гораздо сильнее, силы интеллекта. Первые часто портили свое дело демонстративностью. Вторые никогда не доверяли словам, когда серебро одинаково хорошо выполняло свою задачу. Если они и говорили, то с эффектной краткостью. Мы читаем о лакедемонянине, который был оштрафован за то, что использовал три слова, чтобы выразить то, что можно было бы с таким же успехом выразить двумя. Ни один церковный деятель из дома Гизов никогда не совершал ошибок лакедемонян.

Кардинал Иоанн Лотарингский был братом первого герцога Клода. Когда последний был еще мальчиком и ехал на своем муле во Францию, Иоанн был молодым епископом-коадьютором Меца. Ему было чуть больше двух лет, когда его впервые назначили на этот ответственный пост. Еще не выйдя из подросткового возраста, он стал кардиналом, а в его личном владении было двенадцать епископств и архиепископств. Однако из них он скромно оставил себе только три, а именно Туль, Нарбонн и Альби - поскольку только они приносили доход, достойный принятия. Не то чтобы он был эгоистом: впоследствии он подал прошение и получил архиепископство Реймское, которое он любезно сохранил для своего племянника Карла, который был его титуляром, в возрасте десяти лет. Его доходы были огромны, и он вечно был в долгах. Он был одним из самых искусных переговорщиков своего времени; но, будучи уполномоченным императором или папой, он редко мог начать свое путешествие, пока не поставит в залог три или четыре города, чтобы собрать деньги на покрытие расходов. Его рвение к религии проявилось во время короткой, но кровавой кампании против протестантов Альзатии, куда он сопровождал своего брата. На поле боя рядом с кардиналом стоял апостольский комиссар и штат священников-адъютантов. Пока некоторые из них подбадривали ортодоксальные войска, чтобы те нападали на гугенотов, главные лица держали руки поднятыми к небу; а когда все выпелы армии реформаторов опустились перед двойным крестом Лотарингии, кардинал и его церковный штаб поскакали в церковь Святого Николая и запели *Te Deum laudamus*.

Рыцарственный кардинал был другим человеком в своей резиденции - отеле де Ключи. Из этого монастыря он сделал особняк, в котором мог бы жить сибарит, не жалуясь. Он был украшен, декорирован и обставлен с таким великолепием, которое проистекало одновременно из его слепой расточительности, пристрастия к искусствам и привычного покровительства художникам. Единственное, чего не было в этом знаменитом особняке, - примера хорошей жизни. Но как можно было найти такой пример в прелате, который взял на себя и выполнял обязанности по обучению фрейлин их деликатным обязанностям. До-Ту говорит, что это было занятие, для которого он был в высшей степени приспособлен; а Брантом в своей веселой иллюстрации истинности этого утверждения делает паузу, чтобы с негодованием заметить, что если дочери знатных домов прибывали ко двору, наделенные всеми девичьими добродетелями, то кардинал Иоанн был тем человеком, который лишал их приданого.

Тем не менее, он не испытывал недостатка во вкусах и занятиях утонченной натуры. Он был образован сам и любил образованность в других. Его кошелек, когда в нем что-то было, служил бедным ученым и мудрецам, преследовавшим великие цели. Тот, кто считал истребление крестьян-протестантов делом, за которое следует благодарить Бога, имел что-то вроде сердца для *умных* чихателей на папизм, а также для талантливых протестантов. Так, он поддерживал земноводного Эразма, оказывал покровительство евангелисту Клеману Мароту, смеялся и пил с Рабле, едким куратором из Мёдона. Кроме того, он был благосклонным спутником Франциска I, человека, гораздо менее достойного его близости, чем двусмысленный Эразм, мягкий Маро или кипящий Рабле, который изобразил нравы двора и церкви своего времени в своих составных персонажах Гаргантюа и Панурга.

Он был щедрым дарителем, но дарил с показной щедростью, для которой нет оснований в Евангелии. В один из периодов своей жизни он ходил по улицам с мешком для дичи, набитым кронами, висевшим у него на шее. Проходящим мимо нищим он без счета раздавал богатую милостыню, требуя взамен молитв. Он был известен как "кардинал с мешком". Однажды, подавая милостыню слепому нищему в Риме, тот был так поражен размером подарка, что, указав на дарителя, воскликнул: "Если ты не Иисус Христос, то ты Иоанн Лотарингский".

Он был смел в своей галантности. Когда Франциск I послал его на переговоры с папой по каким-то политическим делам, он проехал через Пьемонт, где некоторое время был гостем герцога и герцогини Савойских. Герцогиня, когда кардинал был представлен, грациозно предложила свою руку (она была португальской принцессой) для поцелуя. Иоанн Лотарингский, однако, не стал опускаться так низко и принял к ее губам. Завязалась борьба, которая велась с грубым упорством с одной стороны и с надменной и оскорбленной энергией с другой, пока голова ее высочества не была крепко схвачена рукой его преосвященства, кардинал поцеловал взъерошенную принцессу два или три раза в губы, а затем, ликуя, смеясь, отпустил ее.

Второй кардинал этой ветви, Карл Лотарингский, был братом второго герцога. Он был величайшим представителем своей семьи и самым могущественным человеком своей эпохи. Его амбициями было управление финансами Франции, и он делал это на протяжении трех царствований, с ежегодным превышением расходов над доходами в два с половиной миллиона. Он был скорее нечестным, чем неспособным. Его враги угрожали заставить его отчитаться; он заставил их замолчать звуком набата Святого Варфоломея, а когда бойня закончилась, весело попросил присутствия обвинителей, которые намеревались заставить его возместить убытки.

Он был искусным лицемером, а в душе - религиозным реформатором. В конце концов он признал перед лидерами реформаторского движения, с которыми был знаком, что Реформация необходима и оправданна; и все же политика сделала из него самого жестокого врага, которого протестантизм когда-либо имел во Франции. Он убеждал короля сжигать знатных еретиков, а не простых людей; а когда в предсмертные минуты Анри был тронут состраданием к некоторым протестантским узникам, осужденным капитально, кардинал сказал ему, что это чувство исходит от дьявола и что лучше бы они погибли. И они погибли.

Он ввел инквизицию во Франции и стал Великим инквизитором в тот момент, когда страна ликовала по поводу отвоевания Кале у англичан. И это был человек, который на Трентском соборе выступал за проведение богослужений на жаргоне. Он был другом свободы для

галликанской церкви, но перешел на другую сторону, обнаружив, что либеральная пропаганда лишает его шансов стать папой. Живой папа использовал и оскорблял его. "Я возмущен, - сказал его святейшество, - тем, что вы все еще пользуетесь доходами от стольких монастырей". "Я бы отказался от них всех, - ответил кардинал, - за одно епископство". "Какое епископство?" - спросил папа. "Женитесь!" - воскликнул кардинал Карл, - "епископство Рима".

Он был столь же надменен, сколь и честолюбив. Гизы склонили слабого Антония Наваррского к романизму, но кардинал не стал относиться к королю с большей любезностью из-за этого. Однажды морозным утром княжеский священник не только задержал горного короля у ворот своего сада, чтобы получить аудиенцию, но и, спустившись к его величеству, выслушал дрожащего монарха, который смиренно предпочитал свой костюм с шапкой в руке.

Он был жаден и надменен, но иногда находил себе пару. Его племянница, Мария Стюарт, поссорилась с Екатериной Медичи, чей особый гнев вызвало выражение Марии, примененное к Екатерине, - "флорентийская торговка". После этой ссоры шотландская королева решила отправиться на Север. Кардинал был рядом с ней, когда она осматривала свои драгоценности, прежде чем их упаковать. Он ласково заметил, что море опасно, драгоценности дороги, и что его племянница не может поступить лучше, чем оставить их у него. "Добрый дядя, - ответила бойкая Мэри, - я и мои драгоценности путешествуем вместе. Если я доверю одну из них морю, то могу доверить и другую; и на этом *прощайте!*" Кардинал закусил губу и благословил ее.

Ранке недоумевает, где искать главного автора резни святого Варфоломея. В этом вопросе нет ничего сложного. Гизы обратились к шансам битвы, чтобы одолеть своих главных противников в королевстве. Но на каждого убитого отца-гугенота находилось столько же сыновних мстителей, сколько и сыновей. Причины ссор были как индивидуальными, так и общими. Один из гугенотов убил второго герцога, и его вдова была намерена отомстить. Кардинал был зол на короля за то, что тот оставил протестантских лучников в своей телохранилище. Лучники совершили нечистую месть и осквернили кафедру в Королевской капелле, с которой кардинал имел обыкновение обличать учение своих учителей. Его преосвященство образовал конфедерацию, с помощью которой было решено уничтожить врага одним ударом. Об общих причинах мне нет нужды упоминать. Сам заговор был составлен в доме Оливера Криссона в Париже, известном как "Обитель милосердия". Но представители Рима и Испании, объединившись с представителями Франции, встретились на границе и там заключили окончательные договоренности, которые привели к столь ужасным последствиям. Когда совершалось это чудовищное деяние, кардинал отсутствовал во Франции; но он справедливо взял вину на себя, когда отдал руку своей незаконнорожденной дочери Анны д'Арне офицеру Бесме, чей кинжал нанес *первый* смертельный удар Колиньи, главной из жертв того страшного дня, и Рим одобрил это.

Как публичный спорщик он блистал в споре с Безой. Иллюстрацией его гордости может служить запись о нем на Тридентском соборе. Испанский посол занял на мессе место выше, чем посол из Франции. После этого преподобный кардинал поднял такой переполох в соборе и так громко и сильно выражался, что богослужение было приостановлено, а прихожане разошлись в восхитительном беспорядке.

Так было и на коронации в аббатстве Святого Денниса королевы Карла IX. Бедная, хрупкая австрийская принцесса Елизавета, простояв несколько часов на коленях, заявила о своей неспособности оставаться дольше без материальной поддержки в виде еды или вина.

Кардинал заявил, что о таком нерелигиозном нововведении нельзя и думать. Он решительно воспротивился тому, чтобы тонушая королева получала какую-либо пищу, и только когда он понял, что ее жизнь может быть под угрозой, он согласился на то, чтобы ей дали "самое малое количество чего-то очень легкого".

Он был единственным мужчиной в своей семье, не обладавшим рыцарской добродетелью - храбростью. Он очень боялся, что на него совершат покушение. В советах он был невежлив. Так, однажды он обвинил знаменитого канцлера Ле Госпиталя в желании быть "петухом собрания", а когда серьезный канцлер запротестовал против подобных высказываний, кардинал назвал его "старым бараном". Можно добавить, что если он и боялся кинжала, направленного частной местью, то считал себя защищенным опекой Небес, которые не раз, как он утверждал, уносили его в тучах и грозе, когда за ним охотились убийцы. Он был достаточно хитер, чтобы сказать это для того, чтобы пресечь все попытки насилия, направленные против него самого.

Он умер назидательно, поцеловав Екатерину Медичи, и, по мнению последней, таинственно преследовал ее еще долго после своей смерти. В результате любопытных исследований еще предстоит выяснить истинное положение дел между этими двумя личностями.

Кардинал-брат третьего герцога, Людовика Лотарингского, любил хорошую жизнь и уже в раннем возрасте получил возможность потакать своим склонностям за счет богатых доходов, которые он получал от своих многочисленных церковных преференций. Еще в колыбели он владел полудюжиной аббатств, а в зрелом восемнадцатилетнем возрасте стал епископом. Незадолго до смерти, в 1598 году, когда ему было около пятидесяти лет, он отказался от своих великолепных церковных назначений в пользу своего племянника и однофамильца, который в будущем должен был стать кардиналом при четвертом герцоге. Людовик был человеком способным и остроумным. Он сам выбрал эмблему для своего герба. Он изобразил девять нулей с метким девизом: "Nos per se nihil est; sed si minimum addideris, maximum erit", намереваясь, как говорят, подразумевать, что человек был ничем, пока ему не была дана благодать. Он был добродушен, любил простоту, гордился своей церковью и питал страсть к бутылке. Такова была его религия. Его личная жизнь была отмечена не худшими чертами, чем те, что характеризовали его родственников-священников. Свою привязанность к матери он проявлял поистине по-сыновнему, завещав ей все свои владения, чтобы она выплатила его долги.

У третьего герцога был второй брат-кардинал, известный как кардинал де Гиз, который был убит Анри III. Он был интриганом, но храбрым, как и любой рыцарь из его семьи. Король долго не мог найти людей, готовых ударить священника; а когда они нашлись, то подходили к нему снова и снова, прежде чем смогли найти в себе силы поразить его. В конце концов, второе убийство в Блуа было совершено с помощью хитрости. Кардинала попросили сопровождать гонца в королевское присутствие. С некоторой опаской он подчинился, но, оказавшись в темном коридоре с четырьмя хмурыми солдатами, понял свою участь; попросил несколько минут передышки, чтобы собраться с мыслями, а затем, окутав голову верхней мантией, велел им исполнить свое кровавое поручение. Он был мгновенно убит, не оказав сопротивления и не произнеся ни слова.

Этот кардинал был отцом пяти незаконнорожденных сыновей, самым знаменитым из которых был барон Ансервильский, или, как он гордо именовал себя, "бастард Гизов".

Рядом с сыном Балафре, Шарлем, четвертым герцогом, стоял последний кардинал-брат, который был способен служить своему дому, и чей характер представляет собой хоть какое-то обстоятельство, заслуживающее внимания. Этот кардинал, если он и любил что-то

больше бутылки, то больше всего любил сражения. Ему свойственно терять жизнь и в том, и в другом. Он присутствовал при осаде Сен-Жан-д'Анжели, которую вели протестанты в 1621 году. Это было 20 мая, и солнце сияло с силой, не известной нашим суровым источникам. Кардинал ругался, как зверь, и клялся с более чем звериной силой. Время было за полдень, а сам он находился в полуденной поре своей чудесной бодрости, около тридцати лет от роду. Он валялся в кровавой *бойне*, происходившей в предместье, когда на некоторое время остановился, задыхаясь и обливаясь потом. Он позвал флягу красного вина, которую едва успел выпить, как его охватила бешеная лихорадка, свалившая его через две недели. Он был настолько увлечен рыцарскими, а не священническими занятиями, что в момент его смерти велись переговоры о том, чтобы добиться от папы разрешения на передачу кардиналом своему брату-мирянину, герцогу де Шеврёзу, всех его благодеяний, а взамен получить от герцога губернаторство в Оверни. Он всегда был в седле, и никогда не был так счастлив, как когда видел перед собой другого решительного противника, твердо сидящего в нем. Он вел жизнь солдата удачи, или рыцаря-отступника; а когда на время воцарялся мир, он скакал по стране с отрядом последователей в поисках приключений и всегда находил их на острие меча. Отойдя от алтаря, он надел сапоги, пристегнул шпагу к бедру и спровоцировал своего кузена де Невера на дуэль, ударив его по лицу. Возмущенный молодой дворянин выразил сожаление, что профессия его обидчика позволяет последнему оставаться безнаказанным, и в то же время посоветовал ему отказаться от нее и дать де Неверу удовлетворение. "К дьяволу я его уже послал!" - ответил образцовый кардинал, сбрасывая с себя рясу и пристегивая шпагу, и два родственника вцепились бы друг другу в горло, если бы не королевские офицеры, пресекавшие их христианские забавы.

У этого кардинала-изгоя, которого похоронили с большей пышностью, чем если бы он был великим святым или просто честным человеком, осталось пятеро детей. Их матерью была Шарлотта дез Эскар. Они были признаны законными на основании утверждения, что их родители были должным образом женаты по папской диспенсации. Он был последним из кардиналов и был таким же хорошим солдатом, как и любой из рыцарей.

Гордость и притязания дома не иссякали ни у герцогов, ни у кардиналов. В семье были члены, чье высокомерие было тем сильнее, что они не принадлежали к прямой линии наследования. Их огромное честолюбие в мелочах удовлетворялось привилегией, дарованной дамам Гизов, а именно той, которой они обладали наравне с королевскими принцессами, - быть представленными ко двору до замужества. Однако эти амбиции вызвали к ним ненависть знати и князей церкви и в конце концов стали причиной миниатюрного восстания в Версальском дворце.

Поводом послужил грандиозный бал, устроенный в честь бракосочетания Марии-Антуанетты и дофина. Людовик XV объявил, что откроет блестящую сцену, станцевав *менуэт* с мадемуазель де Лоррен, сестрой принца де Ламбеска. Последовавший за этим шум был потрясающим. Все дворянство протестовало против того, чтобы столь заметное первенство было отдано даме, о которой идет речь. Во главе оппозиционного движения встал архиепископ Реймский; собрав возмущенных пэров, этот преемник апостолов в компании со своим братом-епископом из Нуайона пришел к торжественному решению, что между принцами королевской крови и *высшим дворянством* не может быть промежуточного ранга, и что госпожа де Лоррен, следовательно, не может иметь преимущество перед представленными представительницами аристократии. Был составлен мемориал. Все дворяне, старые и новые, охотно подписали его; королю сообщили, что если он не отменит своего решения, ни одна дама не будет танцевать на балу после исполнения *менуэта*, о

котором идет речь. Король приложил все усилия, чтобы преодолеть сопротивление: но ни епископы, ни баронессы не уступали. Последние в вечер бала ходили по парадным апартаментам раздетыми, громко выражали свое решение не танцевать и получали архиепископское благословение за свое благочестивое упрямство. В конце концов дело было улажено компромиссом, согласно которому дофин и граф д'Артуа должны были выбрать себе партнерш из числа дворян, а не, как это было *принято* по закону *менуэтов*, среди принцесс своего ранга. Час открытия знаменитого бала был отложен, чтобы дать женщинам-мятежницам время одеться, и в итоге все прошло *на ура!*

С появлением вышеупомянутого принца де Ламбеска род Гизов полностью исчез с почвы Франции. Он был полковником кавалерийского полка "*Рояль Аллеманд*", который в 1789 году столкнулся с народом. Вместе со своими людьми принц участвовал в разгоне мятежной толпы. Он ударил одного из самых заметных бунтовщиков острием своей шпаги. Этот удар, нанесенный Гизом, стал первым в Великой революции, и благодаря ему Людовик XVI лишился короны. Принц де Ламбеск был вынужден бежать из страны, чтобы спастись от народного негодования. Почти за три столетия до этого его великий предок, мальчик-мул, въехал в королевство и основал семью, которая росла числом и силой против трона, против гражданской и религиозной свободы. И вот теперь единственный оставшийся в живых из множества тех, кто происходил от этой ветви Лотарингии, такой же гордый, как и величайший из его дома, подняв палец против свободы толпы, был отправлен в изгнание, чтобы искать убежища на время и могилы на век на берегах далекого Дуная.

Когда кардинал Флери присоединил герцогство Лотарингию к Франции, это было сделано по договоренности с Австрией; согласно которой Франциск, герцог Лотарингии, получил в обмен на свое герцогство Великое герцогство Тосканское и руку Марии Терезии. Их наследники образуют императорский дом Габсбургов-Лотарингийских. Те из моих читателей, кто бывал в Нанси, столице старой Лотарингии, наверняка помнят круглую часовню, расположенную рядом с тем, что осталось от старого дворца старых герцогов. В этой часовне находятся гробницы главных из двадцати девяти герцогов, правивших в Лотарингии. Расходы на поддержание службы и убранства, алтаря и священников, связанных с этой часовней, полностью покрывает Австрия. Это единственный остаток, сохранившийся от лотарингского суверенитета прежних времен. Священники и *служащие* этого здания говорят о Габсбурге-Лотарингии как о *своем* доме, которому они обязаны исключительным почтением. Когда я услышал выражение этого чувства, я стоял перед могилой знаменитого гравёра, старого Жана Калло. Последний был уроженцем Нанси; и мне показалось, что его веселые губы скривились от презрения при виде этой тряпки гордости за Лотарингский дом.

Боюсь, что с историей части этого дома я слишком задержал читателя. Я расскажу вкратце о переменах в судьбе дома материального, рыцарского дома Рамбуйе.

ИСТОРИЯ РАМБУЙЕ.

"Представьте себе, что этот замок - ваш двор,

И что вы, ради удовольствия, залегли здесь,

Не по принуждению и не по необходимости" - Кит Марлоу.

Рамбуйе - старинный замок, в котором рыцари-феодалы когда-то жили как маленькие короли. В его садах царил эвфуизм. Это дворец, в покоях которого пировали монархи, а у ворот просили воды и корки хлеба беглецы. Он начал свою карьеру как колыбель рыцарей, а заканчивает ее как приют для осиротевших детей воинов. Начало и финал недостойны друг друга; но между ними было несколько менее подходящих случаев распоряжения резиденцией старого шевалье. В течение короткого периода она представляла собой нечто среднее между Хэмптон-Кортом и Рошервиллем. В том самом месте, где каноники Сент-Шапель имели привилегию целовать щеки герцогини Бургундской, обитатели Фобур-Сент-Антуан могли веселиться, если только могли заплатить за свой спорт. Там, где рыцарственные д'Амори держали свое феодальное государство, где король Франциск охотился, шевалье Флориан пел, а Пентьевр зарабатывал бессмертие практикой небесных добродетелей; где Людовик возвел на престол Дю Барри, а Наполеон председательствовал на советах, держа судьбы престолов на волоске, туда имел право войти самый печальный механик с несколькими франками в руке. Самые веселые *лоретки* столицы курили свои *сигареты* там, где Жюли д'Анженн сражалась с любовью; и беседка королей и убежище императрицы звенели отголосками, рожденными легкомыслием и легким вином. Луи Наполеон, однако, установил лучший порядок вещей.

Нормандскому вождю, обладавшему рыцарским характером, если не рыцарским титулом, и норманнскому языку, *Рабуйе*, как писали раньше, или "Кроличья нора", обязан своим названием дворцу, расположенному в тринадцати лье от Парижа, и деревне, которая его окружает. Первая сейчас представляет собой причудливую и запутанную громаду, одна только главная башня которой старше времен Гуго Капета. Некоторые авторы описывают комплекс зданий как имеющий форму подковы; но копыто, к которому можно было бы применить башмак такой формы, не поддается описанию. Изменения и дополнения были столь же беспредельны, сколь и безвкусны. В своем нынешнем архитектурном облике он выглядит так же пестро, как и Кёр де Лев, если бы он прогуливался по Пэлл-Мэлл с современным *палетом* поверх своего стального костюма.

Первые хозяева Рамбуйе были рыцарской, сильной, но неинтересной расой. О рыцарских родах д'Амори достаточно сказать, что они владели им, к удовольствию немногих, кроме них самих, с 1003 по 1317 год. Дальнейшие сведения об этих святых владельцах не требуются. Мы позволим им спокойно спать дальше, скрестив руки на груди, в мире заслуженного забвения. *Requiescat!*

Однако один реликт рыцарских времен дожил до эпохи первой французской революции. В домене Рамбуйе находилась вотчина Монторгейль. Им владел приор Сен-Тома д'Эпернон на следующих условиях: добрый приор должен был ежегодно являться к воротам Рамбуйе с обнаженной головой, с гирляндой на челе и верхом на пестрой лошади, прикосновение к которой считалось дурной приметой, если у животного не было четырех белых ног.

Приор, полностью вооруженный, как рыцарь, за исключением того, что его белые перчатки были из тонкой ткани, нес флягу с вином у луки седла. В одной руке он держал пирог, на приготовление которого ушел бушель муки - такая же мера пшеницы также была платой лорда. Служители последнего внимательно следили за полнотой службы. Если они признавали ее несовершенной, настоятель Эпернона лишался доходов своей вотчины на ближайший год.

В более поздние времена церемония во многом утратила свое значение, но вплоть до периода ее исчезновения вино, пирог и гирлянда никогда не были лишними, а девицы Рамбуйе, как утверждают, были более требовательны, чем сами рыцари баронства, от

которых многие из них происходили. Праздник всегда был радостным, как и подобает феодалу, чей кухонный камин был таких размеров, что в него мог заехать всадник и, привстав на стременах, вылить содержимое кастрюли.

Удивительно, что едва ли какой-нибудь монарх имел отношение к рыцарской резиденции Рамбуйе, как с ним случалось несчастье. Короли были несправедливы к рыцарям, и последние нашли для первых Немезиду. Франциск I охотился в лесу Рамбуйе, когда до него дошла весть о смерти Генриха VIII, рыцаря-государя, с которым он сражался на Золотом поле. С этим известием он получил потрясение, которому не смог противостоять упадок сил, вызванный различными излишествами. Он въехал в замок в качестве гостя шевалье д'Анженна, в чьей семье в то время находилось владение. До сих пор показывают комнату, где он умер, корчась в агонии и оставив доказательство своей власти над ним в подушке, которую он в ярости и боли разорвал зубами на полоски.

Французский автор Леон Гозлау дал полный отчет о необычных церемониях, которые проводились в честь Франциска после его смерти. Перед кроватью, на которой лежало тело короля, - рассказывает М. Гозлау, - был воздвигнут алтарь, покрытый вышитой тканью; на нем стояли два золотых подсвечника, в которых горели два огонька от свечей из самого белого воска. Кардиналы, прелаты, рыцари, джентльмены и офицеры, чьей обязанностью было нести вахту, расположились вокруг *катафалка*, сидя на стульях из золотой ткани. В течение одиннадцати дней, пока длилась церемония, вокруг короля соблюдался строжайший этикет обслуживания, как если бы он был живым монархом в присутствии своего двора. Стол для ужина регулярно накрывали рядом с его кроватью. Кардинал благословлял еду. Джентльмен в ожидании подносил кубок к фигуре мертвого короля. Рыцарь подносил ему кубок с вином, а другой вытирал ему губы и пальцы. Эти и многие другие действия происходили при торжественном и приглушенном свете погребальных факелов".

Последующие церемонии были не менее любопытны и необычайно великолепны, но останавливаться на них нет необходимости. В 1588 году король, находившийся в не самом лучшем из обстоятельств, чем Франциск, незадолго до своей смерти ночевал в замке одну ночь. Это была майская ночь, и рыцарь-владелец Жан д'Анженн праздновал свадьбу своей дочери. Церемония была прервана громким стуком в ворота замка. Настороженный Жан сначала посмотрел через калитку на шумных гостей, а затем увидел Анри III, взволнованного, но смеющегося, сидящего в старой карете, вокруг которой собрались запыленные всадники, серьезные кавалеры и скудно одетые придворные. У некоторых были распущены поводья, а многие рыцари были без сапог. В общем, славная компания; но в их объединенных кошельках не было и двух дворян. Жан распахнул свои двери перед королем и его рыцарями, прилетевшими от де Гиза. Последний овладел Парижем, а Анри и его друзья бежали, чтобы установить королевскую власть в Шартре. Два великих противника встретились в Блуа, и после убийства Гиза король со своими рыцарями и придворными проскакал мимо Рамбуйе, возвращаясь в Париж, чтобы нажиться на собственном злодеянии и глупости своего верного и любимого кузена, герцога.

Незадолго до совершения этого убийства, в 1588 году, парижский отель Пизани ликовал по поводу рождения Катрин де Вивонн, которая была одновременно и прекрасна, и учена. Она дожила до основания школы языковых пуристов, чьи поступки так приятно карикатурны в *"Прелестных загадках"* Мольера. Екатерина повенчалась с благородным кавалером Шарлем д'Анженном, лордом Рамбуйе, который ради нее был произведен в маркизы. Дама шевалье смотрела на брак скорее как на завершение жизни, чем как на что-то иное; но молодость ее была насыщенной. Уже во втором возрасте она знала столько языков, сколько лет длится *люструм*. Когда же истек четвертый, ее утонченный дух и деятельный ум были отвращены и

утомлены постоянным однообразием и золотой пустотой двора. Ей было мало дела до того, чтобы оказывать почести христианнейшему королю, пренебрегавшему заповедями христианства, или быть запятнанной почетом монарха, который не мог быть оказан без оскорбления добродетельной женщины. Юная Екатерина предпочитала в летний вечер нежиться под сенью отцовских деревьев, которые когда-то возвышались на месте, ныне занимаемом Пале-Роялем, в мире лиственного великолепия. Там она читала произведения, созданные великими умами. Долгими зимними вечерами она с величественной торжественностью ложилась на свою кровать, что было неприличным обычаем того времени, и там, в окружении шевалье, умников и философов, наслаждалась и поощряла "дубинушку". По ее предложению старый отель был разрушен, и по ее проекту построен новый; а когда вместо старой темной обшивки, неясно видневшейся из-за створок, не пропускавших свет, она покрыла стены своих приемных небесно-голубым бархатом и приветствовала, чтобы на них светило солнце, всеобщая Франция с восхищением объявила ее сумасшедшей, непроизвольно подхватила инфекцию и разразилась неизлечимой болезнью фантазии и хорошего вкуса.

Плоды этого союза, о котором говорилось выше, были обильны, но жемчужиной в короне детей, самой хорошей стрелой в семейном колчане стала Жюли д'Анжен, которая разбила сердца всех влюбленных кавалеров Франции и чья слава, возможно, затмила славу ее матери. Ее детство прошло у ног самых выдающихся людей Франции, не просто рыцарей-аристократов, а выдающихся умников и философов. У ее колыбели Бальзак излагал свои отточенные периоды, Маро - свои мелодичные рифмы, Вуатюр - свои мысли, а Вогелас - свою образованность. Она лежала в объятиях Армана Дюплесси, *тогда* еще почти невинного, как ангелочек, который бессознательно улыбался будущему безжалостному кардиналу де Ришелье; и ее юное ушко слышало возвышенную меру "Мелиты" Корнеля. Перечисление кружков, которые имели обыкновение собираться в парижском отеле Рамбуйе или бродить по садам и холмам загородного замка, историю которого я описываю, заняло бы больше места, чем можно отвести для этой цели. В круг входили стороны, которые до сих пор были соответственно исключительными. Рыцари встречались с гражданами-умниками, к большому удовольствию первых; а Рамбуйе предоставлял убежище гонимым из всех партий. Те, кто сопротивлялся Генриху IV, нашли убежище в его гостеприимных стенах, а многие дворяне и шевалье, пережившие кровавый гнет Ришелье, искали здесь утешения и бальзама для своих израненных душ.

Прежде всего, мадам де Рамбуйе способствовала социальной конгрегации двух полов. Женщин приводили на встречу с мужским умом, иногда для того, чтобы покорить, всегда для того, чтобы улучшить его. Для поступления на службу требовались достоинства в сочетании со способностями. Этикет был педантично строгим, что можно представить на примере Вуатюра, который однажды, проведя Жюли через ряд комнат, поцеловал ей руку при расставании, и был очень близок к тому, чтобы быть изгнанным навсегда из Рамбуйе, как награда за свое искушение. Впоследствии Вуатюр отправился в Африку. По возвращении его не пустили в прославленный круг, но при условии, что он расскажет о своих приключениях, и восхищенное собрание слушало их, все были одеты как боги и богини и серьезно обращались друг к другу как к таковым. Мадам де Рамбуйе председательствовала над всеми в образе Дианы, и компания оказывала ей обильные почести. Это, правда, было на время, но, несмотря на это, пародия осталась навсегда. Слабой стороной этого собрания было то, что не только каждый его член назывался вымышленным, как правило, греческим именем, но и то же правило применялось к большинству людей и вещей за его пределами; более того, сами клятвы, поскольку в моменты экстаза изредка раздавались небольшие восклицания, были произнесены языческими богами. Так, например, Франция была *Грецией*. Париж был

Афинами, а площадь Руаяль была известна в Рамбуйе только как *площадь Дорик*. Мадам де Рамбуйе звали *Артемизой*, мадемуазель де Скюдери - *Аганиппой*, а *Салоники* - очищенным именем герцогини де Тремуйль. Но из такого ребячества вытекало великое благо, несмотря на то что Мольер смеялся, а Академия высмеивала Корнеля и всех остальных новаторов. Времена были грубые; вещи, какими бы они ни были, назывались своими именами; вежливый слух испытывал обиду, и в Рамбуйе перифраза была призвана выразить то, что язык в иных случаях оскорбительно передавал одним словом. Идея была хороша, хотя ею и злоупотребляли. О ее качестве можно судить по одному-двум кратким примерам; кстати, добавлю, что Французская академия в конце концов приняла многие из терминов, которые поначалу отказывалась признавать. Популярность получила большая часть оставшихся, и таким образом значительная часть словарного запаса Рамбуйе стала идиоматическим французским языком. "Modeste", "friponne" и "secrète" - так называли нижнюю одежду дам, которую мы теперь не боимся указывать. Солнце было "любезным осветителем"; чтобы "исполнить желание, с которым кресло обнимает вас", нужно было просто "сесть". Лошади были "плюшевыми конями", карета - "четырьмя карнизами", а председатели - "крещеными мулами". Кровать была "старым мечтателем", шляпа - "защитой от непогоды", смеяться - "терять серьезность", ужин - "меридиональной необходимостью", ухо - "органом, или вратами слуха", а "трон скромности" - изысканным выражением для юной щеки. Во всем этом нет ничего назидательного, это правда; но мода заставила людей задуматься, и это принесло свои плоды. Старые нецензурные выражения исчезли, а общий разговорный язык стал изысканным. Если перемены и привели к большей душевной чистоте, то вряд ли я могу поставить это в заслугу партии в Рамбуйе, ибо при всей их провозглашенной утонченности, их изысканность была такого рода, как описано в известном изречении декана Святого Патрика.

Одним из самых выдающихся людей в окружении Рамбуйе был маркиз де Саллес, рыцарь Святого Людовика. Он был вторым сыном герцога де Монтозье и впоследствии унаследовал этот титул. После смерти отца его мать оказалась без особых наследств, кроме титула. Тем не менее, она мужественно старалась. Она сама обучала своих детей, воспитывала их в строгих гугенотских принципах, а затем отправила их в кальвинистский колледж в Седане, где молодые студенты прославились своими аргументами, которые они приводили против всех желающих - а их было немало - кто пытался обратить их в папизм. В раннем возрасте он получил профессию оружейника - единственное призвание для молодого и безродного дворянина; он обильно проливал свою кровь за короля, который не мог выразить протестанту никакой благодарности. Его остроумие, утонченность и галантность сделали его желанным гостем в Рамбуйе, где его знаменитая привязанность к Жюли, которая была старше его на три года, дала повод для разговоров всей Франции. Мужественный сам, он любил мужество в других, а его любовь к Жюли д'Анженн была подогрета редкой храбростью, проявленной ею при уходе за умирающим братом, инфекционная природа расстройства которого заставила даже нанятых сиделок покинуть его. В сезон траура весь двор во главе с королевскими особами отправился почтить память этой жемчужины среди сестер. Но ни одно восхищение не долетало до ее слуха так сладко, как то, что шептал ей молодой Монтозье. Одно из свидетельств его рыцарской галантности сохранилось до наших дней. Оно содержится в знаменитом томе под названием "Гирлянда Жюли", автором которого был он сам, а в его создании охотно помогали рыцари, художники и поэты. Это превосходный пергаментный том. На фронтисписе изображена гирлянда или венок, от которого и происходит название тома. На каждой последующей странице представлен один цветок из этого венка (всего их восемнадцать) со стихами в честь Жюли, сочиненными полутора десятками весьма посредственных поэтов. Этот том был продан несколько лет

назад мадам д'Юзес, потомку семьи, когда его стоимость составляла почти тысячу франков за страницу.

Как все необычное в Рамбуйе, так, конечно, и ухаживание Жюли за своим рыцарем. Оно было очень "долгим", и мы сомневаемся, что в годы сдержанной пылкости, сказочного постоянства, сдержанности и печальных, но приятных мук влюбленный осмелился поцеловать руку своей любовницы или даже заикнуться о браке, кроме как в дипломатическом пересказе.

Богини Рамбуйе испытывали красноречивый ужас перед грубой бестактностью подобных союзов, за что Мольер бичевал их легким, но режущим бичом. К тому же любовник был гугенотом. Что же ему оставалось делать? Как истинный рыцарь, он бросился в бой, стал героем двух блестящих кампаний, а затем сватался к ней в качестве кавалера полудюжины новых орденов, марешала-дю-лагеря и губернатора Эльзатии. Нимфа все еще оставалась скромной. Рыцарь снова застегнул доспехи и в схватке при Деттингене попал в плен к врагу. После двухмесячного заключения он был выкуплен своей матерью за две тысячи крон. Он вернулся в Рамбуйе генерал-лейтенантом армии Франции и потребовал вознаграждения за свои четырнадцать лет постоянства и терпения. Жюли была потрясена, ведь она только подумала, как краток был период их знакомства. В конце концов маркиз исповедовал романство и тем самым приобрел двойную помощь церкви и трона. Король, королева, кардинал Мазарин и множество менее влиятельных лиц умоляли ее отступить, и в конце концов застенчивая красавица нехотя сдалась. Брак состоялся в 1645 году, а Жюли тогда было уже за сорок лет. Молодым кавалерам и умникам, будьте уверены, было что сказать по этому поводу. Старшие красавцы смотрели с восхищением, но, тем не менее, среди них происходило множество шепчущихся злодеяний.

Монтозье, поскольку теперь он был герцогом и рыцарем Святого Духа, стал править литературным кружком в Рамбуйе в годы угасания матери Жюли. Екатерина умерла в 1665 году, после долгого затворничества, и была почти забыта сыновьями тех, кого она когда-то с удовольствием почитала. Самой деликатной и самой сложной государственной должностью, которую когда-либо занимал герцог, была должность губернатора при дофине. Эту должность он исполнял с необыкновенными способностями. Он выбрал Боссюэ и Юэ, чтобы наставлять молодого принца в теоретической мудрости книг, но практическое обучение проводил сам. Много раз по утрам правитель и его ученик выходили из золоченых ворот Версаля, чтобы пройти курс народного обучения в домиках и у крестьян в окрестностях.

Сердце истинного рыцаря было разбито смертью Жюли в 1671 году, в возрасте шестидесяти четырех лет. Он пережил ее на девятнадцать лет. Они прошли в печали, но и в постоянной активной деятельности; и когда в 1690 году могила его любимой жены открылась, чтобы принять его, Флешье произнес над обоими достойную похоронную речь.

Дочь и единственный оставшийся в живых ребенок этой выдающейся пары своей рукой передала герцогу д'Юзесу, "кавалеру ордена Святого Эсприта", графство Рамбуйе. Рыцарский род д'Анженнов владел им на протяжении трех столетий. В 1706 году ему суждено было стать королевским. Людовик XIV приобрел его для графа Тулузского, узаконенного сына его самого и мадам де Монтеспан. Этот граф стал рыцарем и Великим адмиралом Франции в возрасте пяти лет. В 1704 году ему только что исполнилось двадцать пять лет. Он знаменит тем, что после взятия Гибралтара столкнулся с флотом под командованием Ладьи и Лопаты и, как говорят осторожные русские генералы, "отошел на дистанцию", когда оказался на грани

полного поражения. Он вел себя так храбро, как ни один рыцарь не смог бы; но правительство не было им удовлетворено. Понтчартрен, морской министр, отозвал его, отправил в Рамбуйе и оставил там стрелять кроликов и, подобно Диоклетиану, выращивать капусту.

Его сын и преемник, великий герцог де Пенъевр, рано начал посвящать себя в рыцари. Он даже стал Великим адмиралом Франции еще до того, как отличил соленую воду от пресной. Он изучал военно-морскую тактику, как дядя Тоби и капрал в былые времена сражались на игрушечных батареях. В случае с герцогом это было, более того, с маленькими суденышками и маленькими матросами, плавающими в миниатюрном рыбьем пруду, созданном для того, чтобы представлять могучие и безбрежные глубины. Этот великий адмирал никогда не выходил в океан, но он рыцарски вел себя на кровавом поле при Деттингене и снискал нетленные лавры своей доблестью при Фонтенуа. Однако подобные сцены и их слава мало волновали *первого кавалера*. Прежде чем на последнем поле зазвучал французский "*Te Deum*", он поспешил вернуться к своему счастливому домашнему очагу. Рамбуйе был тогда местом обитания всех добродетелей. Там любящий дом рыцарь читал Священное Писание, а герцогиня сидела рядом и шила одежду для бедных. Там шевалье Флориан, его секретарь и друг, размышлял над этими изящными рифмами и гармоничной прозой, в которых человеческая природа предстает в красивом маскараде, расхаживая, как фигуры Ватто, в визорах, парче, на высоких каблуках и фартингалах. Когда герцогиня умерла при родах шестого ребенка, ее муж удалился в Ла-Траппе, где среди других бывших солдат неделями молился и спал на голой земле. Пятеро из его детей умерли рано. Среди них был рыцарственный, но несдержанный принц де Ламбаль, умерший вскоре после союза с несчастной принцессой, ставшей жертвой этих свирепых французских революционеров, которые, по словам месье Луи Блана, обычно были так приветливы, что никогда не испытывали такого восторга, как в случае спасения человека от смерти.

Именно с разрешения герцога, который отказался продать свой дом, Людовик XV построил в прилегающем лесу охотничий домик Сен-Юбер. Там собралось множество королей, придворных, рыцарей и дам, при виде которых добрый святой покраснел бы, если бы стал их свидетелем. Однажды вечером блестящая толпа поскакала туда на пирушку, когда обнаружилось, что все необходимое для ужина было забыто или оставлено в Версале.

"Давайте отправимся в Пентъевр!" - раздался всеобщий крик; но король с серьезным видом отверг это предложение. Однако голод и всеобщее сопротивление одолели его.

Проголодавшиеся гуляки вышли вперед и *заиграли* на воротах Рамбуйе достаточно громко, чтобы испугать семерых спящих. "Пентъевр в постели!" - сказал один из них. "Он замышляет свой бревиарий!" - усмехнулся другой. "Господа, он, вероятно, на молитве", - сказал король, который, подобно афинянину, мог аплодировать добродетели, которую не умел практиковать. "Давайте удалимся", - добавил образцовый глава королевского ордена Святого Духа. "Если мы это сделаем, - заметила мадам дю Барри, - я умру от голода; давайте постучимся снова". Под напором бури, которая теперь осаждала ворота, они поддались; распахнувшись, они открыли герцога, который, облаченный в белый фартук и с половником в руке, принял своих посетителей, объявив, что он занят приготовлением супа для бедных. Монарх и его последователи заявили, что ни один бедняк не нуждается в супе больше, чем они сами. Соответственно, они схватили желанное угощение, съели его с аппетитом тех, для кого оно предназначалось, и расплатились с могильным рыцарем, который был их хозяином, фальшивой монетой бессмысленных шуток. Как этот хозяин контрастировал со своим королевским гостем, можно увидеть из рассказанного о нем факта, когда бедная женщина поцеловала ему руку и попросила об одолжении, когда он проходил в религиозной процессии. "В порядке религии перед Богом, - сказал он, - я твой брат. Во всех остальных

случаях - навсегда ваш друг". Орден Святого Духа никогда не имел более просвещенного члена, чем он.

В 1785 году Людовик XVI в некотором роде вынудил его расстаться с Рамбуйе за шестнадцать миллионов франков. Он удалился в Эу, взяв с собой тела умерших, которых любил при жизни. В этой молчаливой компании было девять человек; и когда герцог проходил с ними по своему печальному и безмолвному пути, облака плакали над ними, а люди толпились на длинной дороге, выражая свое почтение искренними слезами.

Затем наступил тот революционный потоп, который вымел из Рамбуйе главу ордена Святого Духа, а вместе с ним и весь капитул, и который утащил с медоварни королеву и принцесс, чьим занятием было доить коров в причудливых платьях. Герцог де Пенъевр погиб во время революции, но не от личного насилия. Убийство его невестки, принцессы де Ламбаль, стало последним смертельным ударом; он умер, простив ее убийц и себя самого.

Во время Первой республики в Рамбуйе не было ничего более воинственного, чем стада меринсов, которые были введены Людовиком XVI для великого блага его преемников. В последние дни существования империи здесь произошла интересная сцена.

27 марта 1814 года императрица Мария Луиза с королем Рима на руках, в его серебристо-серой куртке с ленточными рыцарскими эмблемами, которые до сих пор можно увидеть на ней в Лувре, укрылась там в ожидании исхода кровавой борьбы, которую ее собственный отец вел против ее мужа. Императрица провела в Рамбуйе три дня, утешая свои величественные муки ловлей карпа. В конце концов император Австрии вошел в зал, где его императорский зять произвел в кавалеры ордена Почетного легиона, чтобы забрать свою дочь и лишнего наследника. В тот вечер они сидели втроем перед дровяным костром, эрцгерцогиня Мария-Луиза рассказывала о зубах бывшего короля Рима, а две тысячи австрийских солдат несли вахту у дворца.

Ворота снова должны были быть открыты для беглеца. В последний из "трех славных дней" июля бедный, бледный, бледный беглец вбежал в замок, получил, не без труда, стакан воды и корку, и тут же поспешил дальше, чтобы встретить наконец плен. Это был принц де Полиньяк. Через два часа после его ухода пришел старый монарх Карл X., покрытый пылью, роняющий слезы, как дождь, сбитый с толку прошлыми воспоминаниями и нынешней реальностью, и громко просящий еды для двух "детей Франции", отпрысков своего любимого сына, герцога де Берри. В своем собственном дворце король Франции был вынужден отдать свой собственный тарелочный сервиз, прежде чем деревенские жители продали бы ему взамен хлеб. Освежившись, он нашел в себе силы отречься от престола в пользу своего сына, герцога д'Ангулемского, который тут же отказался от престола в пользу своего племянника, герцога де Бордо; и так вся партия легкими путями отправилась в бесславное изгнание. Вместе с ними был уничтожен и орден Святого Духа; с того дня ни один рыцарь во Франции не видел на своей груди эмблематического голубя и звезды.

Луи Филипп хотел бы присвоить Рамбуйе себе; но правительство закрепило его за нацией и отдало флегматичному немцу, который мечтал спать на ложе королей и мог позволить себе заплатить за удовлетворение своей фантазии. Именно по истечении срока его аренды дом и территория перешли в руки компании спекулянтов, которые с горечью осквернили трон прекрасной Жюли. Нынешний государь Франции дал дому достойное занятие. Теперь это приют и школа для детей храбрецов. Он начинался как колыбель рыцарей; и сироты тех, кто

был столь же храбр, как и любой из шевалье былых времен, теперь находят приют у старого очага рыцарей Амори.

Я могу предположить, что к этому времени мои читатели, возможно, устали от иностранных сцен и происшествий, как и мы от реальных личностей. Могу ли я тогда рискнуть, ради разнообразия, попросить их сопровождать меня "на проторенную сцену, апон?". Там я, в меру своих скудных способностей, расскажу о рыцарях сцены в целом; и сначала о величайшем из них - сэре Джоне Фальстафе.

СЭР ДЖОН ФАЛЬСТАФ.

"Я принимаю то сердце.

Которое ухаживает за моей любовью в самых привычных выражениях" - Хейвуд.

Генрих, граф Ричмонд, всегда производит благоприятное впечатление на молодых людей, которые видят его впервые, не зная о нем ничего, до этого, в конце шекспировской трагедии о Ричарде Третьем. Это гораздо более высокая степень благосклонности, чем он заслуживал, ведь Генрих действительно был очень безразличной личностью. С другой стороны, актеры несправедливо обошлись с сэром Джоном Фальстафом; из шекспировского веселого старого *джентльмена* они сделали то, что во времена Маклина делали из Шейлока, - простого разбойника.

В самой первой сцене первой части "Генриха IV", когда принц и сэр Джон появляются в компании, рыцарь, безусловно, более опытный джентльмен, чем наследник, поскольку он говорит более изысканно и редко прибегает к язвительным эпитетам, пока его не спровоцируют. Крепкие выражения - результат немоции его натуры, а не порочной склонности. Лорд Каслри не считался меньшим джентльменом за то, что иногда употреблял, как ему казалось, очень неприятные выражения.

Принц первым стал возражать, а сэр Джон демонстрирует свое воспитание и, добавлю, начитанность, цитируя стихи. Но если он поэтичен, то еще более философичен. Как серьезно он умоляет Хэла больше не беспокоить его тщеславием! И какое порицание обрушивает этот грузный философ на сына короля, когда говорит последнему, что ему было больно слышать мудрые замечания лорда совета о поведении этого сына! Вина рыцаря в том, что его легко увести в сторону зла - обычная слабость добродушных людей. Только с тех пор, как он общался с принцем, толстый последователь последнего стал сведущ во зле и, да поможет ему Небо, немногим лучше, как он говорит, одного из нечестивцев. Однако в нем осталось достаточно ортодоксальности, чтобы вызвать похвалу даже у редактора "*Рекорда*". "О, если бы человек спасался по заслугам, - восклицает он, - какая бы дыра в аду была достаточно горячей, чтобы вместить его!"

Он грабит на дорогах, скажут они. Что ж, не будем слишком сомневаться в его благородстве на этот счет. В большой галерее Версаля, когда она была наиболее многолюдной, было много благородных кошельков; а Джордж, принц Уэльский, однажды чуть не лишился бриллиантовой рукояти своей шпаги в одной из "гостиных" своей королевской матери. По сравнению с Фальстафом на дороге, преступники здесь были всего лишь мелкими воришками. То, что он обманул королевскую казну, конечно, не отрицается. Но, опять же,

давайте не будем спешить осуждать хороших людей с маленькими недостатками. Вспомните, что святой Франциск де Салес очень часто мухлевал в карты.

В конце концов, грабеж на дороге был всего лишь, как бы это сказать, рыцарской тряпкой. Фальстаф грабил в хорошей компании. Это было его призвание. Такова была мода. Это было аристократическое развлечение. Молодая кровь хотела, чтобы так было; и сэр Джон был мальчиком среди мальчиков. В более поздние времена молодой дворянин, обладающий небольшим умом и слишком обширным досугом, швыряет несвежие яйца в ничего не подозревающих горожан, устраивает ад в своей каюте, если он военный, и ломает шеи распорядителям сцены.

Сэр Джон, несомненно, был одним из тех, о ком Гэдсхилл говорит, что они оказывают грабительскому ремеслу некоторую милость ради простого спорта. "Со мной, - говорит Гэдсхилл, - не было ни пеших землекопов, ни длинноногих шестипенсовиков, ни этих безумных усатых, пурпурных, солодовых червей, но было благородство и сангвиники, бургомистры и великие торговцы". Действительно, среди благородных разбойников были люди посерьезнее, если не покрупнее этих, "которые, если бы дело было рассмотрено, ради своей собственной выгоды сделали бы всех целыми". Был, по крайней мере, один, который, будучи разбойником с большой дороги, не уступал в справедливости, поручая накладывать удавки на более бедных воров.

Но вернемся к нашему старому другу. Бедный сэр Джон, сомневаюсь, что он пошел бы на разбой, даже в компании принца, только его околдовали светские качества его королевского высочества. Но даже тогда, терпеливо перенося всевозможные жесткие шутки, он действительно является наставником партии и не идет грабить путников, предварительно серьезно не напомнив джентльменам дороги, что это дело навесное. Он бы удержал их от дурного, но раз уж они решились на злое дело, он их сопровождает. Он объяснил им закон, и он не слишком горд, чтобы поделиться прибылью.

Он храбр, несмотря на всех своих недоброжелателей! Когда переодетые принц и Пуанс нападают на нежных разбойников, когда те делят добычу, Фальстаф единственный, кто, по описанию, наносит "удар-другой", а затем, подражая "остальным", убегает. Когда он напал на путников, то довольствовался тем, что сражался со своим человеком; их было четверо на четверо. Что же касается образного описания нападения, данного Фальстафом, то я полагаю, что оно было произнесено в шутку и с веселым сердцем. Я безоговорочно верю в утверждение, что он знал замаскированные стороны так же хорошо, как их матери. Посмотрите, как легко он распознает принца и Пуанса, когда они переодеваются "ничьими" в трактире в Истчипе. Если Фальстаф был прав в последнем случае, когда сказал принцу, что он, Фальстаф, джентльмен, то я думаю, что и у него было достаточно оснований сказать Хэлу: "Ты *знаешь*, что я доблестен, как Геркулес". Я не могу иначе относиться к человеку, чей вкус был так мало испорчен, что он мог сразу определить, когда в его мешке была "известь", и который не успевает услышать, что государство в опасности, как предлагает молодому принцу отправиться ко двору. Его тучность можно заподозрить в том, что она не является плодом большой умеренности, но в Англии есть кардинал-архиепископ, который является самым толстым человеком в пятидесяти двух графствах, и почему бы в обоих случаях не заключить, что все обстоит так, как говорит Фальстаф, и что вздохи и печали раздувают человека, как мочевого пузырь?

Тогда только подумайте об обличении, которое Фальстаф адресуется принцу, говоря в образе короля с этим прославленным козлом отпущения. Мудрее и суровее осуждения излишеств вряд ли могла бы произнести вся коллегия кардиналов в любое время. Принц - всего лишь

плагиатор рыцаря, и когда он обвиняет последнего в разврате, с каким почтительным смирением старик признает себя виновным в своих годах, но, "спасая ваше почтение", не в пороках, которые, как говорят, им сопутствуют?

Не то чтобы он был безупречен или хотел бы похвастаться этим. "У него *были*, - трогательно говорит он, - истинная вера и добрая совесть, но срок их истек". Как плохо отзывается о нем принц, на службе у которого он потерял эти драгоценности, когда его высочество перед выходом в поле замечает: "Я обеспечу этому толстому негодяю пешую команду, и я знаю, что за его смерть придется заплатить четыре сорока". И это говорит тот, кто забыл, что такое внутреннее убранство церкви, находясь в мерзкой компании этого принца; до этого он был "настолько добродетельным, насколько это необходимо джентльмену". То, что он считает обязательной практикой джентльмена, Фальстаф объясняет своим низким положением, а не тем духом, который двигал им, когда он "жил хорошо и в достатке".

Но у каждого человека есть своя Немезида, и если Фальстаф был достаточно бесцеремонен, чтобы сорвать куш в "Кабаньей голове" и даже принять в подарок голландские рубашки, которые он неблагодарно называет "грязными даулами", то способ, которым он был *обманут*, должен был быть жесток к чувствам рыцаря и джентльмена. Рассматривая его галантность и экстравагантность, мы не должны, справедливости ради, забывать, что он был холостяком. Если он деградировал, то не причинил страданий ни одной леди Фальстаф дома. Героев хоронили с целыми народами в качестве скорбящих, чьи проступки в этом худшем отношении были забыты. Не то чтобы я извинялся за знакомство рыцаря с хозяйкой или с этой удивительно милой молодой леди, мисс Доротеей Тирсит. Я не знаю, какова была личная жизнь того лорда Верховного судьи, который так безжалостно порицал рыцаря; но я знаю, что были светила не менее блестящие, которые прятали свой свет в очень шумных местах и у которых не было оправдания Фальстафа.

Меня так же мало смущает характер сэра Джона как солдата, как и его нравственность. Мне не очень нравится слышать, как он признается, что "чертовски злоупотреблял королевской прессой" или что он прикарманил "триста с лишним фунтов", незаконно освободив сто пятьдесят человек. Но в этот самый день на русской службе постоянно наблюдаются действия, гораздо худшие, чем эти, где офицеры и чиновники, чьи громкие имена "отлучаются", ежедневно грабят царя и награждаются орденом Святой Екатерины.

В полевых условиях я утверждаю, что Фальстаф - герой. Что касается его катехизиса о чести, то он не только не умаляет его репутации, но, как мне кажется, ставит его в один ряд с тем современным английским героем, который говорил, что его тело содрогается при мысли об опасностях, в которые его одухотворенная душа собирается его ввергнуть. Фальстаф не ждал смерти. "Боже, не дай мне свинца", - разумно заметил он; "Мне не нужно больше груза, чем мои собственные кишки!" Но человек, произносящий эту молитву и комментарий, не боялся встретить смерть. "Я вел своих оборванцев туда, где они были в перце". Он шел во главе их. О том, что перед ним была горячая работа, свидетельствует следующее. "Из моих ста пятидесяти человек в живых осталось только трое, и они отправились в город, чтобы вымолить себе жизнь!" Сто сорок семь человек убиты из ста пятидесяти одного; из четырех оставшихся в живых трое изуродованы, а смелая душа, которая вела их за собой, осталась невредимой! Это напоминает нам Виндхэма и Редан. Это Фермопилы, а Леонид остался в живых, чтобы рассказать свою историю.

Его осторожность не стоит воспринимать как опровержение его доблести. Он сражался с Дугласом, помните, и не убежал от него. Правда, шотландец оказался слишком силен для него, и он тихо упал, словно мертвый. А что потом? Когда московитский генерал так поспешно отступил из Евпатории, как он описал это движение? "Выполнив все, что ожидалось, русские отошли *за пределы досягаемости*". Так же, сэр Джон, и в отношении Дугласа.

Не стали бы *некоторые* московитские офицеры и джентльмены возражать и против другого поступка Фальстафа. Рыцарь, как с сожалением вспоминают, вонзает нож в тело Хотспура, когда галантный нортумбриец лежит на поле боя мертвый или раненый. На этом примере мы можем убедиться, что Россия отстает от нас в цивилизации не только на четыре столетия. Варварский поступок Фальстафа был совершен на Инкерманском поле в десятки раз больше. Многие галантные, дышащие, но беспомощные английские солдаты получили смертельный удар, который они не смогли парировать, из рук шевалье Ивана Фальстафа, сражавшегося под сомнительным вдохновением святого Сергия. И, кроме того, там были люди, облеченные властью, которые практически говорили этим героям то же, что и принц Генри с сэром Джоном,

"Если ложь может оказать тебе милость,

я позолочу ее самыми счастливыми словами, которые у меня есть".

То, что *наш* Фальстаф достойно вел себя на поле боя, становится ясно, несмотря на инцидент с Хотспуром. Я не останавливаюсь, чтобы указать на значение ответа Мортон, когда Нортумберленд спрашивает его: "Ты пришел из Шрусбери?" - "Я бежал из Шрусбери, мой благородный лорд", - отвечает тот; признаваясь, что он бежал от врага, среди которого Фальстаф был лидером: Мне приятнее опираться на вердикт столь достойного, но невольного свидетеля, как лорд Верховный судья. Он вполне убедительный. "Ваша дневная служба в Шрусбери, - говорит милорд, - немного позолотила ваш ночной подвиг в Гэдсхилле". Ничто не может быть более удовлетворительным. О храбрости Фальстафа говорил весь город.

Когда наступает мир или сэр Джон получает разрешение вернуться домой по неотложным личным делам, он, правда, немного распускается. Однако он не допускает таких излишеств, которые могли бы существенно подорвать его здоровье; в противном случае его паж не принес бы ему столь удовлетворительное сообщение от доктора. Возможно, его также можно обвинить в том, что он слишком легко клюнул на такую белую приманку, какую можно найти в муслине Истчипа. Однако у героев, как правило, очень пылкие сердца. Когда Нельсон сошел на берег, он сразу же влюбился.

Несмотря на буйство, переполненность животными духами, Фальстаф руководствуется законами хорошего общества. Шутки сыплются на него беспрестанно, но он воспринимает их с добрым юмором и с интересом отвечает на них. "Я остроумен не только сам по себе, - говорит он, - но и потому, что остроумен в других людях". Грегуар и Ла Брюйер четко определяют главное правило беседы: демонстрируя собственные способности, вы должны стараться вызвать и поощрить способности собеседника. То, что они считают канон, сэр Джон уже давно и успешно применял на практике. У него хватило ума поддеть верховного судью, но он оставил его светлости широкую возможность проявить свои собственные способности; а затем комплимент великому судебному сановнику, что он еще не вышел из юности, хотя в нем есть некоторый привкус соли времени, - в сочетании с благожелательной

рекомендацией, чтобы его светлость благоговейно заботился о его здоровье, избавил последнего от всякого предубеждения, которое он мог питать против рыцаря.

Действительно, трудно представить, как религиозно настроенный лорд Верховный судья мог испытывать предубеждение против галантного старого джентльмена, потерявшего голос от "гоготания" (его людей), "и пения гимнов".

Храбрец! Не может быть и речи о его храбрости. И если он действительно немного зарвался дома и немного нагрубил слабостям хозяйки и других дам, которых он еженедельно зазывает замуж и которые находят его галантность и дерзкие обещания неотразимыми, он всегда готов к службе. Он не рассчитывает на бессрочное отсутствие в местах опасности. Если он вел свою роту из трехсот с половиной человек на смерть и сам вышел невредимым, он ни в коем случае не готов слоняться по городу, бездействуя до конца кампании. Когда его назначают в опасное предприятие с принцем Джоном Ланкастерским, он просто замечает, с самодовольством, которое, несомненно, оправдано правдой: "Ни одно опасное действие не может высунуть голову, но я на него нацелен. Что ж, я не могу продержаться вечно"; и, пристегнув это замечание к сатирическому остроумию, которое он направляет на лорда верховного судью, он бодро отправляется выполнять свою миссию, с подагрой в пальце ноги и кошельком не более семи крупов и двух пенсов. Перед отъездом он буянит и буйствует в "Кабаньей голове", но, похоже, ничего более неблагоприятного не произошло, чем то, о чем можно услышать в современном клубе, прежде чем какой-нибудь старый морской лев икнет и начнет совершать дерзкие поступки. Кроме того, рыцарь не лицемер, и его не сочтут добродетельным, как многих его современников, если он будет "любезничать и ничего не говорить". С другой стороны, даже в минуты веселой расслабленности он не будет до неприличия шумным. Он может весело ловить рыбу, но, как он говорит вульгарному ростеру: "Пистолет, я бы вел себя тихо". Считалось неприличным, что он ссорится и даже грубо наказывает "древнего", с которым у него были такие интимные отношения. Но такие вещи случаются в лучшем обществе. На знаменитом обеде в Реформ-клубе сэр Джеймс разрешил сэру Чарльзу пойти и начать войну; но с тех пор сэр Чарльз, используя слова, а не рапиры, тычет железом в ребра сэра Джеймса, по примеру Фальстафа и Пистоля.

И вот, как я уже говорил, сэр Джон готовит его к битве. Если в юности он и слушал полночные куранты в компании с мастером Шэллоу, худым, но легкомысленным барристером из Клементс-Инн, он не растратил свою бодрость. И так велика его слава за это и за храбрость, которая сопутствует этому, что не успел отважный сэр Джон Колвилл из Дейла встретиться с ним в одиночном бою, как Колвилл тут же сдался. Сама мысль о том, что такой герой окажется с ним лицом к лицу, заставляет его тут же отдать меч. "Я думаю, что вы сэр Джон Фальстаф, и в этой мысли уступите мне". Был ли когда-нибудь больший комплимент смертному герою?

Об этом достижении принц Джон весьма неблагородно говорит, что оно было скорее следствием любезности Колвилла, чем заслугой Фальстафа. Но, как замечает последний, молодой трезвенник принца не любит рыцаря; и "это не удивительно", восклицает Фальстаф, "он не пьет вина". Заядлый трезвенник тех дней пренебрежительно отзывался о деяниях человека, приумножившего славу своей страны. Он был похож на кислого англо-квакера, свысока оценивающего заслуги крымского солдата. Мы, однако, не заходим так далеко в своем энтузиазме, как Фальстаф, когда он восклицает, что мастерство владения оружием - ничто без мешка. Тем не менее, в этом замечании есть что-то, как и в том, что сэр Джон впоследствии говорит о том, что его ум страдает от общения с тупым Мелким. "Несомненно, - говорит он, - что либо мудрая осанка, либо невежественная повозка передаются, как болезни, одна другой; поэтому пусть люди заботятся о своей компании". Виктор Гюго явно

снизошел до плагиата этого чувства и сказал в одном из своих самых замечательных произведений, что "On devient vieux à force de regarder les vieux".

И, в заключение, как недостойно обошелся с этим галантным солдатом, веселым товарищем и глубоким философом его старый соратник, принц Хэл, ставший королем. Рассчитывая на святость дружбы, сэр Джон занял у мастера Шэллоу тысячу фунтов. Он рассчитывал, что сможет вернуть долг за счет щедрости нового монарха, но когда он приветствует государя - очень некстати, признаюсь, - тот с холодным сердцем и бесстыдной неблагодарностью заявляет, что не знает никогда не забытого оратора. Король Генрих V действительно обещает.

"За компетентность в жизни я позволю вам;

Чтоб отсутствие стонов не побуждало вас к злу".

и уезжает, предупредив, что рыцарь не должен проживать ближе десяти миль от двора и что королевская милость будет восстановлена к изгнаннику, если это позволят его заслуги.

"Поручите вам, милорд, проследить за исполнением нашего слова", - говорит король верховному судье; и Фальстаф, хотя и уязвленный в чувствах, все же не лишен надежды. Но посмотрите, что такое королевское слово или что *такое это* королевское слово! Не успел монарх отправиться в путь, как верховный судья исполняет его, приказывая сэру Джону Фальстафу и всей его компании быть в строгой тюрьме на флоте! Великий сановник делает это с таким же торопливым ликованием, с каким, как мы можем предположить, лорд Кэмпбелл оказал бы ту же услугу мисс Агнес Стрикленд, когда та обвинила судью в краже ее рассказа о королеве Элеоноре Прованской.

Как бы то ни было, королевская неблагодарность разбила гордое сердце сэра Джона. Он лег в постель и больше никогда не улыбался. "Король убил его сердце", - смело заявила дама Квикли в то время, когда подобное утверждение могло стоить ей свободы, а то и жизни. Как назидателен был и его конец! Он не "лепетал о зеленых полях". Мистер Кольер доказал это, к удовлетворению всего Эксетер-Холла, который считал бы такие легкие разговоры пустяком. Но он умер, выступая против "вавилонской блудницы", что должно заставить его найти расположение даже у доктора Камминга, ибо это доказательство протестантизма рыцаря, и "Если бы я был с ним", - восклицает честный лейтенант Бардольф с большей искренностью, чем благоговением, - "Если бы я был с ним, где бы он ни был, на небесах или в аду". Если в этих словах звучит сквернословие, давайте вспомним о низком образовании и тяжелой жизни того, кто их произнес. Еще больше сквернословия и страшного богохульства было в утверждении князя Меншикова после смерти царя Николая, а именно: "Что его покойный августейший господин может быть виден на небе благословляющим свои армии на пути к победе!" Решительно, я предпочитаю Бардольфа Меншикову, а Фальстафа - обоим.

Мне жаль, что у королевы Елизаветы хватило дурного вкуса попросить Шекспира изобразить "влюбленного Фальстафа". В результате получился всего лишь адельфийский фарс в пяти действиях, в котором автор, в конце концов, сделал рыцаря гораздо более респектабельным, чем этот жалкий дурак Форд. Сами "жены" не намного сильнее в добродетели, чем Доротея из Истчипа, если только сам сэр Джон не ошибся в них. О миссис Форд, которая держит в руках кошелек мужа, он говорит: "Я могу понять действие ее привычной манеры", и довольно ясно рассказывает нам, что это была за манера. Когда он пишет миссис Пейдж, он замечает общую симпатию, которая есть у обеих, в словах: "Вы любите мешок, и я тоже". Жены, надо

сказать, из чистого озорства искушали старого галантного солдата. В их присутствии он перестал сквернословить, восхвалял женскую скромность и так чинно и благовоспитанно упрекал всех в неопрятности, что миссис Пейдж, возможно, подумала, что питье мешка и фамильярное общение с миссис Форд не соблазнят его на галантность по отношению к ним. Такое следствие *действительно последовало*; и тогда пылкие жены, вместо того чтобы отчитывать своих нелепых мужей, пришли к выводу, что "лучший способ - развлекать его надеждой", пока его злобный огонь не "растопит его в собственном жиру". Опасный процесс, дамы, не сомневайтесь!

А потом, каким жалким проклятием был тот мастер Форд, который поставил Фальстафа на путь соблазнения собственной жены! Если бы все закончилось иначе, чем получилось, найдется ли в Готэме хоть один присяжный, который присудил бы Форду разлуку за фартинг. Фальстаф бесконечно более утончен, чем Форд или Пейдж. Ни один из них не смог бы произнести таких искрометных комплиментов, какие рыцарь делает даме. "Пусть двор Франции покажет мне такую другую! Я вижу, как ваши глаза могли бы подражать бриллианту; у вас такой изгиб бровей, который идет корабельной шинели, шинели-валику или любой шинели венецианского привоза!" Вот это проза Анакреонта! И если говорящий в ней мог провиниться однажды, он не заслуживал того, чтобы его снова соблазняли надеждой на большее наказание, чем то, которое он претерпел за свой первый проступок.

Ведь одна из главных особенностей Фальстафа - это его собственное чувство кажущейся привлекательности. Когда он едва не утонул, будучи выброшенным из корзины в реку, его не покидала тревожная мысль: как отвратительно он будет выглядеть, если раздуется, как гора мумии! Мантелини мистера Диккенса позаимствовал у Фальстафа это отвращение к "разморенному сырому телу". Это *неприятно*!

И снова сэр Джон, хотя и мог ошибаться, все же стыдился своего проступка. Иначе разве признался бы он, рассказывая о том, как мучили его насмешливые феи: "Три или четыре раза мне приходила в голову мысль, что это не феи, но *вина моего ума*, внезапное удивление моих сил довели грубость надувательства до принятого убеждения". Как изысканно это сказано! Как это возвышает рыцаря над широким фарсом большинства других персонажей! Как бесконечно превосходит он двух болванов-мужей, которые, выслушав признание в намерении оскорбить честь своей жены, приглашают его провести веселый вечер в компании с собой и дамами. И вот они...

"Все расходятся по домам,

И посмейтесь над этой забавой у ветреного костра,

Сэр Джон и все остальные".

Это можно счесть слишком грубым для вероятности; но еще хуже дело обстоит в памяти наших еще живых отцов. На такой памяти было дело, рассмотренное сэром Элайджей Импеем, где ответчиком был Талейран, против которого муж подал иск, что великий государственный деятель лишил его жены. Дело дошло до обычного разбирательства, и через несколько недель после этого истец, ответчик, судья и дама вместе обедали в резиденции принца в Париже.

Из всех сценических Фальстафов Куин, по общему мнению, должен был быть лучшим, если только в нем было достаточно кларета, а в доме - переполненная публика. Чарльз Кембл, по моему глубокому убеждению, должен был быть худшим из сценических Фальстафов. По

крайней мере, увидев его в этом образе, я могу со всей ответственностью утверждать, что не могу представить себе более бедного сэра Джона. Он хорошо одел персонажа, но что касается его "вкуса", то это как если бы у вас было две устричные раковины, *минус* жирная и сочная устрица. Какая плеяда актеров блистала или пыталась блистать в этой радостной, но трудной роли! Во времена Карла Второго Картрайт и Лейси своей игрой в первой части "Генриха IV" сделали Шекспира популярным, когда мода при дворе была против него. Беттертон исполнил ту же роль в 1700 году на Линкольнс-Инн-Филдс и Хеймаркете. Четыре года спустя он сыграл Рыцаря в "Веселых женах"; а в 1730 году в Друри-Лейн он и Миллс исполняли эту роль поочередно, и вызвали бурные разногласия среди зрителей по поводу их соответствующих достоинств.

Как ни популярен был Беттертон в этом образе, после того как он стал слишком крепким для более молодых героев, его манера играть его не была оригинальной; и его подражание было подержанным. Бен Джонсон видел, как его играл в Дублине каменщик Бейкер. Ему так понравилось представление, что по возвращении в Лондон он описал его манеру Беттертону, который, как обычно, послушный и скромный, признал, что концепция каменщика лучше его собственной, и, соответственно, перенял манеру ирландского актера.

Четвуд не рассказывает нам, как играл Бейкер, но показывает, как он учился, а именно на улицах, не обращая внимания на людей, которые работали под его началом. "Однажды двое из его людей, недавно пришедших к нему и незнакомых с его привычками, наблюдая за его лицом, движениями, жестами и разговорами с самим собой, решили, что их хозяин сошел с ума. Бейкер, увидев, что они отвлеклись от работы, чтобы поглазеть на него, поспешно велел им заняться своими делами. Парни снова принялись за работу, но по-прежнему не сводя глаз с хозяина. Бейкер репетировал роль Фальстафа; и когда он дошел до сцены, где сэр Уолтер Блант должен был лежать мертвым на сцене, он взглянул на одного из своих новых пажей и, не сводя с него глаз, пробормотал достаточно громко, чтобы его услышали: "Кто у нас здесь? Сэр Уолтер Блант! Это честь для вас". Парень, который стоял, тут же поднялся, и с помощью своего товарища, связавшего беднягу Бейкера по рукам и ногам, и при содействии других людей, не более мудрых, чем они сами, они понесли его домой в таком состоянии, а за ними по пятам шла большая толпа".

Фальстаф Эсткорта был плоским и пустяковым, но с определенной долей остроумия. Фальстаф Харпера был трогательным, но низким и грубым. Фальстаф Эванса, кажется, был в амурных сценах так же оскорбителен, как Даутон в "Майоре Осетре"; и юмор был неуместен. Соответственно, когда мы читаем у старого Энтони Астона, что "Беттертону нужны были плутовство Эсткорта, веселость Харпера и распущенность Джека Эванса", мы склонны думать, что его Фальстаф был ничуть не хуже от этого испытания желаний.

На протяжении всего восемнадцатого века этот персонаж не испытывал недостатка в блестящих актерах. В первой части "Генриха IV" Миллс сыграл персонажа в Друри в 1716 году. До этого Бут сыграл его на один вечер в присутствии королевы Анны. Буллок заполнил им театр Линкольнс-Инн-Филдс в 1721 году. Куин в 1738 году играл этого персонажа в двух частях "Генриха IV" в течение нескольких вечеров подряд, а восемь лет спустя его Фальстаф привлек толпы зрителей в "Сад". Барри играл его в Друри в 1743 и 1747 годах; но Барри был скучен и лишен импульса, как школьник, повторяющий задание. В 1762 году эта роль в Друри перешла к Йейтсу, для которого пьеса была выпущена в свет, причем персонаж Хотспура был опущен! Чтобы придать больше значимости нашему рыцарю, одна сцена была опущена. Публика не одобрила этот план, и в том же году Лав, прославленный Черчиллем за его юмор, впервые появился в Друри в роли сэра Джона, когда Холланд, пекарь из Чизвика, играл Хотспура с благовоспитанной теплотой. Добавлю, что хотя Квин собрал огромные

залы, но когда Харпер, несколькими годами ранее, играл ту же роль в Друри, с Бутом в роли Хотспура, Уилксом в роли Принца и Киббером в роли Глендауэра, совокупное превосходство собирало такие же большие залы в течение гораздо более длительного периода. Так что "Фальстаф" Харпера, хотя и уступал "Фальстафу" Куина, был, как было замечено, более заметен, но менее любим горожанами. Шутер сыграл его почти слишком "весело" в Гардене в 1774 году. Но все остальные Фальстафы на время исчезли, когда Хендерсон, хотя и не обладавший физическими данными для этой роли, поразил город своим "стариком из замка" в 1777 году на Хеймаркете, а два года спустя восхитил их в Ковент-Гардене. В этом же театре, восемь лет спустя, Райдер достойно сыграл принца Уэльского в постановке Льюиса; а в 1791 году, когда труппа Друри-Лейн играла на Хеймаркете, Палмер представлял Фальстафа, а Джон Кембл - Хотспура. В 1792 году Кинг попробовал себя в роли рыцаря в том же "Маленьком доме", но Кинг, каким бы умным он ни был, физически не мог изобразить Фальстафа, и вскоре перестал претендовать на это. Следующим представителем был худший из тех, кого еще видел мир, а именно Фосетт, который впервые попробовал его в Гардене в 1795 году. Блиссет появился в ней в 1803 году и также исчез. С этого времени ни один новый актер не пробовал себя в роли сэра Джона в первой части "Генриха IV" до 1824 года, когда Чарльз Кембл заставил Призрака Шекспира сильно поволноваться, исполнив роль, для которой он был совершенно непригоден. Однако он продолжал упорствовать, но успех Эллистона в этой роли, два года спустя, решил вопрос о достоинствах двух исполнителей в пользу Роберта Уильяма, так же эффективно, как Гризи показал городу, что существует только одна Норма, сыграв ее в ночь после рокового покушения на друидессу, совершенного Дженни Линд.

Череда актеров, представлявших Фальстафа во второй части "Генриха IV", была столь же блестящей, как и череда вышеупомянутых представителей. Через десять лет после Беттертона и Миллса, в 1720 году, у нас появился Харпер, и несколько необычно, что когда Миллс передал Фальстафа Харперу, тот взял на себя роль короля. Два года спустя Хьюлетт сыграл ее в Ковент-Гардене; а еще через два года Квин довел Друри до экстаза своим весельем. Он удерживал эту роль, не имея реальных соперников, и пятнадцать лет спустя, в 1749 году, он был столь же привлекателен, как и прежде, в этой части рыцарского характера, в Ковент-Гардене. Шутер сменил его в этом театре в 1755 году, а в 1758 году весь Лондон, то есть лондонские зрители, снова спешили в Друри, чтобы увидеть живого и *очень* старого Фальстафа Вудворда, играющего короля Гаррика. Нельзя сказать, что Сад нашел более эффективное средство привлечения публики, когда Шутер снова представил сэра Джона в Саду в 1761 году, причем роли Мелкого и Молчаливого были опущены! Однако цель состояла в том, чтобы сократить пьесу, а основное внимание было приковано к коронационному представлению, в конце, в честь молодых короля и королевы, которые были вполне достойны оказанной им чести.

Лав и Холланд, игравшие Фальстафа и Хотспура в Друри-Лейн в 1762 году, играли рыцаря и принца Уэльского в том же доме два года спустя. Через девять лет после этого Гарден нашел принца в лице миссис Лессингем, Шутер играл для нее Фальстафа, но пародия на прежнего персонажа была лишь в малой степени менее бессвязной, чем та, которую сделала миссис Гловер в нынешнем веке, которая раз, если не два, сыграла толстого рыцаря для собственной выгоды. В течение следующих восьми или девяти лет лучшим Фальстафом, которым располагал Лондон, был Хендерсон. Он играл эту роль сначала в Друри, а затем в Ковент-Гардене. После Куина не было лучшего представителя сэра Джона; и даже Палмер в 1788 году не смог заставить город отказаться от верности "восхитительному Хендерсону".

Фальстафы нынешнего века во второй части этой исторической пьесы не добились большего триумфа, чем Хендерсон. Кук, сыгравший тучного кавалера в 1804 году, не был достоин этой роли; а Фосетт в 1821 году, когда пьеса была возрождена, с очередным коронационным представлением в честь Георга IV, был еще дальше от успеха, чем Кук. Менеджеры в этот период оказались мудрее тех, кто "поднял" пьесу в период воцарения Георга III, поскольку они сохранили Мелкого и Молчаливого, и никогда эти прославленные двое не были так неподражаемо представлены, как в этот раз Фарреном и Эмери.

Главными Фальстафами "Виндзорских веселых жен" являются Беттертон (1704), Хьюлетт (1732), Куин (1734), Делейн, молодой ирландский актер (1743), которому Гаррик имел глупость завидовать; Шутер (1758), Хендерсон, который впервые сыграл его на Хеймаркет в 1777 году, и Ли Льюис в 1784 году. Бартли, Фелпс и умный провинциальный актер, живущий сейчас в Лондоне, по имени Бартлетт, также играли этого персонажа с большим эффектом. Фальстаф последнего из названных актеров особенно хорош.

Я уже говорил, что Куин был величайшим из Фальстафов, но *величайшим* в физическом понимании этого термина, несомненно, был Стивен Кембл. Этот актер родился почти на досках. Его умная, но не очень мягкосердечная мать только что закончила представление "Анны Буллен" в амбаре или чем-то похожем на него в Кингстауне, Херефордшир (1758), когда родился Стивен, примерно в тот период, когда, согласно действию пьесы, принцесса Елизавета должна была впервые увидеть свет. Когда Стивен достиг зрелого возраста, он весил столько же, сколько все его сестры и братья вместе взятые; 7 октября 1802 года он появился в Друри в образе Фальстафа. Это случилось почти через двадцать лет после того, как он *дебютировал* в Лондоне, в Ковент-Гардене, в роли Отелло. Баннистер-младший предварил свое выступление в роли спутника принца Хэла несколькими шутивными репликами, подтрунивая над тяжеловесностью актера. Поскольку Поуп играл Хотспура, я должен был предположить, что если Поуп тогда был похож на того, кем он стал пятнадцать или шестнадцать лет спустя, то Хотспур был даже тяжелее, чем сэр Джон. Упомянутые реплики были признаны остроумными, и я завершу свой рассказ о главных актерах, изображавших рыцаря, воспроизведя их.

Фальстаф здесь сегодня, природой созданный,

Оказывает вашему любимому барду свою почетную помощь;

Он не человек в бакраме, он не набивной снаряд,

Ни пуховой перины, ни подушки!

Но все честные плоть, кровь и кости,

И весом, больше или меньше, около тридцати стоунов.

На северном побережье мы случайно поймали его,

И сюда, в ширококолесную повозку, привезли:

Ведь в фаэтон варлет не мог войти,

И ни один почтовый каретник не решился бы на такую поездку.

Благословенный громоздкостью, он, по крайней мере, размером

Найдет благосклонность в глазах любого критика.

И если его юмор и мимическое искусство

Должны быть пропорциональны его внешнему облику,

Как однажды было сказано о Маклине в "Еврее",

"Это тот самый Фальстаф, которого нарисовал Шекспир".

Вам, сдержанно, он велит мне сказать,

Если вы одобрите, то можете приказать ему остаться,

Чтобы еще день здесь валяться и кичиться.

Если нет, он оставит свой мешок лучшим людям,

И отправится, как балласт, на судне.

Завершая этот раздел моих сплетен, добавлю, что предположение о том, что Шекспир намеревался представить сэра Джона Олдкасла под именем сэра Джона Фальстафа, - *всего лишь* предположение. Оно так и не получило удовлетворительного подтверждения. Гораздо иначе обстоит дело с галантным валлийским оруженосцем *Флюэллином*. Оригиналом этого персонажа был некий Дэвид Гэм из Брекнока, который, убив кузена с непроизносимым именем на Хай-стрит Брекнока, избежал возможных неприятных последствий, присоединившись к партии ланкастерцев. *Гам* - всего лишь прозвище, связанное с косоглазием смелого и спорного Дэвида. Настоящее имя было Ллевеллин; и если Шекспир замаскировал это прозвище, то, скорее всего, из соображений деликатности, поскольку потомки героя были хорошо известны и уважаемы при английском дворе во времена Шекспира. Джонс в своей "Истории Брекнокшира" так идентифицирует личность, о которой идет речь: "Я назвал Флюэллина бурлескным персонажем, потому что его придирки и подначки, которые обычно превзойдены, звучат смехотворно как для английского, так и для валлийского уха; но, в конце концов, Ллевеллин - храбрый солдат и честный человек. Он вступает в значительную близость с королем и пользуется его добрым мнением, что является веским доказательством, несмотря на то, что Шекспир, желая скрыть свою цель, описывает смерть сэра Дэвида Гэма, что он имел в виду Дэвида Ллевеллина под своим портретом вспыльчивого валлийца, поскольку в английской армии не было другого человека из этой страны, который мог бы быть в таких близких отношениях с королем". Примечательно, что потомки валлийского рыцаря впоследствии отказались от старого гордого имени, в котором было больше букв "л", чем слогов, и приняли односложный *субрикет*. Косоглазый Дэвид, который так хорошо сражался при Азенкуре, сбил бы с ног любого, кто осмелился бы обратиться к нему лично как "Гам", то есть "дичь", или "петушиный глаз". Его потомки оказались менее восприимчивыми; и мистер Джонс говорит о них в порыве меланхолии по поводу павшего величия: "В разные периоды между 1550 и 1700 годами я видел потомков героя Азенкура (который жил как волк и умер как лев) во владении каждым акром земли в графстве Брекнок; в начале восемнадцатого века я нахожу одного из них обычным посыльным города Брекнок, а перед заключением - еще двух, которых содержат жители прихода, где они проживают; и даже имя Гам в законной линии вымерло". Мистер Джонс мог бы утешить себя, вспомнив, что, когда Гамы уходили, Кемблы приходили, и что прославленная Сара своим рождением удостоила чердак публичного дома "Баранье плечо", стоявшего на улице, где рыцарственный, но косоглазый Дэви зарубил своего кузена с непроизносимым именем.

Джон Кембл иногда допускал неоправданные вольности по отношению к Шекспиру. Когда он ставил "Виндзорских веселых жен" в Ковент-Гардене в апреле 1804 года (где он играл Форда в роли Фальстафа Кука), он по незнанию или по преступной небрежности лишил сэра Хью Эванса его рыцарского титула. Бланшар был объявлен как "Хью Эванс", без сэра. Хокинс, цитируя Фуллера, говорит, что "в древности в Англии было больше сэров, чем рыцарей"; и, как я уже заметил на другой странице, односложное Sir было общим как для священнослужителей, так и для рыцарей. К первым, впрочем, только по вежливости, когда они достигали степени бакалавра. В "Новой хитрости, чтобы обмануть дьявола" Энн говорит своему сиру: "Нет, сэр", на что отец отвечает: "Нет, сэр!"

"Сэр, нет, сэр! Я не рыцарь и не церковник".

Но Джон Кембл был комплиментарен к Шекспиру по сравнению с бедным Фредериком Рейнольдсом, который превратил "Виндзорских веселых жен" в оперу в 1824 году; и хотя Даунтон не пел Фальстафа, как впоследствии сделал Лаблаш, две жены, представленные мисс Стивенс и мисс Кьюбитт, вместо того чтобы быть веселыми в прозе, воют и придают популярность "I know a bank". В лучшем случае Фентон - просто безразличная роль, но Брэхем заставил сделать ее особенно нелепой. Гринвуд написал сцену, изображающую Виндзор под *сияющим летним небом*, в которую вошел Фентон (Брэхем) и заметил, очень похоже на Шекспира: "Как я люблю это место, где дорогая Энн Пейдж часто встречала меня и признавалась в любви! Ха! Мне кажется, *небо пасмурное*, да и ветер дует, как будто приближается буря. Что ж, пусть дует! Я готов смело противостоять его ярости". После этого оркестр начал симфонию, а мистер Брэхем, согласно утвержденному тогда плану, поднялся на сцену, прежде чем начать свою знаменитую песню "Дуй, дуй, *зимний ветер!*". А веселые Фальстаф и Форды ждали такой ерунды!

Раз уж мы заговорили о рыцарском происхождении шутовских рыцарей сцены, позвольте упомянуть, что джонсоновский Бобадил, как говорят, был назван в честь рыцаря из армии герцога Алвы, покорявшего Нидерланды под деспотизмом Филиппа II, если не основан на нем. Согласно Страде, после победы при Гизене, близ Монса, в 1570 году Алва отправил капитана Бобадилью в Испанию, чтобы сообщить Филиппу о триумфе его оружия. "Показной характер послания, а еще больше - человека, который его принес, послужил причиной того, что это имя стало применяться к любому тщеславному хвастуну". Род Бобадилла был очень знатным, и вряд ли можно предположить, что в нем был кто-то, кто хоть чем-то напоминал бы джонсоновского разбойника. С другой стороны, был Боабдил, последний султан Гранады, который в ранние годы действительно славно потрудился на поле брани, но в конце концов расплакался, как ребенок, потеряв Гранаду, которую он не смог защитить. Но было бы несправедливо даже по отношению к сыну Мули Абеля Хасана считать, что Джонсон взял его имя только для того, чтобы отличить от рыцаря огромных слов и оружия, который поселился у Оливера Коба Водоноса.

С другими рыцарями-степняками, которых мне предстоит назвать, я познакомлю читателя в следующей главе.

РЫЦАРИ СЦЕНЫ.

"Сцена и актеры не столь презрительны.

Как каждый пуританин-новатор,

И невежественный клятвопреступник, из ревнивой зависти,
хотел бы представить мир" - Джордж Чепмен.

В Содружестве не было ни восхищения сценой, ни терпимости к актерам. Когда театральные постановки вновь поднялись, сцена взяла реванш, и редко кто из пуритан не был плутом. Пример тому - старая пьеса под названием "Пуританин, или Вдова с Уотлинг-стрит". "Хочешь украсть у меня цепь твоего хозяина?" - говорит капитан Айдл Николасу Сент-Антлингу, слуге-пуританину. "Украсть цепь моего хозяина!" - ответил Николас; "Нет, никогда не будет сказано, что Николас Сент-Антлинг совершил птичий полет. Все остальное, что я могу сделать, - добавляет казуист в саржевом камзоле, - если бы речь шла о том, чтобы ограбить, я бы сделал это; но я не должен красть, вот слово, буквальное слово: *"Ты не должен красть"*"; и вы хотите, чтобы я украл тогда?" "Нет, вера, - отвечает ученый Пайборд, - это было бы слишком; но не хочешь ли ты взять у него это?" На что честный святой Николай, так старательно соблюдающий букву закона и так небрежно относящийся к его духу, с готовностью отвечает: *"Так и сделаю!"*

На другой странице я уже говорил, что насмешки особенно часто обрушивались на некоторых из тех, кого Оливер любил чествовать. Уже в эпоху сэра Джорджа Этереджа мы видим "одного из рыцарей Оливера" в роли шута в комедии этого тонкого джентльмена "Комическая месть". Вряд ли можно отнестись с уважением к тому времени или к преобладающему вкусу, что театр в Линкольнс-инн-Филдс менее чем за месяц заработал тысячу фунтов на этой комедии; и что труппа приобрела благодаря ей больше репутации, чем благодаря любой предшествующей пьесе, представленной на той же сцене. Сюжет рассказан скоро. Два прекрасных и не очень распутных джентльмена, лорд Бофорт и полковник Брюс, влюблены в довольно изысканную леди Грасиану. Лорд завоевывает даму, а философствующий солдат принимает некую Аурелию, которая обладает исключительным достоинством - она влюблена в полковника. Герой второго плана - "рыцарь Оливер". Это сэр Николас Калли, у которого два джентльмена-заточника, Ухедл и Палмер, обманом выманили вексель на тысячу фунтов. *Sir Nicholas is partly saved by the gay, rather than moral, Sir Frederick Frolick.* Последний возвращает вексель, но выдает свою любовницу за сестру сэра Николаса и склоняет его к женитьбе на ней. Разница между точильщиками и "рыцарем баронетом", сэром Фредериком, только в этом: Уэдл переодет свою любовницу Грейс во вдову Рич, а сэр Николас обязался жениться на ней под определенными условиями, к которым его принудили Уэдл и его друг. В заключение сэр Фредерик женится на Вдове, чтобы обязывать даму, которая ему нравится, и занавес опускается на обычные непристойные шутки и следующую нелегкую и метрическую сентенцию: - *"On what small accidents are Fidow Rich"*.

"От каких мелких случайностей зависит наша судьба,

И только случай, а не благоразумие, делает нас удачливыми".

Что оба Беттертона сделали из лорда Бофора и Грасианы, я не берусь сказать, но Ноукс, как говорят, был "кричаще фарсовым", если воспользоваться эквивалентной современной фразой, в сэре Николасе Калли. Его преемник, Норрис, не дотягивал до великого оригинала в широком юморе, но самого Ноукса превзошел Доггет, сыгравший "рыцаря Оливера" со всем тем комическим эффектом, который он придал тогдашней низкопробной комедийной роли Шейлока. Для меня необъяснимо, как актер мог вызвать смех у публики над всем, что он должен был сказать или сделать, исполняя роль "Кавалера Содружества". Здесь нет ни одной юмористической речи, ни одного остроумного замечания, ни одной комической ситуации, из которой кавалер мог бы извлечь выгоду. Однако в 1664 году люди могли от души посмеяться, увидев, как одного из рыцарей Протектора обманывают и избивают на сцене.

Рыцарь представлен как измученный жаждой пьяница, "еще более сухой за вчерашнее купание", с большим желанием нападать на дам кавалеров, чем на самих кавалеров, и без всякой неохоты обмануть любого человека, который возьмется бросить с ним кость в кости. Однако он с большой неохотой оплачивает свои потери, когда неосознанно попадает в руки большего плута, чем он сам, и телесно заявляет.

"Я был сумасшедшим, если играл по такой ставке,
если бы я собирался платить".

Ему не хватило смелости принять результаты такого заявления и встретить своего антагониста на конце рапиры. Его, как и Акраса, подводит к цели уверенность в том, что его противник - явный трус. Сцену "Поле" стоит привести частично, поскольку она не только иллюстрирует дух рыцарства, вменяемый рыцарям Оливера поэтами-кавалеристами, но и, возможно, служит доказательством того, что, когда Шеридан сел за свой стол на Орчард-стрит, Портман-сквер, чтобы свести Акриса и Беверли в смертельной схватке, перед ним, вероятно, была копия пьесы Этерега - или память о ней была сильна в нем.

На сцену выходят Уэдл и Калли.

W. Почему ты такой серьезный?

C. Мне жаль, что я не предусмотрел обе наши безопасности.

W. Как это?

C. Полковник Хэнсон - мой сосед и очень хороший друг. Я мог бы познакомить его с этим делом и попросить его с отрядом мушкетеров обезопасить нас всех.

W. Но это не обеспечило бы вашей чести. Как бы рассудил мир.

C. Пусть мир судит, что хочет! Разве в последнее время не было много прецедентов? И мир не знает, что судить.

Здесь можно заметить, что сэр Николас, как можно предположить, ссылается на таких людей, как Ганс Бэр, который имел большое пристрастие к обстрелу своих противников печатными листовками, которые в ответ называли его "*полтруном*". В Британском музее хранятся несколько плакатов, относящихся к этому вопросу, которые прекрасно демонстрируют осторожность словесников и дух фехтовальщиков того времени. Но продолжим. Калли, заметив, что его противник не прибыл, намекает, что его собственный долг выполнен и что он "уйдет", тем более, говорит рыцарь, что "воздух так мрачен, что я больше не могу его выносить".

W. Наберитесь терпения. Кажется, я вижу, как двое направляются к нам в соседнем квартале.

C. Где? Где? Это они!

W. Держись мужественно, как мужчина.

C. Я протестую, что в подобных случаях я самый плохой разглашатель.

W. Аллонс! Выглядите как решительный человек. Куда, куда вы идете?

С. В соседний дом, чтобы составить завещание, опасаясь худшего. Скажите им, что я скоро приду.

Предусмотрительный рыцарь, однако, задерживается, и при втором появлении Палмера и того джентльмена мечи меряются, "и все раздеваются, кроме Калли, который возится со своим дублетом".

Р. Идемте, сэр! Вы готовы к этому виду спорта?

С. К слову, сэр. Я не стану отрывать пуговицы от своего дублета ради чужого удовольствия.

И вот "рыцарь Оливера" продолжает тянуть время; его не могут ни уколоть, ни заставить действовать; в конце концов, умоляя, что совесть не позволит ему сражаться за неправоное дело, он покупает целую шкуру по цене векселя на тысячу фунтов.

Я уже говорил, что для актера, изображающего сэра Николаса, не существует комической ситуации, но сцена, из которой взяты приведенные выше отрывки, может, пожалуй, стать исключением из правила. То, что Шеридан извлек из нее пользу, станет ясно любому читателю, который возьмет на себя труд сравнить эту сцену с боевой сценой в "Соперниках". Последняя гораздо богаче юмором, и хотя нас мало волнует, что станет с сэром Николасом, мы должны сожалеть, что с беднягой Акресом случится беда - хотя он предпочитает сражаться на расстоянии сорока шагов, готов встать боком, чтобы в него стреляли, чувствует, что ужасно испугается, если останется один, и признается, что доблесть сочтется из его ладоней, когда в поле зрения появляется его противник с пистолетами на двоих.

Сэр Николас снова в духе, когда занимается любовью с той, кого считает женщиной с большим состоянием. Тогда ни один кавалер не мог соперничать с ним в изысканности. "Клянусь, - говорит он, - мне было по меньшей мере шестнадцать брокеров, прежде чем я смог в точности соответствовать моде". Но, несмотря на все это, он снова становится бездельником, когда его призывают войти и обратиться к той, которая с нетерпением ожидает ухаживаний. "Пойдемте!" - восклицает он, - "я пойду в таверну и проглочу целых две кварты вина в один миг; а когда напьюсь, поеду на спине ямщика, чтобы навестить ее". Уэдл предлагает "для начала поменьше резвиться": "Тогда, - говорит рыцарь, - я вырежу три ящика над паштетом и поеду с кабацким ланторном перед собой в полдень" - именно так, как это было принято делать у безумных галантов.

Спиртные напитки не привели рыцаря Оливера в приличное состояние, так как, предлагая здоровье "сестре милорда", он делает это в элегантной форме: "Вот ей и всем блохам ее"; предлагает разбить окна, чтобы показать свой дух, и в присутствии самой дамы восклицает: "Я пришел напиться, чтобы вы видели меня пьяным, и вот здоровье вашей фланелевой кофточке". Последнее замечание служит доказательством качества рыцаря, ведь когда пылкий джентльмен пил за пылкую даму, в сущность вежливых манер входило процедить вино через то, что Честерфилды и миссис Чапонес того времени, если бы таковые нашлись, не постеснялись бы назвать "своими плавками".

Но хватит о том, как на сцене представлен "один из рыцарей Оливера". Он не хуже придворных и джентльменов, у которых он выманил деньги и жену. Да что там, почти последняя фраза, вложенная в его уста, по крайней мере, является комплиментарным свидетельством в пользу той стороны, на которой сэр Николас является лишь недостойным членом. "Если я это узнаю, - замечает он, - я пропал. Я буду смешон даже для нашей собственной партии". Читателю, вероятно, не нужно напоминать, что до того, как Этеридж

нарисовал Кюлли, Джонсон изобразил Сольярдо, и что последний, в самом духе рыцаря Оливера, замечает: "Мне не нравится юмор вызова; он может быть принят".

Начиная примерно с середины XVII века и почти до середины следующего столетия на сцене нередко появлялись рыцари в качестве героев новых пьес. После "Комической мести" больше всего денег в театральную казну принесла "Сэр Мартин Мар-алл", адаптация Драйдена из "Этурди" Мольера. Такие адаптации были в моде, и герои французского автора неизменно становились рыцарями при переходе на английскую сцену. Так было с "Сэром Соломоном, или Осторожным Кокскомом", адаптированным Кариллом из "Школы женщин" Мольера. Того же мнения придерживалась миссис Бэн, когда перенесла мольеровскую "Злодейку-имажинистку" на сцену Дорсет-Гарденс и превратила *Аргона в сэра Терпеливого Фэнси*. Один из персонажей этой невыносимо непристойной пьесы наставляет даму городского рыцаря, как распределять свое время в соответствии с модой, установленной "качеством". "С восьми до двенадцати, - говорит он, - вы должны заниматься одеванием. До двух - ужином. До пяти - на визиты. До семи - на спектакле. До девяти - в парке, а в десять - на ужин с возлюбленной".

В "Сэре Барнаби Уиге, или Нет остроумия лучше женского", одной из комедий Д'Урфея, поставленной в 1681 году, мы снова имеем героя, который описывается как один из рыцарей Оливера. Пьеса явно партийная, и автор в прологе замечает,

"То, что он теперь знает обе партии, он превозносит;

По шипению - вигов, а по хлопкам - тори".

Публика в "Королевском театре" во времена Карла II была особенно весела благодаря этой неудачной шутке. Сэр Барнаби представлен как фанатик Кромвеля, который не хочет пить здоровье короля; испытывает агонию ужаса, услышав, что двадцатитысячная армия собирается смести всех мятежников с лица земли; становится предателем; поет комическую песню против круглоголовых; приветствуется как раввин Ахитофел; предлагает перейти в католичество или магометанство; и, наконец, отправляется в Ньюгейт.

В том же году миссис Бэн *получила* своего политического рыцаря, как и Д'Урфей. В более чем обычно развратной пьесе этой дамы "Городская наследница", представленной в Дорсет-Гарденс, ее комическим героем стал сэр Тимоти Трак-алл. Во вступлении она хвастается, что ее пьеса политическая, лояльная, истинно торийская; а поскольку "вигизм стал шуткой", она делает карикатуру на сэра Тимоти, старого, мятежного, оливеровского рыцаря, который держит открытый дом для людей из содружества и истинных протестантов. Ему противопоставлены два рыцаря-тори, сэр Энтони и сэр Чарльз Меривилл, и джентльмен-тори по имени Уилдинг. Однако старый рыцарь из племени вигов - наименее неблагоприятный человек из всех. Рыцари Тори и их друзья - плуты, лжесвидетели и кое-что похуже. Когда их нет на сцене, миссис Бэн не боится рассказать о том, что они собой представляют, *причем* самым простым языком. "D-n the City!" - восклицает учтивый сэр Чарльз. "Ай, ай!" - добавляет его дядя, сэр Энтони, - "и все виги, Чарльз, д-н все виги!" - и так миссис Афра Бэн мстит политическим врагам, к безграничному удовольствию преданных слушателей. Как рыцари вигов устояли против нападков на них в пьесах, прологах и эпилогах - это, как говорит мистер Слик, "осторожность!". Однако факт остается фактом: эти политические пьесы пользовались гораздо большим успехом, чем те, в которых просто сатирически изображались преходящие социальные глупости. Зрители ревели над скучными шутками о рыцарях Оливера, но не испытывали никакого восторга перед рифмованным сэром Геркулесом Буффоном из Лейси.

За одного сценического рыцаря мы, можно сказать, обязаны самому Карлу II. Именно по его подсказке Кроун написал своего "Сэра Кортли Ницца", поставленного в Королевском театре вскоре после смерти Карла. Сэр Кортли упоминает о смерти одного и воцарении нового короля в весьма лестных выражениях: - "Какая нация на земле, кроме нашей, может быть такой?"

"Что за нация на земле, кроме нашей собственной,

не была бы уничтожена такой потерей, как наша?"

Десять веков не было такого королевского достоинства.

Как Англия потеряла и обрела в один странный день".

Из всех комедий, героями которых были рыцари, эта, о сэре Кортли Ницце, дольше всех сохраняла место на сцене. Первоначально героя играл красивый, но незадачливый Уилл Маунтфорт. Киббер играл его на Хеймаркете во времена королевы Анны, в 1706 году, затем в Друри-Лейн, а перед Георгом I - в Хэмптон-Корте. Фут и Киббер-младший, а также Вудворд были там презентаторами галантного рыцаря, а при Георге II. Фут впервые сыграл его в Друри-Лейн, младший Киббер - в Ковент-Гардене в 1746 году, а Вудворд - в 1751 году. Последний из названных актеров долгое время оставался любимым представителем рыцаря-джентльмена, сохраняя этот образ как свой собственный в течение четверти века, и был сменен, но не превзойден в нем, сверкающим Льюисом в Ковент-Гардене в 1781 году.

Сатира на пуритан в этой пьесе носит более утонченный характер, чем в любой другой пьесе того периода; а контраст между опрометчивым и пылким кавалером и осторожным пуританином нарисован очень справедливо. "Пусть я не вижу многих пороков, - говорит Круглоголовый в "Свидетельстве", - мораль здесь ни при чем. У язычников была мораль; и, если уж на то пошло, вы бы хотели, чтобы ваш лакей или ваш кучер был не лучше Сенеки?" Это действительно комплимент к Кромвелям; и лишь добродушный штрих сатиры присутствует в ответе Свидетельства, когда его спрашивают, какое сейчас время суток: "Поистине, я полагаю, что сейчас около четырех. Не могу сказать точно, потому что не солгал бы ни за что на свете".

В других драматических пьесах, героями которых являются рыцари, я не нахожу ничего достойного внимания. Саутеран поставил одну из них под названием "Сэр Энтони Лав" в Королевском театре в 1691 году, чтобы показать миссис Маунтфорт в мужском одеянии.

В восемнадцатом веке рыцари дали название нескольким историческим произведениям, не стоящим упоминания. Единственные исключения едва ли заслуживают большего внимания. "Сэр Джон Кокл при дворе" Додсли заставил наших предков времен Георга Второго смеяться над продолжением "Короля и мельника из Мэнсфилда", а "сэр Роджер де Коверли" стал героем пантомимы в Ковент-Гардене в 1746 году. К этому времени, однако, мода сатириковать живых политиков под рыцарскими именами исчезла. Подробное описание немногих исключений из этого правила лишь утомило бы, возможно, уже утомленного читателя.

До какого низкого состояния могут опуститься рыцарь и сквайр, можно увидеть на примере сэра Джозефа Виттола и капитана Блафа в комедии Конгрива "Старый бэтчелор".

Единственное достоинство этой неблагоприятной пары в том, что, будучи трусами и забияками, они оба немного читали. Капитан погрузился в историю и замечает, что "Ганнибал в свое время был неплохим парнем, надо признать; но, увы, сэр, будь он жив сейчас, он был бы никем, ничем на земле". Сэр Джозеф, рыцарь, *in comitatu Bucks*, тоже

предавался чтению, но более легкому, чем у капитана. Когда галантный капитан пытается не испугаться вида Шарпера и восклицает: "Я готов к нему, и он поймет, что безопаснее было бы разбудить спящего льва", рыцарь замечает: "Боже, если бы он услышал рык льва, он бы дубиной превратил его в осла и его примитивное блеяние. Разве ты не помнишь историю из "Басен Эзопа", Хулиган? Боже, да в баснях Эзопа можно найти хорошую мораль, скажу я вам; и в "Рейнарде Лисе" тоже", - на что развратный капитан может ответить только: "Да ну ее, мораль!", как будто он презирает вымысел в сравнении с историей.

Некоторые из сценических рыцарей - замечательные хвастуны, но крайне скучные ребята. Я не знаю, чтобы в уста кого-нибудь из них вложили столь пылкое замечание, какое великий Гуниадес сделал Ульдерiku, графу Сицилии. Тот попросил о встрече с великим правителем Венгрии. Гуниадес велел ему прийти в венгерский лагерь. Оскорбленный Ульдерик, сильно разгневавшись, ответил, что это ниже его достоинства, так как он происходит из длинного княжеского рода, в то время как Гуниадес - первый из его семьи, кто когда-либо был вознесен до почета. Венгр очень красиво заметил: "Я сравниваю себя не с твоими предками, а с *тобой!*" Это всегда казалось мне в высшей степени драматичным по духу. В рыцарских пьесах, которые ставили на сцене во времена Георга III и которые приводили в неописуемый восторг очень легкорадостную публику, нет ничего и вполнину столь одухотворенного. Хорошо известно, что добродушный государь Англии, хотя и был непритязателен в быту, очень любил показуху в публичных церемониях. Он использовал атрибутику для установки Подвязки со всей энергией и тщательностью озабоченного режиссера. Людям, как правило, не терпелось получить представление о реальности происходящего. Однажды, в предыдущее царствование, они едва не ворвались в банкетный зал, где рыцари проводили праздник, и войска открыли огонь над их головами, чтобы напугать их и заставить разойтись. При Георге III они были более довольны тем, что смотрели на это великолепие через драматическую призму.

В 1771 году, соответственно, великолепие тогдашнего позднего учреждения Подвязки было воспроизведено на сцене в маске под названием "Учреждение Подвязки, или Восстановленный круглый стол Артура". Представление было настолько же хорошим, насколько плохим было произведение. Первое было придумано для того, чтобы принести прибыль менеджерам, второе - чтобы польстить или оказать почтение королю и королеве. Это было одновременно громоздко и комично. Трио духов открыло это восхитительное развлечение, вызвав других духов из всех уголков неба, включая рога луны, для работы по сопровождению автомобиля мужского гения Англии, вероятно, мужа Британии, вниз на землю. Ничто не может превзойти той быстроты, с которой духи и барды эмпирических небес повинуются призыву. Они спускаются вместе с машиной Гения, распевая тяжелый хор, громоздкий, как колесница, которую они помогают "везти вниз", - в котором, не в колеснице, а в хоре, содержится уверенность в том, что

"Блаженство, которое испытывают безупречные патриоты.

Сродни блаженству свыше".

так что мы можем надеяться, хотя и не можем быть уверены, что здесь, внизу, есть несколько человек, которые не лишены сознания о прошлом, предшествовавшем небесам.

Гений - вежливый и воспитанный человек, который, помня о столичных туманах, очень вежливо извиняется перед духами за то, что по его вине они спустились вниз

"В эту более грубую атмосферу на некоторое время".

После таких небесных комплиментов он отправляет их проливать небесное влияние на Виндзор, а сам остается, чтобы немного побеседовать с друидами, "старыми философами Британии", как он их называет. Он добавляет утверждение, которое, вероятно, могло бы поразить Общество антикваров того времени, а именно, что вышеупомянутые друиды...

"Все еще очарованы своими древними местами,

Невидимые для смертных глаз, парят вокруг

Их разрушенных алтарей и священных дубов".

что может объяснить ту свободную гетеродоксию, которой был отмечен период, когда друиды осуществляли эти невидимые влияния.

Гений просит друидов проявить любезность и приехать в Виндзор, где Эдуард основывает орден, и там направить его выбор в сторону членов. Это очень языческая идея, но друиды и барды одинаково восхищены ею; ведь, как замечает Гений, проницательность Эдуарда, его интеллектуальный взгляд, необходимый для очарования

"от тумана

От долгого

Невозмутимого течения процветания".

Языческие жрецы - пламенные патриоты, они с готовностью покидают небеса и отправляются в Англию, считая, что новый порядок может стать средством распространения

"Суверенитет Англии и возведение

Ее монархов в судьи человечества".

Поскольку эта цель не была достигнута, и орден не распространил суверенитет Англии, мы можем логически заключить, что сами друиды вряд ли знали много о предмете, о котором они пели под свои бездуховные арфы. Тем временем первый Бард в басовой песне обращается к южным ветрам с просьбой дуть очень мягко и принести на церемонию установки голубое небо и сладкие запахи.

Затем открывается церемония инсталляции, когда все рыцари уже созданы, кроме сына короля, Эдуарда Черного Принца, который на самом деле не был создан рыцарем при основании ордена. Насколько друидам удалось повлиять на выбор короля, узнать невозможно. Никто не произносит ни слова, кроме королевских отца и сына: а обыденная проза, которую они произносят, не дает нам возвышенного представления о друидическом вдохновении. Сами старые мудрецы, однако, вполне удовлетворены результатом; шумным хором они делают утверждение, которое вполне могло бы напугать архиепископа Кентерберийского, если бы его волновал этот вопрос. Пообещав, что имя принца пронесется сквозь века, они добавляют, что слава будет его зажигать, а добродетель - вдохновлять,

"Пока благословен и благословен,

Властью обладая,

От земли к небу он душу вознесет".

подвиг, который хотелось бы увидеть на полотне прерафаэлитов.

В то время как рыцари должны готовиться к проходу в зал, сцена переносит нас в переднюю часть замка, где собрались толпы сеньоров и верных людей. Первый гражданин, "очень похожий на кита", поет комическую песню, которая, как образец почтения, оказываемого монарху и супруге более четырехсот лет назад, достойна переписи - как по своей образности, так и по синтаксису: - "О, славная установка!

"О, славная установка!

Счастливым народ!

Вы увидите короля и королеву:

Такая сцена!

Доблесть он, сэр;

Добродетель она, сэр;

Которую наши сердца всегда будут завоевывать.

Милое лицо ее,

С такими грациями

Покажет, что в ней живет доброта.

"О, славная установка!

Счастливым народ!

Вы увидите благородных рыцарей:

Очаровательные зрелища!

Перья виляют,

Бархат волочится,

Шлейф, плывущий по земле;

Громко говорят,

Гордая походка,

Кивает, охает, ухмыляется кругом".

Банкет закончился, и более комичные дела, столь же унылые, как и процитированная выше песня, были завершены, король Эдуард выходит в сад, чтобы подкрепиться, и там Гений Англии берет его за руку. Эдуард, к сожалению, так мало знает этого Гения, что смело спрашивает его: "Кто ты, незнакомец?". Мы с неохотой перескажем нашим читателям все, что говорит этот непризнанный Гений в ответ на вопрос короля, но один отрывок можно пересказать, чтобы показать, каким был народный дух в прошлом веке.

"Знайте, что те поступки, которые велики и хороши,

Получают более благородное одобрение от свободных

И всеобщих голосов всего человечества,
Который есть голос Небес, чем голос высших сил,
Самого прославленного акта королевской власти".

Эта максима Гения Англии также показывает, что данный человек не только выдавал прозу за чистый стих, но и украл фразу "Vox populi vox Dei" и попытался сделать ее неузнаваемой путем неопределенного расширения.

О том, что эти настроения не пришлись по вкусу монарху, можно догадаться по тому факту, что он угрюмо пропускает их без комментариев и очень естественно засыпает от того, что с ним разговаривает столь высокопарный Гений. Последний пользуется случаем, чтобы продемонстрировать дремлющему монарху видение будущего Англии, вплоть до эпохи Георга и Шарлотты. Зрелище успокаивает его еще меньше, чем речь, хотя гнетущий экстаз может быть и сладок, и Эдуард приходит в себя, громко восклицая, что

"Это слишком тяжело для человеческих сил".

болтливый Гений снова набрасывается на него с замечательными речевыми оборотами, на которые измученный Эдуард ничего не отвечает. Гений, не желая списать его неразговорчивость на грубость, находит удовлетворительное решение в выводе, что

"Удивление запечатало его губы".

Основатель "Подвязки" не станет провоцировать красноречие небесного гостя, разжимая губы, которые, как предполагается, запечатало изумление, и остаток пьесы остается за Гением и хором, которые объединяются в музыкальном восклицании о том, что царствующий государь Англии - это

"Великое чудо на земле, король-патриот".

и так завершается, под громкие аплодисменты, сценическая история Подвязки, разыгранная в честь великой инсталляции 1771 года.

Настоящая инсталляция была, безусловно, более веселым событием, чем ее театральная подделка. Она состоялась 25 июля. На этой церемонии король возвел в достоинство рыцарей прославленного ордена своих сыновей принца Уэльского и епископа Оснабургского, своего брата герцога Камберлендского с братом королевы герцогом Мекленбургским и принцем Генрихом Брауншвейгским, герцогов Мальборо и Графтона, графов Гоуэра и Альбермарля. Праздник занял весь день. Четыре смертных часа с утра ушло на посвящение в рыцари, после чего государь и капитул вместе отобедали в Георгиевском зале. Пока шел банкет, королева Шарлотта сидела на галерее и наблюдала за происходящим. Она была блестяще окружена, по правую сторону от нее сидела прелестная принцесса Ройал, а по левую - младенец принц Эрнест. Возле каждого королевского ребенка стоял один из братьев Ее Величества. Справа от балдахина, под которым обедал король, стоял длинный стол, за которым сидели все рыцари, на виду у обитателей возвышенных мест и галереи впереди. По окончании первого блюда добродушный монарх решил сделать рыцарем-бакалавром какого-нибудь достойного человека из присутствующих и, выбрав его, доставил огромную радость доброму мистеру Дессаку (клерку чека, принадлежащему к группе джентльменов-пенсионеров). Как только были поданы остальные блюда и банкет завершился, а это произошло не раньше шести-семи

часов, все кавалеры и компания поспешно разошлись по своим комнатам или гостиницам, чтобы одеться к балу, который должен был состояться в Большом гвардейском зале. Когда все гости были в сборе, король и королева вошли в зал около девяти часов. После этого герцог Глостерский станцевал пару менуэтов с парой герцогинь - Графтон и Мальборо. Менуэты продолжались до одиннадцати часов. Никто, казалось, не устал от величественного, грациозного танца, и только в течение последующего часа любая молодая леди, столь же озабоченная, как элегантная американская красавица, которая сказала мистеру Олифанту в Миннесоте, что "жаждет встряхнуть узлы из своих ног", имела шанс побаловать себя своей живостью. За один час - с одиннадцати до полуночи - были исполнены кантри-танцы. Я говорю "исполнили", потому что танцевали только три, и каждый сет обеспечил двадцать минут очень активных упражнений. Едва пробило полночь на замковых часах, как праздничная толпа разошлась, завершив тем самым одно из самых блестящих представлений, которые когда-либо видел Виндзор с тех пор, как Эдуард впервые стал основателем ордена. Если и был какой-то недостаток в удовольствии, которое испытывал король по этому случаю, то он заключался в том, что Уилкс и его дочь были замечены среди зрителей во внутреннем дворе; туда человек, которого король ненавидел, проник по билету, полученному от лорда Танкервиля. Именно в этот период мистер Фокс на несколько дней возродил моду появляться в гостиной в туфлях на красном каблуке. Для публики эти дела были куда комичнее, чем комическая часть "Инсталляции", в которой (если не считать Эдуарда III Эйкина и Геня Англия в исполнении Реддиша) Кинг играл сэра Дингла, придворного дурака, посвященного в рыцари; Парсонс - Ната Нидла, а Уэстон - Роджера. Никогда еще глупый рыцарь не был сыгран актером с таким рыцарским обликом, как Кинг.

Воспользуюсь случаем и скажу, что на торжественных церемониях, подобных вышеупомянутой, четыре наших английских короля были посвящены в рыцари своими подданными. Это были Эдуард III, Генрих VI и VII, а также Эдуард VI. Последний был посвящен лордом-протектором, который сам был уполномочен совершить этот акт по жалованной грамоте за большой печатью. В очень ранний период священники, или, скорее, прелаты, иногда оказывали эту честь по большим общественным поводам. Вестминстерский синод лишил их этой привилегии в 1102 году.

Говорят, что английские рыцари, носящие иностранные ордена без разрешения своего государя, в действительности являются не более рыцарями, чем те сценические рыцари, о которых я рассказывал. Это, однако, сомнительно, если такой великий авторитет, как Кок, не заблуждается. Этот великий юрист утверждает, что рыцарь, кем бы он ни был создан, может судиться и быть судимым по своему рыцарскому титулу, и что это не относится к лицам, имеющим другие иностранные титулы, подобные английскому пэрству. Позвольте мне добавить, что, помимо прочих старых обычаев, в наших армиях было принято присваивать рыцарское звание до сражения, чтобы пробудить храбрость, а не после, как сейчас, - после боя, чтобы вознаградить за доблесть. Даже эта мода более разумна, чем мода царя, который хлопает рыцарскими звездами и крестами по груди побитых генералов, чтобы в Московии их выдавали за завоевателей.

Что касается сцены, то рыцари выступали на ней как перед, так и за занавесом. Из всех когда-либо проводившихся состязаний никогда не было более ожесточенного, чем то, которое состоялось между сэром Уильямом Роулингсом и молодым Томом Дибдином. Сыну "мелодичного Чарли", родившемуся в 1771 году и державшемуся у купели, как писали в "Lady's Magazine", под руководством Гаррика, было не больше четырех лет, когда он сыграл Купидона с Венерой миссис Сиддонс в шекспировском юбилее. Вряд ли стоило ожидать, что

после этого и посещения хора в соборе Святого Павла он спокойно усядется за изучение обивочного дела. Этого от него ждали его весьма неразумные родственники, которые отдали его в ученики к городскому рыцарю, сэру Уильяму Роулингу, модному в то время обивщику в Мурфилдсе. Мальчик был скучен, как красное дерево, которое ему приходилось полировать, и рыцарь так и не смог сделать его хотя бы наполовину таким умным в деловых вопросах. "Том Дибдин, - так обычно замечал городской кавалер, - Том Дибдин - самая глупая гончая на свете!" Однако рыцарь изменил свое мнение, когда его ученик, выросший до мужского достоинства, поставил "Кабинет". Вероятно, сэр Уильям решил, что опера - это переложение обивочного дела на музыку. Но прежде чем это было достигнуто, началась страшная борьба между рыцарем и пажом, который не хотел "перевернуть новый лист". Когда работа заканчивалась, мальчик привык после нее играть на галерке Королевского театра. В один из таких случаев рыцарь последовал за ним, вытащил его, устроил ему хорошую порку, а на следующее утро привел его к этому ужасно косоглазому чиновнику Джону Уилксу. Борьба закончилась дракой, и Том оставил торговлю: вместо того, чтобы делать патентные кровати, он сделал "Английский флот" и стал отцом "Матушки Гусыни". Он бы меньше показывал свое родство с одноименным семейством, если бы остался при своих инструментах; в последнем случае он мог бы занять место лорд-мэра в кресле собственного изготовления, и в те бурные времена он мог бы стать таким же хорошим рыцарем, как и его хозяин.

Как бы то ни было, отказ от рыцарского звания дался ему нелегко. Он был актером на все руки, написал тысячи песен, которые продавал по дешевке, а также сочинил четыре пьесы для театра Астли, за которые получил четырнадцать фунтов - едва ли цена пары кресел. О том, как он расцветал и падал после этого, можно судить по его биографии. Одно время ему было подвластно состояние, но он потерял его, став владельцем театра. Бывший ученик старого рыцаря-владельца не мог обеспечить свой дом публикой, и сам разгневанный рыцарь, возможно, был бы успокоен, если бы его дух увидел, в каком состоянии оказался "бедный Том" незадолго до своей смерти, около двадцати лет назад.

Но, боюсь, я уже более чем достаточно рассказал о рыцарях сцены; могу ли я добавить несколько коротких сплетен, касающихся настоящих рыцарей с дамами сцены? Прежде чем это сделать, замечу, что замужняя жена *настоящего* рыцаря когда-то выступала на английских подмостках под рыцарским именем, которое в Йоркшире носит ее муж, Слингсби. Дама, или леди Слингсби, которая раньше была миссис Ли, была любимой актрисой во времена Якова II. Она принадлежала к Королевскому театру, жила в приходе Сент-Джеймс и была похоронена в церковном дворе Панкраса в марте 1693-4 годов. В списке баронетов Слингсби из Скривена, приведенном в "Истории Кнаресборо" Харборо, сэр Генри Слингсби, умерший в 1692 году, - единственный, о чьем браке ничего не сказано. Но к нашим сценическим дамам и галантным любовникам.

СЦЕНИЧЕСКИЕ ДАМЫ И РОМАНТИКА ИСТОРИИ.

"У нашей счастливой любви может быть тайная церковь,
под церковью, как Вера была под церковью Павла,
Где мы могли бы хранить нашу сладкую преданность,
А соборный брак сохранит свое состояние,

И все его приличия и церемонии".

Кроун, *"Женатый красавец"*.

После того как в моду вошел *"Женатый красавец"* мастера Кроуна, для галантов не было редкостью однажды свататься к мимическим дамам сцены.

С тех пор как дамы впервые появились на сцене, они, по-видимому, оказывали сильное влияние на кавалеров. Под датой 18 октября 1666 года Ивлин записал в своем дневнике: "Этой ночью при дворе разыгрывалась трагедия милорда Брогилла *"Мустафа"* перед их величествами, на которой я присутствовал, очень редко посещая публичные театры по многим причинам, теперь же, когда они злоупотребляют атеистической свободой, нецензурным и непристойным женщинам теперь (и никогда до сих пор) разрешено появляться и действовать, которые, воспламеняя нескольких молодых дворян и галантов, становились их мисс, а для некоторых и женами; свидетелями тому граф Оксфорд, сэр Р. Говард, принц Руперт, граф Дорсет и другие более великие личности, чем все они, которые попались в их силки, к позору их благородных семейств и гибели тела и души. Лорд-камергер пригласил меня посмотреть эту трагедию, очень хорошо написанную, хотя в душе я не одобрял подобного времяпрепровождения во времена таких судов и бедствий".

Полтора годами ранее даты вышеприведенной записи, а именно 3 апреля 1665 года, Пепис отмечает ту же пьесу, с некоторыми намеками на дам: "На спектакле у герцога милорда Оррери под названием *"Мустафа"*, который, будучи не очень хорошим, сделал роль Беттертона и Янта обычной. Вся приятность пьесы заключалась в том, что там были король и миледи Каслмейн, а довольно остроумная Нелл из королевского дома и младший Маршалл сидели рядом с нами, что меня очень порадовало". Пьеса, однако, не так уж плоха, как ее описывает Пепис, и актерский состав был превосходным. Беттертон играл Солимана Великолепного. Мустафа и Занга, сыновья Солимана, были сыграны Харрисом и Смитом, а Янг стал настоящим кардиналом. Миссис Беттертон была Роксаланой, а миссис Дэвис, одна из тех дам, которые, подобно своим сестрам, двум маршалам, Хьюзу и Нелли, испытывали роковое влечение к молодым дворянам и галантам, о котором сожалел Ивлин, была великолепной королевой Венгрии. *"Мустафа"* оставалась любимой пьесой до самого закрытия театра, когда началось распространение чумы. *"Иантой"* Пеписа была миссис Беттертон, о которой он говорит 22 октября 1662 года: "Игроки говорят мне, что Беттертон не женат на Ианте, как говорят; но также и то, что он очень трезвый, серьезный человек, ученый и скромный, следит за своими занятиями и уже богат тем, что получает и копит". Однако в 1663 году Беттертон женился на мисс Сондерсон. Она прославилась благодаря роли Ианты в *"Осаде Родоса"* Давенанта; кроме того, она с большим успехом играла шекспировских героинь. Пепис справедливо называет автора пьесы лордом Оррери. Лорд Брогилл стал графом Оррери за пять лет до того, как Эвелин увидел его пьесу. Могу добавить, что Мустафа появлялся на сцене в полудюжине различных версий. Вероятно, худшей из них была версия Маллета; последний автор вызвал большое веселье одним из своих пассажей, в котором он сказал: - *"Будущие султаны"*

"Будущие султаны"

Уклонились от брачных уз;"

путаница времен, которую сравнивают с аналогичной ошибкой в проповедях такого корректного автора, как Блэр (том v., третье издание, стр. 224): *"В будущие периоды свет расцветает все больше и больше"*.

Хотя Ивлин в 1666 году говорит, что "до сих пор" женщинам не разрешалось играть роли на сцене, он не совсем прав в своем утверждении. Актрисы существовали за тридцать лет до этого периода. Так, в 1632 году в Кокпите был поставлен "Придворный нищий". В последнем акте леди Стрейнджлав говорит: "Если у вас есть короткая речь или две, мальчик - прекрасный актер, и его мать может сыграть свою роль: женщины-актеры сейчас все больше востребованы". Наши предки мудро следовали зарубежной моде, когда перестали нанимать мальчиков на женские роли. В 1633 году Прайинн пишет: "Теперь они играют в Италии и других зарубежных странах"; а в 1629 году в Блэкфрайарсе в пьесе, на которую было много народу, играли французские женщины-актеры. Дженесте цитирует Фрешуотера, который так писал о французских актрисах в Париже в 1629 году: "И все же женщины - лучшие актеры; они играют свои собственные роли, чего очень желают в Англии".

В патенте Давенанта на открытие Линкольнс-инн-Филдс в 1661 году было дано разрешение на привлечение женщин в качестве актрис на том основании, что использование мужчин в таких ролях приносило большие неудобства. Я особенно подробно остановился на этом вопросе, потому что именно рыцарь впервые открыл театр с постоянной женской *труппой*, добавленной к обычному числу актеров-мужчин. Среди дам сэра Уильяма были миссис Дэвенпорт, миссис Сондерсон, миссис Дэвис, миссис Лонг, миссис Гиббс, миссис Норрис, миссис Холден и миссис Дженнингс. Первые четыре были главными актрисами сэра Уильяма, и их разместили в собственном доме рыцаря. Их титул "госпожа" не обязательно подразумевает, что они были замужними дамами, скорее, они были достаточно взрослыми, чтобы быть таковыми.

Этот рыцарь также был первым, кто ввел декорации на сцене. Добавлю (*par parenthèse*), что именно священник первым предложил сравнять яму со сценой для проведения маскарадов и балов.

Прайинн не принадлежал к тем, кто считал, что введение актрис пойдет на пользу морали. У него были свои сомнения по поводу того, какой эффект может быть произведен на восприимчивых молодых галантов его времени. Касаясь появления французских актрис в театре Блэкфрайерс, о котором говорилось выше, он называет его "дерзкой, постыдной, неженственной, некрасивой, если не сказать больше - некрасивой попыткой". Мода, несомненно, впервые была задана двором, причем не менее известной личностью, чем королева. Анна Датская, жена Якова I, играла роль в пасторали. Те, кто помнит некоторые эпизоды обучения, которое она давала своему сыну, принцу-рыцарю молодому Генриху, вряд ли подумают, что Анна придавала достоинство занятию, которое она временно взяла на себя.

Миссис Сондерсон, как говорят, была первой регулярно работающей актрисой, которая открыла свои уста на английской сцене. Если бы она и ее спутницы обладали хотя бы половиной того очарования, которое им приписывают, они доставили бы гораздо больше удовольствия публике и зрителям, чем "прекрасная женщина-актер" Стивен Хамертон Харт с его женским достоинством, Берт с его одиозной женской игривостью или Гофф, который был таким же сердечным и суетливым, как старая миссис Давенпорт. Сам король Карл и его кавалеры, должно быть, были особенно рады, когда их перестали заставлять ждать начала спектакля на том основании, что *королева* еще не побрилась.

Любопытно, что были люди, не такие строптивые, как Прайин, которые считали, что общественная добродетель потерпит кораблекрушение, если актрисам будет позволено утвердиться во всеобщей благосклонности. The opposite party, of course, went to an opposite extreme; and in 1672, not only were "Philaster," and Killigrew's "Parson's Wedding," played

entirely by women, but one of the "Miss" Marshalls, gay daughter of a Presbyterian minister, on both occasions spoke the prologue and epilogue in male attire. "Филастер" - просто абсурдная пьеса, которую сделали популярной Харт и Нелл Гвин; что же касается пьесы Киллигрю, то она настолько отвратительна, от начала до финала, что я с трудом представляю, как можно заставить людей, едва сохранивших человечность, произносить и исполнять те мерзости, которые Киллигрю для них приготовил, и как можно удержать публику от бегства из дома еще до окончания первого акта.

Но галанты могли вытерпеть все, что угодно, лишь бы не возвращаться к таким эффектам, о которых упоминает один современный писатель, который, представляя женщину Дездемону, говорит в своем прологе: "Наши женщины неполноценны.

"Наши женщины неполноценны и такого размера.

Что можно подумать, что это переодетые стражники;

Ибо, по правде говоря, мужчины ведут себя так, что от

Сорок и пятьдесят, а девы - пятнадцать;

С такими большими бровями и нервами,

Когда ты зовешь Дездемону - *входи Гигант*".

Прошло полвека, прежде чем рыцарь или джентльмен взял актрису со сцены, чтобы сделать ее своей женой. Сквайры в этом случае имели преимущество перед рыцарями; и антиквар Мартин Фолкес возглавил этот процесс, взяв в жены Лукрецию Брэдшоу, неподкупную среди разврата, и подлинную Коринну в "Конфедерации", Доринду в "Прекрасной стратагеме" и Арабеллу Зил в "Прекрасном квакере из Дила". Этот брак состоялся в 1713 году, и не было в Англии более счастливого очага, чем очаг антиквара и актрисы. За ним последовал рыцарь Подвязки с графской короной, а в 1735 году великий лорд Питерборо признал свой брак с дочерью сладостных звуков, Анастасией Робинсон. Этот пример одновременно льстил, провоцировал и стимулировал дам, одна из которых, дочь графа де Уолдегрейва, леди Генриетта Герберт, вышла замуж за молодого актера Бирда. Это сочли "низким", а дочь другого рыцаря подверглась меньшему порицанию за то, что вышла замуж за лакея своего отца. В "Опере нищих" две короны были отданы двум Полли. Лавиния Фентон (Бетсвик), первоначальная Полли в Линкольнс-Инн в 1728 году, через несколько лет стала герцогиней Болтон; а в 1813 году не менее великий человек, чем лорд Турлоу, женился на Мэри Кэтрин Болтон, которая едва ли уступала *Полли* первоначальной леди, отказавшейся от *Полли*, чтобы стать Болтон.

Сквайры снова получили свой черед, когда Шеридан женился на мисс Линдли; но перед закрытием прошлого века мисс Фаррен отдала свою руку "самому гордому графу в Англии", графу Дерби, рыцарю Бани. В 1807 году рыцарь и сквайр увели со сцены двух дам. В том же году мистер Хиткот женился на прекрасной мисс Серл, а граф Крейвен - на Луизе Брантон. До сих пор среди нас есть пять бывших актрис, которые вышли замуж за мужчин благородного происхождения, рыцарей или сквайров. Это мисс Стивенс, вдовствующая графиня Эссекс; мисс Фут, вдовствующая графиня Харрингтон; мисс О'Нил, вдова сэра Уильяма Бичера, барта; миссис Нисбетт, реликвия смелого сэра Феликса Бутби; и мисс М. Три, чей покойный муж, мистер Брэдшоу, одно время был депутатом от Кентербери.

В жизни всех этих дам есть что-то романтическое, но больше всего в жизни "Лиззи Фаррен", и поскольку жизнь этой дамы, рыцаря Бани, имеет нечто общее с карьерой знаменитого

рыцаря-юриста и судьи, я возьму некоторые из ее происшествий в качестве основных моментов в следующем очерке, который является дополнительной главой к "Романтике истории", и, возможно, не самой интересной в этой серии.

Если веселье заключается в шуме, то на рыночной площади Солсбери в канун Рождества 1769 года было чрезвычайно радостно и весело. В центре, на возвышенной сцене, его светлость мэр торжественно открывал святочное время, устраивая поединок на палках с странствующим экспонентом искусства самообороны из Лондона. Профессор просил у магистрата разрешения установить свой помост на рыночной площади, и он не только получил полное разрешение, но и сам главный магистрат сообразовал взять палку и помериться силами с профессором.

Это было назидательное зрелище, которым с удовольствием наслаждались и мужланы, и мещане. Профессиональный фехтовальщик из чистой благодарности позволил своему противнику насчитать множество "хитов". Но у него было чувство собственного достоинства, и, чтобы его репутация не пострадала в глазах зрителей, он завершил "поединок" ударом по правому черепу, который заставил мэра представить, что вокруг снова наступил хаос, и все вокруг растерянно танцует в уничтожение.

"Боюсь, я нечаянно задел голову вашего поклонения", - сказал злобно сочувствующий однопалочник.

"Ах!" - пробормотал падший великий человек с жуткой улыбкой и семью оттенками Ирис на щеке, - "не говори об этом: в этом нет ничего страшного!"

"Я искренне рад, - ответил профессор своему ассистенту, подмигнув, - что его светлость не лишился рассудка".

"О, да!" - воскликнул грубоватый помощник, - "он так же мудр, как и прежде".

Игрок в одиночку напоминал Писарро, который, когда изредка убивал друга - "его обычай после обеда", - всегда приходил на похороны в траурном костюме и с опущенными глазами, призванными вызвать сочувствие. Тем временем мэр, который воображал себя на воздушном шаре и что его уносит от родного города, начал думать, что шар снова оседает на землю и что представление хаоса откладывается на неопределенный срок. Однако он продолжал держаться за поручни, как будто шар все еще был неустойчив, и лишь жаловался на шум в ушах.

В этот момент на его поющие уши обрушился резкий аккомпанемент настоящего барабана, и это произвело один хороший эффект - вернуло магистрата и мужчину. Оба они заглянули в изрядно пошатнувшиеся окна одного корпуса, и изнутри быстро разгорелось возмущение.

Звук доносился из пригорода Фишертон, но оскорбительно нарастал все ближе и ближе, словно возвещающая о том, что в районе вот-вот начнут бить, несмотря на отсутствие санкции магистрата. Великое хранилище авторитетов застыло в немом ужасе, когда носитель шумного инструмента появился на рыночной площади во главе небольшой процессии, которая, как сразу же выяснилось, состояла из партии бродячих актеров.

Барабанщик был плотным мужчиной, в котором не было ничего здорового, кроме носа, да и тот выглядел *слишком* здоровым. Он был низким комиком, и ему от природы было дано принимать эту характерную роль.

За ним следовали три или четыре пары "дам и джентльменов компании", о некоторых из которых можно было сказать, что обувь - это вещь, которую они не очень-то жалуют. У них был потрепанный вид, они выглядели голодными и счастливыми, а один или двое носили одну руку в кармане, руководствуясь принципом экономии на перчатках. Легкий комик шутил со зрителями, и вскоре его пригласили к следствию, на которое он нацелился, - пригласили "выпить бокал вина". Женщины выглядели более безвкусными, чем мужчины, но в их облике чувствовалась легкость и задор - все, кроме молодой дамы, игравшей Офелию и Коломбину, которая несла ребенка и выглядела так, словно не спала с момента его рождения, что, вероятно, так и было.

Кортеж замыкал изящный, похожий на джентльмена мужчина, который вел за руку маленькую девочку лет десяти. Никто не мог ни на минуту взглянуть на них, не почувствовав сразу, что в них есть нечто такое, что ставит их выше тех, с кем они общались. Они были отцом и дочерью. *Он* - менеджер, *она* - феномен младенца. На его лице прослеживались борозды разочарования, а в глазах - блеск надежды. *Ее* лицо было таким, какими всегда должны быть лица молодых, - полным наслаждения, любви и чувств. Последние два были особенно присущи отцу, чью руку она держала и в чье лицо то и дело заглядывала с улыбкой, которая не преминула отплатить ей тем же.

Изысканный стиль отца и изящная осанка скромной дочери вызывали одобрение всех присутствующих. Он был бывшим хирургом из Корка, который оставил свою профессию ради сцены. Люди считали его сумасшедшим, и так оно и было, но это было сумасшествие, которое сделало графиню его дочерью. Его звали Фаррен, а его ребенком, любимой дочерью прелестной матери, была неподражаемая Лиззи.

Если бы мэр мог вчитываться в историю, он бы встал на колени и поцеловал пряжки ботинок Лиззи Фаррен. Но поскольку читать он не умел, то видел в сыне лишь бродягу, а в ребенке - разбойника. На первого он обрушил всю тяжесть своего магического гнева. Напрасно управляющий заявил, что едет просить у мэра разрешения выступать в Солсбери. Этот официальный джентльмен заявил, что проезд из пригорода Фишертон в Солсбери без предварительного разрешения мэра является нарушением закона.

"И я никогда не дам такого разрешения", - сказал его светлость. Мы - благочестивый народ, и нам не по вкусу плутовские игры". Как представитель его величества, я обязан не поощрять никаких неприличных развлечений".

"Но наш молодой король, - прервал его мистер Фаррен, - сам является большим покровителем театра".

Это было хуже, чем сильный удар в одно касание; и мэр был тем более разгневан, что у него не было готовых аргументов. На мгновение его охватил гнев, но тут его осенила светлая мысль.

"Ай, ай, сэр! Надеюсь, вы не станете учить мэра ни фактам, ни долгу. Мы знаем, сэр, чему покровительствует король (да благословит его Бог!). Его величество не покровительствует колясочникам. Он регулярно посещает церковь, сэр, и театр; и поэтому, сэр, я, как мэр, поддерживаю только учреждения. Боже правый! Что станет с троном и алтарем, если мэр Сарума будет поступать иначе?"

Поскольку мистер Фаррен не очень хорошо знал, он не мог с легкостью сказать; и пока он стоял немой, мэр продолжал осыпать игрока и его призвание потоками нечистой брани. При

каждом упоминании о его пристрастии к развлечениям, которые были уважаемыми и поучительными, игрок с одной палкой и его человек выпрямлялись, кричали "*Слышите! Слышите!*" и смотрели на актеров с бурлескным презрением. Актеры, мужчины и женщины, ответили на этот взгляд взрывом неудержимого смеха. Мэр принял это за преднамеренное оскорбление, направленное на него самого и на то, чему он решил покровительствовать. Его протеже выглядели еще более гордыми и громче, чем когда-либо, кричали: "*Слышите, слышите!*". Игроки при этом визжали от смеха. Даже мистер Фаррен и Лиззи не смогли удержаться от смеха, потому что игрок с клюшкой и его человек действительно были членами компании. Первым был мистер Фредерик Фицмонтаг, который отлично сыграл *Гамлета*. Его человек был хулиганом в мелодрамах и клоуном в пантомимах, а поскольку он занимался небольшим частным бизнесом, принимая от религиозного общества заказ на проповедь на дорогах против театральных представлений, мистер Осмонд Бронтер был известен под прозвищем Миссионер Джек.

За отказом магистрата разрешить этой бродячей труппе играть в Солсбери последовала перебранка, а за перебранкой - бунт. Толпа присоединилась к актерам и стала улюлюкать мэру, а тот, считая беднягу Фаррена причиной и виновником всего произошедшего, приказал арестовать его; и, несмотря на все уговоры, сопротивление или громко выраженное отвращение, управляющий был в конце концов посажен в клетку. Тогда толпа, довольная тем, что получила небольшое волнение, и не заботясь больше ни о чем, разошлась по своим домам. Они уходили все быстрее, так как дождь уже начал лить потоками; они почти не обращали внимания на бедную Лиззи, которая шла домой в сумерках, горько плача и ведомая за руки матроной Офелией и миссионером Джеком.

К утру ситуация изменилась. Дождь прекратился. Установился крепкий мороз. Весь Солсбери выглядел так, словно был построен на замерзшем озере. Сама рыночная площадь была как *застывшее озеро*. Едва наступил день Рождества, как мальчик с ранними привычками, стоявший у дверей обивочной лавки с надписью "Burroughs", увидел, как что-то крадучись движется по рыночной площади; он забавлялся тем, что наблюдал за этим сквозь мрак. Через некоторое время это нечто превратилось в тонкую фигурку девушки, несущей в руках миску с горячим молоком. Она осторожно ступала и смотрела то на свои ноги, то на широкую площадь, чтобы измерить расстояние, которое ей еще предстоит пройти. Каждая маленькая ножка продвигалась вперед с колебаниями, и так медленно, что была большая вероятность того, что кипящее молоко замерзнет, не пройдя и половины пути до места назначения.

Девочку звали Лиззи Фаррен, и в миске, которая в ее руках выглядела так же изящно, как урна в руках аркадской нимфы, лежала главная порция завтрака, предназначенного в это печальное рождественское утро для ее пленного сыночка в клетке.

"Она сейчас упадет!" - сказал молодой Берроуз, увидев, как она частично соскользнула. Лиззи, однако, пришла в себя; но она была так встревожена своим положением, так испугалась, оценив расстояние, которое ей предстояло пройти, по сравнению с тем, которое она уже преодолела, что замерла на месте в центре рыночной площади и громко зарыдала над горячей миской и своим холодным положением. Именно тогда молодой рыцарь понял, что наступил момент, когда он должен вмешаться. Он выбежал из дверей, выставил вперед одну ногу, быстро притянул за собой другую и со скоростью поезда пронесся к ногам Лиззи. Не успела *она* увидеть страшную перспективу столкновения, как вскрикнула с такой энергией, что взбудоражила всех грачей в округе.

"Держись!" - воскликнул мальчик с веселым лицом; "Держись! Это я, ты, Лиззи, и молоко. Держись крепче!" - продолжал он, наполовину поддерживая ее, наполовину прижимая к себе. "Держись крепче! Иначе мы все вместе упадем".

"О, откуда ты родом? И откуда ты знаешь, что меня зовут Лиззи?"

"Ну! Мистер Фицмонтаг живет в нашем доме, и он рассказал нам о вас вчера вечером. И он сказал, что, как можно быть уверенным, вы проснетесь раньше всех в Солсбери. И вот, конечно, вы здесь, почти перед самым рассветом".

Благодаря помощи молодого кавалера, расстроенная девица была избавлена от своего недоумения. Молодой Берроуз предложил ей отнести чашу, но она решительно отказалась. "Никто, - сказала она, - не понесет завтрак моего отца, кроме меня самой, в такое утро". И вот ее провожатый нежно шел рядом с ней, осторожно придерживая ее, и не прекращал своей заботы, пока Лиззи со своей ношей благополучно не добралась до клетки. Через решетку маленького окошка Фаррен наблюдал за ее появлением и приветствовал ее словами: "Благослови тебя Господь, дитя мое!"

"О, папа!" - сказала Лиззи, снова заплакав и обняв миску так тепло, словно это был сам отец, - "О, папа! Что бы сказали мама, мои младшие сестры и все наши друзья в Ливерпуле, если бы узнали, как мы начинаем наш рождественский день?"

"Неизвестные вещи остаются неизвестными, моя дорогая. Мы ничего не скажем им об этом, пока Фортуна не позолотит память об этом. Но что ты принесла, Лиззи, - вернее, почему я спрашиваю? Это мой завтрак, а Лиззи сама ничего не ела".

Завязалась прелестная перепалка, но Лиззи добилась своего, и она не пробовала ни капли, пока ее сир не приступил к трапезе. С помощью юного Берроуза она держала губу чаши через прутья клетки, и маленькая английская девочка впервые со вчерашнего дня улыбнулась, увидев, как ее сир пьет живительную влагу. Только через три года после этого Барри и его жена сыграли Эвандера и Евфрасию в "Греческой дочери", иначе Фаррен провел бы подходящую к случаю параллель. Он не так хорошо разбирался в истории, как в театральном искусстве, а на сцене история переживает ужасные времена. Свидетель тому - трагедия, в которой Мерфи сделал Эвандера королем Сицилии и спутал Дионисия-старшего с его младшим тезкой. По правде говоря, приятный Палмер, сыгравший этого персонажа, был примерно так же мудр, как и Мерфи.

Когда примитивный завтрак был закончен, Лиззи стояла грустная и молчаливая, отец грустно и молча смотрел на нее, а молодой Берроуз прислонился к стене, такой же грустный и молчаливый, как и они. Так прошли томительные два часа; в конце их явился городской констебль в сопровождении джентльмена, уполномоченного дать свободу пленнице. Когда констебль сообщил управляющему, что его освободили благодаря заступничеству преподобного мистера Снодграсса, только что прибывшего в Солсбери, Лиззи взволнованно хлопала в ладоши, ибо увидела, что духовный заступник был не кто иной, как миссионер Джек. "О, мистер Бронтер, - сказала любопытная девушка, когда они все вместе добрались до дома, - как вам это удалось?"

"Ну!" - со смехом ответил предприимчивый актер, - "я обратился к его светлости, чтобы узнать, какие рождественские благотворительные акции могут быть приемлемы, и нет ли среди заключенных тех, кого я мог бы освободить своими скромными средствами. Он назвал имя вашего папы, и компания выплатила все необходимое. Его величество не был неумолим, тем более что я случайно сказал ему, что его величество покровительствует на днях

странствующей компании в Датчете. Что касается того, *как* я это сделал. Мне кажется, я неотразим в платье, в котором бедняга Уилл Хавард всего два года назад играл "Старого Адама". Немного изобретательности, как вы видите, позволило сделать его очень похожим на костюм настоятеля; и, кроме того, - сказал миссионер Джек, - я иногда думаю, что природа предназначила меня для церкви".

Прошло три года. В канун Рождества 1772 года все зрители Уэйкфилда были в приятном возбуждении от обещания, данного в расклеенных по городу объявлениях о скором появлении "Молодой королевы колумбийцев". Все молодые холостяки города осаждали кассы. В те времена в провинциальных городах не только существовали театры, но и люди действительно ходили в них. Среди просителей был и энергичный клерк, который, достигнув своей цели, остановился на минутку у дверей сцены, чтобы прочитать программу предстоящей пантомимы. В это время Королева Коломбина, самая сказочная из юных фигур, блестящая, как весна, и легкая, как нить, милых пятнадцати лет, с видом, что ей на год или два больше, споткнулась на улице, возвращаясь с репетиции. Восемьдесят лет назад галантность провинциальных городков по отношению к хорошеньким актрисам была во многом похожа на ту, что характерна для немецких местечек сейчас. Она была грубовато восторженной. Соответственно, едва фея Коломбина прошла дюжину ярдов, как ей вдвое больше стали предлагать руки, на которые можно было опереться на скользкой мостовой. В Уэйкфилде стояла старомодная зима, и ухажеры Коломбины за время своей деятельности успели столько раз упасть, как будто они были многочисленными "Влюбленными" в пантомиме, и палочка Арлекина подставляла им подножки, когда они скакали. Коломбина со временем ловко избавилась от них всех, кроме одного; наконец *он* стал так нежелательно навязчив, что клерк, который был защитником страдающих дам и наблюдал за происходящим, подошел к молодой леди, взял ее руку в свою, без всяких церемоний, и запретил ее преследователю продолжать, на свою беду. Джентльмен понял намек и оставил рыцаря и даму продолжать свой путь без помех. Не успели они остаться одни, как, взглянув друг другу в лицо, разразились веселым смехом узнавания, и трудно сказать, кто из них был веселее - мисс Фаррен или мистер Барроуз, молодая актриса и начинающий адвокат.

Когда наступил вечер бокса, дом был переполнен, и Лиззи произвела *фурор*. Как и Карлотта Гризи, она умела не только петь, но и танцевать, а кроме того, во всем, что она делала, чувствовался яркий интеллект. В тот вечер она пела между номерами, и молодой Берроуз, всегда внимательный, особенно отметил эффект, который произвело ее пение на одного любителя, сидевшего рядом с ним в экстазе. "Какое сокровище, - сказал любитель, - эта девушка была бы в Ливерпуле!" "Что ж, - заметил Берроуз, - я готов принять ангажемент для нее. Назовите ваши условия. Тридцать шиллингов в неделю, полагаю, не совсем истощат вашу казну". "Я непременно, - сказал незнакомец, - расскажу нашему управляющему, Янгеру, о призе, который можно приобрести так дешево; и дело не терпит отлагательств, потому что Янгер сейчас в "Лебеде" и придет сюда сегодня вечером, чтобы посмотреть пантомиму".

Через пять минут Берроуз сидел лицом к лицу с Янгером в гостинице и убеждал его немедленно отправиться туда, но не для того, чтобы увидеть, как танцует Коломбина, а чтобы услышать, как она поет. "Интересно, - сказал управляющий, - не является ли ваша юная подруга ребенком хирурга из Корка, который женился на дочери Райта, ливерпульского пивовара. Если да, то она умна; кроме того, почему..."

"Она сделает ваше состояние", - сказал клерк адвоката. "Она внучка вашего ливерпульского пивовара, поет, как соловей, и стоит вам не меньше пяти фунтов в неделю. Идите и послушайте ее".

Янгер неторопливо прошел вниз, как будто не испытывал недостатка в таланте; но ему так понравилось то, что он услышал, что, когда певица сошла со сцены, Берроуз обошел ее и ликуя объявил, что добился для нее ангажемента в Ливерпуле за два фунта десять в неделю; и чтобы она сама нашла себе атласные туфли и шелковые чулки. В предвкушении такого "потоси" Коломбина танцевала в тот вечер так зажигательно, словно Дэн Меркьюри одолжил ей шестеренки от своих каблуков.

"Мистер Берроуз, - сказала Лиззи, провожая ее и мать домой, - это уже второе Рождество, которое вы делаете для нас счастливым. Надеюсь, вы доживете до звания лорда Верховного судьи".

"Спасибо, Лиззи, это так же вероятно, как то, что Ливерпуль сделает из Уэйкфилдской Коломбины графиню".

Прошло несколько лет с той рождественской недели, которая сменила неделю, проведенную в Уэйкфилде, и на которой Лиззи Фаррен была единственной *Розеттой*, которую Ливерпуль желал слушать, и вот наступил тот же радостный сезон, но местом действия стал Честер.

Тогда среди актеров преобладал обычай, которого нет нигде, разве что в некоторых маленьких городках Германии. Так, не так давно в Ишле, в Австрии, я с удивлением увидел, как в мою комнату на постоялом дворе вошла очень красивая актриса и, вложив мне в руку афишу спектакля, попросила меня присутствовать на ее бенефисе. Такая практика была распространена на севере Англии, пока Тейт Уилкинсон не положил ей конец как унижительной для профессии. Однако в то время и в той местности, о которой я упоминал, этот обычай не был пресечен. В канун Рождества того периода, о котором идет речь, Лиззи Фаррен сама занималась распространением своих счетов и просила покровительства для своего бенефиса, который должен был состояться в следующую Двенадцатую ночь. В качестве подходящего случая она выбрала одноименную комедию Шекспира и должна была играть *Виолу* - роль, к которой Янгер, горячо ее любивший, особенно приучил ее.

Мисс Фаррен не очень-то преуспела в своем "прозябании". Ей не повезло в двух семьях, в дома которых она рискнула постучать. Первая принадлежала бывшему владельцу религиозного издания, который испытывал ужас перед сценой, но еще больший ужас испытывал перед романизмом, так что, подобно шотландским священникам того времени, он каждый вечер ходил бы на спектакль на Страстной неделе, только чтобы показать свое отвращение к папизму. Этот благочестивый негодяй разбогател, обманывая своих редакторов и поддерживая любой вопрос, который лучше всего оплачивался. В течение многих лет он содержал свое хозяйство, вставляя в журнал рекламные объявления, за которые ему платили натурой. Он был гнусным, подлым, лживым плутом, который выступал бы за атеизм, если бы мог получить за счет этого дюжину дополнительных подписчиков. Его дама была квинтэссенцией вульгарности и злобы. На ее парике были бриллианты, в сердце - яд, а на языке - изрядно подпорченный английский.

Бедная Лиззи, получив отпор здесь, позвонила в ворота сада миссис Пенури-Боугавг. Она была сентиментальной дамой, которая пила, простодушной дамой, которая грубила, дамой с

аффектированной честностью, которая жила не по средствам и жабой или издевательством заставляла своих родственников платить по ее долгам. Миссис Пенури-Боугавг с радостью приняла бы заказ на отдельную ложу; но покровительство, которое стоило бы ей чего-нибудь, было вульгарностью, которую ее нежный и щедрый дух не мог понять.

Лиззи уныло стояла на дороге перед домом, когда к ней медленно подъехал всадник, и Лиззи, ничуть не смущаясь тем, что выполняет старый, но не очень приятный обычай, подняла в его руке купюру, когда он приблизился к ней, и попросила полкроны - обычную цену за вход в ложи.

"Лиззи!" - воскликнул всадник, - "у тебя будет такой дом в Честере, какого старый город не видел с той ночи, когда здесь был Гаррик и играл *Ричарда и лорда Чалкстоуна*".

Всадником был мистер Барроуз, в то время обучавшийся адвокатуре и готовый помочь мисс Фаррен так же охотно, как он помогал ей и ее миске с молоком на рыночной площади в Солсбери. Начинаящий барристер сдержал свое слово. Честерский театр был забит до потолка, и, как сказала Лиззи, мистер Барроуз был ее рождественским ангелом, мысль о котором всегда ассоциировалась в ее сознании со сливами, смородиной, остролистом...

"И омелой", - сказал начинающий советник с таким видом, что оба весело и искренне рассмеялись.

В канун Рождества 1776 года мисс Фаррен сидела в гостиной Колмана в Лондоне и смотрела на него, пока он читал два рекомендательных письма: одно от Берроуза, другое от Янгера, и оба с высокой похвалой в адрес молодого человека, для которого они были специально написаны. Я ограничусь тем, что скажу, что Лиззи была ангажирована на следующий летний сезон в "Хеймаркет", где она появилась 9 июня 1777 года в спектакле "Она стремится завоевать". Она была *мисс Хардкасл*, и Эдвин впервые появился в Лондоне вместе с ней, в той же пьесе. Колман вывел бы и Хендерсона, если бы ему это удалось. Однако этот достойный джентльмен настоял на том, чтобы *дебютировать* в "*Шейлоке*" 11 числа того же месяца. И какой же радостный сезон устроила Лиззи для наших тогда еще юных дедушек. Как они восхищались ее двойным талантом в "*Мисс Хардкасл*"! Как они были в восторге от ее *Марии* в "Гражданине"! Как восторженно слушали они ее *Розетту*! Как они смеялись над ее *мисс Тимтуп* в "Бон Тон!" и как они превозносили ее игривость и достоинство в роли *Розины*, оригинальным представителем которой она была в "Севильском цирюльнике"! Следует отметить, что Колман опустила самую комическую сцену в пьесе, *ту*, где граф переодевается в пьяного солдата, - как вредную для морали!

Когда в следующем году она сыграла леди Таунли, ее объявили первой, а она тогда была почти самой молодой из ныне живущих актрис. А когда в следующем сезоне она присоединилась к труппе Друри-Лейн, главные роли были разделены между ней, мисс Уолпол, мисс П. Хопкинс и *Пердитой* Робинсон. Ни одной из них не было тогда двадцати лет! Разве это не тот случай, когда можно воскликнуть.

"O mihi præteritos referat si Jupiter annos?"

Всего двадцать лет она украшала нашу сцену; в конце концов она покинула ее в Друри-Лейн в апреле 1797 года в образе леди Тизл. Однако до этого времени она принимала активное участие в рождественских частных спектаклях у герцога Ричмонда, в которых вместе с ней играли граф Дерби, лорд Генри Фицджеральд и почтенная миссис Дормер; а восходящий барристер мистер Барроуз, постоянно рассматривавший судебную скамью как свою собственную сцену, был одним из самых восхищенных зрителей. Именно там

зародилась та привязанность, которая в конечном итоге сделала ее, через месяц после ухода со сцены, графиней Дерби, а впоследствии матерью будущей графини, которая до сих пор носит ее корону.

Вскоре после этого представления при дворе, где она была принята королевой Шарлоттой с подчеркнутой любезностью, графиня шла в свадебной процессии принцессы Королевской и герцога Вюртембергского; ее нога зацепилась за ковровое покрытие, и она упала бы на землю, если бы не готовые руки мистера Берроуза, теперь уже действительно выдающегося человека, вновь протянутые для ее поддержки.

Прошло еще много лет, когда карета с дамой ехала в Виндзор. Она внезапно остановилась, сломав ось дерева. В разгар бедственного положения, в котором оказалась дама, подъехала вторая карета, в которой находился добродушный джентльмен, сразу же предложивший свои услуги. Дама, узнав старого друга, с готовностью приняла предложение. Когда они вместе ехали в карете джентльмена в сторону Виндзора, ее владелец заметил, что почти ожидал встретить ее в беде на дороге; ведь это был канун Рождества, и он вспоминал старые времена.

"Сколько лет прошло, миледи графиня, - сказал он, - с тех пор как я стоял у дверей лавки моего отца в Солсбери, наблюдая за вашим опасным переходом через рыночную площадь с миской молока?"

"Во всяком случае, не так давно, - ответила она с улыбкой, - но я помню, что мой бедный отец лишился бы завтрака, если бы не ваша помощь".

"Время не такое уж долгое для памяти, - ответил судья, - и Солсбери так же далек от Виндзора, как Дан от Беершебы; но как велико расстояние между завтраком у двери в клетке в Солсбери и рождественским обедом, на который мы оба направляемся, во дворце короля!"

"Граф уже там, - добавила графиня, - и он будет счастливее, чем сам король, приветствовать законного рыцаря, который так охотно служил даме рыцаря Бани".

На тех, в чьей власти и привилегии создавать таких рыцарей, мы теперь и направим наше внимание, чтобы увидеть, как сами короли вели себя в качестве рыцарей.

АНГЛИЙСКИЕ КОРОЛИ КАК РЫЦАРИ.

ОТ НОРМАННОВ ДО СТЮАРТОВ.

"Un roi abstrait n'est ni père, ni fils, ni frère, ni parent, ni chevalier, ami. Кто же он? *Roi*, même quand il dort." - Diderot.

Если мы будем судить некоторых наших королей по строгим законам рыцарства, то обнаружим, что в конечном итоге они были всего лишь жалкими рыцарями. Они могли быть ужасны в бою, но в дамской беседе они были невоспитанны.

Например, Вильгельм Завоеватель не обладал ни одним из нежных рыцарских чувств; иными словами, он не проявлял особой мягкости в обращении с женщинами. Ингерий рассказывает, что после того, как Матильда Фландрская отказала ему в руке на том основании, что не хочет иметь в мужьях бастарда, он подкараулил ее, когда она

возвращалась с мессы по одной из улиц Брюгге, вытащил ее из окружения дам, жестоко поколотил и, наконец, повалил в грязь. Вследствие этого в семье возникли небольшие разногласия; но поскольку они были не столь ожесточенными, как обычно бывает в семейных ссорах, произошло примирение, и Матильда отдала руку рыцарю, который так жестоко ушиб ее своей рукой. По ее словам, она полюбила его за то, что он проявил больше, чем обычные рыцари, осмелившись избить ее на глазах у дворца ее отца. Но все хорошо, что хорошо кончается; они были не только красивой, но и счастливой парой, и Матильда стала главой семьи у очага Завоевателя. Жена генерала была *там* генералом.

Как Вильгельм вел себя в бою, слишком хорошо известно, чтобы пересказывать его здесь. Вероятно, он не знал страха лишь однажды, и то при звуках уличной суматохи, которые донеслись до его слуха, когда его короновали. Тогда, действительно, "этот бог содрогнулся", в первый и единственный раз. Его преемник, которого посвятил в рыцари архиепископ Ланфранк, был в поле таким же хорошим рыцарем, как и он, и щедрым к противнику, хотя никогда не был таким ни к одному смертному. Но в своем отношении к дамам Руфус не был похож на рыцаря. Его вкус по отношению к представительницам прекрасного пола был самого худшего сорта, и двор этого царственного и отпетых холостяков был упреком одновременно для королевской власти и рыцарства, для христианства и цивилизации. Его обвиняли, вернее, рыцарей его времени и страны, в том, что они ввели в Англии практику преступления, настоящим инициатором которого, по мнению других, был принц Уильям, утонувший, к счастью для Англии, на море между Кале и Дувром. Примером рыцарского великодушия Руфуса служит тот факт, что он, переодевшись, напал на кавалера, от которого получил столь сильные удары, что в конце концов был вынужден признать себя виновным, чтобы побудить своего победителя пощадить его жизнь. Испуганный победитель принес извинения в духе французского рыцаря Святого Духа умирающему кавалеристу Золотой шпоры, которого он по ошибке смертельно ранил: "Прошу тысячу извинений, - сказал вежливый француз, - но я действительно принял вас за другого человека". Так победитель Вильгельма стал оправдываться за то, что своим боевым топором едва не разбил королю череп до желеобразного состояния, на том основании, что не был знаком с его званием. "Не обращай внимания, - сказал король, - ты хороший парень и отныне будешь моим последователем". Можно привести множество подобных примеров. Кроме того, Руфус был очень популярен среди всех воинов; рыцари почитали его как самый цветок рыцарства, и я рад, что позор за его убийство в Новом лесу больше не возлагается на рыцаря, хотя мне жаль, что была предпринята попытка возложить его на церковь. Теперь никто не верит, что сэр Уолтер Тиррел был автором преступления, и с рыцарства снято обвинение в том, что один из его членов убил льняного, но рубиноволосого короля.

Генрих Боклерк был скорее ученым, чем рыцарем, не будучи, однако, очень похожим на первого. Принц, родившийся в Англии, был гораздо менее рыцарского духа, чем его бывший брат Роберт; то есть, если не менее храбр, то менее великодушен, особенно по отношению к врагу. Когда Роберт осадил его на горе Святого Михаила и довел до такого состояния, что он едва не умер от жажды, Роберт снабдил его водой; за этот поступок Руфус назвал того, кто его совершил, дураком; но, как благородно заметил бедный Роберт, ссора между ним и их братом была не настолько важна, чтобы заставлять его умирать от жажды. "Возможно, в будущем нам понадобится брат, но где мы его найдем, если сейчас уничтожим этого?" Генрих вряд ли стал бы подражать столь рыцарски великодушному поведению. Он был более рыцарским в любви, и к его чести записано, что он женился на Матильде, дочери Малькольма, короля Шотландии, по чистой любви, а не ради "грязной корысти", предпочитая

получить ее без брачной доли, чем ждать, пока она будет ей обеспечена. Это было бы достаточно похвально, если бы впоследствии Генрих не стал, подобно многим другим людям, вступающим в поспешный брак, постоянно искать денежной помощи в других источниках, кроме своих собственных. Ему также не хватало того, что предписывалось каждому рыцарю, - любви к правде. Его собственные обещания нарушались с готовностью, когда нарушение приносило выгоду. Не хватало ему и такой общепринятой добродетели, как верность, которой рыцари должны были обладать в первую очередь. Тот факт, что после него осталось пятнадцать незаконнорожденных детей, мало говорит о его уважении к одной из его супруг, Матильде Шотландской или Аделисии Лувенской. В целом, однако, характер королевского ученого может быть описан в любых терминах, в зависимости от того, с какой точки зрения его рассматривать. Для одних историков он - сплошная добродетель, для других - сплошной порок.

В Стефане было больше рыцарского характера. Он был искусным фехтовальщиком и любил шум битвы, как и подобало духу времени, считавшему короля первым рыцарем на земле. Он так же мало, как и Генрих, заботился о чувстве справедливости, когда был склонен захватить то, на что не имел права, но был неоспоримо храбр, как и необоримо опрометчив. Стивен получил рыцарские шпоры от своего дяди, Генриха I, перед битвой при Тинчбрее; в этой битве он так держал себя, что показал, что достоин оказанной ему чести. Но Стефан был так же неверен своему брачному обету, как и многие другие рыцари с поясом, и Матильде Булонской пришлось оплакивать неверность того, кто поклялся быть верным. Об этом короле также говорят, что он всегда выходил на битву в ужасном снаряжении. Это было в духе тех птиц, которые поднимают свои гребни, чтобы уstrasшить врагов.

Генриха II, как и его братьев-королей, мы можем рассматривать только в его рыцарском характере. В этом качестве он почти не отличается от других, что больше, чем можно сказать о нем в целом как о короле или человеке. Он был храбр и великодушен - две главные черты рыцарства. Именно он отменил обременительную и невыгодную феодальную военную службу, которая выводила баронов или военных арендаторов в поле на сорок дней. В результате лагерь изобиловал неумелыми и беспорядочными людьми. Генрих ввел практику заменять военную службу деньгами, взимая со своих баронств и рыцарей подати, или столько-то за каждый щит или его носитель, который *должен был* присутствовать, но купил освобождение.

Генрих II не только сам любил рыцарскую практику, но и любил видеть, как его сыновья упражняются в рыцарском отваге, странствуют в переодетом виде от двора ко двору, демонстрируя свою доблесть на турнирах и отбирая призы у всех противников. Рассказы об этих приключениях своих отнюдь не образцовых сыновей он слушал с восторгом. Сам он, однако, был сыном, подававшим своим детям не лучший пример, и двое его сыновей, матью которых была прекрасная Розамонда, воспитывались и обучались вместе с детьми Элеоноры. Он получил много рыцарских услуг и истинной привязанности от своих незаконнорожденных детей. Уильям, граф Солсбери, известен под своей рыцарской фамилией "Длинный меч", а Джеффри, епископ Линкольнский, второй сын Генриха и Розамонды, был не менее рыцарем, чем тот, кто стал епископом до двадцати лет. Именно этот прелат во главе вооруженного отряда подавил первый великий северный мятеж. Он с триумфом возвращался назад во главе ста сорока рыцарей, когда его встретил королевский государь, который горячо обнял его, восклицая при этом: "Ты один мой законный сын, остальные все бастарды". О том, что он и сам мог многое вынести, свидетельствует тот факт, что он поддался исправлению у святыни Бекета. Его бичевали прелаты, аббаты, епископ и восемьдесят монахов; и первым освежающим средством после долгой епитимьи была вода,

в которую подмешали часть крови Бекета. Его право считаться рыцарем никогда не страдало, по крайней мере, в сознании церкви, из-за этой унижительной покорности.

Но в раздорах, которые привели к этому унижению, церковь понесла, возможно, больший позор, чем король. Ничто не могло быть более позорным, чем поведение папы и дипломатия римского правительства на протяжении всего периода ссоры между Бекетом и королем. Двуличие, жестокий обман и неприкрытое пренебрежение к истине отличали все действия того, кто считался духовным главой христианства. Сравнивая Бекета с королем, невозможно не прийти к выводу, что по многим требованиям рыцарства он превосходил государя. Его смерть, то есть то, как он ее встретил, была возвышенной. На протяжении всей великой ссоры, следствием которой стала эта смерть, Бекет никогда, подобно Генриху, в минуты поражения и уныния не поддавался таким бессильным проявлениям ярости, какие демонстрировал его королевский антагонист. Последний забыл о достоинстве не только рыцаря, но и мужчины, когда его видели с яростью бросающим на землю свою шапку, сбрасывающим пояс, срывающим одежду с тела и стаскивающим шелковое покрывало с кровати, на которой в присутствии своих капитанов он катался, как маньяк, держа матрас во рту и разгрызая зубами шерсть и конский волос, которые он вытаскивал.

Ричард I имеет блестящую репутацию рыцаря, и если бы доблесть была единственной необходимой добродетелью, он не был бы недостоин того превосходства, на которое ему претендуют. Но это была его единственная добродетель. О других качествах рыцарства он ничего не знал, да и не интересовался ими. Он был неверен в любви, не слушал обещанного слова, был жесток, расточителен, бесчестен и даже не всегда храбр, когда находился вдали от шума и волнений войны. Но Джону не хватало одного грубого качества Ричарда, и он даже не был храбрым, то есть не отличался храбростью. Когда он увел Изабеллу Ангулемскую у ее первого любовника, сэра Хью де Лузиньяна, это не было сделано с лихой галантностью молодого Лохинвара. Джон, по сути, был дряхлым и отступным рыцарем; и когда крепкий сэр Хью вызвал его на единоборство из-за совершенного им похищения, Джон предложил принять его заместителем и сражаться также заместителем. Сэр Хью досконально знал подлого принца и справедливо заметил, что заместитель будет простым убийцей, а он не будет иметь ничего общего ни с принципом, ни с представителем. Джон оставил даму себе; и если кому-то интересно узнать, насколько скупой он ее содержал, то мы отсылаем их к должным образом опубликованным хроникам, где есть все подробности.

Генрих III был самым миролюбивым из всех доселе царствовавших английских королей. В нем было мало от рыцаря, разве что вежливость, да и ту он иногда забывал. Преданность красавице тоже можно справедливо причислить к его рыцарским качествам; но ему не хватало венценосной добродетели - верности. Он сватался ко многим, был отвергнут несколькими, а тех немногих, кто верил в него, бросил. Надо признать, он проявил рыцарское великодушие, женившись в конце концов на Элеоноре Кастильской без приданого; но от этого он не стал ей более верен. Мягкий по натуре, он был особенно любим самым воинственным из рыцарских орденов - тамплиерами. Они оплакивали его смерть так, словно он был цветком рыцарства и самым одобряемым магистром их ордена. Они похоронили его с пышностью, которая, должно быть, в значительной степени оттянула даже их хорошо набитые кошельки, а рыцари Храма положили короля в гробницу самого благочестивого из монархов - Эдуарда Исповедника. Трудно сказать, почему тамплиеры питали такую любовь к слабому королю, ведь он не поощрял рыцарских объединений и наблюдений. В то же время можно сказать, что он понизил оценку, которой пользовалось рыцарство, сделав саму честь дешевой, а иногда и вовсе нежеланной. На двадцать девятом году своего правления Генрих III издал указ, призывающий главных арендаторов приходить и

принимать рыцарство из его рук, а арендаторов мезена - посвящаться в рыцари, кому заблагорассудится. Можно полагать, что этим последним разрешением злоупотребляли, поскольку вскоре после этого периода "в нашем законодательстве утвердился принцип, что ни один подданный не может присвоить рыцарское звание иначе, как по уполномочию короля". Так говорит Халлам. Самым необычным законом или обычаем этого царствования в отношении рыцарства было то, что любой человек, обладающий годовым доходом в пятнадцать фунтов, полученным с земли, должен был быть *вынужден* получить рыцарскую честь.

Преемник Генриха, Эдуард I, отличался куда более рыцарскими качествами. Верный в любви, отважный в бою, щедрый к нуждающимся и обходительный со всеми - за исключением тех случаев, когда его нрав был испорчен, - он мог сойти за весьма респектабельного рыцаря. Он был активным и сильным и, держась одной рукой за спину своего коня, мог одним рывком вскочить в седло. Мало кто из мужчин меньше заботился о нарядах. Однажды епископ даже упрекнул его в том, что он одет ниже своего достоинства короля или рыцаря. "Отец, - сказал Эдуард, - что я могу сделать в королевской мантии больше, чем в этом простом габердине?"

Эдуард поступил бы мало в духе истинного рыцаря, если бы действительно повел себя по отношению к бардам в соответствии с жестокой манерой, зафиксированной в истории. Я склонен верить Дэвису в его "Мифологии друидов", что этот король был оклеветан в этом отношении. "Нет ни одного имени, - говорит Дэвис, - ни одного барда, который пострадал бы от его руки или по его приказу. Его настоящим деянием было устранение того покровительства, под которым барды до сих пор лелеяли языческие суеверия своих предков, к позору наших родных принцев". Этот король проявил свойственное многим рыцарям чувство, что как бы безразлично они ни выглядели в живых, в ржавых доспехах или выцветшей мантии, в мертвом виде они должны носить достойное и красивое покрытие. Поэтому он распорядился, чтобы каждый год его гробницу вскрывали, а останки покрывали новой тканью или паллой. Это была гордость, сродни той, что испытывала миссис Олдфилд во времена наших бабушек, которую хоронили в головном уборе из брюссельского кружева, голландской смене с подтяжками и двойными оборками из того же кружева и в паре новых лайковых перчаток. Та же слабость натуры отмечала и королеву-трагедию, и действительного короля; и не только их. Однако больше смирения было во втором герцоге Ричарде Нормандском, который был гораздо рыцарственнее Эдуарда I и приказал похоронить свое тело у дверей церкви, где на него могли ступать пассажиры, а струи с крыши сбрасывали на него свою воду.

Именно в религиозном рыцарском духе Эдуард I изгнал евреев. Говорят, что за этим последовал один любопытный результат. Сообщается, что многие еврейские семьи бежали в Шотландию, где "с тех пор они распространяются в огромном количестве; свидетельство тому - отвращение этой нации к свиному мясу, которое она испытывает больше других".

О несчастном Эдуарде II можно сказать, что он был безразличным рыцарем, который отдавал рыцарские почести очень безразличным людям и совершал большие бесчинства по отношению к самим рыцарским орденам. В анналах рыцарства он запомнился как монарх, упразднивший рыцарский орден тамплиеров в Англии. Он относился к незадачливым шевалье с гораздо большей щедростью, чем Генрих VIII к изгнанным монахам и аббатам. Он выделил два шиллинга в день лишенному сана магистру Храма и по четыре пенсы в день остальным рыцарям на их содержание из своего конфискованного имущества. Сам Эдуард

больше других развлечений любил гулянки и охоту. Были, правда, и другие удовольствия, от которых он приходил в восторг, и они хорошо описаны в одной из речей Гавестона в трагедии Марлоу, названной именем этого короля: - "Я должен иметь распутных поэтов.

"Я должен иметь распутных поэтов, приятных умников,

Музыканты, что, касаясь струны,

Могут поманить податливого короля, как мне угодно;

Музыка и поэзия - его наслаждение,

Поэтому ночью я буду давать итальянские маски,

Сладкие речи, комедии и приятных рабов;

А днем, когда он будет гулять за границей,

Как нимфы сивилланские, мои страницы будут одеты;

Мои мужчины, как сатиры, пасущиеся на лужайках,

Козьими ногами танцуют античный танец.

Иногда прекрасный юноша, в облике Дианы,

С волосами, что золотят воду, когда она скользит.

Короны из жемчуга на его обнаженных руках,

А в его спортивных руках - оливковое дерево,

Чтобы скрыть те части тела, которые люди любят видеть,

И купает его в источнике; а там, вдали

Один, как Актеон, подглядывает сквозь рощу,

Гневной богиней будет преображен,

И бежит в подобии зайца,

И, сбитый с ног гончими, как бы умирает;

Такие вещи больше всего радуют его величество".

Как дорого он заплатил за потворство таким удовольствиям и как кротко принял свою свирепую судьбу или возмездие, здесь не нужно подробно описывать.

Что бы ни думали о характере самого Эдуарда II, его рыцарство принесло мало пользы королевству. Корона Англии во время его правления была слабее; и, как отмечает рыцарь-историк сэр Дж. Дэвис в своей "Истории Ирландии", "в обоих королевствах было нанесено больше бесчестия, чем когда-либо со времен Нормандского завоевания". В то царствование было мало таких честных рыцарей, как в правление третьего Эдуарда, когда сэр Томас Руксби, выдающийся рыцарь и судья, имел обыкновение говорить, что он "будет есть в деревянной посуде, а за мясо заплатит золотом и серебром". В этой речи был нанесен удар

по экстравагантным людям, которые, чтобы "есть с тарелки", не гнушались обманывать своего мясника.

В лице Эдуарда III мы имеем короля, который связан с рыцарскими ассоциациями в нашей памяти теснее, чем любой другой государь Англии. Именно он, возродив или реконструировав древний орден, основанный Ричардом I, "Голубой ремень" - кожаный набедренник, который носили некоторые английские крестоносцы, - создал блестящий орден Подвязки, которым награждали столь немногих достойных и столь многих, чьи претензии были не столь велики, как их "притязания".

Насколько галантность графини Солсбери имела отношение к возобновлению ордена Голубого Языка под именем Подвязки, остается скорее нерешенным, чем спорным вопросом. Фруассар рассказывает следующее: "Вы все слышали, как страстно король Эдуард был сражен чарами благородной леди Кэтрин, графини Солсбери. Из привязанности к этой даме и желания увидеть ее он провозгласил большой праздник в августе 1343 года. Он повелел всем своим лордам и рыцарям непременно присутствовать на нем, а графу Солсбери он прямо приказал взять с собой леди, свою жену, и столько молодых дам, сколько она сможет собрать для ее сопровождения. Граф очень охотно выполнил просьбу короля, ибо не думал зла, а его добрая леди не посмела сказать "нет". Однако она пришла не по своей воле, ибо догадалась о причине, по которой король так настоятельно требовал ее присутствия, но побоялась открыть ее мужу, намереваясь своим поведением заставить короля изменить свое мнение..... Все дамы и девицы, присутствовавшие на первом созыве Ордена Подвязки, были великолепно одеты, за исключением графини Солсбери, которая присутствовала на празднике, одевшись как можно проще; она не хотела, чтобы король восхищался ею, ибо не собиралась подчиняться ему ни в чем дурном, что могло бы привести к бесчестию ее дорогого господина." Повторение слова "зло" здесь, вероятно, не имеет никакого отношения к девизу Подвязки, но я могу заметить, что когда Фруассар называет вышеупомянутый фестиваль созывом ордена, он ошибается, поскольку первый глава Подвязки состоялся в Виндзоре в День Святого Георгия в 1344 году. На этой главе присутствовала королева Филиппа в одежде ордена; ведь в старину каждая рыцарская дама разделяла рыцарские почести своего господина.

Как Эдуард вел себя на турнирах и в битвах, мы все знаем. И историки, и поэты с удовольствием изображают этого рыцарского монарха влюбленным, а влюбленный рыцарь еще интереснее, чем военный, и, поскольку рассказ о нем в первом образе раскрывает некоторые другие эпизоды рыцарской жизни, я позаимствую историческую картину Фруассара, изображающую Эдуарда в дамской беседке, и противопоставлю ей картину того же монарха в тех же обстоятельствах, запечатленную руками поэта. Необходимо лишь уточнить, что дамой, ставшей объектом почтения Эдуарда, была Кэтрин де Грансон, дочь красивого рыцаря без гроша в кармане и богатой наследницы из Уилтшира по имени Сибилла. "Прекрасная Кэтрин, - пишет мисс Стрикленд, - была единственным ребенком у этой пары и была наделена богатством матери и красотой отца. Она подарила *и то, и другое* храброму графу Солсбери, который, будь он хоть уродлив, хоть доблестен, должен был быть благодарен за дар красоты Уильяму де Грансону.

Когда Эдуард сватался к графине, граф находился в плену во Франции, а замок Уорк, принадлежащий леди, только что освободили от осады, которую устроила армия шотландцев. "Как только графиня услышала приближение короля, она приказала открыть все ворота и вышла ему навстречу, богато одетая, так что никто не мог смотреть на нее, кроме как с удивлением и восхищением от ее благородной осанки и приветливости поведения. Подойдя к королю Эдуарду, она поклонилась до земли и поблагодарила его за

то, что он пришел ей на помощь, а затем провела его в замок, чтобы развлечь и оказать ему почести, как она умела делать. Все были в восторге от нее, но король не мог оторвать от нее глаз, так что в его сердце вспыхнула искра прекрасной любви, которая длилась долгое время, ибо он не верил, что в мире есть еще такая дама, столь достойная быть любимой. Так, рука об руку, они вошли в замок. Графиня провела его сначала в зал, а затем в лучшие покои, которые были очень богато обставлены, как и подобает столь прекрасной даме. Король Эдуард так пристально смотрел на графиню, что нежная леди была совершенно смущена. Вдоволь насмотревшись на свои апартаменты, он отошел к окну и, прислонившись к нему, погрузился в глубокий покой.

"Графиня оставила его, чтобы распорядиться приготовить ужин, накрыть стол, украсить и обставить зал, а также поприветствовать рыцарей и лордов, сопровождавших короля. Отдав все необходимые распоряжения слугам, она с веселым лицом вернулась к королю Эдуарду и сказала: "Дорогой сэр, о чем вы размышляете? Такие размышления не подобают вам, спасая вашу милость! Вы должны быть в приподнятом настроении, освободив Англию от врага без потери крови". Король ответил: "О, дорогая леди, вы должны знать, что с тех пор, как я нахожусь в этом замке, некоторые мысли угнетают мой разум, о которых я раньше не подозревал, так что мне следует поразмыслить. Не зная, что может произойти, я не могу отвлечься". "Дорогой сэр, - ответила дама, - вам следует быть в добром расположении духа и пировать с друзьями, чтобы доставить им больше удовольствия, и оставить размышления, ибо Бог был очень щедр к вам в ваших начинаниях, так что вы самый боязливый и знаменитый принц в христианстве. Если король Шотландии досадил вам тем, что причинил зло в вашем королевстве, вы быстро сможете нанести ответный удар в его владениях. Поэтому, если вам будет угодно, пройдите в зал к вашим рыцарям, ибо скоро будет подан ужин". "О, милая леди, - сказал король Эдуард, - есть и другие вещи, которые трогают мое сердце и лежат там тяжелым грузом, кроме того, о чем вы говорите. Ибо, по правде говоря, ваша прелестная внешность, совершенство вашего облика и поведения полностью покорили меня и так глубоко поразили мое сердце, что мое счастье целиком зависит от встречи с моим пламенем, которое никакое ваше отрицание не сможет погасить". О, милостивый государь, - ответила графиня, - не забавляйтесь тем, что смеетесь надо мной, пытаюсь меня соблазнить, ибо я не могу поверить, что вы говорите всерьез. Неужели столь галантному и благородному принцу, как вы, придет в голову обесчестить меня или моего мужа, доблестного рыцаря, который так верно служил вам и теперь лежит в мрачной тюрьме по вашей вине? Конечно, сэр, это не принесет вам славы, да и вам будет лучше, если вы сможете исполнить свою военную волю".

"Затем добродетельная дама покинула короля, который был поражен ее словами. Она пошла в зал, чтобы поторопить ужин; затем она подошла к покоям короля в сопровождении всех рыцарей и сказала ему: "Милорд король, ваши рыцари все ждут вас, чтобы омыть руки, ибо они, как и вы, слишком долго постились". Король Эдуард покинул свои апартаменты и пришел в зал, где, вымыв руки, сел со своими рыцарями за ужин, как и дама; но король ел очень мало и все время пребывал в задумчивости, бросая при каждом удобном случае взгляд на графиню. Такое поведение удивило его друзей, ибо они не привыкли к нему, никогда не видя подобного у короля. Они решили, что это его досада из-за того, что шотландцы ушли без боя. Король оставался в замке целый день, не зная, чем себя занять. Так он провел этот день и бессонную ночь, обсуждая этот вопрос в своем сердце. На рассвете он поднялся, вывел все свое войско, разбил лагерь и приготовился преследовать шотландцев. Прощаясь с графиней, он сказал: "Моя дорогая леди, храни вас Господь до моего возвращения, и я молю, чтобы вы хорошо подумали о том, что я сказал, и имели бы благодать дать мне другой ответ". "Милостивый государь, - ответила графиня, - Бог по своей

бесконечной доброте хранит вас и гонит из вашего благородного сердца такие злодейские мысли, ибо я готова и всегда буду служить вам, но только в том, что согласуется с моей честью и с вашей". Король покинул ее, весьма удивленный ее ответами". На самом деле он был очень злодейским человеком в этих вопросах и ждал от дам, на которых бросал взгляд, такой же покорности, как царь Николай от верных фрейлин, которых этот "медный полководец" так любил.

Неизвестный поэт, живший в период между 1590 и 1600 годами, в исторической пьесе под названием "Эдуард III" воспроизвел этот инцидент и переработал его для сцены с некоторыми штрихами, которые, вероятно, оправданы фактами и которые только по этой причине делают этот отрывок достойным пересказа.

Эдуард (solus). Она стала еще прекрасней с тех пор, как я пришел сюда.

В ее голосе больше серебра в каждом слове, чем в других,

Ее остроумие белее; что за странные речи

Рассказывала она о Давиде и его шотландцах!

И так, по ее словам, он говорил; а потом *заговорил широко.*

С эпитетами и акцентом шотландским;

Но несколько лучше, чем шотландец мог говорить:

И тогда, говорила она, и отвечала сама;

Ибо кто может говорить так, как она?

Дышит со стены ангельская нота небес.

Сладкий вызов своим варварским врагам.

Когда она могла говорить о мире, ее язык

Призывал войну в тюрьму; когда о войне,

Она пробуждала Сезара из его римской могилы,

Чтобы услышать, как война украшается ее речью.

Мудрость - глупость, но на ее языке;

Красота - клевета, но в ее прекрасном лице;

Нет лета, кроме как в ее веселых взглядах;

И морозная зима - не в ее презрении.

Я не могу винить шотландцев, осаждавших ее,

Ведь она - все сокровище нашей земли;

Но я называю их трусами за то, что они убежали,

Имея столь богатую и справедливую причину остаться.

* * * * *

Графиня. Мне жаль видеть моего сеньора таким печальным;
Что может сделать ваш подданный, чтобы оттолкнуть от вас
Эту мрачную супругу, угрюмую Меланхолию?

Эдуард. Ах, леди! Я туп и не в силах прополоть
Цветов утешенья на почве позора.

С тех пор как я пришел сюда, графиня, меня обижают.

Графиня. Не дай Бог, чтобы кто-то в моем доме
Считает, что я не права! Трижды нежный король,
Поясните мне причину вашего недовольства.

Эдуард. Насколько я близок к исправлению?

Графиня. Так близко, мой сеньор, как только вся моя женская сила
Может заложить себя, чтобы купить ваше средство.

Эдуард. Если вы говорите правду, то я получу свое возмещение.
Воспользуйтесь вашей силой, чтобы выкупить мои радости,
И я буду радостен, графиня; иначе я умру.

Графиня. Я сделаю это, мой сеньор.

Эдуард. Поклянитесь, графиня, что вы это сделаете.

Графиня. Клянусь небом, я сделаю это!

Эдуард. Тогда отойдите немного в сторону,
И скажите, что король в вас влюблен.

Скажи, что в твоей власти

Сделать его счастливым; и что ты поклялся

Дать ему всю радость, какая только в твоих силах.

Сделайте это и скажите ему, когда я буду счастлива.

Графиня. Все это сделано, мой трижды грозный государь.

Та сила любви, которую я имею власть дать

Вы с благочестивым послушанием.

Воспользуйтесь мною, как вам угодно, в доказательство этого.

Эдуард. Вы слышите, я говорю, что я вас обожаю.

Графиня. Если по моей красоте, то берите ее, если можете.

Хоть ее и мало, но я ценю ее в десять раз меньше;

Если на мою добродетель - берите, если можете;
Ибо добродетель, отдавая, приумножает запас.
Пусть будет то, что я могу дать,
А ты можешь отнять, унаследовать.

Эдуард. Красотой твоей я хотел бы насладиться.

Графиня. О! Будь она нарисована, я бы ее стерла,
И лишилась бы себя, чтоб отдать ее тебе.

Но, государь, она прикована к моей жизни.
Возьмите одно и другое, ибо, как скромная тень,
Она преследует солнечный свет моей летней жизни.

Эдуард. Но вы можете одолжить его мне для игры.

Графиня. Так же легко моя интеллектуальная душа
Быть одолженной, и при этом мое тело будет жить,
Как и одолжить мое тело (дворец моей души)
Вдали от нее и при этом сохранить мою душу.

Мое тело - ее беседка, ее двор, ее аббатство,
А она - ангел, чистый, божественный, незапятнанный.
Если я одолжу ее дом, мой господин, тебе,
Я убью свою бедную душу, и бедная душа моя - меня.

Эдуард. Разве вы не поклялись дать мне то, что я пожелаю?

Графиня. Клялась, милорд; так что все, что вы пожелаете, я смогу.

Эдуард. Я не желаю от вас больше, чем вы можете дать.

Я не прошу, а скорее покупаю;
Это любовь твоя, и за эту любовь твою
В богатом обмене я отдаю тебе свою.

Графиня. Но чтобы уста ваши были священны, милостивый государь,
Вы бы осквернили святое имя любви.

Любовь, которую вы предлагаете мне, вы не можете дать;
Ибо Сезар обязан этой данью своей королеве.

Любовь, которую вы просите у меня, я не могу дать;
Ибо Сара обязана этой обязанностью своему господину.

Тот, кто скрепит или подделает вашу печать.
Умрет, мой господин; а ваша священная особа
Совершит измену Царю Небесному,
чтобы нанести его изображение на запретный металл,
забыв о своей верности и клятве?
Нарушая священный закон брака.
Ты нарушаешь честь, превышающую твою.
Быть королем - младший род.
Чем *быть женатым*; твой прародитель,
Единственный царствующий Адам во вселенной,
Богом был удостоен чести быть женатым,
Но не помазан Он в цари.
Нарушение ваших уставов - наказание,
Хоть и не принятые рукой вашего высочества;
Тем более нарушать священный акт.
Составленный устами Бога и скрепленный Его рукой?
Я знаю, что мой государь в любви мужа
Хочет испытать жену Солсбери,
Выслушает ли она распутство или нет;
Чтоб, будучи виновной в этом, не остаться мне,
От этого, а не от моего сеньора, я отвернусь.

Графиня, естественно, одерживает верх в споре и позорит короля. В таком приятном свете ее представляют и летописцы, и поэты, и дама, в честь которой был учрежден орден Подвязки на основе ордена Голубых Тонгов, была достойна всех отличительных почестей, которые могли оказать ей рыцарь или король.

Ричард II, столь любящий парад и удовольствия, столь утонченный и интеллектуальный, столь приветливый вначале, столь деспотичный и абсолютный в конце концов, пока не был свергнут и затем убит, относится к числу самых меланхолических рыцарей и государей. Он не был героем, так как легко возвышался и легко унывал. Он смертельно побледнел, услышав в Ирландии о высадке Генриха Болингброка в Англии и о том, что архиепископ Кентерберийский проповедовал в пользу узурпатора. Он был необычайно смел, пел хороводы не хуже любого менестреля и часто сам их исполнял. Он мало походил на рыцаря, когда пересекал часть Уэльса до Конвея, переодевшись францисканским монахом, или перелетал из замка в замок, имея жалкий ночлег и скудную пищу. Именно в одежде и монашеском одеянии некогда рыцарственный Ричард сдался своему кузену. В войске кузена, посланном захватить Ричарда и его немногих верных рыцарей и оруженосцев,

отказавшихся снять с плащей его оружие, был "сэр Генри Перси" (шекспировский *Хотспур*), "которого они считали лучшим рыцарем в Англии".

Именно благодаря уговорам отца Хотспура Ричард отправился из Конвея во Флинт, где попал в плен, а затем был доставлен в Честер, причем английские рыцари противоположной фракции вели себя с ним крайне не по-рыцарски грубо. Непризнанного монарха сначала отвезли в Пикеринг, одно из самых красивых мест в Англии, обезображенное сценами величайших преступлений, хозяевами которых были рыцари и дворяне. Затем он проследовал в Лидс и замок Кнаресборо, где королевские покои до сих пор указывают посетителям. Наконец, его доставили в "кровавый Помфрет" - "роковой и зловещий для благородных пэров". Говорят, что никогда человек не был так похож на рыцаря, как несчастный король, когда он появился перед разводным мостом замка Понтефрак. Он был величественен, но его величие было подавлено такой глубокой меланхолией, что мало кто мог смотреть на плачущего короля, не проливая слез. Если бы его портрет в этот момент можно было метрически передать в общих чертах, его можно было бы слабо передать следующим наброском

Кто входит сейчас в эти ворота,

с достоинством на бледном челе?

Кто тот человек, что, смиряясь с судьбой,

Приходит сюда сейчас?

Он, похоже, человек печали,

Которого Печаль в глубине души давно заметила для себя.

Есть ли у него такая форма, как у того, кто предается мечтам
на троне?

Улыбки когда-нибудь украшали это лицо?

Лицо, на которое теперь наложена печальная печать;

Была ли когда-нибудь радость на этих дрожащих губах,

Чтоб сердце радовалось?

Кто эта тень?

Этот тип увядшего величия? Эта вещь?

Может ли быть правдой, что рыцарский облик истлевший

Был когда-то королем?

Сын благородного сира,

и наследник добродетелей своего отца;

Эти глаза, столь тусклые, когда-то соперничали с солнечным огнем;

Никто не был более прекрасен.

Галантным и светлым сердцем,

Орел, рожденный в скале, был менее смел, чем он;
Созданы на земле, чтобы играть каждую изящную роль
Очаровательно.
Его радости были рано прерваны;
Его разум извратили самые безжалостные люди;
Надежда, как недолговечная роза, на миг расцвела,
И тут же увяла.
Его добродетели были его собственными;
Его пороки навязали ему, против его воли;
Его слабые недостатки были присущи только его возрасту.
Той эпохи дурной.
В нем ты видишь истину,
Как тиранична и всепоглощающая ночь,
Не обращая внимания ни на средства, ни на волю, действуя без правды,
торжествует над правом.
И этот урок не печален.
Лишенный наставлений для настороженных посланных.
Учись на нем с радостью своей,
Кротости и довольству.
И будь, где бы ни был твой путь,
Какие бы испытания жизнь ни принесла тебе,
Благодарен, что Небеса в гневе не сделали тебя королем,
Не сделали тебя королем!

В рыцарском духе Генриха IV никто не сомневается, и все же однажды он отказался принять вызов. Претендентом был герцог Орлеанский, заклятый друг Генриха, соучастник некоторых его подвигов, который, не получив ожидаемых выгод, предложил Генриху встретиться с ним в походах по Гиени, выставив по сотне рыцарей с каждой стороны. Генрих сражался скорее с вызовом, чем с претендентом, но когда тот назвал его мятежником, узурпатором и убийцей, он дал своему бывшему другу ложь, причем в не очень мягких выражениях, что касается обвинения в соучастии в смерти Ричарда. Маленький цветок, незабудка, отчасти обязан своей популярностью Генриху, который, еще не став королем и находясь в изгнании, выбрал его своим символом, носил его в золоте на воротнике и добавил к нему в качестве украшения слова "Souvenez de moi". Примечательно, что после смерти Генриха его вдова, Жанна Наваррская, продолжала считаться дамой Подвязки, получая в этом качестве подарки от

Генриха V. и присутствуя на высоких праздниках в орденских мантиях, подаренных новым королем.

Этот новый король не нуждается в заступничестве в качестве рыцаря. Достаточно простого слова "Азенкур". Его ухаживание за Екатериной Валуа также характерно для галантного, если не сказать амурного рыцаря. Во время обручения этой прославленной пары Генрих представил даме своего любимого рыцаря, сэра Луи де Робсарта, в качестве ее личного сопровождающего, чтобы тот вечно следил за ее безопасностью; но этот рыцарь королевы был просто ее хранителем, и его главной миссией было следить за тем, чтобы даму не украли у него в период между днем обручения и королевским бракосочетанием.

Хотя правление Генриха V стало периодом славы рыцарства, победы, одержанные рыцарскими воинами, достались им такой ценой, что к концу царствования в Англии не хватало людей, способных компетентно вести гражданские дела. Еще хуже обстояло дело при Генрихе VI. Когда велись переговоры о мире с Францией, кардинал Винчестерский представил французскому правительству, что за четверть века борьбы за титул и притязания на корону Франции в этих войнах было убито больше людей из обеих стран, чем существовало в то время в обеих нациях. Кардинал сказал, что его шокирует мысль о том, что было пролито столько христианской крови, - и осталось не так уж много христианских рыцарей, чтобы воскликнуть "слышите, слышите" в ответ на такое утверждение.

Из всех королей, правивших до сих пор, Генрих VI был наименее кавалеристом, но в сердце его восхитительной жены, самой героической, пожалуй, из английских королев, Маргариты Анжуйской, рыцарства хватило на двоих. Как не похожа была судьба этой несовместимой пары на судьбу их преемников Эдуарда IV и его жены Елизаветы Вудвилл! Этот король воспользовался одной из привилегий рыцарства: он любил тех, кто ему нравился, и женился на тех, кого любил. Он был первым королем Англии, который женился на простой даме, то есть на той, которая не принадлежала к княжеской крови. Он не слишком преуспел в этом, так как его правление было довольно пышным, в котором роскошный король не был верен никому, ни друзьям, которые поддерживали его дело, ни госпоже Шор, которая помогала ему, чтобы сделать его дело недостойным. Минуя Эдуарда V., можно заметить, что в Ричарде III. было гораздо больше рыцарского характера, чем в четвертом Эдуарде. Ричард будет лучше оценен, если мы будем судить о нем в соответствии с духом времени, в котором он родился, а не по нашим стандартам. Более храбрый монарх никогда не выступал против английских войск; и если на его счет справедливо могут быть возложены тяжкие преступления, не следует забывать, что среди кровавой борьбы, которую ему пришлось вести почти со дня своего воцарения, он успел ввести в действие не одно постановление, от которого английский народ получает выгоду вплоть до настоящего времени.

В другом месте я уже отмечал, что многие из нас первоначально черпают свое представление о Генрихе VII. у лихого Ричмонда, который открывает пятый акт "Ричарда III" в панотье и приподнятом настроении. Ни один из шекспировских персонажей не выглядит более рыцарственно, чем он. Тем не менее, факт остается фактом: Генрих не отличался рыцарскими манерами и повадками. Говорят, что его мать вышла замуж, когда ей было всего девять лет, и добавляют, что Генрих родился в год, следующий за свадьбой. Несомненно, что дама была не в летах, и этому обстоятельству Тернер склонен приписать слабость телосложения Генриха.

Если он и не мог так хорошо защитить себя мечом, как утверждали поэты и историки Тюдоров, то, по крайней мере, знал, как это сделать с помощью сильной руки закона.

Именно в его правление духовенство лишило мирян возможности убивать своего господина, повелителя или непосредственного государя.

Можно с уверенностью сказать, что, по крайней мере, в некоторых частях острова рыцарство Ричарда, который никогда не был таким черным, каким его рисуют, ценилось больше, чем осторожность его успешного соперника. В северных графствах, говорит Бэкон, "память о короле Ричарде была так сильна, что лежала, как осадок, на дне людских сердец, и стоило только взболтать сосуд, как она всплывала".

Галантные рыцарские чувства в этот период действительно были очень сильны в народном сознании. В качестве примера можно привести тот факт, что не только о Перкине Уорбеке, которого можно назвать авантюрным рыцарем, не получившим должной справедливости, говорили под именем "Белая роза", но, если верить Бэкону, это имя было распространено и на его жену, в качестве комплимента ее истинной красоте.

Генриха много порицали за порок, от которого все рыцари, подобно монахам, должны были быть свободны. Но в его царствование были шевалье, которые так же любили деньги, как и он. Одним из них был сэра Уильям Стэнли. Во время его казни в его замке Холт было найдено более чем скромное временное обеспечение для бедного рыцаря. Только готовых денег там было сорок тысяч марок, не говоря уже о тарелках, драгоценностях, домашней мебели и живности - все в изобилии и самого высокого качества. "А его доходы от земли и податей составляли три тысячи фунтов стерлингов в год старой ренты, что в те времена было огромной суммой. Большая добыча с Босвортского поля почти целиком перешла в руки этого человека, к его безграничному обогащению".

Бэкон относит Генриха VII, Людовика XI и Фердинанда Арагонского к трем *волхвам* королей той эпохи, в которой они жили. Это счастливая классификация. В Фердинанде, однако, было больше рыцаря, чем в его королевских кузенах, и не меньше государственного деятеля. Именно он впервые изобрел посольство-резидента при иностранных дворах.

В рыцарском обличье Генрих VIII в молодости, пожалуй, никогда не был равным, и уж точно никогда не был превзойден. Он был самым учтивым из рыцарей и самым галантным из джентльменов. Пока кардинал Вулси был рядом с ним, чтобы направлять и контролировать его, он сохранял этот характер без изменений; и только когда этот старый наставник умер, Генрих потерял свою репутацию христианского рыцаря и джентльмена.

Согласно указу от 24-го года правления этого короля, ни один человек, не достигший рыцарского звания, не мог носить ошейник СС. Судьи носят такие воротники, потому что они являются рыцарями или приравнены к ним. Из того, что был издан соответствующий указ, следует, что до указанного периода лица, не достигшие рыцарского звания, могли носить такой ошейник. Поэтому Эдуард IV, когда он пожаловал ошейник кожевнику из Тамворта, не был виновен в какой-либо аномалии. Напротив, он явно знал, на что шел, судя по его реплике: "Так вот, я делаю тебе ошейник".

"И вот я *назначаю* тебя лучшим эсквайром

В Северном графстве".

Во времена Эдуарда ошейник, возможно, и составлял разницу между оруженосцем и рыцарем. Но это было не единственное отличие. Если было различие на шее, то было и различие на пятках. Рыцарь всегда носил золотые шпоры: он был *Equus Auratus*. Сквайр мог носить шпоры не дороже серебра, и "белые шпоры", соответственно, были общим термином для эсквайра. Возможно, именно в связи с этим деревенский сквайр, упомянутый Джонсоном, выставлял свои серебряные шпоры на обочине стола. Возвращаясь к Генриху VIII, позвольте добавить, что он проявил нечто из того, что считалось рыцарским качеством, - сострадание к низшим, - когда предложил, чтобы летом рабочим предоставлялось время для сна.

Эдуард VI был просто многообещающим юношей. Его отец не хотел посвящать его в рыцари, пока он не научился владеть оружием; а если он и получил эти знания рано, то так и не был призван применить их на практике. Больше рыцарского характера было в его сводной сестре Марии, подвергшейся жестокому обращению, а также в Елизавете; но королевы, конечно, не могут считаться рыцарями: Однако в Елизавете было много от духа, и она была окружена рыцарскими людьми и служила с рыцарской преданностью. В ее время, замечу, существовал один вид рыцарей, которых называли "рыцарями дороги". В 39-м году правления Елизаветы на них особенно любопытно указывается в акте об освобождении сотни Бейнхерст от статута "Hue and Cry" (где не было добровольного невыполнения обязательств) из-за штрафов, которым эта сотня подвергалась из-за многочисленных грабежей, совершенных в Мейденхедской чащобе. Мейвор в своем рассказе о Беркшире говорит, что "викарию Хенли, служившему куратору Мейденхеда, примерно в то же время было выдано авансовое жалованье в качестве некоторой компенсации за опасность прохождения чащи". Викарий, как и рыцари дороги, по крайней мере, имел более чистый воздух, чем духовенство и рыцарство, которые держали дом в столице. "В Лондоне, - говорит Эйфус, - есть все, что может либо радовать глаз, либо не нравиться, либо наполнять глаз восторгом, а нос - инфекцией".

В таких обстоятельствах прохладительные напитки были вдвойне необходимы, и народная благодарность досталась этому самому полезному из рыцарей, сэру Томасу Грешему, который ввел апельсин в качестве предмета торговли, и который, соответственно, был изображен Антонио Мором с апельсином в руке. Старый утрехтский художник, о котором шла речь выше, был посвящен в рыцари Карлом V, который платил ему мало - около шестисот дукатов за три картины, но добавил рыцарское звание, которое ничего не стоило императору, и которое художник считал очень ценным.

Можно было бы предположить, что при Марии и Елизавете рыцарство исчезло, если бы мы судили по анонимному сборнику, который был опубликован в царствование Марии и переиздан в царствование Елизаветы. Великие имена того периода доказывают обратное, но, возможно, были и исключения. Давайте же заглянем в книгу этого неизвестного писателя, который сетует на вырождение своего времени и излагает то, что он называет "Институтом джентльмена".

"ИНСТИТУТ ДЖЕНТЛЬМЕНА".

"Ваш лик, хоть и блесит рыцарством, выглядит так заимствованно, что лучшие слова, которые вы мне говорите, так же ужасны, как "стоять и не сдаваться"" - *The Asparagus Garden*.

Неизвестный автор "Института джентльмена" посвящает свой способный трактат "лорду Фицуотеру, сыну и наследнику герцога Сассекского". В своем послании он не столько скорбит о всеобщем упадке нравов, сколько о том прискорбном факте, что низкороджденные поднимаются до дворянства, а дворянство и рыцарство приходят в упадок. Он умоляет "вновь воздвигнуть дворянство, которое, по правде говоря, сильно обветшало и пришло в упадок, в результате чего произошло столь сильное разложение нравов, что почти угасло имя джентльмена, а ремесленники получили почетный титул, хотя (на самом деле) сами по себе они могут оспорить не большее достоинство, чем лопата, принесенная их покойными отцами".

Тот же вопрос волнует писателя и во вступительной главе. В этой главе показано, как в это время торговля уравнивалась с дворянством. "Да, купец не считает себя хорошо воспитанным, если он не называется одним из тех благородных купцов, с которых брал пример ремесленник, и не требует называть себя "господином" того, кого отец и дед называли "добрым человеком"".

В вопросе "Что такое джентльмен?" автор возвращается к очень отдаленному периоду, к временам Адама, цитируя старую поговорку: "Когда Адам входил в воду, а Ева плела...

"Когда Адам заблудился, а Ева разбежалась,

Кто тогда был джентльменом?"

И он делает следующий комментарий к этому известному тексту:

"Есть много людей столь грубого понимания, что они думают сбить с толку джентльмена, задавая ему этот вопрос. На что можно ответить, что сколько благодати Адам, наш первый отец, получил от Бога при сотворении, столько же благородства и дворянства он получил. И чтобы в совершенстве понять, как и после какого поведения вел себя Адам, или как он направлял порядок своей жизни, свидетелей, я думаю, в этом отношении далеко искать, чье поведение, если оно было добрым и честным, то он был первым дворянином, даже настолько, насколько первым земным приверженцем добродетелей. Но если в нем не было таких добродетелей, то он был первым джентльменом, в котором впервые проявились добродетели и благородные поступки".

В качестве обучения совершенству наш анонимный автор рекомендует строгость дисциплины с колыбели и выше. "Я также, - говорит он, - не хочу допускать *никакой* свободы для молодежи, ибо как свобода для всех вредна, так для молодежи она - настоящий яд"; но он забывает, что даже яды вводятся в малых дозах, чтобы излечить определенные болезни, и что жизнь была бы болезнью даже для молодых, если бы не было некоторой доли свободы. Он ужасно боится, что свобода в детстве испортит человека, который сам будет не человеком, при слишком большой свободе, а "ройстером"; "а "ройстер", - добавляет он, - не может исполнять обязанности джентльмена, пока, я имею в виду, он остается ройстерианцем".

Затем он сообщает нам, что в Англии уже давно существует деление на классы: "Джентльмены-джентльмены, Джентльмены-неджентльмены и Джентльмены-неджентльмены". Это были не классы общества в целом, а исключительно классы ордена джентльменов. *Джентльмены* - это люди благородного происхождения, от герцогских сыновей до эсквайров, при условии, что они присоединятся к своему "благородному дому, благородным манерам и благородным условиям, что и послужило причиной добавления другого слова, называемого "джентльмен". Это во многом такое определение джентльмена,

которое можно дать и сейчас, за тем исключением, что вопрос рождения имеет мало отношения к делу, и что мягкие манеры и благородные условия, как наш автор называет джентльменскую осанку, ученое образование и христианские принципы, теперь делают из человека джентльмена, пусть он будет из "мягкого" дома или нет. И действительно, автор сам не прочь принять этот метод определения, ибо, переходя к рассказу о том, что такое "Джентл Неджентл", он говорит, что "Джентл Неджентл - это человек, происходящий из благородного рода, благодаря которому его принято называть джентльменом, и имеющий в себе такие испорченные и неблагородные манеры, что, по мнению всех людей, он справедливо заслуживает названия неблагородного". И снова его средство от того, чтобы нежные люди не стали нежными, - принуждение в юности. Он считает, что добродетель можно получить из человека, как масло или другие соки из некоторых растительных веществ, путем выжимания. Сожмите человека покрепче, сильно надавите на него, и он обязательно что-то выдаст. Несомненно; но после давления от него зачастую не больше пользы, чем от хорошо обсосанного апельсина.

Далее мы переходим к "Нежной нежности". При определении этого термина автор, при всем своем почтении к благородству, вынужден признать, что существует благородство состояния, равно как и благородство рождения; но другие, кто оспаривал этот факт, придумывали новое слово для английского языка или по-новому применяли старое слово, чтобы поддержать свою теорию и напасть на тех, кого они пытались опустить.

"Нежный джентльмен", - говорит наш автор, - "это тот, кто родился в низком сословии - тот, кто, взяв начало в бедном роду, благодаря своей добродетели, уму, политике, промышленности, знанию законов, доблести в оружии или подобным честным средствам, становится благовоспитанным и высокопоставленным человеком, которого затем предпочитают на большие должности, ставят в большую ответственность и кредит, даже настолько, что он становится должностью или пребыванием в содружестве, и таким образом, разбогатев, продвигает и ставит на ноги остальных из своего бедного рода или родни. Они - дети того, кого принято называть джентльменом; таких джентльменов у нас в Англии сейчас очень много, так что должно показаться, что добродетель у нас процветает. Этих джентльменов теперь называют "ап-стартами" - термин, недавно придуманный теми, кто не задумывался о честных способах подняться или продвинуться по службе". Тем не менее, говорит наш цензор, "выскачок" хватает и в избытке. Преклонные недостойные, говорит он нам, изобилуют; и сын доброго человека Томаса или доброго человека Джона получил имя джентльменов, степень эсквайров или рыцарей, и, обладая "небольшим прогнозом на получение земель, путем определенных темных приращений", они называются "преклоненными" на каждом ассамблее. Он датирует возникновение этого рода дворянства, рыцарства и эсквайрархии, временем подавления и конфискации аббатств и аббатских владений. У него есть любопытный отрывок на эту тему: -

"Они неправомерно вторглись в дворянство и втиснулись туда, как Баярд, карт-жад, мог бы впрыгнуть в конюшню Буцефала и сунуть голову в ясли с этим достойным скакуном. Если бы я стал перечислять конкретные имена этих людей, то это потребовало бы долгих трудов и не принесло бы читателям никаких плодов. И хорошо известно, что такие злоумышленники, такие недостойные богомольцы процветают главным образом с тех пор, как были разрушены аббатства, а это время я хорошо помню".

Допуская, что джентльменские манеры способствуют становлению джентльмена, а рождение - лишь случайность, имеющая мало отношения к делу, он все же не может не почитать скорее хороших людей высокого происхождения, чем хороших людей низкого происхождения. Он, очевидно, считает, что так поступать ему предписывает религия, ибо

замечает: "Поскольку в прошлые времена никому не позволялось быть "Knyght of the Roodes", кроме того, кто происходил из рода джентльменов, и, таким образом, выяснилось, что никто не считался настолько подходящим для защиты права, то есть веры Христовой, как джентльмены, и чтобы их должности соответствовали их профессии, то самое лучшее, чтобы все джентльмены были призваны на такие места и должности, которые могут быть выгодны для содружества". Эта идея, что святой гроб должен быть спасен от неверных только джентльменами, и тот факт, что он не был спасен, напоминает мне о короле Испании, который, оказавшись в опасности быть зажаренным заживо, сидя на стуле, который один из его великих офицеров поставил слишком близко к огню, предпочел жарить дальше, по той необычной причине, что под рукой не было вельможи, чтобы отодвинуть его стул!

В 1555 году этот писатель все еще считал профессию оружейника самой благородной, самой выгодной для профессора и самой полезной для государства. Мужество, либеральность и верное выполнение всех обещаний; наделенный такими качествами, человек, по его мнению, является истинным джентльменом. Однако он проводит счастливую параллель, признавая, что если джентльмену подобает быть хорошим рыцарем и доблестным воином, то еще более подобает ему быть великим государственным деятелем. Ибо, "хотя доблестный поступок на войне заслуживает великой похвалы и вознаграждения, но служение справедливости в мирное время - это должность, достойная высшей похвалы". Причина в том, что войны ни в чем не нуждаются, но в случае их падения необходимо защищаться. И напротив, мир - вещь не только самая необходимая, но и называемая лучшей из тех, что даже природа дала человеку". Эта параллель, если ее действительно можно так назвать, используется, однако, только для того, чтобы показать, что определенные должности в государстве должны занимать только урожденные джентльмены. В нашем моралисте, в конце концов, есть доля краснобаев; и он испытывает ужас, который все еще сохраняется в некоторых местностях, перед допуском демократического элемента на государственные должности. Так, он утверждает, что "джентльмену более подобает, чем любому другому роду людей, отправлять посольства или послания между королями или князьями этой земли; более подобает, говорю я, потому что джентльмены умеют держать лицо и делать приятные жесты перед королевским величеством лучше, чем другие роды людей". Можно подумать, что величие короля - это нечто слишком ослепительное для обычного человека, обладающего здравым смыслом, чтобы смотреть на него и жить им, и все же писатель, очевидно, понимает, что в этом нет ничего особенного, поскольку он завершает свою главу по этому вопросу замечанием, что "джентльмен, посланный с посольством к принцу, должен считать короля всего лишь человеком и, с почтением и смирением, смело говорить ему свое послание". Конечно, человек здравого смысла мог бы так поступить, независимо от своего происхождения, особенно в те времена, когда неумелость и невежество джентльменов были столь велики, что перешли в пословицу, а "He shooteth like a gentleman fair and far off" подразумевало не только плохую стрельбу из лука и стрел, "но распространялось дальше и доходило до более серьезных вещей, все к позору невежественных джентльменов".

У нас так принято ссылаться на времена, в которые писал этот автор, как на дни, когда старые рыцари и деревенские джентльмены поддерживали такое гостеприимство, какое редко когда можно было наблюдать, что мы удивлены, когда в этом трактате жалуются на нечто прямо противоположное. Автор предписывает этим рыцарям и джентльменам меньше ездить в Лондон и чаще оказывать гостеприимство в собственных домах. "В древние времена, - говорит он, - когда любопытные здания не привлекали внимания путников, они могли наесться и хорошо пообедать в так называемом джентльменском месте. Тогда стояла масляная дверь без люка; у йоменов не было причин вырезать маленькие блюда; повара Фландрии не имели тогда жалованья за свои приспособления, и квадратные столы не

использовались". Это разнообразие и изменение старой английской манеры незначительно обогатило джентльменов, но сильно обеднило их имена, не без справедливого наказания за их непоследовательность в этом отношении". Позвольте мне добавить, что, по мнению писателя, деревенский рыцарь или джентльмен хорошо бы справился с должностью мирового судьи. Однако он очень боится, что существует дисквалификация на основании невежества. Моралист может испытывать те же опасения, но не прийти к такому же выводу. Наш автор, например, утверждает, что благородному человеку следует оказывать почтение, *quand même*. Пусть он невежествен и тираничен, но почитать его - значит подавать пример послушания другим. Это очень плохая логика, а то, что следует за ней, еще хуже; ибо этот писатель очень серьезно замечает, что "мы должны терпеливо сносить обиды благородных людей, и что если они забывают себя, то не следует, чтобы меньшие люди забывали о своем долге в результате этого и не оказывали им уважения".

Мы сталкиваемся с еще одной социальной чертой, когда видим, что автор сетует на то, что, как бы ни было важно для джентльмена быть знакомым с охотой и ястребиной охотой, но этими занятиями так злоупотребляют, следуя им до чрезмерности, что "джентльмены почти не делают ничего другого, или, по крайней мере, могут делать это лучше, чем любое другое занятие". К упомянутой чрезмерности автор относит тот факт, что "есть так много необработанных солдат, когда во время войны требуется их помощь. В этом причина такого количества необученных джентльменов, которые, как говорят некоторые, не понимают тех заковыристых терминов, что в последнее время прокрались в наш язык. И не удивительно, что они их не понимают, в то время как в своих собственных терминах, касающихся охоты и ястреба, они невежды, как "Auvent" и "Retrouvre", которые они называют "Houvent" и "Retrires"". Чего еще можно было ожидать от людей, которые отказались от тренировок с длинным луком и перешли к бросанию костей? Но в среде глупых рыцарей и джентльменов теперь царит такая же дикая экстравагантность в одежде, как и невежество в необычных вещах. Об этом упоминается в главе о платье, где говорится, что "в наши дни не принято тратить сто фунтов на одежду для одного джентльмена, а в прежние времена платье для палаты было одеждой, которая жила у английского эсквайра двадцать лет" - и я верю, что рыцари были так же бережливы, как и эсквайры. "Тогда процветала похвальная простота Англии", - восклицает автор; "не было ни фокусников, ни горячих ученых, применяющих наши умы для изучения новых мелочей в одежде". О моде автор пишет с таким чувством, словно отчаялся в своей стране. "Англичанин, - замечает он, - ежедневно меняет фасон своей одежды; иногда он восхищается множеством зацепов, рубцов, пинков и набросков. Иногда, наоборот, он носит свою одежду, простую, как мешок; и все же он не может изменить и эту простоту, если будет изобретена какая-нибудь новая изюминка. Вот суэта его наслаждений". И это тщеславие было свойственно всем людям высокого положения в его время - тем, кому причиталась "честь" от людей меньшего положения, а это были "герцоги, графы, лорды и подобные им люди высокого положения", а также тем, кто имел право на "поклонение" меньших людей, а это были "рыцари, эсквайры и джентльмены". Здесь, как мне кажется, наблюдается некоторая путаница в применении этих терминов; но я привел эту выдержку не для того, чтобы обосновать свой комментарий, а потому, что она иллюстрирует одну часть моей темы и показывает, что если "ваша честь" когда-то была должным выражением уважения к пэрству, то "ваше поклонение" было почтительным выражением уважения к рыцарям, эсквайрам и джентльменам. Мы до сих пор применяем эти термины, если не к различным степеням, названным выше, то столь же путано или бездумно по отношению к вопросу о том, есть ли в человеке, к которому обращаются, что-то почетное или боготворимое. Однако это лишь форма, сохранившаяся среди низших классов. Однако в вопросах права "его честь" по-прежнему сидит в канцелярии, а "ваше почтение" можно увидеть за столом любого судьи.

Теперь мы вернемся к роду королей, которые, какими бы ни были их недостатки, определенно не были лишены некоторых рыцарских качеств.

АНГЛИЙСКИЕ КОРОЛИ КАК РЫЦАРИ.

СТУАРТЫ.

"Пусть не радуется слух читателя,

Который никогда не вдыхал воздух своей страны,

услышать рассказ о таких вещах".

Хейвуд, английский путешественник

Неоспоримым фактом является то, что король Англии, который меньше всего походил на рыцаря по своему воинственному характеру, был тем, кто превосходил всех своих братьев-государей по рыцарскому духу как любовник. Я имею в виду Якова I. Крестник Карла IX Французского в детстве был тем, кем никогда не был его крестный отец, - грязным, глупым мальчишкой. Он - единственный король, который когда-либо добавлял оригинальное замечание к королевской речи, предназначенной для его произнесения. Это замечание было, вероятно, почти таким же длинным, как и сама речь, ведь Якову было всего четыре года, когда он его произнес. Он катался по трону, весело наблюдая за мрачными лордами, которым он, в конце концов, с большой серьезностью и правильностью прочитал заготовленную речь. В конце своей речи он указывал на трещину в черепичной крыше зала или на прореху в балдахине трона и объявлял лордам и другим присутствующим неоспоримый факт: "В парламенте была дыра".

В Стирлингском замке у юного отрока не было ничего печального, пока Рейд Рутвен не лишил его естественных защитников и не отдал в руки Гаури. Его побег оттуда продемонстрировал смелость и рассудительность шестнадцатилетнего юноши; и когда Фредерик II Датский отдал ему в жены одну из двух датских принцесс, никто не подумал, что столь галантный король недостойн этого комплимента. Однако когда выяснилось, что королевский датчанин требует от Якова либо принять дочь, либо отдать Оркнейские и Шетландские острова как собственность, незаконно отторгнутую у Дании, люди стали смотреть на датского короля как на виновника необычайно резких действий по отношению к государю шотландцев. Последовал целый мир неприятностей, о которых я не собираюсь рассказывать, хотя, если бы я был склонен к рассуждениям - а я, конечно, *не склонен*, - я бы нашел большое искушение предаться им по этому самому поводу. Достаточно сказать, что, прежде чем Джеймс сделал свой выбор и согласился принять руку Елизаветы, старшей дочери Фридриха II, а не молил о том, чтобы она была ему дарована, произошло немало неприятностей.

О том, как интриги королевы Елизаветы помешали этому браку, я не буду рассказывать. Датская принцесса вышла замуж за царствующего герцога, и Джеймс уже собирался обручиться с Катериной Наваррской, когда ему предложили руку Анны, младшей дочери Фредерика, в сочетании с возможностью либо принять Анну, либо потерять острова, он "молился и советовался с Богом в течение двух недель" и мудро решил сочетаться браком с "прелестной Анной".

Некоторое время дело продвигалось не слишком гладко. В конце концов, после бесконечных пререканий, юная принцесса была обвенчана по доверенности в августе 1589 года и вскоре после этого отплыла в Шотландию под конвоем дюжины галантных кораблей и с перспективами очень неприятного путешествия.

Ужасный шторм пригнал невесту и конвой к негостеприимному побережью Норвегии, и хотя две или три ведьмы были казнены за то, что подняли этот шторм по злобе, дело не заладилось. Бедствия преследовали флот, и смерть настигла нескольких плывущих в его составе, пока не показалось побережье Шотландии. Шотландские ведьмы, а может быть, и другие причины, не менее могущественные, чем ведьмы, в тех морях, осенью того же года отбросили флот назад, к устью Балтики. "Мне было поручено, - сказал Петер Мунк, адмирал, - высадить молодую королеву в Шотландии; поэтому ясно, что я не могу вернуться с ней в Данию. Поэтому я посажу ее величество на берег в Норвегии". Вывод не был логически обоснован, но факт был таким, как мы его описали. До Якова дошли письма, сообщавшие ему о плачевном состоянии, в котором его королева находилась в Упсло, на норвежском побережье, унесенная штормом и наполовину потерявшая семью. После рассмотрения многих проектов по ее спасению Джеймс решил сам отправиться на поиски принцессы. Именно в этом отрывке его жизни мы видим иллюстрацию того, в чем он превосходил всех других королей, сидевших на английском троне, - как галантный *рыцарь-любовник*.

В конце октября этого года, в самый штормовой период, Джеймс в частном порядке отправился на борту небольшого судна с очень неохотно собравшимися сторонниками и единомышленниками, оставив для сведения изумленных жителей обещание вернуться через двадцать дней, а для их особой пользы - торжественное увещевание жить мирно, пока он снова не появится среди них со своей женой.

Рыцарственный любовник высадился в Норвегии в начале ноября и двинулся вдоль побережья, то пешком, то верхом, то в санях, а иногда в лодках или на корабле, пока с бесконечными усилиями и в плачевном состоянии не достиг Упсло, к удивлению всех, кроме королевы, около 19 ноября. Принаряженный и измазанный в дороге, он сразу же отправился к ней. Он был так доволен представшим перед ним прекрасным видением, что сделал вид, будто хочет сразу же поцеловать королеву, которая стояла и смотрела на него. "Это не форма моей страны", - сказала милая Анна, не слишком решительно отведя голову в сторону. "Это старая добрая шотландская мода", - ответил молодой король, и было замечено, что менее чем через час Анна полностью погрузилась в приятный заморский уклад и совершенно забыла о формах Дании.

Молодая пара была обвенчана лично в воскресенье, следующее за прибытием Джеймса. Последний, как и любой паладин из романа, покончил с жизнью и боролся с почти непреодолимыми препятствиями, чтобы завоевать королевскую даму менее легким способом, чем это обычно бывает при сватовстве и свадьбе королей. Такая пара заслуживала самого веселого брачного пира, но пока снаружи бушевала такая буря, какой Норвегия не видела с тех пор, как над ней впервые подул морской ветер, внутри поднялась такая буря, поднятая шотландскими дворянами по вопросу о старшинстве, что сам король был занят главным образом тем, чтобы успокоить ссорящихся, и лишь наполовину преуспел в достижении желаемого. К этому добавлялась перспектива долгой зимы в меланхолических хижинах Упсло. Однако Джеймс вновь проявил дух рыцаря, обладающего более чем обычной галантностью. Он не только решил, что юная королева не должна оставаться в заточении среди норвежских снегов до мая, но и решил сам провести ее через норвежские Альпы, через Швецию, в ее датский дом. Идея такого путешествия казалась безумной, но Джеймс приступил к ее осуществлению, руководствуясь методикой и здравым смыслом.

Сначала он проделал опасный путь в одиночку до Швеции, а затем, убедившись, что это вполне осуществимо, вернулся за женой и отправился в путь во второй раз в ее компании. Много опасностей, но мало несчастных случаев сопровождали их в пути, и когда в конце января свадебная компания благополучно прибыла в Кроненбург, церемония бракосочетания не только повторилась в третий раз - вопреки ведьмам, которые ничего не могут сделать против удачи, которая, как говорят, кроется в нечетных числах, - но и была устроена череда брачных пиров, на которых каждый джентльмен с каждым днем пил все больше и больше, пока не начались такие беспорядки и раздоры, что мало кто держал свои кинжалы в ножнах, кроме тех, кто был слишком пьян, чтобы достать их. О том, что все были не в таком позорном состоянии или не находились в нем постоянно, можно догадаться по тому факту, что Яков нанес визит Тихо Браге и беседовал с астрономом в его обсерватории на очень энергичной латыни. Однако королю было не жаль покинуть старую Данию, и когда у берегов Кроненбурга появился шотландский флот, чтобы доставить его невесту и его самого на родину, его не смогли убедить задержаться ни на день дольше, чем Тихо Браге убедить в правоте Коперника, сместившего Землю с птолемеевой точки зрения как центр Солнечной системы. Невеста отплыла 21 апреля 1590 года и в майский день благополучно пришвартовалась в гавани Лейта. Красивая невеста не могла прибыть в более подходящее время. Королевский рыцарь и его дама заслужили все счастье, которое только может быть даровано галантностью одного и красотой другой. Но они не избежали испытаний, обычных для гораздо менее достойных пар; и на этом рыцарский характер Джеймса можно считать законченным. Как ни был он образцовым любовником и как ни был верным мужем, во всех остальных отношениях он был просто проницательным человеком, да и *то* не всегда. В муже, который начинает и продолжает свою супружескую жизнь с безразличием к вопросу о займах, мало такого качества. С Джеймсом это были серебряные ложки сегодня, шелковые чулки завтра, а также марки и мойдоры от любого, кто даст ему кредит. Старый французский рыцарь, который пил бульон из собственного шлема, а не из одолженной чаши, руководствовался, по крайней мере, благими принципами. Джеймс скорее соглашался с Карло Баффоне в пьесе Джонсона "Каждый человек не в духе", что "в наши дни задолжать много - это отличная политика". Политика, которая, к сожалению, все еще считается прекрасной, несмотря на разорение, которое сопровождает ее применение.

Серьезное рыцарство, запечатленное на лице и чертах Карла I, поразительным образом упоминается Беном Джонсоном в его маске "Метаморфозированные цыгане"; например, так

"Его чело, его взгляд и все признаки состояния,

Как будто он был порождением всех милостей,

И носил в себе *и славу, и судьбу*".

Эчард говорит о нем, что он был совершенен во всех рыцарских упражнениях: "прыгал, ездил на огромном коне, бегал по кольцу, стрелял из арбалетов, мушкетов, а иногда и из больших пушек; что если бы суверенитет был наградой за успехи в этих искусствах, то он приобрел бы новый титул короны, будучи признан самым знаменитым стрелком и самым совершенным управляющим огромным конем, из всех в трех королевствах".

Именно в связи с выражением лица, о котором упоминает Джонсон, скульптор Бернини, выполняя бюст Карла, сказал, что никогда не видел лица, которое демонстрировало бы столько величия и в то же время такие следы печали и несчастья. Рыцарь, сэр Ричард Булстроуд, рассказывает, что когда бюст несли по Гринвичскому парку, он пострадал от воробьев, которые Мур называет в другом случае "следами покровительства, подобными Товиту". "Их немедленно стерли, - рассказывает добрый рыцарь Чарльза, - но, несмотря на

все усилия, они не удалились, а превратились в кровь". Ни один шевалье в поэтическом романе не встречался с более угрожающим предзнаменованием, чем вышеописанное.

Шотландские солдаты удачи в этот период были настолько хорошими представителями старого рыцаря-отступника, насколько это вообще возможно. Именно им Витторио Сири приписывает многие несчастья того времени. Кто-то рассказывает о старом шотландском рыцаре, воскликнувшем в год всеобщего мира: "Господи, переверни мир, чтобы джентльмены могли зарабатывать на хлеб". Так, ради продолжения своего оружейного ремесла, шотландцы, да и другие наемники, раздували пламя. Слова Сири точны в этом вопросе, ибо он говорит: "Le Leslie, le Gordoni, le Duglas ed altri milordi della Scotia, del' Inghilterra, e dell' Irlanda".

Никогда рыцарям романтики не приходилось хуже в подземельях угрюмых магов, чем тем, кто попал в кровавые списки, где разгоралась борьба между королевской властью и республиканством. "Я слышал, как один великий офицер рассказывал, - замечает Блаунт, - что во время осады Колчестера он обедал на увеселительном мероприятии, где самым большим деликатесом была жареная лошадиная плоть".

Воинственный дух, вероятно, никогда не был так силен, как в это царствование. Это хорошо иллюстрирует Гоббс, который замечает, что лондонцы и жители других столиц графств, сражавшиеся против Карла, "имели в себе то, что во время битвы больше способствует победе, чем доблесть и опыт вместе взятые; и это была злоба".

Но именно как любовник Карл I выделяется в первую очередь, если мы рассматриваем его исключительно с целью выявления его рыцарских качеств. В раннем возрасте он был под сильным впечатлением от романтики и обладал романтическими чувствами. Этот факт лучше всего иллюстрирует его поведение в связи с Испанским матчем; этому вопросу мы посвятим небольшое место и вернемся к тому времени, когда Яков был королем, а Карл - принцем Уэльским.

ИСПАНСКИЙ МАТЧ.

Это несчастливое и непродуманное дело навсегда останется одним из самых мрачных пятен на однообразно мирном, но бесславном правлении королевского воспитанника Бьюкенена; - вся эта история - неблагоприятная интрига и неверие, и как бы справедливо ни обвиняли Бекингема в том, что он использовал свое пагубное влияние, чтобы расторгнуть договор, и что он сделал это в угоду своей власти, теперь уже не вызывает сомнений; позор, который должен был наложить на него руки, все еще висит вокруг памяти робкого короля и его слабого, но галантно настроенного сына. Я более склонен признать высокодуховность чувств Карла, чем его отца. Король, полагавший, что все искусство правления заключается в диссимуляции, не может быть обвинен в излишней щепетильности в соблюдении правил честной сделки; но молодой принц в этот период обладал чувствами без тщеславия рыцаря-отступника; его единственная ошибка заключалась в конституционной слабости, которая склоняла к высокомерию несколько более сильный ум Бекингема. С таким настроением фавориту было так же легко убедить Чарльза разорвать отношения, как он с легкостью посоветовал ему отправиться в романтическое путешествие - столь же опрометчиво, сколь и

невежливо. Искать мотивы Бэкингема было бы почти невыгодным занятием, они совершенно недостижимы, и, подобно охоте на зайца в повозке, догадки могут вести нас дальше, но на каждом шагу мы будем отдаляться от цели. По общему мнению, визит принца был начат капризом, капризом он и закончился. Бэкингом, возможно, сначала рассматривал его как простое приключение, и он прекратил его, потому что его уязвленная гордость подсказала ему, что *он* не был любимым актером в этой пьесе. Его условия были: "Ego et rex meus", и менее выдающееся положение не удовлетворило бы надменную дерзость Сомерсета, наследовавшего шаткое расположение короля.

Наш британский Соломон, который хотел, но не мог вернуть Пфальц своему зятю, уже давно привык считать союз Карла с инфантой единственным доступным средством, с помощью которого он мог добиться цели, которая была ему так по душе. Он не был сделан из того сурового материала, который у других королей привел бы в движение целую армию. Этот "проницательный простак" никогда не был в столь бурном расположении духа. Его самым мощным оружием был посол, а лучшие из них были лишь печальными образцами дипломатии, и поэтому, как ни слаб он был и в кабинете, и в поле, мы можем догадаться о его восторге, когда двор Испании дал согласие на брак - восстановление Пфальца говорилось в качестве свадебного подарка, а приданое невесты составляло два миллиона восемь.

По истечении пяти лет переговоров Джеймс наконец увидел конец того, что до сих пор было для него непрекращающейся перспективой. Диспенсация Папы, необходимая для заключения союза католической принцессы с наследником-протестантом, была поставлена в затруднительное положение; Яков немедленно ослабил вожжи, которыми он удерживал католиков-отступников, - он отпустил их на свободу, по *его словам*, ради блага реформированной религии; Затем он извинился перед своими подданными за то, что освободил их на благо протестантизма; и, наконец, он ликовал, что достиг столь благородной цели для Англии, сделав ее первой, кто вступил на путь умеренности. Кроме того, он отправил в Испанию Дигби, доброго и великого лорда Бристоля, и пока *тот* вел переговоры с Филиппом IV, брат инфанты, Джордж Гейдж, "вежливый и благоразумный джентльмен", был нанят в Риме, чтобы сгладить препятствия, которые ревность Четырнадцатого Григория воздвигла в пользу его матери-церкви. Долгое время стороны спорили о том, в течение какого срока предполагаемое потомство этого брака должно оставаться под опекой матери, то есть под католическим воспитанием ее исповедников. Срок "четырнадцать лет" был предложен Папой Римским и согласован с испанским двором. Джордж Гейдж, как нам говорят, был вежлив и благоразумен; Джордж высказал небольшое возражение. Отец верующих и потомок Родерика теперь называл двенадцать лет в качестве установленного срока материнского или церковного правления. Мистер Гейдж, не теряя благоразумия, сохранил всю свою учтивость; он вежливо обращался с Папой. Григорий, в свою очередь, дал разрешение, снисходительно согласился даже на девятилетний срок и лишь попросил несколько привилегий для католической свиты инфанты, которые нетрудно было предоставить, а отказать было бы невежливо. Советники Якова посоветовали ему потребовать возвращения Пфальца предварительным договором. Он благоразумно воздержался от этого; он видел, что желаемый им предмет считался неотделимым от брака, и довольствовался существующим договором, который, вероятно, не был бы изменен, если бы он так выразил свое желание. Во всех этих дипломатических отношениях есть любопытная деталь: помимо публичного договора существовали различные частные статьи, принятые между заинтересованными сторонами и подписанные ими, в которых содержалось согласие на то, что папистам должна быть оказана большая терпимость и что против них

должно быть отменено большее количество уголовных законов, чем было выражено в публичном документе. По-видимому, существовал и еще более частный договор, имевший еще более ограниченное распространение, согласно которому от Якова не требовалось действовать в соответствии с буквой этой статьи, в которой его королевское слово обещало то, что в то время считалось эмансипацией для католиков.

Так продвигалось это утомительное государственное дело; нация уже начала относиться к его завершению с меньшим отвращением, и через несколько месяцев в Англии появилась бы испанская принцесса Уэльская, когда все это доброе и справедливое сооружение было разрушено безрассудством человека, который был злым духом эпохи. Юность и неопытность Чарльза с готовностью внимали восторженному описанию знаменитого путешествия, которое поведал Бекингом. Его юная меланхолия переходила в веселье, когда он рассказывал о том, с каким восторгом и надеждой, и удивлением примет его сужденная невеста принца, чья необычная галантность наплевала на законы политических интересов, чье рыцарское чувство прорвалось сквозь государственные переговоры и, презрев ухаживания по договору, привело его к ее ногам, чтобы завоевать ее своими достоинствами. В его крови теплилась мысль о популярности, которую он приобретет таким шагом в народе, прославленном своей рыцарской преданностью прекрасным дамам, и чьим девизом, по словам одного из поэтов, всегда были "любовь и дамы". Чарльз был бы скучным любовником, если бы, подобно другим принцам, не считал свою невесту не стоящей того, чтобы за ней ухаживать. Он был бы вдвойне скучным и недостойным, если бы не задумался над тем, насколько опасен, рискован или абсурден этот поступок. Существовала определенная политическая опасность; но Чарльз, молодой и влюбленный, отказывался видеть ее; он разрывал узы, которые могли бы связать более благородных принцев, но были слишком слабы, чтобы сковать его; он снимал оковы, которые доверенные лица накладывают на своих принципалов, и стоял в своей собственной княжеской силе, чтобы выиграть приз, который часто терял весь мир.

Единственным шагом, последовавшим за согласием принца, было получение разрешения короля, что не составило особого труда. Они напали на добродушного и простодушного Джеймса в тот момент, когда его веселый нрав не отказался бы от большего блага. Однако у него хватило ума понять, насколько неуместно отсутствие Чарльза и Бекингема в Англии; но его тупость ума была побеждена хитростью его фаворита, и просители в конце концов получили его непрошеное согласие на дикое предприятие, не столько силой своих аргументов, сколько настойчивостью их выражения. Принц и его спутница получили обещание хранить тайну, и они не видели ничего более необходимого, чем обычные приготовления к отъезду. Однако, предоставленный собственным размышлениям, бедный король упрекал себя в слабости; он с ужасом понимал, что его подданные вряд ли простят ему передачу столь бесценного залога в руки католического государя, который может задержать Карла, чтобы наложить на него новые взыскания или требования; И с таким же ужасом он видел, что даже успех не мог оправдать средства; ведь не было никакой выгоды, которую можно было бы получить, и ни один беспристрастный порицатель не стал бы рассматривать уродство иначе, чем как разыгранное ради удовлетворения воли герцога и восторженного принца, чья абстрактная идея рыцарской любви победила благоразумие.

После возвращения Чарльза и Бекингема в королевское присутствие за депешами последовала меланхолическая сцена. Были и упреки, и школярское лепетание монарха, и наглая дерзость фаворита, и молчаливые слезы и покорность принца. Дерзкие угрозы герцога вырвали у Джеймса согласие, которое требовал Бекингем, - второе разрешение на их путешествие. В качестве сопровождающих принца были выбраны рыцарь сэр Фрэнсис

Коттингтон, секретарь принца, и Эндимион Портер, джентльмен из опочивальни, . Однако герцога должен был сопровождать и его конный мастер, человек рыцарского звания, сэр Ричард Грэм. Повторилась сцена крика, когда были назначены два прежних джентльмена, поскольку сэр Фрэнсис смело указал на опасность этого шага. Лицо Чарльза выражало недовольство, но Бекингом был полностью увлечен своей всепоглощающей страстью. Джеймс плакал, герцог клялся, и королю ничего не оставалось, как пожелать им счастливого пути в их любовной и рыцарской миссии.

Существует известное многим, но читаемое немногими произведение "Эпистола Хауэлиана", состоящее из сборника знакомых писем на разные темы, написанных неким Джеймсом Хауэллом. Автор был кадетом из знатной семьи, несколько членов которой были посвящены в рыцари. Он добивался своего со всей энергией честолюбивого младшего брата. В его письмах он предстает в роли агента на стекольном заводе в Вене, воспитателя, компаньона, секретаря посольства, снова агента и, наконец, атташе при Тайном совете . В этих посланиях мастер Хауэлл постоянно повторяет, как важно уделить внимание главному шансу; сетует на застой, который безработица накладывает на его судьбу; или поздравляет себя с прогрессом, которого они добиваются благодаря его промышленности. Во время визита Карла в Мадрид он был там агентом по возвращению судна, захваченного незаконным путем, и он с восторгом ожидает прибытия принца, рассматривая его как мощное дополнение к своему делу. Он горько жалуется на принца, который проявляет больше снисхождения к нуждающимся испанским беднякам, чем вежливости к аккредитованному агенту английской компании. Честь или гибель агента зависела от успеха его миссии, поэтому добрый мастер Хауэлл периодически чувствует себя не в своей тарелке. Успех его миссии также зависел от благополучного исхода брака; брак он рассматривает как авансцену своих назначений, но если какой-то несчастливый случай помешает завершению, на которое он надеется, то, если воспользоваться одной из самых любимых фигур речи уважаемого агента, "мой пирог - тесто". Его письма - главный авторитет для нижеследующего.

Вполне соответствует всему характеру этой драмы , что путешествие должно проходить через Францию. Чарльз и его свита путешествовали инкогнито, это правда, но Бекингом был достаточно опрометчив, чтобы представить принца на придворном балу в Париже, где он, возможно, увидел и восхитился прекрасной Генриеттой Марией. Из веселого французского двора компания заблудших быстро сбежала, поспешила на юг и пересекла границу как раз вовремя, чтобы избежать сильной руки губернатора Байонны, протянутой, чтобы задержать их продвижение.

В пятницу, 7 марта 1623 года, Карл и его сопровождающие прибыли в Мадрид под видом очень приятных людей. Бекингом взял себе имя, которое с тех пор служит прикрытием для беглого короля французов, - Томас Смит, и под ним он вошел в особняк Бристоля, "между мраком и туманом", с портфелем под мышкой, а Карл ждал на другой стороне улицы, не как принц Уэльский, а как брат Томаса Смита, Джон. Лорд Бристоль не позволил сыну своего монарха долго оставаться в таком положении. Чарльза провели в дом, и, проводив в спальню, он тут же попросил письменные принадлежности и отправил гонца к отцу, сообщая о своем благополучном прибытии в испанскую столицу. Коттингтон и Портер прибыли на следующий день; и уже тогда по городу распространился слух, что сам Джеймс находится в Мадриде. Вечером в субботу Бекингом в частном порядке явился ко двору собственной персоной и поведал о приключениях рыцаря, у которого он служил оруженосцем. Все стороны были в восторге. Оливарес сопровождал Бекингема по возвращении к принцу, чтобы выразить, как безмерно рад его католическое величество его приезду. Этот гордый

министр, современник и, возможно, ровесник Ришелье, встал на колени и поцеловал руку принца, "обнял его бедра", говорит мистер Хоуэлл, как раб, каким он и был. Гондомар тоже поспешил выразить свое почтение и поздравить молодого принца. В десять часов того же вечера прибыл самый знатный и самый желанный гость: Сам Филипп явился с великодушной поспешностью, чтобы приветствовать эту особу и поблагодарить за благородное доверие своего почти шурина. Встреча сторон, судя по всему, прошла без эксцессов и сердечно. После приветствий и разнообразных объятий, которые имели место при первой встрече, *они расстались поздно*. Суровая строгость испанского этикета не позволяла Карлу знакомиться с инфантой, поэтому было решено, что принцесса появится на публике в воскресенье, а принц встретит ее на Прадо, как рыцарь Гусман встречается Инес в старинной балладе. Во второй половине этого знаменательного дня весь двор, пренебрегший ради этого случая всеми законами о роскоши, предстал во всей своей храбрости. Филипп, его королева, два брата и инфанта были вместе в одной карете, а принцесса - объект всеобщего внимания - едва ли нуждалась в голубой ленте, которая опоясывала ее руку, как знак, по которому Карл мог ее отличить. Рыцарственный любовник, с некоторым трудом пробившийся сквозь ликующую толпу, которая вскидывала вверх шапки и кричала "Боже, благослови его", в сопровождении своих миниатюрных придворных и графа Гондомара ждал, чтобы посмотреть на осквернение процессии. Королевская карета приблизилась, и когда глаза принцессы впервые остановились на ее сужденном повелителе, она густо покраснела, "что, - добавляет расчетливый мистер Хауэлл, - мы считаем признаком любви и привязанности, ибо лицо часто является верным указателем сердца". Инфанте в этот период было всего шестнадцать лет, и она была высокой для своего возраста - "очень милая дама", - говорит агент, - "скорее фламандского, чем испанского типа, светловолосая, и на ее лице была самая чистая смесь красного и белого: она полная и большегубая, что считается скорее красотой, чем недостатком".

Теперь Чарльз был удостоен полной придворной обстановки и апартаментов во дворце; в лагере и городе царило веселье; галантность путешествия так тронула высокодуховных людей, что они заявили, что прекрасная невеста должна была стать немедленной наградой Чарльза. Гейетика была в каждом сердце, а поэзия, в лице Лопе де Вега, прославила "Стюарта" и "Мари, его звезду". На всех празднествах и каруселях при дворе Карлу ни разу не позволили приблизиться к "его звезде". Королевская семья сидела вместе под балдахином, но между влюбленными всегда находился какой-нибудь незваный гость, и принц был вынужден удовлетворять свою пылкую душу взглядом. Достойный английский агент пишет, что видел его "неподвижно устремленным на инфанту взором в течение получаса, в задумчивой, умозрительной позе, которая, - добавляет он проникательно, - была бы утомительной, если бы привязанность не подсластила ее". Именно в один из таких случаев Оливарес, с не столько поэтической правдой, сколько энергией выражения, сказал, что Чарльз следит за ней, *как кошка за мышью*.

Каким бы ни было внешнее уважение Чарльза к предрассудкам и соблюдению испанских церемоний, он, как и, возможно, румяная инфанта, считал их очень обременительной любовной работой для молодых сердец. Слова между ними, конечно, передавались, но только через переводчика и всегда в присутствии короля, так как Филипп "сидел в сторонке, чтобы все подслушивать" и понимать, если мог, толкования, сделанные лордом Бристолем.

Устав от этих ограничений, принц вскоре нашел средство или, скорее, возможность преодолеть помпезные препятствия, стоявшие на пути старого доброго плана любовных утех, и он, с Эндимионом Портером, сопровождавшим его, не преминул воспользоваться случаем. Недалеко от города, но за рекой, у короля был летний домик, называвшийся Каса-

ди-Кампо. Чарльз узнал, что инфанта имеет обыкновение часто ходить туда по утрам собирать майскую росу. Поэтому рыцарь и эсквайр, облачившись в шелковый костюм для весеннего утра, вышли в назначенное время и без помех прибыли в Каса-ди-Кампо. Их качество было надежным паспортом, и двери, нерушимо закрытые для всех остальных, распахнулись перед *ними*. Они прошли через дом в сад, но, к их удивлению и разочарованию, "света любви" не было видно. Инфанта еще не приехала или скрылась, и разочарование казалось вероятной наградой за их труды. Сад был отделен от прилегающего фруктового сада высокой стеной; принц слышал голоса на той стороне, а может быть, и сам слышал голос и поспешил к двери, которая была единственным сообщением между двумя отделами. Опробовать этот выход было делом одного мгновения; обнаружить, что он самым досадным образом заперт, - вот в чем заключалось убеждение следующего. Любовник был на волосок от гибели, и растерянный мозг Эндимиона не находил выхода. Они посмотрели на стену. Она была высока, несомненно; но разве когда-нибудь такая преграда была слишком высока для королевского сына - рыцаря и галанта, когда она стояла между ним и такой "звездой", какую муза де Вега создала из Инфанта? Чарльз оказался на вершине стены почти сразу же, как только ему пришла в голову мысль взобраться на нее; с той же готовностью он легко спустился на другую сторону и поспешно направился к объекту своего искушения. К несчастью, с ней была старая дуэнья маркиза в качестве опекуна, и инфанта, которая, видимо, ожидала увидеть незваного гостя, была вынуждена, для видимости, вскрикнуть от хорошо скрываемого ужаса. "Она издала пронзительный крик и побежала назад. Чарльз последовал за ней, но мрачный маркиз вмешался своей непрошеной персоной между влюбленными. "Повернувшись к принцу, он упал на колени, уговаривая его высочество удалиться; он поклялся головой, что если тот допустит принца к обществу инфанты, то он, мрачный хранитель голубя, поплатится за это своей головой. Поскольку дама тем временем сбежала и не вернулась, Карл не стал упрямиться. Мария, хоть и сбежала (потому что ее видели), не могла не быть довольна доказательством его преданности, и пока старый маркиз продолжал говорить о голове, принц, чье дело было больше связано с сердцем, повернулся и медленно пошел прочь. Он подошел к двери, портал был открыт, и таким образом, как язвительно говорит мистер Хауэлл, "он вышел под той стеной, через которую вошел". Эндимион ждал его и, возможно, его рассказа, но рыцарь был печален, а его оруженосец торжественен. Чарльз выглядел воплощением идеи уныния, и мастер Портер, с некоторой долей недоброжелательности, был вынужден соблюдать почтительное молчание.

Инфанта и ее правитель поспешили вернуться во дворец, а ее поклонник и его приближенные остались размышлять о капризах дам и сдержанности королевских особ; так закончилась милая история о том, "как принцесса пошла собирать майскую росу".

Эта одинокая и неудачная любовная прогулка была последней попыткой Карла заручиться благосклонностью Марии. Он сразу же удалился в свои апартаменты во дворце; оттуда он редко выезжал за границу, разве что для того, чтобы посетить бой быков. Бекингом был болен, обиженные дворяне лежали при дворе в плохом настроении, и дворцовая резиденция постепенно становилась утомительной для всех сторон. Чарльз мог молиться только в опочивальне, и, не имея комнаты, где он мог бы посещать службы своей церкви, привезенные им священные тарелки и облачения так и не были использованы. Более того, рыцари Подвязки, лорды Карлайл и Денби, едва не подожгли дворец, оставив свои зажженные трубки в летнем домике. Однако угрожающее несчастье было предотвращено благодаря активности мастера Дэвиса, цирюльника милорда Карлайла, который "спрыгнул с большой высоты и погасил огонь". Возможно, более печальным происшествием, чем это, в глазах католического населения была драка в королевском квартале между Баллардом,

английским священником, и английским рыцарем, сэром Эдмундом Варни. У принца был паж по имени Вашингтон, смертельно больной; чтобы спасти свою душу, встревоженный священник поспешил к смертному одру пажа; здесь, однако, он встретил сэра Эдмунда, непоколебимого столпа английской церкви. Завязалась непристойная сцена; и пока рыцарь и священник переходили от слов к ударам, бедный страдалец тихо умер и вскоре был предан земле под смоковницей в саду лорда Бристоля.

Тем временем к принцессе-инфанте стали публично обращаться как к принцессе Уэльской, а поскольку знакомство с английским языком было желанным для носительницы столь гордого титула, леди Мария начала *"свое акцидентальное мастерство"* и обратила свой взор на суровые склонения и варварские спряжения. Хотя энтузиазм несколько поутих, дело продолжалось; наиболее серьезный перерыв был вызван смертью понтифика, поскольку она повлекла за собой многие из последующих препятствий, которые сразу же начали возникать. Считалось, что незаконченный труд Григория требует от его преемника Урбана действий *da saro*, и новый иерарх начал череду возражений и предложений, которые не имели иного эффекта, кроме как породить недоверие и задержки. Бэкингем, оправившись от болезни, тоже жаждал вернуться в Англию, где, как теперь понимали, промедление Папы было вызвано надеждами на обращение принца. Народ Англии был встревожен и возмущен. Карл и герцог были недовольны и нетерпеливы. Последний настаивал на возвращении, и принц, выражая свои пожелания Филиппу, указал в качестве причин возраст и немощи отца, ропот его народа и тот факт, что флот находится в море, чтобы встретить его. Он добавил, как самый веский аргумент, что статьи, которые были подписаны в Англии, содержали оговорку, что если он не вернется к определенному месяцу, то они не будут иметь силы. Это с честью опровергло подозрения в адрес испанского кабинета, что ни малейшего противодействия возвращению не последовало; были названы доверенные лица, и по окончании дел с Папой Мария должна была последовать за Карлом в Англию. Говорят, что леди заметила, что если ее не стоит ждать, то не стоит и иметь. Чарльз, должно быть, почувствовал это замечание, но герцог был превыше всего, и ветер, благоприятствовавший их отъезду, так же быстро унес популярность принца, чья рыцарская осанка, скромная галантность и высокие добродетели так особенно подходили ему в качестве любимца романтической нации. Договор об испанском поединке был разорван.

Тайная история французского поединка представляет не меньший интерес, чем история испанского; но Карл только написал своей невесте по этому случаю и встретил ее по пути к нему в Кентербери.

В качестве еще одного примера рыцарской галантности Карла I можно привести тот факт, что именно он предложил возродить обычай приглашать дам участвовать в чествовании Подвязки. В другом месте я уже говорил, что в свое время дамы регулярно принимали участие в церемонии, но ничего не известно о том, когда этот галантный обычай был впервые введен. Доктор Баррингтон в своих превосходных *"Лекциях по геральдике"* говорит, что "в самом раннем извещении о том, что привычка к ордену была выдана дамам, сразу после воцарения Ричарда II", говорится, что они были "недавно приняты в Общество Подвязки" и впоследствии назывались "дамами Братства Святого Георгия". Кто был принят в этот выдающийся орден, и как долго продолжалась эта практика, не сообщается, хотя, вероятно, она вышла из употребления во времена Генриха VIII. Чарльз ограничился лишь предложением возродить этот обычай, и "ничего, - говорит доктор Баррингтон, - похоже, не было сделано, чтобы воплотить это предложение в жизнь". Если какой-либо период, - добавляет доктор, очень уместно, - и был более подходящим для этого, чем другой, то это, несомненно, настоящее время, когда *леди* является правительницей ордена".

АНГЛИЙСКИЕ КОРОЛИ КАК РЫЦАРИ.

ОТ СТЮАРТА ДО БРАУНШВЕЙГА.

Карл II любил атрибутику двора и рыцарства. Он даже задумал создать два новых рыцарских ордена - "Морских рыцарей", морской орден для поощрения морской службы, и "Рыцарей Королевского дуба", в память о своем освобождении и для поощрения гражданских заслуг. Он никогда не заходил дальше своих намерений. Первую идею он принял по чужому предложению и больше о ней не думал. Вторая возникла сама собой, и был составлен список лиц, в котором значились имена предполагаемых рыцарей. Дальше этого дело не пошло.

На коронации Карла рыцари Бани отличались особым великолепием. Они были почти слишком роскошно одеты, чтобы служить официантами и разносить, как они это делали, первые блюда к столу самого короля на коронационном банкете, после того как рыцарь Подвязки побывал на кухне и съел немного первого блюда, которое должно было быть поставлено перед его Священным Величеством.

Если король любил показуху, то некоторые, по крайней мере, его рыцари, разделяли то же чувство тщеславия. В последнее время мантии надевали только по случаю церемоний и служб. Король возродил моду, которой следовали его рыцари и которую трезвомыслящие люди (не являвшиеся рыцарями) называли нелепым юмором. Они "так гордились своими плащами", как выражались, что не только носили их дома, но и ходили в них по улицам, и даже ездили в них по парку. Мистер Пепис особенно возмущается по этому поводу, когда ему рассказывают, что герцога Монмута и лорда Оксфорда видели "в карете, с двумя лакеями в парке в мантиях; что, - добавляет цензор, - является самым скандальным явлением, так что можно сказать, что вся серьезность среди нас утрачена". Опасность утраты того, что Пепис называет "серьезностью", была еще больше, когда Орден по приказу суверенного главы избирал таких людей, как курфюрст Саксонии, который не отличался ничем, кроме того, что хорошо пил.

Не знаю, каковы сейчас правила в часовне Святого Георгия, но в царствование Карла II Пепис заметил необычное правило. В хорошей компании он отправился в королевскую капеллу, где органист доктор Чайлд посадил его "среди рыцарских кабинок и сделал замечание, - добавляет он, - что ни один мужчина, кроме женщины, не может сидеть на рыцарском месте, где установлены медные тарелки". То, что следует далее, также в некоторой степени имеет отношение к нашей цели. "Пришли к нам подушки и мальчик-певец, чтобы принести нам копию гимна, который будет исполняться. И вот, ради нас, этот гимн и великая служба были исполнены необыкновенно, только для того, чтобы развлечь нас. Все люди, особенно бедные рыцари, кланялись алтарю".

Карл II был первым монархом, который позволил рыцарям Подвязки носить, как и сейчас, звезду ордена на груди мундира. Наша нынешняя королева своей милостью возобновила обычай, который когда-то соблюдался, если верить Эшмолу, дамами, то есть женами рыцарей Подвязки, а именно: носить символ ордена в виде драгоценного значка или браслета на руке. Это в лучшем вкусе, чем способ, принятый леди Каслриг во время веселых празднеств, сопровождавших заседание Венского конгресса, где знатная дама появилась при дворе с драгоценной подвязкой мужа, как бандо, вокруг лба!

У Якова II были не только свои апологеты, но и защитники. В нем было гораздо больше рыцарского характера, чем принято считать. Долгое время он страдал от того, что в Англии историки представляли его только как представителя Оранжевой фракции. Бедный Ричард Третий пострадал от аналогичного несчастья. Он был достаточно злым, но не был тем монстром, которого описывают тюдоровские историки и драматурги.

В молодости Джеймс обладал таким же дерзким и хитрым духом, какой когда-либо отличал самых дерзких пажей. Такт, с которым он успешно бежал от республиканских стражников, державших его в заточении в Сент-Джеймском дворце, сам по себе является достаточным доказательством этого. Когда он был герцогом Йоркским, Конде сделал ему комплимент, сказав, что если когда-либо существовал человек без страха, то это был он. Под командованием Тюренна он заслужил репутацию, которой мог бы гордиться любой рыцарь; а на службе Испании он заслужил похвалу за храбрость от полководцев, чья храбрость была темой для восхваления во всех устах.

Сторонники, не принадлежащие к его собственной фракции, осуждали его публичное посещение мессы вскоре после восшествия на престол; но следует помнить, что рыцари Подвязки, в воротнике своего ордена, благодушно сопровождали его, и что герцог Норфолк был единственным рыцарем, который оставил его у дверей часовни.

В его методах любви, если можно так выразиться, было мало от рыцаря. Он мало заботился о красоте, настолько мало, что его брат Чарльз заметил, что, по его мнению, Джеймс выбирал себе любовниц для покаяния. Он был грубоват умом, не практиковал верность и не ожидал ее от других. Каким бы он ни был в бою, в его облике было мало рыцарской утонченности. О Людовике XIV. и его преемнике говорили, что если они и были возмутительно неверны своим супругам, то никогда не отказывались обращаться с ними с величайшей вежливостью. Якову не хватало даже этого остатка рыцарских чувств; и он был едва ли учтив со своей супругой, пока невзгоды не научили его достоинствам Марии Моденской.

В процветании он был высокомерен, но малейшее испытание повергало его в ужас, и вряд ли стоит говорить, что тот, кто легко ликует или легко впадает в уныние, имеет в себе мало от героя. Его поведение, когда его трон оказался под угрозой, было поведением жалкого бездельника. В нем не было достоинства даже приличной покорности. Однако он снова стал героем, когда попытался вернуть свое королевство и вышел на поле боя с этой целью. Об этом поведении упоминает ревностный и беспристрастный автор в "Джентльменс мэгэзин" за ноябрь 1855 года. "После битвы при Бойне, - пишет он, - Оранжевая партия распространила историю о том, что Джеймс поступил самым трусливым образом и бежал с поля боя до того, как вопрос был решен. В это не только поверили за очень короткое время, но и приняли даже здравомыслящие историки, и это дошло до нас как исторический факт. Теперь в секретных архивах Франции хранятся несколько писем, которые передавались между королевой Марией и графом Тирконнелем, и они вместе с некоторыми секретными бумагами сразу же избавляют нас от всей этой истории. Теперь уже не вызывает сомнений, что король был вынужден покинуть поле боя. Даже когда день был потерян и голландские ветераны разгромили полувооруженных и недисциплинированных ирландцев, Яков собрал часть французских войск и вел их вперед, когда вмешались Тирконнель и Лазун, указали на безумие этой попытки и, схватив поводья его лошади, заставили его отступить".

Возможно, это слишком сильно сказано, ведь если день был потерян, то вернуть его пытались не храбростью, а безрассудством; и это первая заслуга рыцаря, великая заслуга полководца - различать, когда кровь может быть пролита с пользой. Что касается архивов во Франции, то хотелось бы знать, на каком основании сохранившиеся там документы делают

свои утверждения. Документы чрезвычайно ценны для историков, но они не всегда заслуживают доверия. В архивах Франции может храниться письмо Канробера, объясняющее, как он был вынужден умерить храбрость принца Наполеона и отправить его домой из-за сильного недомогания. И все же народная молва с тех пор применяет к принцу весьма нелицеприятную фамилию - столь же суровую, но не столь неблагозвучную, как та, которую жители Дрогеды до сих пор применяют к Джеймсу. В любом случае существует значительная неопределенность. Я склонен верить в лучшее в отношении обеих этих выдающихся личностей, но, видя, что неопределенность велика, я не уверен, что Скаррон был неправ, когда говорил, что лучший способ писать историю - это эпиграммы, заостренные так, чтобы уколоть всех.

Коттингтон ("Письма Стаффорда") рассказывает нам о домашней неприятности, в которой Джеймс был замешан с одним из своих рыцарей. Недоумение короля по поводу религии началось рано. "Кормилица - римская католичка, которой сэр Джон Танстон предложил присягнуть на верность, но она отказалась; после этого поднялся большой шум как в городе, так и при дворе, и королева пришла в крайнее расстройство, узнав о решении сменить женщину. Однако после долгих уговоров кормилицы обратить ее, ее оставили в покое, чтобы успокоить королеву". Раздоры, как говорят, настолько обеспокоили кормилицу, что повредили ребенку, и никогда рыцаря или короля не было более трудной задачи, чем у Якова, в его желании угодить всем сторонам.

Одна из характерных черт рыцаря - переносить невзгоды без угрызений совести; если верить Додду, Яков II отличался этим великим моральным мужеством в своих невзгодах. Отрывок из "Церковной истории" Додда стоит того, чтобы его привести, хотя он несколько длинноват: "Ни разу не было слышно, чтобы Иаков сетовал на свое несчастье. Он с готовностью слушал чтение гнусных памфлетов, которые ежедневно публиковались в Англии против него. Если в какой-то момент он проявлял растроганность, то только для того, чтобы услышать о несчастьях тех джентльменов, которые пострадали по его вине. Он часто развлекал окружающих рассказами о расстройствах своей молодости, но при этом публично осуждал их и призывал других не следовать его примеру. Сами газеты были для него уроком нравственности, а ежедневные происшествия, как в поле, так и в кабинете, рассматривались им не как результат второстепенных причин, а как providенциальные меры наказания как народов, так и частных лиц, в соответствии с их заслугами. Иногда он говорил, что возвышенное положение короля сопровождается таким большим несчастьем, что он живет вне пределов досягаемости упрека, и приводил в пример себя. Ежедневно он читал по главе из Библии и еще одну из этой замечательной книги, "Последование Христа". Во время своей последней болезни он публично простил всех своих врагов, и некоторых из них по имени, особенно принца Оранского, которого он признал своим величайшим другом, как человека, которого Провидение использовало, чтобы бичевать его и смирить его таким образом, как он это сделал, чтобы спасти его душу". Как нечто почти приближенное к реальности, это более приятно, чем подробности умирающих рыцарей в романах, которые после часового избиения друг друга взаимно хвалят друг друга за храбрость и умирают в самом счастливом расположении духа. Кто-то, говоря об этом короле и Иннокентии II, сделал меткое замечание, достойное цитирования, а именно: "Он желал бы для мира человечества, чтобы папа стал папистом, а король Англии - протестантом!" Насколько далеко было последнее от этого желанного завершения, остроумно выражено в эпитафии на Якова, сделанной одним из поэтов-шевалье, или, как говорят некоторые, одним из аббатов, которые обычно слонялись по террасе Сен-Жермена.

"C'est ici que Jacques Second,
Без министров и без мастериц,
Le matin allait à la messe,
А вечером - на проповедь".

На предыдущей странице я уже отмечал весьма скудную любезность, с которой королева Карла I встретила адмирала Содружества. Однако любезность некоторых рыцарей Стюартов по отношению к королевским дамам была не в пример галантнее. Я проиллюстрирую это анекдотом, рассказанным М. Маколеем в четвертом томе его истории. Дух якобитов в царствование Вильгельма был возбужден новостью о падении Монса. "В парках недовольные носили самые серьезные взгляды и говорили о мятеже самым громким тоном. Самым заметным среди этих разбойников был сэр Джон Фенвик, который в прошлое царствование пользовался высоким расположением и военным командованием, а теперь был неутомимым агитатором и заговорщиком. В своем возвышении он забыл о вежливости, которую мужчина должен оказывать женщине. Он уже не раз становился заметным благодаря своей дерзости по отношению к королеве. Теперь он демонстративно встал у нее на пути, когда она выходила на воздух, и, в то время как все вокруг распахивали перед ним свои одежды и низко кланялись, бросил на нее грубый взгляд и нахлобучил шляпу ей на лицо. Это оскорбление было не только жестоким, но и трусливым. Ведь закон не предусматривал наказания за простую дерзость, какой бы грубой она ни была, а король был единственным джентльменом и солдатом в королевстве, который не мог защитить свою жену от оскорбления шпагой. Все, что могла сделать королева, - это приказать смотрителям парка не пускать больше сэра Джона в ворота. Но спустя долгое время после ее смерти наступил день, когда он пожалел, что не сдержал свою дерзость. С помощью страшных доказательств он выяснил, что из всех якобитов, не считая самых отчаянных убийц, он был единственным, к кому Вильгельм испытывал сильную личную неприязнь".

Портрет Вильгельма III, нарисованный Бернетом, не имеет сколько-нибудь сильного сходства с героем. Римский нос и яркие сверкающие глаза" - самые яркие черты, но "лик, состоящий из серьезности и властности", больше напоминает судью, чем человека, стоящего на оружии. Тем не менее, несмотря на постоянную астму, легкие, угнетенные оспы, и медлительность и "отвратительную сухость" его речи, в характере Уильяма было что-то рыцарское. В "день битвы он был весь огонь, хотя и без страсти; он был тогда везде и смотрел на все. Его гений, - пишет Бернет в другом абзаце, - лежал главным образом в войне, в которой его храбрость вызывала больше восхищения, чем его поведение. Он часто совершал большие ошибки, но его героическое мужество исправляло ситуацию, так как воспламеняло тех, кто был рядом с ним". В связи с этой частью его характера можно отметить тот факт, что он добился парламентской санкции на создание постоянной армии. Его характер в других отношениях неплохо иллюстрирует замечание, которое он сделал, будучи принцем Оранским, сэру У. Темплу, касаясь Карла II. "Было ли когда-нибудь что-нибудь столь горячее и столь холодное, как этот ваш двор? Неужели король, который так часто бывает в море, никогда не узнает слова, которое я никогда не забуду со времени моего последнего плавания, когда во время сильного шторма капитан всю ночь кричал человеку у штурвала: "Спокойно, спокойно, спокойно!" Он был первым из наших королей, кто не стал трогать зло. По его словам, все чудеса он оставлял творить одному Богу. Полурыцарский, полурелигиозный обычай омыwać ноги нищим в Великий четверг также был отменен этим принцем, последним из пяти героических принцев Оранских.

Как ни велик был Вильгельм в сражениях, он, пожалуй, никогда не проявлял больше истинного качества храбрости, чем когда во время своего путешествия в Голландию в 1691 году он покинул флот, которым командовали сэр Клаудсли Шовель и сэр Джордж Рук, и посреди густого тумана попытался с некоторыми дворянами из своей свиты высадиться на берег в открытой лодке. "Опасность, - пишет мистер Маколей, который, можно сказать, в нескольких словах описал этот инцидент, - оказалась серьезнее, чем они ожидали". Предполагалось, что через час партия будет на берегу. Но огромные массы плавучего льда мешали продвижению ялика; наступала ночь, туман становился все гуще, волны разбивались о короля и придворных. Однажды киль ударился о песчаную отмель, и его с большим трудом удалось вытащить. Самые выносливые мореплаватели проявляли некоторые признаки беспокойства, но Вильгельм всю ночь был так спокоен, словно находился в гостиной в Кенсингтоне. "Как вам не стыдно, - сказал он одному из встревоженных матросов, - вы боитесь умереть в моей компании?" *Вехис Сезарем*, конечно, не был прекраснее этого.

Супруг королевы Анны был менее рыцарского духа, чем Уильям. Кокс говорит о нем, что даже на поле боя он не забывал об обеденном часе, и, похоже, его больше тянуло на еду, чем на бой. О Георге I лучшее, что можно сказать о нем в рыцарском качестве, было сказано Смоллетом в замечании, что этот принц был осмотнительным полководцем. Однако он не был лишен ни храбрости, ни стремительности. Возможно, он научился осмотнительности при Вильгельме Оранском. Храбрость была общим достоянием всех принцев Брауншвейгских. У некоторых из них она была единственной добродетелью. Но о Георге I, которого поэты, стремящиеся к лаврам, имели моду называть великим, нельзя сказать, как это было замечено о Филиппе IV Испанском, когда он *принял* титул "Великий": "Он стал великим, как становится великим ров, потеряв принадлежавшую ему землю".

Еще один рыцарский обычай, наблюдавшийся в это царствование, окончательно угас в царствование Георга II. Я имею в виду обычай давать заложников. Согласно договору Экс-ла-Шапель, "два высокопоставленных лица должны были проживать во Франции в этом качестве, как поручители перед Францией за то, что Великобритания восстановит некоторые из своих завоеваний в Америке и Вест-Индии". Шевалье, принц Чарльз Эдуард, посчитал это большим оскорблением для Англии, которое, *по его словам*, он бы не потерпел, если бы обладал своими правами.

Эпоха рыцарства в старомодном понимании этого слова угасла еще до того, как Берк объявил ее ушедшей. Я не думаю, что она дожила до царствования Георга II. В это царствование рыцарство прекратило свое существование, но появился исключительный класс, представители которого присвоили себе то прекрасное чувство чести, которое, как считалось в былые времена, особенно отличало рыцаря. Люди, о которых шла речь, были, *par excellence*, людьми "моды". Джентльмены, которые охраняли или должны были охранять ярчайший принцип рыцарства, были скорее самозванцами, чем общепризнанными "людьми чести".

Человека чести рисовали "одним из них". Граф Честерфилд говорил со *знанием дела*, когда касался этой темы; а его светлость, чье самодовольство по этому поводу не позволяет ему увидеть, что его остроумие направлено против него самого, рассказывает историю без малейшего воспоминания о язвительном изречении старого барда: "De te fabula narratur".

"Человек чести, - говорит лорд Честерфилд, - это тот, кто безоговорочно утверждает себя таковым и перережет глотку любому, кто усомнится в этом, даже на самых веских основаниях. Он бесконечно выше ограничений, которые законы Божьи или человеческие

накладывают на вульгарные умы, и не знает других уз, кроме уз чести, слово которой он должен быть единственным выразителем. Он должен строго отстаивать партийную принадлежность, хотя может быть совершенно не согласен с ее принципами. Его расходы должны значительно превышать доходы, причем не на самое необходимое, а на излишества жизни, чтобы долги, которые он берет, делали ему честь. В его поведении должны присутствовать надменность и наглость, которые, как предполагается, проистекают из осознания чести. Если он будет хладнокровным и непутевым, с изрядной долей животной храбрости, он приобретет славный характер человека чести; а если все эти качества будут должным образом приправлены самыми благородными пороками, человек чести будет завершен; несмотря ни на что, его жена, дети, слуги или торговцы могут думать об обратном".

Лорд Честерфилд показывает пример современной рыцарской защиты чести, рисуя портрет друга под вымышленным именем. Он рисует некоего "Бельвиля", которым гордятся его друзья-мужчины, любят его друзья-женщины, и в котором его партия превозносится как в живом примере, часто делая этот пример авторитетом для своего собственного поведения. Он потерял целое состояние из-за расточительности и азартных игр; его беспокоит только то, как сохранить свою честь, оправдав свои обязательства по "игре". Он должен добыть деньги любой ценой, потому что, как он говорит, "я скорее потерплю величайшее ущемление своего состояния, чем малейшее пятно на своей чести". Его привилегия пэра уберезет его от этих "шумных негодяев, торговцев"; и чтобы не иметь возможности получить деньги другим способом, чтобы оплатить "долги чести", он пишет премьер-министру и предлагает продать свой голос и совесть за пятнадцать сотен фунтов. Он требует деньги, прежде чем записать свой голос, уверенный в том, что министр будет не первым, кто усомнится в чести рыцарственного Бельвиля.

У современного рыцаря, конечно же, есть возлюбленная. Она так похожа на Гвиневеру времен доброго короля Артура, как только может быть; и муж у нее более подозрительный и ревнивый, чем основатель рыцарского Круглого стола. "Бельвиль не может понять, как муж дамы может быть подозрительным, ведь они с Бельвилем были товарищами по играм, школе и заветными друзьями в юности. Следовательно, Бельвиль считает, что проступок можно совершить в полной уверенности и безопасности. "Однако, - пишет он даме, - будьте уверены, что вы находитесь в руках человека чести, который не потерпит, чтобы вами злоупотребляли, и если мой друг дойдет с вами до неприятных крайностей, будьте уверены, я перережу ему глотку".

Жизнь в любви, как и ложь. Он пишет знакомому, что "вчера вечером в смешанной компании наговорил дьявольскую ложь" и бросил вызов "формальному старому псу", который намекнул, что "Бельвиль" нарушил правду. Последний просит своего "дорогого Чарльза" быть его секундантом: "Этот олух, - пишет он о противнике, уличившем его во лжи, - вряд ли стоил моего негодования, но вы знаете мою деликатность, когда дело касается чести".

Лорд Честерфилд написал не одну работу на тему людей чести. За ними я отсылаю читателя к работам его светлости. Я не буду приводить дальнейшие цитаты из них, чтобы показать различие, которое автор проводит с некоторой изобретательностью. "Я должен заметить, - говорит он, - что существует большая разница между человеком чести и человеком чести. Во второй половине прошлого века под людьми чести подразумевались плохие авторы и поэты благородного происхождения, которые, однако, были недостаточно глупы, чтобы приписывать свои имена большими буквами к прологам, эпилогам, а иногда и к пьесам, которыми они развлекали публику. Но теперь, когда наши дворяне слишком щедры, чтобы вмешиваться в торговлю нас, бедных, исповедуемых авторов" (его светлость пишет анонимно, в "Мире"), "или затмевать наши спектакли выдающимся и превосходящим их

великолепием и блеском; в настоящее время смысл понятия "человек чести" сводится к простой идее "человек знатного происхождения".

Рыцарская храбрость одного из наших адмиралов в конце царствования Георга II, естественно, вызвала восхищение Уолпола. "Какими молокососами, - пишет он в 1760 году, - кажутся сейчас Мальборо и Туренны, Блейки и Ван Тромпы, которые уходят в зимние каюты и в порты, как только их носы начинают синеть". Сэр Клаудсли Шовель говорил, что адмирал, который держит большие корабли после конца сентября, заслуживает того, чтобы его разбили; а если после октября, то расстреляли. В бухте стоит "Хоук", который переживает эту зиму (январь), после того как был побежден во время шторма".

Георг III был королем дольше, чем любой другой государь Англии, а войны и бедствия его правления были более гигантскими, чем в любой другой период. Сам он был не очень хорошим солдатом; однако, по своей конституции, он был храбр, и его мужество и силы проверялись не только военными делами. Политика его царствования измотала его дух больше, чем если бы он занимался операциями против врага. За первые десять лет после его восшествия на престол сменилось не менее семи администраций; кабинеты Ньюкасла и Бьюта, Гренвилла и Рокингема, Графтона и Норта, Шелбурна и Портленда были лишь многочисленными лагерями, лидеры которых беспокоили бедного монарха сильнее, чем греки беспокоили несчастного Агамемнона. В правление Питта он едва ли был более спокоен, и ничуть не более - в правление Аддингтона, всех талантов и Спенсера-Персеваля. Активная военная жизнь не могла так измотать дух и здоровье этого короля, как политические интриги; интриги, в которые он сам погружался с немалым удовольствием и с незначительными удовлетворительными результатами.

Он любил демонстрировать рыцарские церемонии и никогда не был так доволен, как когда устраивал церемонии посвящения и превращения простых джентльменов в рыцарей. Из сыновей, сменивших его, Георг IV. меньше всего походил на него по каким-либо принципам, а Вильгельм IV. превзошел его по тому обстоятельству, что участвовал в боевых действиях, где проявил себя с наилучшей стороны. Род действительно всегда был храбрым, и я не знаю, что может лучше завершить эту главу, чем иллюстрация "Боевого клича Брауншвейга".

БОЕВОЙ КЛИЧ БРАУНШВЕЙГА.

Боевой клич Брауншвейга" заслуживает того, чтобы быть отмеченным среди рыцарских деяний. Мисс Бенгер в своих "Мемуарах Елизаветы, королевы Богемии" рассказывает, что Кристиан, герцог Брауншвейгский, был тронут как глубокими несчастьями, так и жизнерадостным терпением несчастной королевы. Возмущенный пренебрежением, с которым к ней относились ее отец, Яков I Английский, и дядя, Фредерик Датский, герцог Кристиан "внезапно вдохновился чувством рыцарской преданности, столь же далеким от вульгарной галантности, как героизм от свирепости. Выхватив у нее из рук перчатку, которую он сначала с благоговением поднес к губам, он вложил ее в свою испанскую шляпу, как триумфальный плюмаж, который, ради нее, он всегда после этого носил как боевое украшение; затем, достав меч, он дал торжественную клятву никогда не складывать оружие, пока не увидит короля и королеву Богемии восстановленными в Пфальце. Не успел Кристиан принять это обязательство, как тут же провозгласил его на весь мир, поместив на свой прапор вместо обличения священников внятное обращение к Елизавете со словами "За Бога и за нее!". *Fur Gott und fur sie!*"

"Взмах мечей, взмах вымпелов, шлем и щит

Идите в гордом строю!

Спешите рыцари и благородные на поле,

Ваши пажи ждут, ваши кони скачут.

Вставайте, господа германцы!

Кто любит бывать там, где идет бой,

Ведь Брауншвейг сегодня ведет бой,

За Бога и королеву!

"Пусть в этот день, о славе вздыхая,

И ищут лавры храбрых;

Или те, кто жаждет ночью лечь

В солдатской могиле с почестями,

Под знаменем Брауншвейга встанут;

'Twill float around the bloody scene,

Пока враг ходит по земле,

Против Бога и королевы.

"Рисуйте, бароны, чьи гордые дома

Во многих мрачных башнях с крышами;

Вперед, рыцари, кто был отмечен

В турнирных списках и дамских беседках.

И будьте на благо своей страны причиной

Всех этих гордых и смертных волнений,

Пока Брауншвейг свой верный меч тянет

За Бога и за нее!

"К нему мы обращаемся за помощью

О которой рыцари не стыдятся просить,

Ибо тщетен будет каждый клинок,

и слабо приспособлен к своей задаче,

Каждое копье, которым мы владеем, если бы мы забыли.

Когда мы громко поднимаем наш боевой клич,

Для старой королевы Богемии, чтобы возложить

Наши надежды с Богом на высоте".

Первоначальная надпись на знамени Брауншвейга состояла из очень энергичной строки: "Христиан Брауншвейгский, друг Бога и враг священников". Нейлор в своей "Гражданской и военной истории Германии" говорит, что герцог напечатал ту же легенду на деньгах, которые он отчеканил из пластин, ограбленных им в монастырях, и добавляет в примечании, заимствованном у Галетти, что "большая часть денег, отчеканенных Кристианом, была получена из двенадцати серебряных статуй апостолов, которые фанатизм предыдущих веков освятил в соборе Мюнстера". Когда герцога обвинили в нечестии некоторые из его последователей, он прикрылся авторитетом Священного Писания и сделал вид, что лишь исполнил древнее предписание: "Идите, идите во все концы земли!".

Познакомившись с английскими королями как рыцарями, давайте посмотрим на некоторых из тех, кого они посвятили в рыцари.

ПОЛУЧАТЕЛИ РЫЦАРСКОГО ЗВАНИЯ.

"Роса благодати благословляет наших новых рыцарей сегодня".

Бомонт и Флетчер.

Завоевание принесло гораздо большее, чем обычно, количество рыцарей. Действительно, я думаю, можно утверждать, не боясь противоречий, что первый и последний Вильгельмы, а также Яков I. были более склонны к наречению рыцарей, чем любой другой из наших государей. Добродушный Вильгельм IV. создавал их в таком изобилии, что, наконец, джентльмены во главе депутаций являлись в королевское присутствие с таинственным страхом, чтобы, вопреки себе, не подвергнуться рыцарской метаморфозе под рукой "морского короля". Этой чести подвергались так постоянно, что получатели были объединены "Джоном Буллом" под названием "Тысяча и одна (К)ночь!".

Вильгельм Завоеватель не был столь щедр на похвалы, как его потомок более отдаленных дней, и не был столь бесцеремонен в способе вручения отличий. Он торжественно извлек свой меч, положил его на плечо перед собой с величественным спокойствием и на протяжении всей церемонии выглядел настолько невозмутимым, насколько того требовало достоинство. Считается, что Вильгельм облагодетельствовал или посвятил в рыцари своего повара. Он не одинок в этом: если я не ошибаюсь, Великий Людовик привязал небольшой рыцарский крест к петлице бессмертного Вателя. Однако поступок Вильгельма, несомненно, придал достоинство тому отделу во дворцах, откуда многие принцы черпали свое единственное удовольствие. Именно от него во дворце Франции появился термин "офицеры службы" - термин, который был присвоен другими людьми, менее возвышенными, чем те, кого он первоначально выделял. Этот термин стал поводом для шуток в таких домах. "Qui vive?" - восклицает часовой в одном из подземных переходов, когда один из этих чиновников приближается ночью. "Officier", - отвечает скромный чиновник. "Quel officier?" - спрашивает часовой. "Officier de service!" - гордо отвечает тот, кого спрашивают; после чего солдат с улыбкой произносит "Passe, Caramel!", и королевский офицер, не принадлежащий к телохранителям, так же с улыбкой проходит дальше.

Но, возвращаясь от Карамели к Завоевателю, я должен заметить, что повар, которого Вильгельм посвятил в рыцари, носил немзыкальное, если не сказать неприятное, имя. Кулинара звали Тезелин. Заслуга, которой он заслужил рыцарское звание, заключалась в

изобретении белого супа для *maigre days*. Голодный, но ортодоксальный Вильгельм привык глотать тонкий бульон "*à l'eau de savon*"; но Тезелин поставил перед ним супницу, полную ортодоксальной, но аппетитной жидкости, которую он назвал *Dillegroust*. Название не внушает оптимизма, особенно последний слог, но блюдо не могло быть плохим. Вильгельм пожаловал изобретателю звание "кавалера офиса", а сэр Карамель Тезелин получил еще большее удовлетворение, став лордом поместья Аддингтон. Многие поместья были платой за менее честную службу.

Тирселины - потомки Тезелинов; и мне часто казалось любопытным, что из двух недавно умерших носителей этой фамилии один, столяр в Англии, славился совершенством своих разделочных ножей, а другой, актер во Франции, утверждал, что первая из комических ролей - повар-кучер в мольеровском "*Аваре*". Так они, казалось, доказывали свое происхождение от кулинарного рыцарства Вильгельма Нормандского.

Но есть и другие образцы рыцарей Вильгельма, на которые стоит обратить внимание. Среди последователей, высадившихся с ним между Певенси и Гастингсом, был некий Роберт, которого за неимением фамилии и из-за его сухожилий называли Роберт ле Форт, или "Сильный". Все бы плохо кончилось для Вильгельма в тот кровавый день, когда он завоевал трон, если бы не этот Роберт ле Форт, который вставил свой эску, или щит, между черепом норманна и боевым топором саксонского воина. Эта своевременная услуга сделала из того, кто ее оказал, "сьера Робера", а на гербе, пожалованном новому рыцарю, был начертан знак, который до сих пор принадлежит Фортеску; "*Forte Scutum Salus Ducum*", - крепкий щит спасение герцогов - или лидеров, как подразумевает слово. Герцог Нормандский не смог бы придумать более подходящего девиза; но ему, вероятно, помогли в этом образованность и смекалка его капеллана.

Опасность, в которую Вильгельм бросился в тот день, принесла достоинства не одному человеку. Так, мы слышим о солдате, который, обнаружив, что Уильям сидит без лошади, а его шлем вбит ему в лицо, вновь сел на своего командира, ловко освободив свою голову от навалившегося на нее груза железа. Позднее Уильям настиг верного оруженосца, потерявшего сознание из-за потери ноги и бедра. "Ты дал мне воздух, когда мне его не хватало, - сказал Завоеватель, - и отныне так будет зваться твое имя; а за потерянные ногу и бедро ты будешь носить их с этого дня на своем оружейном щите". Покалеченный рыцарь стал лордом обширных земель в Дербишире, а его потомки, Эйры, до сих пор носят ногу и бедро в доспехах на своем гербе. Это слишком красивая история, чтобы ее потерять, но если рассказ об этих рыцарских делах верен, то следует усомниться в том, что они связаны с гербами, если, как утверждают некоторые, гербовые знаки не использовались до многих лет после битвы при Гастингсе. Эти истории, несомненно, в значительной степени правдивы. Вильгельм, как и Яков III Шотландский, был склонен посвящать в рыцари и облагораживать тех, кто доставлял ему особые удовольствия, которых он больше всего жаждал. Питскотти утверждает, что последний король одаривал своими милостями каменщиков и скрипачей; нам рассказывают, что он не только сделал рыцарем каменщика Кокрейна, но и возвел его в достоинство графа Мара. Кокрейн, правда, был архитектором, но он был бы не хуже, если бы был каменщиком - по крайней мере, если бы он был человеком и каменщиком такого качества, как Хью Миллар и Аллан Кунингем.

Хотя часто повторяют, что до эпохи Вильгельма Завоевателя не было рыцарей в собственном смысле этого слова, с этим приходится соглашаться с такой долей исключения, что это почти равносильно отрицанию самого утверждения. Рыцари существовали и до Завоевания, но их системы были разными. Так, из "Церковной истории" Кольера мы знаем, что Ательстан был посвящен в рыцари Альфредом; и это, как утверждается, первый случай проведения

церемонии, который можно обнаружить. Однако здесь снова возникает вопрос. Кольер ссылается на Уильяма из Мальмсбери. Слова этого старого автора таковы: "Дед Ательстейна, Альфред, увидев и ласково обняв его, когда тот был мальчиком удивительной красоты и изящных манер, самым набожным образом молился о том, чтобы его правление было процветающим; более того, он необычайно рано сделал его рыцарем, подарив ему алый плащ, пояс, усыпанный бриллиантами, и саксонский меч с золотыми ножнами". Некоторые считают, что этот и другие подобные случаи, которые можно привести, доказывают существование рыцарей как отдельного ордена у саксов, в то время как другие полагают, что это может быть не более чем первое пожалование оружия. Людовик Дебоннер, как отмечается, *ense accinctus est*, получил свое оружие в тринадцать лет. Но это было в какой-то степени "посвящение в рыцари", поскольку в "Истории Ирландии" Леланда мы читаем, что ирландское рыцарство присваивалось получателям, которым было всего семь лет.

Если Вильгельм Завоеватель произвел в рыцари многих людей в честь своего завоевания, то джентльмены с новыми почестями не всегда получали в мирное владение поместья, которые иногда добавлялись к титулу. В качестве примера можно привести случай с древним родом Киннерсли. Уполномоченные Вильгельма появились в Херефордшире, и в ходе своего хищнического похода они пришли к замку Джона де Киннерсли, старика, которого описывают как рыцаря, хотя некоторые утверждают, что до завоевания в Англии было не больше рыцарей, чем дождей на земле до потопа. Слепой старик стоял у ворот своего замка перед полукругом, образованным его двенадцатью сыновьями. У каждого из них был меч на бедре и алебарда в руке. Когда шерифы и другие уполномоченные спросили его, на каком праве он держит свой замок и поместья, слепой Джон воскликнул: "На моем оружии, на мече и копье, и на этом же буду держать их!" На что все его бойкие парни дружно ответили "Ай, ай!", и норманнские комиссары были настолько удовлетворены этим титулом, что не решились больше его оспаривать, а оставили владельца замка и земли в неприкосновенности в том владении, которое, как говорят, составляет девять пунктов из десяти, предусмотренных законом.

В течение многих царствований ни один человек не был посвящен в рыцари, кроме тех, кто обладал определенным "качеством", и, как правило, потому, что он был особенно полезен для своего или последующих поколений. Эти случаи не требуют внимания. Некоторые из них ввели обычаи, которые стоит отметить, и вот пример.

Среди счастливых, которых Эдуард I посвятил в рыцари, особое место занимает сэр Уильям Бод. Сэр Уильям породил любопытный обычай, который долгое время соблюдался в Старом соборе Святого Павла. При его жизни декан и капитул передали ему несколько лавров в Эссексе. В ответ или, возможно, в качестве "услуги" за это рыцарь преподносил у главного алтаря собора лань, "сладкую и подходящую по сезону", в день обращения святого Павла зимой; и самца, в таком же подходящем состоянии, в день празднования святого Павла летом. Оленина предназначалась для особого питания каноников-резидентов. Лань нес к алтарю один человек в окружении священников, и ему ничего не полагалось за труды. У козла было несколько носильщиков и более многочисленное сопровождение священников, которые выдавали носильщикам роскошную сумму в двенадцать пенсов. Рыцарский бакс так уморил декана и капитула, что когда они появились в дверях собора, чтобы проводить его к алтарю, на них были копны и облачения, а на торжественных головах их преподобия красовались венки из роз! Действительно, для соборного духовенства в любой день существовала особая одежда; каждая, в зависимости от случая, была украшена фигурками баксов или ланей. У алтаря декан отправлял тело запекаться, а голову отрубали и несли на пике к западной двери, где охотники дули в *мортиру*, а ноты, возвещающие о

смерти оленя, подхватывали и повторяли городские "рогачи", получавшие от розовощекого декана и главы по мелочи за то, что таким образом усиливали шумную важность события.

Заслуживает внимания и тот факт, что Ричард II стал первым королем, посвятившим в рыцари лондонского торговца. Уолворт, сбивший с ног Уота Тайлера и посвященный королем в рыцари за хорошую службу, занимался коммерцией. Однако этот лорд-мэр получал весьма значительные доходы от занятий, менее достойных его. Он владел поместьями у воды, которые пользовались самой дурной репутацией, но приносили ему весьма значительный ежегодный доход. Сэр Уильям прикарманил его с императорски-благодарным замечанием "non olet". Кинжал на городском гербе изображен не в память этом поступке; он просто изображает меч Святого Павла и украшает городской щит со времен первого существования лондонского муниципалитета.

Таким образом, Уолворт - не очень уважаемый рыцарь. Более достойного рыцаря мы находим в старинной фамилии, чьи деяния заслуживают небольшого упоминания.

Сэр Роберт Умфревиль, рыцарь Подвязки, обязанный своими почестями несчастному Генриху VI, несмотря на напряженное и беспокойное время, в которое он жил, нашел досуг, чтобы основать в Фармакресе, близ Рэвенсворта, костел, где регулярно служили два капеллана в соответствии с законом Сарума. Если благотворительность рыцаря была велика, то и надежды на пользу были немаленькими. Капелланы должны были ежедневно совершать службу на благо душ основателя, а также всех его родственников и свойственников. Более того, служба должна была служить на благо душ всех рыцарей Подвязки, пока существовал орден, и всех владельцев поместья Фармакр. Капелланы должны были жить, питаться и спать под крышей часовни. Раз в два года благочестивая воля основателя позволяла им обновлять костюм, состоящий из "печального и трезвого жилета, подметенного до пят". В одном вопросе сэр Роберт был необычайно строг: он не допускал присутствия женщин в часовне ни под каким предлогом, даже в качестве служанок капелланов - *quia frequenter dum colitur Martha, expellitur Maria*. Последние также не должны были занимать никаких должностей светского характера, особенно должность судебного пристава. Однако проницательный рыцарь не возражал против светских развлечений, и ежегодно капелланам предоставлялся двухмесячный отпуск; и, несомненно, по возвращении их не спрашивали, как они его провели.

Затрагивая вопросы, произошедшие во время правления несчастного ланкастерского короля Генриха VI, замечу, что у нас есть иностранные свидетельства того, что наши гражданские войны велись с большей рыцарской вежливостью, чем это было до сих пор в любой другой стране. "По моему скромному мнению, - говорит Коминс, - Англия, из всех доминионов, с которыми я знаком, единственная, где к государственным интересам относятся должным образом. Здесь нет насилия над народом, и во время войны ни одно здание не разрушается и не повреждается воюющими сторонами. Судьба и страдания войны тяжелее всего ложатся на тех, кто непосредственно участвует в ее ведении". Он упоминает, в частности, рыцарей и дворян; но ясно, что, пусть война ведется в рыцарской манере, главными страдальцами должны быть люди. Склады могут стоять, но и торговля тоже - очень вялая и непродуктивная.

Какими бы любезными ни были рыцари этой эпохи, они отнюдь не были неподкупными. Многие из них служили Эдуарду IV, были пенсионерами Людовика XI, с удовольствием выставляли свои имена в расписках за полученные деньги. Один чиновник, Гастингс, никогда не прикреплял свой автограф к расписке, но не стеснялся брать деньги. Царь покупает прусских служащих по моде Людовика XI.

Генрих VIII больше заботился о заслугах, чем о происхождении рыцарей, которых он создавал. Он впервые отметил способности того, кто впоследствии стал сэром Джоном Мейсоном, выдающимся государственным деятелем пяти царствований. Королю так понравилась речь, произнесенная Мейсоном в его присутствии в Оксфорде, во Всех Душах, что он взял на себя обязанность дать ему образование за границей, как способному государственному министру. Он был верным слугой короля. У Елизаветы был такой же галантный сэр Генри Унтон, который бросил вызов великому Гизу за то, что тот нелестно отозвался о своей королевской любовнице. Мотивы королевского покровительства этим рыцарям были лучше тех, что двигали Ричардом I, когда он возвел в фавориты и рыцари низкорощенного Уилла Бривера. Генрих VIII любил оказывать рыцарские почести тем, кто хорошо ему служил; так, корнуоллского адвоката Тригоннела он сделал рыцарем с сорока фунтами в год, чтобы помочь ему поддерживать это достоинство, в знак признательности за умение, с которым он, будучи проктором, вел дело о разводе королевы Катарины. Это была лучшая служба, чем та, которую Джон Тиррелл оказал Ричарду III, который посвятил его в рыцари за помощь в убийстве юных принцев, когда он хранил ключи от Тауэра и стоял у подножия лестницы, пока Форест и Дайтон расправлялись с юными жертвами. Рыцарь с другой репутацией - сэр Ричард Хаттон, "честный судья" Карла I, на сайте, чьим выступлением против взимания корабельных денег даже король не мог быть недоволен. Сэр Ричард заслужил свои почести, и к ним можно отнести тот факт, что "когда он был барристером в Грейс-Инн, он редко или никогда не брал плату с духовных лиц".

Старый герб хантингдонширских Кромвелей представлял собой льва, держащего в передней лапе бриллиантовое кольцо. Этот герб связан с человеком, которого Генрих VIII посвятил в рыцари. На тридцать втором году правления этого короля Ричард Уильямс, он же Кромвель, вместе с пятью другими джентльменами бросил вызов всем или любому желающему из Шотландии, Фландрии, Франции или Испании, кто готов встретиться с ними в списках. Вызов был должным образом принят, и в день поединка Ричард Кромвель сбросил двух своих противников с лошадей. Генрих любил спорт, а особенно такие подвиги, как этот, продемонстрированный Кромвелем, которого он вызвал к себе. Король сказал: "До сих пор ты был моим Диком, теперь будь моим бриллиантом"; сняв со своего пальца бриллиантовый перстень и надев его на палец Кромвеля, он велел последнему всегда носить его как свой герб. Кроме того, король посвятил Ричарда в рыцари, а еще лучше - пожаловал ему аббатство Ромни, "при условии его хорошей службы и выплаты 4 663 фунтов стерлингов 4s. 2d., удерживаемых in capite десятой частью рыцарского гонорара, выплачиваемого в размере 29 фунтов 16 шиллингов".

Именно в правление Генриха VIII сержант-юрист впервые удостоился рыцарского звания. Это, по-видимому, рассматривалось ученым сообществом как корпоративная честь, благодаря которой вся компания сержантов поднималась на один уровень с рыцарями-бакалаврами, по крайней мере. Несомненно, именно по этой причине сержанты-законники претендуют на равное с ними звание и отказываются опускаться ниже упомянутых рыцарей-бакалавров.

О Елизавете достаточно назвать лишь один пример ее рыцарей. Она создала многих, но никогда не называла того, кто более благородно заслуживал этой чести, чем когда она хлопнула мечом по плечу Спилмана, бумагоделателя, и велела ему стать рыцарем. Это было сделано в качестве вознаграждения за усовершенствования, которые он ввел в свое искусство, в то время, когда печатники и бумагоделатели считались у романистов не иначе как ангелами света.

Хьюм, говоря о рыцарстве времен Якова I, замечает, что рядовые солдаты были набраны из людей более высокого класса, чем во времена Хьюма. Они, по его словам, приближались к равенству с офицерами. На это ему отвечают, что не существовало такого сословия, как то, из которого они в основном набираются сейчас. Однако это не так. Тогда, как и сейчас, в армии, несомненно, было много представителей крестьянского и рабочего классов; но сейчас, как и тогда, нет никаких стимулов к тому, чтобы люди уважаемого положения начинали восхождение к воинской профессии с низшей ступени лестницы.

Одним из рыцарей Якова I был известный сэр Герберт Крофт. Яков посвятил его в рыцари в Теобальдсе из уважения к его семье и личным заслугам. Через несколько лет после этого сэр Герберт, которому тогда было больше пятидесяти лет, присоединился к Римской церкви и удалился в Дуэй, где проживал в качестве брата-мирянина среди английских бенедиктинцев. Он умер среди них, после пятилетнего пребывания, в 1622 году. Его старший сын Уильям также был посвящен в рыцари, кажется, Карлом I. Он является примером тех, кто был одновременно рыцарем и священнослужителем, поскольку после службы полковником в гражданских войнах он оставил католичество, в котором его воспитывал отец, перешел в Англиканскую церковь и, как многие другие рыцари, которые в прежние времена сменили меч на мантию, возвысился до достоинства носить епископский пастырский посох и был сделан епископом Херефорда в 1661 году. Именно его потомок написал весьма неточную биографию Янга в "Жизни поэтов Джонсона". Вуд в своей *"Атене"* показывает, что первый сэр Герберт был литературным рыцарем, который взял в руки перо для служения общине, в которую он вступил. Это были: -1. Письма, убеждающие его жену и детей принять католическую религию. 2. Аргументы, доказывающие, что Церковь, находящаяся в общении с Римским престолом, является истинной Церковью. 3. Ответы на ответы его дочери, Мэри Крофт, которые она сделала на присланную ей его статью о Римской церкви. Все эти произведения появились в одном и том же 1619 году и, похоже, были весьма безобидным оружием в руках весьма любезного рыцаря.

Среди самых достойных рыцарей, созданных Яковом I, был Леонард Холлидей, который занимал пост лорд-мэра в 1605 году и был прозван шевалье королем, который, как говорят, никогда не оказывал этой чести, не опасаясь наполовину выхваченного меча, который был его орудием. В ответ сэр Леонард оказал хорошую услугу. В его время Мурфилдс представлял собой лишь пустынную землю, на которой происходило много насилия и ужасного загрязнения. В этой дикой местности сэр Леонард произвел такие же чудесные перемены, как Луи Наполеон в Булонском лесу, и даже большие; ведь на пути рыцаря стояло больше трудностей, а его воля была менее властной и сильной, чтобы произвести мутацию. Тем не менее, благодаря настойчивости, щедрым тратам и усердию тех, кто занимался ручным трудом, он превратил отвратительное и почти безлюдное болото в улыбающийся сад, где горожане могли гулять на воздухе, не опасаясь насилия ни над телом, ни над имуществом. Они благословляли рыцарей короля Якова, когда те вместе со своими женами и детьми отправлялись в сельскую местность. Рабочие, нанятые на работу, как говорят, были не столь щедры на благословения в адрес того, у кого они брали жалованье. Они горько жаловались на труд, и долгое время в Лондоне, когда требовались большие усилия для достижения желаемой цели, люди говорили о них как о "Праздничной работе".

Яков I не был столь совершенным рыцарем в присутствии меча, как в присутствии дамы. Он произвел в рыцари больше людей, чем любой другой король, не считая Вильгельма IV; но он никогда не посвящал ни одного без некоторой нервозности при виде оружия, которым он возлагал на себя эту честь. Кенелм Дигби утверждает, что когда Яков посвящал его в рыцари, меч, если бы его не направил в руку короля герцог Бекингемский, попал бы ему не в плечо, а

в глаз. Говорят, что отвращение Якова к виду меча передалось ему от матери, которая за некоторое время до его рождения была испуганной зрительницей убийства Риццио. Тот же король обычно замечал, что в ношении доспехов есть два больших преимущества, а именно то, что их обладатель не может ни получить, ни нанести большого вреда. И действительно, как пронизательно заметил Джеймс, главное неудобство, которого можно было опасаться в доспехах, - это быть сбитым с ног в них и остаться без оруженосца, который мог бы оказать помощь. В этом случае рыцарь стоял или лежал, подвергаясь неминуемой опасности задохнуться; как правило, доспехи были слишком тяжелыми, чтобы рыцарь мог подняться с земли без посторонней помощи. Если он лежал на лице, его положение было почти безнадежным. Рыцарские чувства, в конце концов, были не так уж чужды Джеймсу, как принято считать. В качестве примера можно привести случай, когда Салли прибыл сюда в качестве чрезвычайного посольства, и Джеймс заставил его спустить свой флаг до вымпела английского судна, посланного принять или сопровождать его. Это, однако, едва ли не было истолковано как оскорбление. Поэты этого времени тоже начали испытывать рыцарские чувства к тяготам простых женщин. Если раньше это чувство относилось только к принцессам и придворным дамам, то теперь оно выражалось даже в отношении продавщиц, стоящих за прилавками. Так, автор "Прекрасной служанки из трактира" говорит: "Ювелир держит жену за прилавком.

"Ювелир держит свою жену

В своей лавке, как русалку, и ничего от нее не

не видно, это женщина, только ее верхняя часть".

Дамы тоже становились все более амбициозными и такими же причудливыми, как и все рыцарские "dame par amour". Дочь Голдсмита в "Eastward Ho!", которая хочет стать леди, говорит своему "милому рыцарю": "Унеси меня от запаха ньюкаслского угля и звона колоколов Боу!" И, говоря о титулах, позвольте мне добавить, что во времена Джеймса, по словам Джонсона, это было...

"- Принятая ересь

Что в Англии нет герцогов".

Саути, комментируя этот отрывок, сказал, что титул, вероятно, считался зловещим, поскольку так много герцогов потеряли свои головы.

Во второй год правления Якова I он произвел в рыцари не менее трехсот человек, а в другой раз, как говорят, произвел двести тридцать семь за шесть недель. Во Франции, когда государство находилось в бедственном положении, рыцарство часто становилось ходовым товаром; но, вероятно, там оно никогда не было таким, как в Англии при первом Якове. Никто лучше него не осознавал, когда перед ним оказывался недостойный человек; и иногда случалось, что эти люди испытывали такое же неприятное чувство, касающееся их самих. Так, нам рассказывают, что когда "ничтожный человек" однажды опустил голову, король собирался посвятить его в рыцари, Яков воскликнул: "Подними голову, человек, мне больше нужно стыдиться, чем тебе".

Беспорядочное применение этого приказа вызвало большое смятение. Рыцари-альдермены в городе претендовали на первенство над рыцарями-коммонерами, и при возникновении вопроса возникала ожесточенная борьба. Герольды выступали перед "милордами", как это делают адвокаты, ссылаясь на партию, от которой они были удержаны. Одна партия считала абсурдным, что рыцарь, ставший олдерменом, должен иметь преимущество перед тем, кто

был только рыцарем. Гражданский сановник, говорили они, не более выше рыцарского, чем фонарь превосходит солнце. Такая идея, утверждали Йорки против Подвязки, была оскорблением Бога и человека. В итоге дело выиграли рыцарские олдермены, просто потому, что рыцари-коммонеры не захотели его продолжать и поддерживать свои привилегии. Йорк считал, что рыцари-общинники, хотя и торговцы, которые были лордами-мэрами, но не были олдерменами, должны иметь преимущество перед простыми рыцарями-олдерменами. Простолюдины проиграли свое дело из-за пренебрежения; но было постановлено, что бывшие лорд-мэры и проректоры Шотландии должны иметь преимущество перед всеми рыцарями, как бывшие лейтенанты государя.

В целом можно сказать, что Яков проявил очень мало уважения к достоинству рыцарей в целом. Создав над ними чин, он поставил их на ступень ниже по степени старшинства. Этот монарх является, так сказать, изобретателем баронета. Когда потребовались деньги на благо ирландской провинции Ольстер, было предложено, чтобы те, кто их предоставит, получили наследственный титул "сэр" и "баронет". Сам Джеймс сначала был несколько ошеломлен этим предложением, но вскоре дал ему свое согласие, после того как лорд Солсбери заметил: "Сир, деньги принесут вам пользу, а честь *им* - нет". Джеймс счел это справедливой сделкой, и вскоре дело было улажено. Рыцари были недовольны, но им было сказано, что будет создано только двести баронетов, и что, поскольку титулы исчезнут, новых наследственных "сиров" выдвигать не будут. Преемники Якова не считали себя связанными обязательством своего предшественника. Меньше всего к нему относился Георг III, который в течение четырех или пяти лет своего правления создавал баронетов по одному в месяц.

Особое раздражение бедных рыцарей вызывало то, что эсквайры могли купить титул и таким образом перепрыгнуть через них в один миг, а также могли быть названы рыцарями первыми, если они предпочитали принять это звание, между прочим. Но если рыцари были ущемлены, то тем более их дамы, поскольку жена баронета имела преимущественное право перед всеми дамами рыцарей, даже перед дамами Подвязки. Сами баронеты имели преимущество перед всеми рыцарями, за исключением тех, кто имел Подвязку; а их старшие сыновья занимали место перед простыми рыцарями, чей титул "сэр" они имели право принять в возрасте двадцати одного года, если были на то их воля. Однако лишь немногие воспользовались этой привилегией.

Этот вопрос настолько удовлетворил Джеймса, что он решил продать еще одну партию баронетских титулов, и тогда последовали его "Баронства Новой Шотландии". Все эти титулы были куплены у короны, а вырученные деньги пошли на благоустройство отдаленной провинции Новая Шотландия. В отношении этих купленных наследственных баронетств иногда высказывается не совсем справедливая насмешка. Несомненно, приобретенный таким образом титул не несет в себе столько чести, сколько тот, что дается за великие и славные заслуги перед отечеством. Но было немало титулованных чихальщиков, чье собственное достоинство зиждилось не на большем основании, чем то, что их прародительница была наложницей короля или основательница их дома - покорной рабыней монарха или министра. Первые баронеты, будь то из Ольстера или Новой Шотландии, оказали своей стране некую лучшую услугу, чем эта, отдав свои деньги на цели определенного общественного блага. Правда, они не были вознаграждены соответствующим образом. Они были общественными благотворителями, но только при условии, что их вознаграждали наследственным титулом. Мораль здесь не очень чиста, принцип не очень возвышен; но и меньшие затраты морали и принципа покупали пэрства и раньше, и у баронетов, таким образом, нет причин стыдиться происхождения своего ордена.

Меньше всего баронетов позднего происхождения, людей, которые принесли большие жертвы и оказали неоценимые услуги своей стране. Для них звание баронета не давало реального достоинства, которым они не обладали ранее, но служило признанием их значимости в глазах соотечественников. Здесь я могу заметить, что когда сэр Вальтер Скотт рассказывает о галантном поступке Ральфа Садлера при Пинки, когда он сплотил английскую кавалерию так эффективно, что выиграл почти проигранное сражение, и собственной рукой захватил королевский штандарт Шотландии, биограф добавляет, что звание, в которое был возведен галантный Ральф - рыцарь-баннерет, "можно назвать самой вершиной рыцарства". Рыцари-баннереты могли быть созданы только самим королем или, что случалось крайне редко, человеком, наделенным такими полномочиями, которые представляли его персону. Их нарекали либо перед битвой, либо после нее, когда выставлялся королевский штандарт; удостоенный такой чести человек, представ перед королем в сопровождении двух знатных рыцарей или дворян, вручал государю свой вымпел, имевший на конце отступ в виде ласточкиного хвоста. Затем король отрезал выловленный край, в результате чего знамя становилось квадратным, по форме похожим на знамя барона, которое впоследствии рыцарь-баннерет мог демонстрировать на любом поле боя в этом более благородном виде. Если баннерет создавался королем, то он имел преимущество перед всеми остальными рыцарями, а если генералом, то только перед рыцарями Бани и рыцарями-бакалаврами. Сэр Фрэнсис Брайан, командир легких всадников, и сэр Ральф Вейн, лейтенант стрелков, получили эту честь вместе с нашим сэром Ральфом Сэдлером на поле Пинки. Но он пережил своих товарищей и, как говорят, был последним рыцарем-баннеретом Англии".

Полагаю, Вашингтон считал, что у него не меньше прав, чем у английского протектора, датировать рыцарей; с этим, правда, не поспоришь. Но Вашингтон пошел дальше Кромвеля, поскольку ввел соответствующий приказ. Это было, как говорили, посягательство на привилегии короля. Это был военный орден, и назван он был в честь патриота-земледельца, который был призван от своего плуга, чтобы управлять судьбами Рима; ведь у римлян было очень правильное представление о том, что народы сами творят свою судьбу. Орден Цинцинната был декретирован, знаки отличия ордена были отправлены Лафайету, находившемуся в то время в Париже, где дворяне, которые умели произносить слова не больше, чем лорд Дюберли, доверяя только своему слуху, приняли их за орден Святого Сената. Последовал небольшой переполох. Аристократы не только высмеяли американского диктатора за то, что он взял на себя "хеджирование" короля, но и посчитали, что он посягнул на привилегии папы, а поскольку они просмотрели календарь и не нашли святого Сената, то сразу же пришли к выводу, что он канонизировал какого-то достойного, но демократического человека из города Бостона.

Рыцари Содружества, будь то на морской или сухопутной службе, обладали, пожалуй, меньшей утонченной галантностью, чем преобладали среди "кавалеров" *par excellence*. Так, адмирал Баттен совершил подвиг, которого бы устыдилось старое рыцарство, - он обстрелял из пушки дом, в котором спала королева Генриетта Мария, в Бридлингтоне и выгнал ее в поле. Но что говорить о галантной утонченности сторон, в конце концов, грубость Баттена была сама вежливость по сравнению с поступками Горинга и его драгун. С другой стороны, ни в одной из сторон не было человека, который по рыцарским качествам превосходил бы Хэмпдена - "верховного правителя над всеми своими страстями и привязанностями, обладающего тем самым огромной властью над другими людьми". Что касается самого Кромвеля, то мадам де Севинье заметила, что в некоторых вещах великий Тюренн был похож на него. Мне кажется, это скорее комплимент Тюренну, чем Протектору. Последний, как и Хэмпден, умел, по крайней мере, скрывать, если не мог управлять своими страстями. Ему

была свойственна рыцарская деликатность; и он не был таким человеком, как Майлз Беркет, который в своей молитве в воскресенье после казни короля спросил Всевышнего, не почувствовал ли он сладкий запах крови?

Боевое рыцарство Геринга, позвольте мне добавить, было, тем не менее, совершенным. Рыцарские любезности были ему не свойственны, но в умении и храбрости он никогда не был превзойден. Говорят, что его ловкость была особенно заметна в неожиданных ситуациях; и именно эта ловкость больше всего превозносилась в рыцарях былых времен. Многие другие кавалеры были плохими воинами, но восхитительной компанией.

С другой стороны, яростный, но неукротимый рыцарский дух, тот дух, который выдержит все муки, не отступив ни на йоту от своих принципов и не уступив ни дюйма земли перед лицом подавляющего числа людей, был замечен и в других людях, помимо воинственных последователей Кромвеля. Я приведу в пример только Прайна, который под безжалостным бичом спокойно проповедовал против тирании, а с шеей на столбе смело острил против жестокости и преследований. За свою дерзость "свободнорожденному Джону" заткнули рот, но когда он лишился дара речи, то беспрестанно стучал ногами, чтобы выразить, что он непобедим и неубедим. Если это не великое мужество, какое когда-либо проявлял рыцарь, то я не знаю, как его назвать.

Против мужества Кромвеля Дагдейл и Роджер Мэнби говорят больше, чем можно утверждать о Прайне, а именно, что его сердце подвело его однажды в жизни. Говорят, что когда он был капитаном конного отряда в полку Эссекса при Эджхилле, "он отлучился на битву и, наблюдая с вершины соседнего шпиля за беспорядком, который учинил правый фланг принца Руперта, был так напуган, что поспешно соскользнул вниз по колокольному канату, сел на коня и убежал со своим отрядом, за эту трусость он был казнен, если бы не мощное заступничество его друзей". Этот отрывок показывает, что легендарный стиль рыцарского романа по-прежнему служил примером для историков. В самом деле, роман сам провозгласил Оливера героем, как и многих рыцарей до него. О нем рассказывали, что перед битвой при Вустере он, как и любой сэр Тристрам, отправился в лес, где встретил торжественного старика со свитком пергамента в руке. Оливер прочитал этот свиток - договор между ним и Князем Тьмы - и сказал: "Это всего лишь на семь лет; я должен был получить такой же на полтора десятка". "Тогда, - говорит Летописец, - он предложил четырнадцать; но тот ответил, что если он не согласен на такие условия, то есть другие, которые согласятся. Тогда он взял пергамент и умер в тот день семи лет". Это история по образцу "Семи чемпионов".

В состязании между людьми из содружества и короны соблюдались рыцарские цвета. У Эссекса был темно-желтый цвет; и так остра была ревность войны, что те, кто носил любой другой, считались недоброжелателями доброго дела.

Я уже отмечал, что Сири возлагает вину на шотландских воинов, чье якобы наемническое поведение, как утверждалось, стало семенем большого урожая зла. Шотландцы, похоже, были непопулярны со всех сторон. Перед катастрофой, покончившей с королем и королевством, французский посол, находившийся в то время на севере, был сопровожден в какой-то пункт отрядом шотландских лошадей. Выйдя от них, он достал полукрону и спросил, сколько в ней пенсов. "Тридцать", - был готовый ответ арифметического карабинера. "Именно так!" - ответил посланник, швырнув кусок в них с таким же презрением, какое испытывал принц Оранский, когда бросал свой крест среди голландских войск при

Ватерлоо. "Именно так! Возьмите его. Это была цена, за которую Иуда предал своего господина".

Если во времена содружества святые оставались незаслуженно обделенными, они находили некоторую компенсацию в руках мистера Пенри, автора "Мартина Мар-Прелата", который выбирал в рыцари самых выдающихся - и так он поступал не только с мужчинами, но и с женщинами святых. Таким образом, легкомысленный Пенри говорил о сэре Поле, сэре Питере и сэре Мартине, а также о сэре Маргарите и сэре Мэри.

Переходя к более поздним временам, временам Якова II, замечу, что бедняга Нат Ли, будучи в бешенстве, сказал о знаменитом рыцаре этого времени, сэре Роджере Лестрейндже, что разница между ними в том, что один был Стрендж Ли, а другой Лестрейндж. "Ты беден кошельком, - сказал Ли, - как я беден мозгами". Сэр Роджер, конечно, был менее богато одарен умственно, чем поэт, но у него было *одно* качество, которым должен был обладать рыцарь древности, превосходящий большинство мужчин, бывших его современниками, а именно - сильное восхищение дамами. Эта галантность доходила до того, что, когда он был лицензиаром книг, говорят, что он с готовностью подмигивал нелицензионным томам, если жена печатника только улыбалась ему.

Хотя это и не совсем относится к теме разговора о сэре Роджере, замечу, что еще во времена правления Якова II у детей был обычай при первой утренней встрече с родителями преклонять колени у их ног и просить благословения. В ранние рыцарские времена рыцари, встретившие священника, редко обходились без этого. Мы часто слышим похвалы этому сыновнему почтению, которое оказывали сбившиеся с пути рыцари духовным отцам, встреченным ими в своих странствиях.

Другой социальный обычай, связанный с рыцарством, соблюдался и в это, и даже в правление Вильгельма III. Он отмечен Драйденом в посвящении к его "Торжествующей любви" в следующих словах: "Обычная практика нашего пришедшего в упадок дворянства - искать вокруг себя какую-нибудь прославленную семью, а затем пристраивать своего юного любимца туда, где он может получить хорошее образование и поддержку". Рыцарская храбрость и образование не *всегда были* самого высокого качества, если верить отрывку из "*Старого холостяка*" Конгрива, где говорится, что "привычка солдата в наши дни так же часто скрывает трусость, как черный плащ - атеизм". Но не следует считать, что сцена - это зеркало природы; и, со своей стороны, я не верю утверждению рыцаря сцены, сэра Гарри Уайлдера, что в Англии "честность ушла вместе с разрезанными дублетами, а любовь - с тесным платьем". Не доверяю я и тому, что говорится о временах королевы Анны в "*Справедливом квакере*" из Дила, что "наши морские капелланы, в общем, так же пьяны, как и наши морские капитаны".

Вильгельм III посвятил в рыцари многих людей, которые не заслуживали этой чести, но он не допустил подобной ошибки, когда возложил рыцарский меч на плечи честного Томаса Эбни, жителя Лондона. Эбни был одним из тех счастливых архитекторов, которые сами строят свою судьбу, опираясь на правильность и разумность. Со временем он достиг того величия, которое сейчас так поражает воображение парижан; иными словами, он стал лорд-мэром Лондона. Религиозный дух рыцарства бился в груди, покрытой широкой тканью, и сэр Томас Эбни смирился в тот день, когда его возвысили. Он был "воспитан" раскольников, но, конечно, не был им, когда стал правителем города в 1700 году. Тем не менее он был христианином, и его поведение в день инаугурации является для нас примером и приятной чертой. Вечерний банкет еще продолжался, когда он молча удалился с блестящей сцены,

поспешил домой, прочитал вечерние молитвы всем своим домочадцам, собравшимся в этот праздничный день, а затем спокойно вернулся и занял свое место среди веселой компании.

Гостеприимство этого рыцаря было столь же безупречным. Кто забывает, что именно ему доктор Уоттс (этот любезный нетерпимец!) был обязан своим домом в течение тридцати лет? Семья Абни питала к автору "Вялого" уважение, которое никогда не спало. Оно доходило почти до идолопоклонства. Я сказал "тридцать лет", но на самом деле доктор Уоттс был дома, у очага сэра Томаса, не более шести с половиной тридцати лет. Поэт-валетудинарист, чья суровость ранних занятий заставила его навеки *распроститься* с богиней здоровья, был принят рыцарем с искренней теплотой, рожденной уважением к достоинствам и гению добросердечного человека, который "рассыпал проклятия" в нежных рифмах и при этом не обидел бы ни одного червяка. В маленьком раю, где он был настолько спокоен, насколько позволяло его шаткое здоровье, поразительно, с какой силой духа и слабостью фразы этот доброжелательный версификатор вытолкнул миллионы из ворот большого рая. Таково, по крайней мере, было мое собственное раннее впечатление от рифм рыцарского гостя. Они внушали много страха и мало любви: и если теперь я вижу, что таков не был замысел автора и что он использовал угрозу только для того, чтобы добиться послушания, за которым могла бы последовать привязанность, я все равно не могу прийти к какому-либо другому выводу, кроме того, что принятый метод заслуживает порицания.

Он сидел под рыцарским кровом, не испытывая ни малейшего недостатка, имея возможность исполнить любое желание; освобожденный от необходимости принимать активное участие в великой битве жизни, он был окружен немногими, возможно, даже никакими искушениями; и свободный от всех забот, он имел каждый час дня для прогулок с Богом. Его недостаток заключался в том, что он забывал, что другие люди и дети людей не имеют его преимуществ, и, хотя, по справедливости, он считал их добродетели ничтожными, у него не было ни капли сострадания к их человеческим недостаткам. Хорошо возводить высокие стандарты, но не менее хорошо утешать, а не осуждать тех, кто до них не дотягивает. "Эксельсиор" - хороший совет на славном знамени, но те, кто роскошно носит под его стягом, не должны спешить осуждать тех, кто теряет сознание на пути, отступает и ждет милости Божьей, чтобы достичь высокой награды, которую они считали своей главной целью. Хотелось бы знать, оспаривал ли сэр Томас выводы, сделанные его гостем.

Это упоминание о столичном рыцаре и поэте, сидевшем у его очага, напомнило мне о покровителе и госте другого качества, которые когда-то были хорошо известны в окрестностях Меца; "Мец без Лотарингии", как говорят гордые жители о свободной местности, которая была окружена, но никогда не была в Лотарингии.

Покровителем был старый шевалье де Сен-Луи, с маленьким крестом и большими "голубями". Гостем был приходской священник, который жил под его крышей и был "другом дома". Приход был бедным, но у него хватило духу собрать подписку, чтобы поставить в алтарь новый *киворий* - сосуд, в котором хранится "тело Господне". Со скромной суммой в руках рыцарь Святого Людовика в сопровождении священника отправился в Мец, чтобы сделать необходимую покупку. Ортодоксальный ювелир поставил перед ними два сосуда. Один был несколько маловат, но вполне соответствовал тем средствам, которыми располагал рыцарь; другой был большим, великолепно украшенным чеканкой и очень желанным для священника.

"Вот красивая вещь", - сказал шевалье, указывая на более простой из двух сосудов: "Но вот более достойная", - прервал его священник. "Он соответствует сумме, которой мы располагаем", - заметил первый. "Я уверен, что это не соответствует вашей любви к Тому,

ради Кого была собрана эта сумма", - прозвучало в ответ. "У меня нет полномочий превышать названную сумму", - прошептал осторожный шевалье. "Но у вас есть свои средства, чтобы восполнить недостаток", - пробормотал священник. Рыцарь в недоумении начал чувствовать себя несогласным с церковью, и после минутного раздумья, взглянув на меньший и более простой из двух сосудов, воскликнул: "Он достаточно велик для этой цели и сделает честь церкви". "Тот, что побольше, больше подходит для этой цели и делает больше чести Главе Церкви", - последовал уверенный комментарий священнослужителя. "Вы хотите сказать, что он *недостаточно* велик?" - спросил казначей. "Конечно, ведь есть еще большая, которую мы можем взять, если только вы будете щедры". "*Mais!*" - возразил рыцарь в порыве нетерпения и, указывая на меньший киворий, - "*Cela contiendrait le diable!*" "Ах, месье шевалье", - сказал священник, ничуть не шокированный этой идиоматической фразой. "*Le Bon Dieu est plus grand que le diable!*" Этот удар принес победу, и ювелир был больше всех из трех в восторге от такого завершения запутанного спора.

Георг I был не настолько щедр, чтобы позволить себе раздавать почести очень обильно. Однако люди, которые были ему очень полезны, часто вознаграждались тем, что их назначали пользоваться льготами, а то и исполнять обязанности нескольких должностей, каждую в отдельности. В то время, когда в Англии осуществлялась эта, в Испании происходило прямо противоположное. Так, в *лондонской газете* от 29 марта - 1 апреля 1718 года под заголовком "Мадрид, 21 марта" мы читаем следующие подробности, которые можно было бы с большой пользой использовать в Англии в наши более современные времена: - "Король постановил, чтобы ни один человек не имел права занимать должности, которые он занимал, и не имел права занимать должности, которые он занимал".

"Король постановил, что ни один человек не должен занимать более одной должности на его службе, об этом были уведомлены герцог д'Арко, который является хозяином лошади и джентльменом спальни; маркиз де Монтелегри, лорд-камергер и капитан гвардии алебардистов; маркиз де Ст. Жуан, стюард домашнего двора и конный мастер королевы; и один из Совета Гаринды, маркиз де Бедмар, военный министр и президент Совета; и еще несколько человек, которые находятся в подобном положении, чтобы выбрать, какое из своих занятий они оставят. На что все они ответили, что не будут предъявлять никаких претензий, но будут определяться тем, что Его Величество сочтет нужным назначить. Подобные распоряжения отданы и в армии, где те, кто получает жалованье как генерал-офицеры и, кроме того, имеет полковничьи чины, обязаны расстаться со своими полками".

Это постановление серьезно нарушило доходы многих испанских рыцарей, но, тем не менее, это было мудрое и полезное постановление. В то самое время, когда оно было введено, Венеция продавала свои рыцарские и дворянские титулы. В той же "Газете", из которой взяты вышеприведенные подробности, под заголовком "Венеция, 25 марта" сообщается, что "синьор Давид и Поль Спинелли, два женеvских джентльмена, по их прошению были приняты на этой неделе Большим советом в орден дворянства этой республики, купив эту честь за сто тысяч дукатов". Это была большая цена за столь незначительную привилегию.

Я уже достаточно подробно рассказывал о рыцарстве при Георге II, когда говорил о самом короле; добавлю лишь одну черту его преемника.

Георг III не часто бывал легкомысленным, но традиция приписывает ему сложный каламбур, когда его министр убеждал его присвоить рыцарское звание судье Дэю по возвращении последнего из Индии. "Пух! Пух!" - возразил король, - "как я могу превратить день в ночь?". На повторное обращение министра король спросил, не женат ли мистер Дэй, и, получив утвердительный ответ, Георг III немедленно повторил: "Тогда пусть он придет в соседнюю

гостиную, и я совершу пару чудес; я не только превращу День в Рыцаря, но и сделаю Леди-День на Рождество".

Георг III изрек поговорку, которая, будучи примененной на практике, принесла не меньше пользы, чем многие победы, одержанные более рыцарственными монархами. "Земля, как и человек, никогда не была предназначена для безделья. Если она не производит ничего полезного, то зарастает сорняками".

Среди людей, которых Яков I посвятил в рыцари, был один, прошедший карьеру пажа, и о нем я оставил упоминание, чтобы сравнить его карьеру с карьерой современного и известного сквайра.

РИЧАРД КАРР, ПАЖ; И ГАЙ ФО, ЭСКВАЙР.

Из всех авантюристов семнадцатого века я не знаю ни одного, кто бы так хорошо иллюстрировал рассматриваемые мною вопросы, как два вышеупомянутых джентльмена. Первый из них начал жизнь пажом; второй был эсквайром по состоянию и оружейником. Мастера Фо за попытку убийства постигла смерть, а Ричарда Карра, хотя он и был осужден за убийство, оставили в живых и даже не лишили рыцарского звания.

Когда правил шестой Яков Шотландский, бедный король в бедной стране, среди его свиты был изящный мальчик - отпрыск древнего дома Фернихерст, бедного кошельком и гордого именем. При дворе экстравагантного и в то же время нуждающегося шотландского короля не хватало средств к существованию даже для дерзкого пажа; и Ричард Карр из Фернихерста отвернулся от Среднего Лотиана, а в заграничных странствиях забыл свой северный дом.

Яков, в свою очередь, направил свой взор на английскую границу; и впоследствии, в суе Уайтхолла, охоте в Теобальдсе, порочных удовольствиях Гринвича и гуляньях в Ройстоне, он забыл изящного юношу, который служил ему в Холируде, Сент-Эндрюсе и Данбаре.

Когда этот Яков I Английский почти устал от своего старого фаворита и министра Солсбери, за неимением лучшего занятия он приказал устроить тилтинг-матч, и приказ был выполнен с готовностью. На этом матче лорд Хэй решил представить королю юношу, который пользовался особым покровительством его светлости. И вот, когда монарх расположился на своей трибуне, а трубы возвестили о начале поединка, молодой оруженосец лорда Хэя, красивый юноша двадцати лет, с прямыми ногами, красивыми чертами лица, крепкоплечий, гладколицый и со скромностью, подчеркивающей его красоту, выехал на огненном коне, чтобы положить щит и копье своего хозяина к ногам монарха. Действия воина-ученика были столь грациозны, его конь так полон огня, а оба они так необычайно красивы, что Джеймс потерял дар речи от восхищения. Но вдруг, когда юноша наклонился вперед, чтобы представить устройство своего хозяина, шпора вонзилась в бока его возницы, и тот, взвившись на дыбы, выбросил всадника из седла и бросил молодого Карра из Фернихерста к ногам его бывшего наставника, короля. Тот узнал своего старого пажа и загладил вину за сломанную при падении ногу, выхаживая юношу и сделав его виконтом Рочестером, как только тот поправился. Яков произвел его в рыцари Подвязки и обучил грамматике. Рочестер давал королю уроки иностранной истории. Неблагодарный король ходил по двору, обхватив руками шею благодарного рыцаря. Он постоянно либо смотрел на него, либо целовал его; поправлял ему очки, укладывал локоны или разглаживал рукава. Когда

Рочестер исчезал из поля зрения короля, Яков не забывал о нем и конфисковывал имения честных людей, чтобы обогатить своего нового фаворита. Он отобрал Шерборн у вдовы и детей Рэли, хладнокровно заметив коленопреклоненной даме: "Я могу получить его за Карра!".

Рочестер был рыцарем, который управлял королем, но был и другой рыцарь, который управлял Рочестером. Это был хорошо воспитанный, вспыльчивый, способный и порочный сэр Томас Овербери. Овербери полировал и загрязнял ум Рочестера; читал все документы, которые проходили через руки последнего, готовясь попасть в руки короля, и не только писал депеши самого Рочестера, но и сочинял для него любовные послания. О том, насколько остроумно сэр Томас умел писать, можно судить по его "Характерам", а как поэт рыцарь пользовался в свое время немалой славой.

Рочестер, сэр Томас и король находились на пике своей слишком теплой дружбы, когда Джеймс выдал Фрэнсис Говард, дочь графа Саффолка, замуж за молодого Деверо, графа Эссекса. Невеста была совсем юной. Жених был на день старше. Епископ Бата и Уэллса благословил их в присутствии короля, а Бен Джонсон и Иниго Джонс поставили маскарад в честь этого события. Когда занавес опустился, жених и невеста разошлись в разные стороны: первый - к матери, второй - в школу. Прошло четыре года, прежде чем они снова встретились; и тогда Фрэнсис, которую плохо воспитала мать, соблазнил принц Генри и обхаживал Рочестер, посмотрела на Эссекса с безграничным презрением. Эссекс отвернулся от нее с отвращением.

Тогда Рочестер решил жениться на Фрэнсис, и Фрэнсис наняла отравительницу из Патерностер-роу, миссис Тернер, и некоего доктора Формана, чтобы приготовить филеры, которые должны были сделать более пылким пламя любовника и возбудить повышенное отвращение в груди мужа. Овербери энергично выступал против идеи виновной пары, что развод с Эссексом может быть получен. Он даже говорил о позорном положении леди по отношению к ее любовнику. После этого Фрэнсис предложила тысячу фунтов стерлингов нуждающемуся рыцарю, сэру Джону Уорду, чтобы тот убил Овербери на дуэли. Сэр Джон отклонил предложение. Тогда был применен более успешный метод. Сэр Томас Овербери был назначен послом в Россию, а за отказ принять приговор об изгнании его посадили в башню как виновного в неуважении к королю. В этой тюрьме литературный рыцарь был должным образом умерщвлен медленным ядом. Вина за это была возложена не столько на Рочестера, сколько на Фрэнсис, но сам король, похоже, был вполне доволен таким исходом дела.

Джеймс объединился с Рочестером и леди, чтобы добиться развода между последней и Эссексом. Король был подкуплен суммой в 25 000 фунтов стерлингов. Сам Эссекс не явился. Все церковные судьи, высказавшиеся за развод, были вознаграждены - семь против пяти, и даже сын одного из них был посвящен в рыцари. Это был наследник доктора Билсона, епископа Винчестерского, и впоследствии он был известен под именем сэра Нуллити Билсона.

Сэр Нуллити танцевал на свадьбе знаменитой или печально известной пары; и никогда еще свадьба не была столь великолепной. Король, пары и знаменитые простолюдины ошастливили ее своим присутствием. Епархиальный епископ Бата и Уэллса произнес благословение. Декан собора Святого Павла написал по этому случаю эпифаламическую эклогу. Проповедь произнес декан Вестминстерского собора. Великий Бэкон сочинил в честь этого события "Маску цветов", а город разорился от экстравагантной пышности своих празднеств. Один джентльмен запряг карету невесты, епископская дама приготовила торт

для невесты, а один шутливый подхалим преподнес супружеской паре двусмысленный подарок в виде золотой грелки.

Король, чтобы не отставать в распределении почестей, оказал одну, которая ему ничего не стоила. Он сделал Рочестера графом Сомерсетом.

Через два года после этой радостной свадьбы джентльмен, подаривший невесте четырех лошадей, чтобы везти ее в позолоченной колеснице к брачному алтарю, стал рыцарем и государственным секретарем. Сэр Ричард (или, как его называли некоторые, сэр Роберт) Уинвуд был поклонником восходящего фаворита Вильерса, и никто лучше этого новоиспеченного рыцаря не знал, что король совершенно устал от своего старого фаворита Сомерсета.

Уинвуд ждал короля и сообщил ему, что болтливый молодой аптекарь из Флашинга, изучавший применение лекарств у лондонского доктора Франклина, оживляет этот меланхолический городок своими рассказами о злоупотреблении лекарствами и о том, как их использовали лорд и леди Сомерсет, миссис Тернер (хорошенькая женщина, придумавшая желтые накрахмаленные оборки) и их сообщники, чтобы довести до смерти Овербери. Еда, переданная последнему, была отравлена Фрэнсис и ее любовником за пределами башни, а вводили ее заключенному рыцарю подкупленные для этой цели чиновники в стенах.

В деталях последовавшего за этим необычного судебного разбирательства царит невообразимая путаница. Невозможно читать их без убеждения, что в смерти Овербери был заинтересован, если не фактически причастен, кто-то более высокий по рангу, чем Сомерсеты. Более мелкие персоны были повешены, а миссис Тернер вывела из моды желтые ершики, надев их на виселицу.

Леди Сомерсет признала себя *виновной*, очевидно, под влиянием обещания помилования, если она это сделает, и страха, что уже подготовленная речь Бэкона, если она *не* признает себя *виновной*, может отправить ее на бесславную смерть. Ее заключили в Тауэр, и она с неистовой энергией умоляла, чтобы ее не закрывали в комнате, которую занимал Овербери.

Сомерсет предстал перед судьями в торжественном костюме и со знаками отличия Подвязки. Он *не* признал себя *виновным*, но, несмотря на недостаточность доказательств, был осужден и формально приговорен к повешению, как любой обычный преступник. Но бывший паж выиграл свою жизнь своей молчаливостью. Если бы он в свою защиту или после нее рассказал хоть что-то, что могло бы вызвать недовольство или беспокойство короля, его жизнь была бы оплачена неустойкой. Как бы то ни было, король сразу же распорядился не снимать геральдический герб графа как рыцаря Подвязки. В течение короткого периода заключения виновной пары, оба виновные во многих преступлениях, хотя в деле Овербери есть некоторые сомнения относительно степени соучастия графа, они по отдельности наслаждались "свободой Тауэра". Падший фаворит имел обыкновение расхаживать по меланхолическим валам с Георгием и воротником на шее и рыцарской подвязкой под коленом. Его часто видели в серьезной беседе с графом Нортумберлендом. Иногда виновная жена Сомерсета, движимая любопытством или привязанностью, осмеливалась минуту-другую смотреть на него со своей решетки, и тогда, если граф видел ее, он поворачивался, серьезно отдавал честь и сразу же молча проходил дальше.

После освобождения из Тауэра рыцарь Подвязки, осужденный за убийство, и его жена, признавшая себя виновной, вышли вместе под защиту королевского помилования. Говорят,

что вплоть до смерти леди Сомерсет в 1632 году несчастная пара никогда не раскрывала губ, но выражала ненависть и презрение друг к другу. Граф прожил до 1645 года - достаточно долго, чтобы увидеть, как первый муж его жены триумфально пронес свое знамя против сына Якова в Эджхилле. Оба мужа одной жены умерли в течение нескольких месяцев друг от друга.

Такова была карьера того, кто начал жизнь в качестве пажа. Давайте сравним с ним раннюю карьеру того, чье имя еще более знакомо широкому читателю.

В середине шестнадцатого века в Йорке обосновалась респектабельная и влиятельная протестантская семья Фоуксов. Некоторые из членов семьи занимались адвокатской деятельностью, другие были купцами. Один из них был регистратором и адвокатом консисторского суда соборной церкви Йорка. Другой был нотариусом и проктором. О третьем говорят как о торговце-скотопромышленнике. Все они были хороши собой; но никто из них и не мечтал, что имя Фоукса станет хоть в малейшей степени знаменитым.

Христианское имя церковного адвоката было Эдуард. Он был третьим сыном Уильяма и Эллен Фоукс и любимым ребенком своей матери. Остальным детям она завещала безделушки, небольшие суммы и странные предметы мебели, но Эдварду она оставила свой свадебный костюм и все остальное имущество. Эдвард Фоукс был женат, когда его мать составляла завещание. Пока документ готовился, его жена Эдит держала на руках младенца. Этому мальчику она оставила свой "лучший свисток и одного старого ангела из золота".

Само завещание - любопытный документ. Оно набожно, в соответствии с добрым обычаем тех дней, когда оно было составлено. Достойная пожилая завещательница сделала несколько необычных завещаний; своему сыну Томасу, в числе прочего, она указала "мой второй подъюбник, камвольный халат, обшитый бархатом, и дамастовую юбку". Лучшая юбка и лучший подъюбник" завещаны ее невестке Эдит Фоукс. Среди завещателей - некий Джон (который, несомненно, должен был быть *Джоан*) Шерекрофте, которому, по словам госпожи Фоукс, "я оставляю свой подъюбник, обшитый бахромой, мою вурсовую кофту, один из моих линиялых платьев и дамастовую верхнюю часть тела". Однако в половой принадлежности завещателя сомневаться не приходится, поскольку в завещании миссис Фоукс другой джентльмен получает один из ее чепчиков!

Количество завещанного белья говорит о хозяйственности леди, а шляпки, кирты и кольца заставляют нас опасаться, что жена мастера Эдварда Фоукса, должно быть, иногда пугала своего мужа количеством мелких счетов, предъявляемых ему назойливыми портнихами, мельниками и ювелирами. Однако такова была воля одной леди из Йорка три века назад, и ребенком на руках, которому полагались серебряный свисток и золотой ангел, был не кто иной, как наш старый знакомый, известный нам под именем Гай Фо.

Гай был крещен шестнадцатого апреля 1570 года в до сих пор существующей церкви Святого Михаила ле Белфри; и когда сплетники и спонсоры собрались за гостеприимным столом отцовского адвоката, чтобы отпраздновать крестины сына, здоровье мастера Гая шло в ногу со здоровьем ее милостивого высочества королевы.

Мастер Гай имел несчастье потерять отца на девятом году жизни. "Он оставил мне лишь небольшое состояние, - рассказывал Гай много лет спустя, - и я его растратил". После смерти отца Гай несколько лет учился в бесплатной гимназии в "Лошадином дворе", прилегающем к Йорку. Там он изучал гуманитарные науки под руководством преподобного Эдварда

Пулейна. Среди его товарищей по школе были епископ Мортон, впоследствии епископ Даремский, и тихий мальчик по имени Чек, который впоследствии стал рыцарем и баронетом, и который, вполне возможно, в последующие дни отправился посмотреть на своего старого товарища в руках палача.

Примерно в семнадцати милях от Йорка находится приятный городок Кнаресборо, а недалеко от него - деревня Скоттен. Когда Гай был еще мальчиком, в этой деревне жил очень веселый и соблазнительный ухажер по имени Деннис Бейнбридж. Этот ухажер часто навещал овдовевшую Эдит, и результатом его визитов стало то, что овдовевшая Эдит довольно поспешно убрала свои сорняки, приняла свадебный наряд, вышла замуж за неотразимого Денниса и вместе с двумя дочерьми, Энн и Элизабет, и единственным сыном Гаем, отправилась с новым мужем в его резиденцию в Скоттене.

Бэйнбридж был католиком, как и Пуллены, Перси, Винтеры, Райты и другие, жившие в Скоттене и его окрестностях, чьи имена фигурируют в истории о Пороховом заговоре.

В Скоттене и, вероятно, вскоре после замужества матери, в 1582 году, Гай, можно с уверенностью сказать, оставил веру, в которой был крещен, и перешел в римскую церковь. Если бы он отказался принять вероисповедание своей приемной сестры, то, возможно, ему было бы предоставлено совсем немного возможностей порыбачить в Нидде, половить кролика у Билтон Бэнкс, поесть орехов в Голдсборо Вуд или провести праздные святочные дни на Гримбалд Крейг.

В день свадьбы Эдит Фоукс и Денниса Бейнбриджа дядя Гая по отцовской линии огласил свое завещание. Он продемонстрировал свое понимание шага, предпринятого леди, опустив ее имя в завещании и завещав большую часть своего имущества двум сестрам Гая. Самому Гаю дядя Томас оставил только "золотое кольцо" и "кровать и одну пару простыней с принадлежностями".

Когда Гай достиг совершеннолетия, он получил в свое владение вотчину - немного земли и фермерский дом. Последний с двумя или тремя акрами земли он сдал портному по имени Ламли на двадцать один год с ежегодной арендной платой в сорок два шиллинга. Оставшуюся часть он сразу же продал за без малого тридцать фунтов. Вскоре после этого он передал покупателю все, что осталось от его имущества. Некоторое время он размышлял, какой путь ему избрать, и в конце концов выбрал профессию оружейника и отправился в Испанию, чтобы ломать короны и завоевывать шпоры.

В Испании он попал в дурную компанию и дурные нравы. Он вдоволь насмотрелся на жестокие бои и более чем достаточно предавался пьянству. Он был дикого, почти дикарского нрава и никогда не дослужился до должности, которая давала бы ему хоть какой-то шанс попасть в рыцарский список. Однако был один рыцарь по имени Кейтсби, который был товарищем Гая, и тот держался за него как за средство стать таким же великим, как тот, к которому он держался.

Гай доблестно сражался в Испании, а затем во Фландрии, причем сражался с такой доблестью, что когда Кейтсби и его соратники в Англии раздумывали, где бы им найти того самого чемпиона, который был им нужен для их конкретной цели в Пороховом заговоре, мысль о безрассудном солдате мелькнула в голове Кейтсби, и Гай сразу же был присмотрен как "самый достойный человек" для очень неподходящей службы.

Гонец, отправленный во Фландрию, чтобы позвать Гая, обнаружил, что тот жаждет взять на себя опасную миссию по уничтожению короля и парламента и тем самым помочь Риму снова

властвовать в Англии. Английский солдат из Фландрии прибыл в Лондон, поселился в гостинице, которая занимала место, не очень удаленное от некогда известного "Ангела" на Сент-Клементс-Денс, и стал веселиться на открытой улице Стрэнд, пока не был готов завершить дело, которое, как он думал, поможет ему стать великим.

Я не буду вдаваться в подробности сюжета. Однако следует заметить, что рыцарь никогда не смотрел смерти в лицо с таким хладнокровием, как Гай, отправившийся взрывать короля-протестанта и парламент. В то же время следует добавить, что у Гая не было ни малейшего намерения вздернуть себя на дыбу. Он рисковал, правда, очень сильно, и делал это бесстрашно; но тот факт, что карета и лодка были наготове, чтобы облегчить его побег, показывает, что самопожертвование не было целью сына Йоркского проктора. Его главной целью было занять место среди рыцарей и дворян. Для достижения этой цели он использовал не самый лучший способ, но его почтение к благородству проявилось даже тогда, когда он был очень близок к своему насильственному концу. Если он и был героем, то только тогда, когда перед ним стояла верная смерть по закону. Но даже тогда он мог похвастаться и утешиться тем, что на протяжении всего дела не было ни одного человека, который бы не был джентльменом, даже для того, чтобы орудовать лопатой во имя достижения поставленной цели. Гай умер в полной уверенности, что не сделал ничего, что могло бы унижить его достоинство!

Учитывая, насколько драматичны истории пажа и сквайра, кратко описанные выше, примечательно, что они так мало использовались драматургами. Сэвидж - единственный, кто драматизировал историю двух рыцарей, Сомерсета и Овербери. В трагедии, носящей имя последнего рыцаря и поставленной на Хеймаркете в июне 1723 года, он сам сыграл героя, сэра Томаса. Его попытка стать актером и таким образом заработать на жизнь честным трудом была единственным поступком в его жизни, за который Сэвидж никогда не стыдился. В этой пьесе единственными виновниками являются графиня и ее дядя, граф Нортгемптон. Это соответствует распространенной в свое время идее, что Нортгемптон спланировал убийство сэра Томаса в своей резиденции, которая занимала место нынешнего дома Нортумберлендов. Пьеса не имела успеха, и то же самое можно сказать о ней, когда она была возрождена с изменениями в Ковент-Гардене в 1777 году. Шеридан, актер, написал пролог. В этой постановке он выразил убеждение, что публика в целом мало интересуется судьбой рыцарей и королей. Причина, которую он называет, вряд ли логична.

"Слишком великие для жалости, они вызывают уважение,

Их деяния скорее удивляют, чем поражают.

Доказывая, как редки сердца, *которые* мы можем тронуть,

Что разум говорит нам, что мы никогда не сможем доказать".

Гай Фо, который, будучи в Испании, был оруженосцем высокородного Кейтсби, вдохновил лишь немногих драматических писателей. Я знаю только двух. В мемуарах миссис Крауч упоминается послесловие, представленное 5 ноября 1793 года на Хеймаркете. Гораздо более достойная попытка драматизировать историю Гая Фокса была предпринята с большим успехом в театре Кобург (Виктория) в сентябре 1822 года. Эта пьеса до сих пор держится на малой сцене, и вполне заслуженно; но она никогда не была сыграна с таким эффектом, как в ее первом "составе". О. Смит был Гаем, и с тех пор, как он сыграл знаменитого Оби, настолько хорошо, что заставил забыть пародию Чарльза Кембла на Хеймаркет, ему никогда не подбирали персонаж, который бы так восхитительно ему подходил. Это было одно из самых правдивых воплощений, которые когда-либо видела сцена. Действительно, в пьесе

участвовал такой состав актеров, какого сейчас не найти в театрах с более высокими претензиями, чем транспонтиновые. Рыцарственный Хантли, очень похожий на рыцарственного Ли Мюррея во многих отношениях, играл *Трешема* с редким умением, а рассудительный Чепмен играл *Кейтсби* с хорошим вкусом, который не встретишь сейчас в той же местности. Лихой Стэнли был *Монтегюлем*, изящный Хауэлл - *Перси*, Беверли и Сломан дали грубые портреты короля и легкомысленного рыцаря, сэра *Тристама Колливобла* - *грубоватые*, но эффектные. Однако душой произведения был Смит, и мистер Фоукс из Фарнли мог бы стать свидетелем этого представления и гордиться своим происхождением от достойного героя, которого О. Смит сделал из своего предка.

Я привел примеры рыцарей различных качеств, но мне еще предстоит упомянуть рыцарей-ученых и рыцарей-поэтов. Есть много личностей, которые могли бы служить иллюстрацией рыцаря, обладающего такими качествами, но я не знаю ни одной, столь подходящей, как Ульрих фон Хаттен.

УЛЬРИХ ФОН ХАТТЕН.

"Jacta est alea". Устройство Ульриха.

Ульрих фон Хаттен родился 21 апреля 1488 года в замке Штакельберг, недалеко от Фульды, во Франконии. Он происходил из знатной семьи, все мужчины которой были храбрыми, а женщины - добродетельными. У него было три брата и две сестры. Его нежная мать любила его больше всех, потому что он был самым слабым из ее отпрысков. Отец любил его меньше всех по той же причине. Однако по той же причине оба родителя согласились, что духовное воспитание лучше всего соответствует складу характера Ульриха. Поэтому в одиннадцать лет его отправили изучать гуманитарные науки в школу при аббатстве в Фульде.

Его успехи во всех знаниях, религиозных и светских, привели в восторг сурового аббата и его родителей. Были предприняты все возможные усилия, чтобы побудить его навсегда посвятить себя жизни в монастыре. В его ревностном сопротивлении этому ему активно помогал сильный и высокодуховный рыцарь, друг его отца по имени Эйтельвольф фон Штайн. Это противостояние увенчалось таким успехом, что в 1504 году, когда Ульриху исполнилось шестнадцать лет, он бежал из монастыря-академии в Фульде и поступил в знаменитую школу в Эрфурте.

Среди его близких *выпускников* были Рубианус и Хофф, оба впоследствии добившиеся большой славы. В монастыре Августина, расположенном неподалеку от школы, жил бедный молодой монах, который также впоследствии стал несколько знаменит. Однако в то время никто не обращал на него особого внимания, и мало кто даже интересовался его именем - Мартин Лютер. Когда в Эрфурте разразилась чума, Рубианус в сопровождении Ульриха отправился в Кельн, чтобы продолжить обучение. Сердце и кошелек отца Ульриха были закрыты для сына из-за его бегства из Фульды; но его родственник Эйтельвольф обеспечивал нужды довольно неосмотрительного молодого ученого.

Мудрецы, обучавшие молодых идеям в Кельне, были старыми и сухими, ненавидящими прогресс и кропотливо разбирающимися в мелочах. Во главе их стояли Хогстратен и Ортуин. Ульрих достаточно изучил их манеру, чтобы впоследствии сокрушить их насмешками, подражая их стилю и воспроизводя их гигантские глупости в знаменитой "Epistolæ

Obscurorum Virorum". Тем временем он завязал тесную дружбу с Себастьяном Брандтом и СЕcolampadius - оба молодые прогрессивные люди. Последний был изгнан за это из Кельна, но Франкфортский университет на Одере предложил ему убежище. Туда же отправился и Ульрих, чтобы быть рядом со своим другом и отточить оружие для грядущей борьбы света и тьмы - Германии против Рима, а немецкого языка против латыни.

Во Франкфорте он завоевал золотые отзывы самых разных людей. Курфюрст Иоахим Бранденбургский, его брат, священнослужитель маркграф Альберт, и епископ Дитрих фон Бейлов гордились юношей, который сделал честь университету. Здесь он впервые стал поэтом и взял в друзья братьев фон Остен. Он усердно трудился и приобрел немалую славу; к тому же он был весьма свободолюбив, хотя и не отличался особой жестокостью для того времени, в котором жил. Его излишества, однако, привели к опасной болезни, которая, как иногда предполагают, до сих пор не была известна в Европе. Как бы то ни было, он никогда не был полностью свободен от этого недуга, пока жил, и никогда не думал, что это имеет большое значение, страдает он или нет.

Он был еще болен, когда на некоторое время вступил в жизнь странствующего ученого. Он выдержал все ее жалкие превратности, пережил голод и кораблекрушение и был рад, наконец, найти пристанище в качестве бедного студента в Поморском университете в Грифсвальде. Профессор Лётц и его отец бургомистр были рады покровительствовать столь знаменитому юноше, но делали это с такой оскорбительной снисходительностью, что дух Ульриха взбунтовался; и в 1509 году заблудший ученый снова стал странником, перед которым открылся весь мир, где ему предстояло выбирать. Лётцы, одолжившие ему одежду, послали за ним людей, чтобы раздеть его; и бедный, полузамерзший несчастный добрался до Росток полуголодным, более чем полуголым, с ранами, зияющими в жажде мести, и с таким малым количеством разума, какое только может быть у столь нездорового человека.

В Росток он жил на свой страх и риск. Он был неизвестен и совершенно нищ; но он написал столь энергичное метрическое повествование о своей жизни и страданиях, обращенное к руководителям тамошнего университета, что те сразу же приняли его под свою защиту. Через некоторое время он устроился в сравнительно комфортных условиях, преподавая классику молодым ученикам и получая от этого столько удовольствия, сколько мог, учитывая, что Лётцы из Грифсвальде постоянно уверяли его покровителей, что их протеже - никчемный самозванец.

Он мстил поэту и бичевал их в рифмах, сама грубость которых была равносильна битью.

Насытившись почестями в Росток, его беспокойный дух вновь устремился в мир. После долгих скитаний он на время поселился в Виттенбурге, где стал предметом восхищения ученых людей. Благодаря их элементному пособию и помощи различных друзей, кроме отца, который радовался его славе, но не помогал ему жить, он существовал по примеру многих нищих студентов своего времени. В Виттенбурге он написал свое знаменитое "Искусство поэзии"; и не успел он вызвать всеобщее восхищение, как снова бросился в мир.

Он бродил по Богемии и Моравии, с благодарностью принимая хлеб от крестьян и бриллиантовые кольца от князей. У него не было ни мараведи в кошельке, ни чистого белья на спине, но везде он был желанным гостем. Одну ночь он с благодарностью спал на соломе в сарае, а на следующую, откормленный, опустился на гагачий пух епископской кровати. Он вошел в Ольмюц оборванным, без обуви и измученным. Он покинул его, наладившись богатым гостеприимством, которое со смехом вырвал у епископа Турсо, верхом на лошади, с тяжелым кошельком на поясе, мантией на плече и золотым кольцом с вправленной в него

драгоценностью на пальце. Таковы были превратности студента во времена немецких скитаний, давным-давно.

Юноша, которому еще не исполнилось и двадцати лет, отправился в Вену, где держал широкий круг в постоянном восторге от совершенства своих поэтических произведений. Эти произведения не были "все для любви", не были они и дидактическими. Он сочинял военные баллады, чтобы поддержать народные чувства в пользу императора Максимилиана, против его врагов в Германии и Италии. На какое-то время Ульрих стал Тиртеем своей родины. Затем, внезапно вспомнив, что его разгневанный государь сказал, что если его сын не примет монашескую рясу, то отец будет доволен, если он примет кафтан адвоката, наш непостоянный герой поспешил в Павию, открыл книги по праву 1 апреля зловещего 1512 года и в течение всего трех месяцев неустанно читал их, но при этом от души уставал от них.

В это время Франциск Первый, захвативший Павию, был осажден в ней немецкой и швейцарской кавалерией. Во время осады Ульрих был опасно болен, но занимал себя тем, что писал на себя острые эпитафии. Союзники вошли в город, и Ульрих сразу же покинул его, обвинив в излишней пристрастности к французам. Возмущенный немец поспешил в Болонью, где вновь обратился к *Пандектам* и *Кодексам Юрис Гентии*.

Это легкое чтение так подействовало на его телосложение, что лихорадка свалила его с ног, а после болезни наступила нищета. Он писал изысканные стихи кардиналу Гурку, имперскому посольству в Болонье, где в это время находился папа; но ему не удалось добиться того, чтобы его возвели на какую-нибудь должность в доме кардинала. Бедный Ульрих пошел по пути, которому часто следуют люди его порывов и состояния; он поступил в армию рядовым солдатом и начал лестницу, ведущую к рыцарству, с самой низкой ступени.

В этом качестве он перенес невероятные страдания; но он с честью выдержал осаду Павии и написал такие искрометные рифмы в честь немецких триумфов и в насмешку над врагами Германии, что, когда слабость в лодыжках вынудила его уйти из армии, он собрал свои песни и посвятил их императору.

Посвящение, однако, было настолько независимым по тону, что Максимилиан не обратил внимания на хромого рыцаря, сменившего меч на лиру. Действительно, в это время человек, умеющий орудовать кувалдой, пользовался у властей большим уважением, чем тот, кто искусно владел пером. Молодой поэт едва ли мог заслужить улыбку даже у Альберта Бранденбургского, которому он посвятил стихотворение. Душевная болезнь подкосила его здоровье, и тяжелая лихорадка отправила его поправлять его на целебные источники в долине Эмса.

За некоторое время до поступления в армию молодой герцог Ульрих Вюртембургский начал приобретать незавидную репутацию. Он приступил к управлению государством; он плохо управлял своим народом и еще хуже - собой. Он не позволил ничему встать между его собственным прославленным предназначением и целью. В жены ему досталась нежная баварская принцесса Сабина, а в друзья - молодой Йохан фон Хуттен, двоюродный брат нашего героя Ульриха.

Йоган фон Хуттен недавно женился на светловолосой девушке с не очень благозвучным прозвищем Фон Пальчик. Однако она была благородного происхождения и, надо сказать, светлых принципов. Герцог влюбился в нее, а она в герцога, и когда его друг Йохан заговорил с ним, герцогский государь вежливо предложил возмущенному мужу обменяться супругами!

Юхан решил удалиться от герцогского двора; это решение встревожило и его жену, и герцога, ведь Юхан не собирался оставлять за спиной свой светлый фон Тумб. Поэтому герцог пригласил Юхана одним прекрасным майским утром 1515 года совершить с ним дружескую прогулку по лесу. Приглашение было принято, и когда Юхан ехал по узкой тропинке впереди герцога, тот пронзил мечом тело своего друга, зарубив его на месте.

Убив друга, герцог подвесил его за шею на собственном поясе к соседнему дереву, оправдываясь тем, что герцогское правосудие свершилось над предателем, пытавшимся соблазнить герцогиню Вюртембургскую! Дама, однако, немедленно бежала к отцу, обличая неверность своего недостойного мужа, на чьей груди теперь прильнула в утешение молодая вдова убитого Юхана.

Когда стало известно об этом преступном деянии, вся Германия единодушно закричала от ужаса. Самые благородные из подданных герцога отреклись от верности. Сами слуги покинули его с отвращением. Его соправители взывали к правосудию, а Ульрих фон Хуттен с больничной кушетки в Эмсе писал красноречивые призывы к немецкому народу подняться и сокрушить безжалостного негодяя, который утопил в крови жизнь, свет, надежду, самый цветок тевтонского рыцарства.

Филиппики" Ульриха в основном способствовали созданию ужасной Немезиды, которая должна была отомстить его герцогскому тезке; впоследствии он написал свой "Phalarismus", чтобы показать, что тиран вызывал ужас даже в адских областях. Вступительное предложение - "Iacta est alea!" - стало его девизом, а его семья взяла себе в качестве девиза - "Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor!". С этого времени Ульрих фон Хуттен стал публичным человеком и одним из главных героев своего героического века. Теперь он был ученым, поэтом и рыцарем.

Слава была бы ему приятна, но удовольствие было на время уменьшено смертью его старого благодетеля, Эйтельвольфа фон Штайна. Последний был первым немецким государственным деятелем, который к тому же был большим ученым; его пример впервые поколебал предрассудок, что для рыцаря или дворянина быть книжечеем было унижительно для его рыцарства и благородства. Теперь Ульрих спустился в область общественной войны, и враги света трепетали перед смелым чемпионом. Кёльнские коллегиальные учителя с инквизитором Хогстратеном, обращенным евреем Пфеферкорном и Ортуином во главе направили все силы схоластических предрассудков против Рейхлина и его последователей, которые объявили, что не только греческий, но и древнееврейский язык должен входить в курс обучения тех, кто предназначен для вступления в Церковь. Древняя партия называла это язычеством; Рейхлин и его партия называли это Разумом, и Германия по этому вопросу разделилась надвое.

В самый разгар состязания в списки вошел отрок с пращей и камнем и так ловко орудовал своими ракетами, что враг учености был вскоре побежден. Это был фон Хуттен, главный автор забавных сатир "Epistolae Obscurorum Virorum", разоривший Монкерию и парализовавший Рим, заставив весь мир смеяться над глупостями, пороками, преступлениями и эгоистичным невежеством тех и других.

Лев Х. был настолько разгневан, что отлучил авторов и предал их проклятию. "Булла об отлучении волнует меня не больше, - говорил фон Хуттен, - чем мыльный пузырь". Приобретенная им репутация помогла ему примириться с семьей, но ее члены не испытывали особого уважения к простому ученому рыцарю. Они настоятельно советовали ему стать канцлером, отправиться в Рим и изучать право.

Не выдержав, он повернулся лицом к Тайберу в 1515 году. Первое известие, полученное о законнике, гласило, что на пикнике близ Витербо на него напали с кинжалом в руках пять французских дворян, которых он упрекнул в том, что они плохо отзывались о Германии и императоре Максимилиане, и он убил одного из них, а остальных четверых обратил в бегство. Сам он спасся из этой схватки, получив порез на щеке. О своей победе он поведал в триумфальной песне, и когда студент-юрист сел за свои книги, все в Риме признали, что его меч и перо были одинаково остры.

Его французские противники грозились отомстить за унижительное поражение, и он избежал его, удалившись в Болонь, где снова с искренним отвращением занялся суровым изучением закона, который никогда не применялся ради справедливости. В качестве компенсации он писал такие волнующие стихи, как сатирический "Немо", и отмечал пороки священства, намереваясь обратить свои наблюдения на последующую пользу. Вражда между немецкими и итальянскими студентами в Болонье вскоре изгнала нашего ученого из этого места. Он отправился в Феррару и Венецию; везде его встречали ученые и либералы, и, как он писал Эразму, они осыпали его не только пустыми похвалами, но и солидными пудингами.

Из этого путешествия он вернулся на родину. Он отправился в Аугсбург, где Максимилиан держал двор, и был так хорошо представлен императору, что 15 июня 1517 года тот нарек его императорским рыцарем, надел ему на палец золотое кольцо, символизирующее рыцарское достоинство, и увенчал его поэтом с лавровым венком, сплетенным самым прекрасным цветком Аугсбурга, Констанцией Пейтингер.

После таких почестей отец с радостью принял его у своего очага; и пока фон Хуттен отправился из родного Штакельберга в библиотеку в Фульде, все еще колеблясь, принять ли ему службу у императора или у курфюрста Майенского, он вспомнил о неопровержимом труде Лаврентия Валлы против временной власти и владений Попечительства. Он хорошо изучил этот труд, опубликовал улучшенное издание и посвятил его в пламенном письме Льву X. - доказательство того, что он надеялся на этого законченного неверного или бросил ему вызов.

Таким образом, Лютер и фон Хуттен, не подозревая друг о друге, атаковали папство по двум направлениям в один и тот же момент. Лютер использовал в своем деле страшное оружие и умело им орудовал. Фон Хаттен пока пользовался только остроумием, которое заставляло все увядать там, где оно падало, и иронией, которая поглощала там, где она падала. В обращении с этими средствами в Германии не было человека, равного ему. Лев мог восхищаться и наслаждаться как остроумием, так и иронией; он был не прочь согласиться с аргументами, которые служили им опорой; но то, что ему нравилось как философу, он осуждал как понтифик. Флорентиец Лоренцо Медичи мог поцеловать немца в любую щеку, но папа Лев X. торжественно посвятил его в геенну.

В качестве защиты от папского гнева фон Хуттен поступил на службу к Альберту, курфюрсту-архиепископу Майенскому. Альберт был либеральным романистом, но ни в малейшей степени не был ультрамонтанистом. Он любил образование и ученых людей и помнил, что был немцем прежде, чем романистом. В свите курфюрста фон Хуттен посетил Париж в 1518 году. Он вернулся в Майенс только для того, чтобы продолжить более энергичную борьбу с нищими монахами. Он считал их большими врагами для Германии, чем турки. "С последними мы боремся за власть за нашей границей; но первые - это развратители науки, религии, морали, и они находятся среди нас". Так он пишет в письме к графу Нуенару в Кельн.

Строительство собора Святого Петра стоило Риму того же, что и строительство Версаля стоило Франции - революции. В каждом случае была свергнута абсолютная монархия, которой больше не суждено было подняться. Чтобы покрыть расходы на строительство собора Святого Петра, доминиканец Тецель объездил всю Германию, продавая индульгенции. Лютер столкнулся с ним и осудил его миссию, а также тех, кто его послал. Фон Хуттен, ненавидящий монахов, считал это простой монашеской перепалкой; он был рад видеть, как двое из этого призвания держат друг друга за горло.

Именно в этот момент Германия была взбудоражена идеей планируемой европейской экспедиции против турок. Императорский рыцарь ясно видел опасности, которые грозили христианству в связи с этим вопросом, и был готов с мечом в руке броситься навстречу им. Однако он заявил, что Европа стонет под еще более невыносимым игом, наложенным Римом, и отверг идею помочь Риму средствами против мусульман. Какая перемена произошла с имперскими рыцарями-крестоносцами несколькими столетиями ранее. "Если Рим, - сказал он, - серьезно настроен на такой крестовый поход, мы готовы сражаться, но она должна заплатить нам за наши услуги. Она не получит ни наших денег, ни нашей крови". Он говорил, писал и публиковал смелые речи против того, чтобы Риму было позволено взимать налоги в Германии под предлогом войны с неверующими османами. В тот же момент Лютер осуждал монахов, которые думали обогатить казну Рима за счет продажи индульгенций. Один был политическим, другой - религиозным врагом власти, которая стремилась управлять людьми и их совестью из-под тени Колизея.

Надежды на помощь со стороны императора было мало, но фон Хуттен искал всю необходимую помощь делу в союзе гражданских сословий (которых он был склонен сатирически высмеивать) с дворянством. Для достижения этой цели он написал свой мастерский диалог "Разбойники". В этом произведении собеседники - рыцари и горожане. Каждая сторона обвиняет другую, но каждая знакомится с достоинствами другой, благодаря вмешательству *Deus ex machinâ* в присутствии рыцаря Франца фон Зиккингена. Все это проникнуто духом и расизмом Буньяна и Коббета. На протяжении всего диалога пороки ни одной из сторон государства не находят пощады, а необходимость взаимного проявления добродетели и помощи убедительно доказывается.

Автором части этого диалога был рыцарь Франц фон Зиккинген. Его советы фон Хуттену не проявлять излишней поспешности и причины этого, несомненно, принадлежат ему. Благодаря таким документам Германия была готова к войне. Этот конкретный и сильный диалог был посвящен Иоанну, пфальцграфу Рейна, герцогу Баварии и графу Шпанхайма. Этот выдающийся человек попросил Ульриха, чтобы всякий раз, когда он будет публиковать какую-нибудь особенно смелую книгу в поддержку национальной свободы, он посвящал ее ему, герцогу. В данном случае автор послушался, причем с полным основанием и по доброй воле. В диалоге звучит призыв к войне, и это порадовало самого Лютера, который теперь был уверен, что одним пером Реформацию не утвердить.

Ульрих жаждет контакта, благодаря которому его страна и его церковь освободятся от романистской тирании. Но он допускает возможность неудачи. Он увещевал свою семью держаться в стороне от раздоров, чтобы не навлечь на свою голову гибель, в случае если она обрушится на его собственную. Родителей Ульриха теперь не было; Ульрих, как глава дома, владел его скромными владениями. От своих собственных владений он избавился, как от помехи своей смелости и гигантской деятельности. Он официально передал почти все своему ближайшему брату, чтобы у его врагов, если они в конце концов одержат победу, не было оснований для их захвата.

В то же время он предупредил брата, чтобы тот не посылал ему ни писем, ни денег, так как и то и другое будет расценено как помощь врагу и может повлечь за собой ужасные наказания.

Избавившись от того, с чем немногие могли бы так легко расстаться, он с радостью и независимостью выхватил меч ради одной только свободы и с решимостью никогда не убирать его в ножны, пока не добьется того, к чему стремился, или пока достижение этой цели не окажется ему не под силу.

"Jacta est alea", - воскликнул он, глядя на свой яркий меч, - "Жертва брошена, Ульрих рискнул".

Тем временем фон Хуттен оставался на службе у курфюрста-архиепископа Майенского. Придворные смеялись над ним как над грубым рыцарем. Рыцари высмеивали его как бедного философа. И те, и другие ошибались: он не был ни бедным, ни грубым, хотя и был *ритором* и мудрецом. Больше всего он заботился о том, чтобы иметь возможность быть полезным в своем поколении и иметь достаточно свободного времени, чтобы заниматься образованием в те часы, которые он мог назвать своими. Его сатирические стихи, достаточно грубо написанные против придворной жизни, достойны восхищения по силе и колориту. Не меньшее восхищение вкусом и силой вызывают его письма этого периода. В них он обличает то дворянство, которое состоит исключительно из семейной гордости; и с не меньшим основанием он обличает жизнь "рыцарей-разбойников", как он их называет, которые живут в своих замках, среди всякого рода неудобств и грязи, отвратительных звуков и неприятных запахов; и которые оставляют их только для того, чтобы грабить или быть ограбленными. Он считает, что истинными рыцарями того времени являются только те, кто любит религию и образование. С их помощью, применяемой разумно и широко, а также с помощью великих людей, которых он называет и которые разделяют его мнение, он надеется, как он горячо заявляет, увидеть, что интеллект одержит больше побед, чем сила, и сможет попросить старый варварский дух, который все еще влияет на слишком многих, "подпоясать свои чресла и уйти". Здоровье пришло к нему вместе с решимостью посвятить себя служению и совершенствованию своих собратьев. Частично оно пришло благодаря использованию простых средств, главным из которых была умеренность во всем. Перо и меч теперь работали одинаково активно. Он на время отложил первый, чтобы затем взять в руки второй, чтобы отомстить агрессивному герцогу Вюртембургскому.

Преступления этого властителя в конце концов возбудили против него императора. Максимилиан доверил руководство своей армией знаменитому рыцарю-отступнику своего времени Францу фон Зикингену. Этот кавалерист не раз открыто выступал против самого императора, и теперь Хуттен записался в сторонники Франца. Его покровитель не только дал ему необходимое разрешение, но и продолжал выплачивать ему свое щедрое жалованье; когда два рыцаря встретились и заставили свои доспехи звенеть от бурных объятий, они поклялись не останавливаться перед местью виновному герцогу, а сражаться до смерти за свободу и христианство. Они спали вместе в одной постели в знак братского рыцарства и поднялись, чтобы с триумфом пронести свое знамя над герцогом, завершив кампанию взятием метрополии Штутгардт.

Рейхлин жил в столице, и этот добрый человек был полон страха, ибо вокруг царили убийства и грабежи. Его страх был беспочвенным, ибо фон Хуттен настоятельно просил Сиккингена передать, что при разграблении Штутгарда никто не посмеет напасть на жилище Рейхлина. Два рыцаря покинули город и направились к тому месту в лесу, где до сих пор покоилось тело убитого Иоанна фон Хуттена. "Оно пролежало в могиле четыре года, - рассказывал Ульрих, - но черты лица остались неизменными. Когда мы прикоснулись к нему, кровь вновь потекла

из его ран; узнайте в этом свидетельство его невиновности". В конце концов труп был перевезен в семейное хранилище в Эсслингене.

Один за другим падали города герцога, и провинившийся князь был изгнан из своего наследства. Фон Хуттен остался с армией, деловито работая пером; меч лежал перед ним на столе, кинжал - на бедре, а сам он был закован в доспехи до горла. Эразм со смехом написал ему, чтобы он оставил Марс и держался Муз. Вряд ли он нуждался в этом совете, ведь из его писем из лагеря видно, что, как ни любил он полевые сражения, тихие радости домашнего очага ему нравились гораздо больше. Среди громогласных звуков труб, ржания коней, барабанной дроби и шума битвы он пишет Пискатору (Фишеру) о своей тоске по дому и желании иметь жену, которая бы улыбалась и заботилась о нем; ту, которая бы смягчала его печали и разделяла его труды - "ту, - говорит он, - с которой я мог бы спортивно смеяться и радоваться нашему существованию, которая бы подслащала горечь жизни и облегчала давление забот. Позвольте мне иметь жену, мой дорогой Фридерих, и вы знаете, как я буду любить ее... молодую, красивую, застенчивую, нежную, ласковую и образованную. Пусть у нее будет немного состояния, но не избыток его; что же касается положения, то я думаю так: она будет достаточно знатной, чтобы Ульрих фон Хуттен выбрал ее себе в супруги". Видно, что в качестве ухажера ученый рыцарь имел так же мало слабого сердца, как и дерзкий "Финдли" Бернса и, почти что, Фрейлиграт, так энергично поэт перевел на немецкий язык приятные строки айрширского пахаря.

Хорошо было бы Ульриху, если бы в 1519 году он нашел жену из своих благодушных видений. Нежная рука спасла бы его от многих жестоких часов.

По возвращении в Майенс он едва не подчинился обращенному к нему всеобщему призыву открыто присоединиться к Лютеру против Рима. Его удержало уважение к своему либеральному покровителю, архиепископу. Он остался, отчасти наблюдая, отчасти помогая, на окраине поля, где бушевала битва. Он опубликовал превосходное издание Ливия, а чтобы показать, что реформаторский дух все еще ярко горит в груди ученого, он также опубликовал свой знаменитый "Vadiscus, sive Trias Romana". Это обоюдоострое оружие до сих пор причиняет страдания Риму. Никогда еще стрела такой силы не поражала блудницу. Ее острие до сих пор находится в ее боку, и ее противники хорошо знали, как им пользоваться, болезненно поворачивая его в ране.

Теперь рыцарь повесил меч в своих покоях в Штакельберге и посвятил себя перу. В библиотеке монастыря в Фульде он обнаружил древнее немецкое сочинение против верховенства папы над князьями и народом Германии. Он прекрасно им воспользовался. Его собственные сочинения против Рима следовали одно за другим с большой скоростью. Вплоть до середины 1520 года он непрерывно обвинял Ватикан, острием серого гусиного пера. Его целью было освободить Германию от церковного господства Италии, так же как люди Северной Италии стремятся спасти ее от жестокого господства Австрии.

Для достижения своих целей фон Хуттен не оставил без внимания ни одно средство. Рыцарь и ученый, благородный и злодей, сам император Карл V., Ульрих стремился завербоваться в великую конфедерацию, с помощью которой он надеялся нанести смертельный удар по временной власти "Вселенского епископа". Его книги обратили в веру даже некоторых епархов Римской церкви, но Рим обрушил гром отлучения на книги и их автора и направил тяжелый груз порицания на его покровителя, Альберта Майенского.

Архиепископ напутствовал фон Хуттена и запретил его труды. Этот шаг определил дальнейший путь Ульриха. Он сразу же обратился с первым письмом к Лютеру. Оно начиналось с возгласа "Свобода навеки!" и предлагало сердце, голову, душу, тело, мозги и

кошелек в поддержку великого дела. Он предложил Лютеру, именем Сикинген, надежное место жительства; и он создал свою первую неприступную батарею против Рима, построив типографию в своей собственной комнате в замке Штакельберг, из которой он направил много шквального огня на всех своих обидчиков. "Iacta est alea!" - гласил его клич; "Пусть враги света смотрят на это!".

Из Фульды он направился ко двору императора Карла V. в Брюсселе. Но враги встали между ним и подножием трона, и ему не позволили приблизиться к нему. Его жизни также постоянно угрожали. Перед этими угрозами он снова удалился в Германию, компенсировав, кстати, свое разочарование характерной силой духа. Он случайно столкнулся с Хогстратеном, искателем еретиков и заклятым врагом Рейхлина. Ульрих избивал его мечом в ножнах до тех пор, пока в теле Хогстратена не заныла каждая косточка. В ответ рыцарь был объявлен вне закона, а Лев X. надменно повелел наложить на него руки, где бы его ни нашли, и доставить в римские трибуналы с кляпом во рту и в узах.

Франц фон Зиккинген немедленно принял его в надежном укрытии своей сильной крепости Эбернберг, где уже нашли убежище несколько знаменитых богословов-беженцев. От коллоквиумов знаменитых беглецов старые стены снова зазвенели. Фон Хуттен изложил эти беседы в письменном виде, и я могу назвать один из их выводов: служба мессы на немецком языке была определена как первый шаг к установлению реформации.

Попытка папы схватить Ульриха и принести его в жертву была с готовностью применена последним на благо любимого дела. Императору, курфюрсту, дворянам, рыцарям и государствам Германии он направил бумаги, полные патриотизма, красноречия и мудрости, против посягательств на немецкую свободу. По всей Германии этот ученый рыцарь вызвал к жизни дух гражданской и религиозной свободы, и Лютер, глядя на то, что делал Ульрих, воскликнул: "Несомненно, последний день близок!"

Эти два человека, объединившись, зажгли пламя, которое никогда не будет потушено. Один взял свою Библию и перо и с их помощью привел Рим в ярость, от которой он так и не оправился. Другой, обнажив меч и переведя типографию в Эбернберг, рассылал оттуда пылкие манифесты, которые делали патриотом каждого читателя.

Фон Хуттен использовал для реализации своего проекта и лиру, и образование. Его популярные стихи теперь читали или пели у каждого очага. Ни в одной деревне не было экземпляра его "Жалоб и наставлений", которые часто читали тайком. Аналогичного триумфа добились и его диалоги, особенно так называемый "Война", в котором собеседниками выступают римский паникер и сам Франц фон Зиккинген. Именно для того, чтобы вселить надежду в колеблющихся, фон Хуттен написал и отправил за границу из своей типографии в Эбернберге эти замечательные диалоги.

Франц фон Зиккинген, его великий покровитель, некоторое время опасался, что крики Ульриха против Рима звучат громче, чем нужно, а его заявленное решение отвечать на притеснения с помощью меча несколько профанировано. Ульрих рассуждал с галантным рыцарем и читал ему. Его собственный здравый смысл, а также доводы Лютера и Ульриха в конце концов убедили его в том, что сохранять внешнее уважение к Риму до тех пор, пока тот стремится стать властелином в Германии, выше самого кайзера, - глупость и грех. Вскоре Франц согласился с Хуттеном, что не следует слушаться даже императора, если он приказывает пощадить папу, когда такое милосердие может нанести ущерб империи. В таких случаях не повиноваться было лучшим послушанием. Теперь они не оглядываются назад. "Лучше, - говорится в "Воине" фон Хуттена, - рассмотреть волю Божью, чем то, что может прийти в голову отдельным, капризным людям, особенно в тех случаях, когда речь идет об

истине Евангелия. Если будет доказано, что от императора к нам не может прийти ничего удовлетворительного в плане поощрения, те, кто любит Церковь и гражданскую свободу, должны быть смелыми на свой страх и риск, пусть все будет так, как будет".

Диалог "Войнара", несомненно, не только читался Сиккингену во время его написания, но и, несомненно, был стенограммой многого, что обсуждалось, взвешивалось и обдумывалось между двумя друзьями, когда они сидели в окружении великих ученых и солдат, крови которых жаждал Рим. Заканчивается она заверением в полной приверженности Франца взглядам Ульриха. "В этом деле, - говорит "Воитель" рыцарю Эбернберга, - я вижу у вас страстного и ревностного подстрекателя, парня по имени фон Хуттен, который терпеливо переносит промедление и нагромоздил груды камней, готовый бросить их в первого же противника, который представится". "Да, именно так, - с готовностью отвечает Франц, - и его служба доставляет мне радость, ибо он обладает истинным духом, необходимым для обеспечения триумфа в такой борьбе, как наша".

Таким образом, в Эбернбурге батарея играла против обороны Рима, а Лютер из своих известных мест или из укрытия в дружественных крепостях громил свою артиллерию против доктрин и суеверий Рима. Движение имело двойной аспект. Немцы были полны решимости стать свободными и как христиане, и как граждане. Доведение такой решимости до успешного конца не могло быть поручено более достойным и способным рукам, чем руки Лютера, которому помогали саксонец Фридрих Мудрый и Ульрих фон Хуттен с таким оруженосцем, как сердечный Франц фон Зиккинген.

В 1521 году молодой император Карл V. произнес в Вормсе речь, которая, казалось, была составлена специально для того, чтобы уверить реформаторов в том, что император с ними. Она изобиловала обещаниями, что кайзер сделает все возможное для проведения необходимых реформ в империи. Реформаторы были в прекрасном расположении духа, но вскоре, после вызова Лютера в Вормс и последующего поведения императора, они поняли, что им не стоит ожидать от него ничего, что они могли бы с благодарностью признать.

Ульрих только смелее писал и неустанно агитировал за дело, великим защитником которого был Лютер. Самому кайзеру он адресовал множество смелых посланий, столь же логичных, сколь и дерзких, чтобы побудить его сбросить иго Рима и стать хозяином римского мира на иных основаниях, нежели избрание немцев и согласие папы. Фон Хуттен был более смел и столь же логичен в своих язвительных посланиях, адресованных папским легатам в Вормсе. Эти послания показывают, что если в то время не существовало ни признанной свободы печати, ни свободы индивидуального самовыражения, то само время было настолько несовременным, что люди осмеливались делать многое, на что их хозяева не смели обижаться.

Всему священству, собравшемуся в Вормсе для противостояния Лютеру, он адресовал аналогичные послания. Они изобилуют "мыслями, которые дышат, и словами, которые горят". В каждом слове - вызов. Каждое предложение - это оружие. Каждый абзац - двигатель войны. Писатель разбрасывает вокруг себя смертоносные снаряды, угрожая всем, раня многих, иногда даже проламывая себе голову из-за необдуманных действий, но не обращая внимания на все подобные происшествия, пока он может добраться, напугать, ранить и обратить в бегство толпу врагов, которые сговорились подавить в Германии как образование, так и религию.

В унисон с Зиккеном он убедительно просил Лютера отправиться в Эбернбург, а не в Вормс, поскольку там его друзья-рыцари защитят его от всех нападавших. Ответ великого реформатора хорошо известен. Он сказал, что поедет в Вормс, хотя там столько же дьяволов, сколько черепицы на крышах, объединившихся против него, чтобы воспротивиться его путешествию. Можно не сомневаться, что Лютер был бы убит в этом древнем городе, если бы не внушительный фронт его хорошо вооруженных и организованных сторонников, которые не только заполонили улицы Вормса, но и объявили на плакатах, даже в самой опочивальне императора, что за потерю одного волоса с головы реформатора придется заплатить тысячей жизней.

Если бы это зависело от фон Хуттена, реформаторы не стали бы дожидаться, пока Лютер подвергнется насилию, чтобы самим отомстить за нанесенные обиды и притеснения. Но над ним взяли верх, и его горячую кровь охлаждали обильными и прозаическими аргументами школяры из его фракции. Он терзался, но подчинялся. С большим трудом ему удалось заставить подчиниться его приверженцев, занимавших город и его окрестности. Они считали, что безопасность Лютера может быть обеспечена только немедленным спасением его из рук врагов. Так же думал и ученый рыцарь; он с радостью выступил против таких врагов. Однако он не подал сигнала к наступлению, а, напротив, издал приказ, запрещающий его, и рекомендовал конфедератам носить мечи в ножнах, но держать руки на рукоятках. Саксонский курфюрст был против насилия, и Лютер благополучно покинул Вормс, бросив вызов Риму в лицо.

Затем наступили те беспокойные времена, когда Карл V так тепло приветствовал добровольцев под своим знаменем. Соблазнившись его обещаниями, Франц фон Зиккинген с несколькими сотнями крепких грешников перешел в императорские покои. Таким образом, старое братское собрание в Эбернберге было разорвано, и Ульрих, оскорбивший папу и императора своими обличениями церковной и гражданской тирании, отправился в Швейцарию, где надеялся найти надежное убежище и радушный прием у Эразма.

Однако этот земноводный, который уже перестал превозносить Лютера, теперь испытывал ужас перед фон Хуттеном. Он писал о нем как о бедном, озлобленном, грязном негодяе, который не может довольствоваться тем, что живет в комнате без печки, и постоянно пристает к своим друзьям с просьбами о денежном займе. Пламенный Ульрих нападал на своего лжедруга в гневных памфлетах. Эразму нравилось вести войну, в которую его втягивали и побуждали такие нападки. Он ответил Ульриху более умно, чем убедительно, в своей "Губке для уничтожения нападок фон Хуттена". Но вражда Эразма была ничто по сравнению с потерей самого фон Зиккена. В бурных войнах своей родины он погиб, и Ульрих почувствовал, что, несмотря на некоторые ошибки, доброе дело потеряло железную руку и дальновидного защитника.

Не приходится сомневаться, что именно по наущению Эразма священническая партия в Базеле успешно убеждала правительственные власти изгнать Ульриха из временно найденного им убежища. Получив приказ, он тихо удалился, проделав свой одинокий и мучительный путь в Мюльхаузен, где множество реформаторов тепло встретили дряхлеющий скелет, в который превратился некогда крепко сложенный человек. Здесь его бодрость зажгла свой последний угасающий свет. Мюльхаузен сбросил папское иго, но папистская партия была достаточно сильна, чтобы поднять восстание, и вместо того, чтобы подвергать опасности безопасность города, гонимый ученый и солдат снова отправился искать убежища. Он благополучно добрался до Цюриха. Он сразу же отправился к очагу

Цуинглиуса, который смотрел на страшный призрак, в котором только глаза подавали признаки жизни, и с трудом верил, что папа заботится о личности или боится разума такого призрачного поборника, как этот.

Ульрих, отлученный от церкви, объявленный вне закона и без гроша в кармане, действительно быстро тонул. Его рука не могла обхватить рукоять меча. Из его бессознательных пальцев выпало перо.

"Кто защитит меня от клеветников?" - спросил еще желающий, но уже неспособный человек.

"Я!" - ответил искусный лекарь Отто Брунфельс; и сын бондаря стойко защищал доброе имя Ульриха, когда тот упокоился в могиле.

Последние часы измученного борца за гражданскую и религиозную свободу прошли на Уфнау, небольшом острове в Цюрихском озере. Его с трудом перевезли туда, в слабой надежде, что перемены пойдут на пользу его здоровью. Там он медленно и покорно скончался в последний день августа 1523 года, в возрасте тридцати восьми лет.

Все его имущество составляли несколько любимых книг и несколько писем. Он был похоронен на острове, но ни один памятник никогда не отмечал место, где покоилось его изможденное тело.

Всю жизнь, будь то меч или перо, он стремился к тому, чтобы память о нем была дорога оставшимся в живых. Он любил деятельность, ненавидел роскошь, обожал свободу; и ради гражданской и религиозной свободы он сражался и пел с искренним усердием. С лирой на руке и мечом в руке он пел и призывал, пока вокруг него не собрались толпы людей, которые с радостью восприняли все, что он произносил. "Жребий брошен! Я рискую ради истины и свободы". Против папы и кайзера, священника и солдата он смело кричал: "Можете убивать меня, но душа моя вам не по зубам!" Он был звездой, предвещающей яркий рассвет. Одолевшие его враги изгнали его из страны; могилу, в которой ему отказали бы, он нашел в Швейцарии, и "после жизненной лихорадки" ученый рыцарь спокойно спит на острове Цюрих-Зее.

От Цюрих-Зее мы теперь вернемся назад и рассмотрим рыцарей-шамов.

ШАМСКИЕ РЫЦАРИ.

Между Тутингом и Вандсвортом находится деревня, известная своими мнимыми рыцарями или мэрами, - деревня Гаррат. Несколько столетий назад жители деревни обладали определенными общими правами, которым угрожало вторжение. Поэтому они выбрали себе адвоката для защиты своих привилегий. Им удалось добиться своего, а поскольку выбор был сделан в период всеобщих выборов, жители решили увековечить это обстоятельство, избирая мэра и посвящая его в рыцари в каждый период выборов в новый парламент. Это решение горячо одобрили все окрестные мытари, и гарратские выборы стали народным праздником, если не высшего порядка, то, по крайней мере, самого веселого.

Не то чтобы эта церемония была бесполезной. Политики и умники того времени видели, как можно обратить выборы на пользу; и Уилкс, и Фут, и Гаррикс особенно известны как авторы некоторых обращений, в которых под шумок, весельем и преувеличением фактов и юмора людей заставляли аристофановским способом обратить внимание на недостатки

политической системы, которой тогда управлялась страна. Однако мытари и большинство народа больше заботились о сатурналиях, чем о школьном образовании; в течение нескольких лет избирались мнимые мэры Гаррата, к большой выгоде, по крайней мере, трактирщиков.

Чем беднее и уродливее был кандидат, тем больше у него было шансов на успех. Так, самым ранним мэром, о котором сохранились сведения, был сэр Джон Харпер, парень безмерно смешной и уродливый, чьим обычным занятием был странствующий торговец кирпичной пылью. Его успех придал достоинство торговле кирпичной пылью и вдохновил ее членов на амбиции. Они могли похвастаться, что их друг и брат "сэр Джон" заседал, когда был недостаточно трезв, чтобы стоять, в течение двух парламентов. Примером его остроумия может служить его замечание, когда во время первых выборов на избирательном участке в него бросили дохлую кошку. Компаньон с некоторым отвращением заметил, что от животного исходит неприятный запах. "Этому не стоит удивляться", - сказал сэр Джон, - "вы же видите, что это кошка-полевка".

Но сэра Джона вытеснил более уродливый, грязный, деформированный и веселый товарищ, чем он сам. Этим счастливчиком оказался сэр Джеффри Данстан. Он был известным человеком, сгорбленным, как Эзоп, и с таким же количеством историй, хотя и не всегда с такой же "моралью". Он был известным торговцем старыми париками, так как это было еще до того, как люди впали в неприличную моду носить свои собственные волосы под круглыми шляпами. Сэр Джон был республиканцем, но не презирал ни должность мэра, ни рыцарский титул. Если бы он обладал большим благоразумием и меньшим рвением, то, вероятно, преуспевал бы пропорционально. В лучшие, то есть в самые спокойные, времена сэр Джеффри с трудом удерживался от того, чтобы не трепать языком. Он никогда не появлялся на улицах с мешком парика на плече без многочисленной толпы, которую он приводил в восторг своими выпадами против людей, облеченных властью, чьи слабые места были доступны. Французская революция разразилась, когда сэр Джеффри был мэром, и это дало волю его языку, который в конце концов уложил его за пятки. В своих уличных выступлениях рыцарь стал слишком политизированным и даже подстрекательским, в результате чего в 1793 году его посадили в тюрьму за государственную измену. Это лишь на время увеличило его популярность, но укротило дух некогда рыцарственного мэра. Когда он перестал быть остроумно смелым, о нем перестали заботиться избиратели, чье присутствие заставляло выборщиков в Гаррате. После трехкратного избрания он успешно противостоял и потерпел поражение, обвиненный в нечестности. Чистые избиратели Гаррата могли бы смириться с политическим предателем; но, как они вежливо сказали, они "не могли смириться с мелким воришкой", и сэр Джеффри Данстан был, метафорически и фактически, представлен "с мешком".

Когда Мэннерс Саттон перестал быть спикером, он потребовал, я полагаю, , чтобы его сделали пэром; на том основании, что не подобает тому, кто однажды занял кресло, когда-либо стоять на полу в Палате общин. Сэр Джеффри Данстан обладал схожим чувством собственного достоинства. Упав с высоты мэра Гаррата, что оставалось делать сэру Джеффри? Он "напился как лорд", его больше никогда не видели трезвым, и в 1797 году, в год, следующий за годом его позора, экс-мэр умер от избытка чувств. Столь приятной чести был сэр Джеффри Данстан!

Его сменил сэр Гарри Димсдейл, изуродованный продавец кексов, чье пребывание на посту было недолгим, хотя и блестящим, и которому принадлежит меланхоличная слава

последнего из прославленной грязной череды рыцарских мэров Гаррата. Дело не в том, что было трудно найти кандидатов, но уже не было прежней либеральности со стороны пэров и мытарей, чтобы обеспечить их кошельком. Первоначально кошелек формировался жителями для защиты их коллективных прав. Впоследствии мытари внесли свой вклад, чтобы добавить привлекательности чему-то вроде ярмарки и, соответственно, увеличить количество курящих и пьющих. В те времена пэры не гнушались покровительствовать этому мероприятию, а день выборов был святым днем для тысяч людей. Ни раньше, ни позже никогда не собирались такие толпы народа в известном месте сбора, и дороги не были так запружены телегами и каретами, почетными членами на лошадях и пыльниками на ослах. Иногда собирались сотни тысяч, и сквозь потную толпу кандидаты, одетые, как трубочисты в майский день или по издевательской моде того времени, доставлялись на выборы в каретах пэров, запряженных шестеркой лошадей, причем сами хозяева снисходили до того, чтобы стать их погонщиками.

Кандидат был готов поклясться в чем угодно, а каждый избиратель должен был принести клятву на кирпичном бите, "*quod rem cum aliquâ muliere intra limites istius pagi habuissent*". Кандидаты выступали под шуточными псевдонимами. Так, на одних выборах против сэра Джеффри выступали лорд Тванкум, сквайр Блоумедан и сквайр Габбингс. Его светлость был Гарденером, гарратским могильщиком, а сквайры в скромной реальности были Уиллисом, водоносом, и Симмондсом, саутваркским мытарем. Попытка возобновить старые сатурналии была предпринята в 1826 году, когда сэр Джон Пол Прай предложил себя в качестве кандидата, на очень плохом английском, и с таким же квалифицированным успехом. Он не обладал красноречием великого сэра Джеффри, который, представляя себя избирателям, назвал свое "поместье на острове Мэн" в качестве квалификации; объявил о своем намерении облегчить королю его нужду в деньгах, отменив их использование; обязался выполнять свои обещания до тех пор, пока это будет в его интересах, и претендовал на благосклонное влияние замужних дам, заверив, что предложит аннулировать все браки, что, как он сказал, с его обычной логикой, "должно значительно увеличить влияние короны и значительно уменьшить индийские облигации". Он намекнул, что его собственные амбиции ограничиваются губернаторством на острове Дак или епископством Дарема. Последнее назначение было упомянуто для того, чтобы дать возможность обычно безрукому, но на данный момент придворному рыцарю добавить, что он "любит чистую рубашку и рукава газона". Кроме того, он обязался показать губернаторам Индии путь, по которому им следует идти к Ботани-Бей, и определить долготу среди евреев Дьюкс-Плейс.

Вежливость была обязательна для всех кандидатов по отношению друг к другу. Когда сэр Джеффри Данстан выступал против сэра Уильяма Харпера, было еще пять кандидатов, а именно: "Сэр Уильям Блейз, высокий чин в армии - капрал в городских поездках; адмирал сэр Кристофер Дэшвуд, известный многим, кто чувствовал тяжесть его руки на своих плечах и демонстрировал исполнение в другой. Сэр Уильям Ласточкин хвост, видный торговец, снабжающий большинство садоводов корзинами с клубникой; сэр Джон Гнавпост, который носит свои пробки под левой рукой и чей общий клич: "Двадцать пять, если выиграешь, и пять, если проиграешь"; и сэр Томас Безымянный, с репутацией, не заслуживающей упоминания". Сэр Джон Харпер был единственным рыцарем, который забыл о рыцарской вежливости и позволил своему оруженосцу в доспехах оскорбить сэра Джеффри. Но это не прошло безнаказанно. Этот рыцарь обратился к обычаям, заставил своего обидчика сойти с коня, сбросить цвета, обойти шесть раз вокруг коновязи и смиренно попросить прощения.

Сэр Уильям Ласточкин хвост, упомянутый выше, "был неким Уильямом Петухом, причудливым корзинщиком из Брентфорда, который, считая нужным иметь снаряжение,

всячески подходящее для чести, к которой он стремился, построил свою собственную карету, своими руками, по своему вкусу. Она была сделана из ивовых прутьев и запряжена четырьмя высокими лошадьми с полыми спинами, на которых сидели карликовые мальчики, причудливо одетые, для постильонов. В знак уважения к американской войне перед каретой ехали два лакея, вымазанные смолой и украшенные перьями. Кучер носил плетеную шляпу, а сам сэр Уильям, сидя на сиденье своего автомобиля, поддерживал свое издевательское достоинство в гротескном наряде под бурные аплодисменты". Следует добавить, что Фут, не раз наблюдавший за юмором выборов, вывел на сцену сэра Джеффри в образе *доктора Ласта*; но несчастный, совершенно неспособный и ужасно встревоженный, был согнан со сцены под шипение всего зала. Давайте теперь поищем за границей несколько "Шамов".

Если иностранные государства прислали в Лондон немалое количество псевдошевалье, то они также изобилуют и теми, кто слишком патриотичен или благоразумен, чтобы покинуть свою родину. Отель "Сен-Флорентен" в Париже был резиденцией князя Талейрана, но до него он был сценой и местом обитания необычного актера, известного под прозвищем Шевалье, или графа де Сен-Жермена. Некоторое время он был царствующим чудом Парижа, где его история рассказывалась со множеством вариантов; ни один из них не был правдивым, и все они поражали воображение. Народная молва приписывала ему египетское происхождение и способность творить чудеса. Он мог исцелять умирающих и воскрешать мертвых; мог составлять магические филателии, чеканить деньги отпечатком указательного пальца; говорили, что он открыл философский камень и мог делать золото и бриллианты почти по желанию. Кроме того, он был столь же щедр, сколь и велик, а его скромная грудь была покрыта рыцарскими орденами в доказательство благодарности государей, которым он оказал услугу. Предполагалось, что он родился несколько веков назад, был самым гигантским и изящным самозванцем, который когда-либо жил, и требовал беззаветной веры в свою силу от людей, которые не верили в силу Бога.

Званные вечера в отеле "Сен-Флорентен" были предметом восхищения всего Парижа, ибо только там этот граф-рыцарь многих орденов появлялся, чтобы очаровывать посетителей и ублажать себя. Его расточительность была огромной, как и его лживость. Он был изящен, остроумен, утончен, но не лишен дерзости, когда его история требовала остроты, и, всегда молодой, выдавал себя за Мафусаила.

О нем серьезно рассказывают следующую историю, которая вполне обоснована. "Шевалье, - обратилась к нему однажды вечером одна дама в переполненном зале отеля "Сен-Флорентен", - помните ли вы, что во время ваших путешествий вам доводилось встречать Господа нашего Иисуса Христа?" "Да", - не задумываясь, ответил самозванец, подняв глаза к небу. "Я часто видел Его и часто разговаривал с Ним. Мне часто доводилось восхищаться Его кротостью, гением и милосердием. Он был небесным существом, и я часто пророчествовал о том, что постигнет Его!" Слушатели, не будучи шокированными, лишь продолжали засыпать графа другими вопросами. "Встречались ли вы когда-нибудь с Бродячим евреем?" - спросил один молодой маркиз. "Часто!" - был ответ; и граф добавил с презрением: "Этот жалкий богохульник однажды осмелился приветствовать меня на большой дороге; он тогда как раз отправился в свое кругосветное путешествие и пересчитывал деньги, держа одну руку в кармане, когда проходил мимо". "Граф, - спросил шевалье де Сен-Луи, - кто был автором той блестящей сонаты, которую вы играли сегодня вечером на клавишине?" "Я действительно не могу сказать. Это песня победы, и я впервые услышал ее в исполнении в день триумфа Траяна". "Не будете ли вы хоть раз неосторожны, дорогой граф, - спросила новобрачная баронесса, - и не назовете ли нам имена трех дам, которых вы нежнее всего любили?" "Это

трудно, - с улыбкой ответил честный рыцарь, - но, думаю, я могу сказать, что это были Лукреция, Аспазия и Клеопатра".

Парижский гей-мир говорил, что ему по меньшей мере две тысячи лет, и он не потрудился опровергнуть это сообщение. Есть основания предполагать, что он был сыном португальского еврея, проживавшего в Бордо. Его карьера вскоре закончилась.

В нашей стране был гораздо более уважаемый кавалер, к которому вряд ли можно применить термин "притворный рыцарь"; но поскольку он называл себя "сэр Джон", а *этот* титул не признавался в суде, о нем можно немного рассказать.

В царствование Георга III жил-был рыцарь, пользовавшийся некоторой известностью, история которого довольно необычна. Когда сейчас говорят о сэре Джоне Галлини, многие приходят к выводу, что этот некогда выдающийся человек получил рыцарские почести из рук короля Георга. Меня уверяли в этом весьма выдающиеся оперные авторитеты, которые, тем не менее, полностью заблуждались. Сэр Джон Галлини был рыцарем времен Георга III, но он был создан гораздо более возвышенной личностью; по крайней мере, по мнению тех, кто отдает папе, который является выборным правителем, преимущество перед королем, который является наследственным монархом. Удивительно, что Галлини вообще был посвящен в рыцари, ведь он был просто восхитительным балетным танцором. Но он был первым танцором, который получил бис за ловкое использование своих каблучков. Папа Римский прикрепил к ним золотые шпоры, и отныне Галлини стал Кавалером Спероне д'Оро. Такого рыцаря можно увидеть в этом месте.

Галлини приехал в Англию в то время, когда та часть мира, которая подпадала под понятие "люди качества", нуждалась в небольшом волнении. Это было в 1759 году, когда существовал самый скучный двор с самой тяжелой любовницей и опера, скучнее и тяжелее которой не было ничего. Галлини только что покорил Париж магией своих сальтационных движений. После этого он отправился в Лондон со своей репутацией и небольшим багажом. Он не стал объявлять о своем прибытии. Достаточно было того, что Галлини был там. Он едва успел войти в свое жилище, как был ангажирован, причем на своих условиях. Он взял город штурмом. Его *pas seul* было признано божественным. Качества" оказывали ему больше чести, чем если бы он изобрел что-то полезное для своих товарищей. Он не мог поднять палец на ногу, чтобы дом не погрузился в молчаливое восхищение. Его *антрешаты* исполнялись под громовые отзвуки восторга; его "вихри" вызывали крики экстаза; а когда он вдруг останавливался в самом стремительном из своих диких карьер и смотрел на зал с благодушной улыбкой, которая, казалось, говорила: "Что вы об этом думаете?", следовал взрыв бурного почтения, какого зрители *не могли* бы дать молодому покорителю Квебека. Галлини, если говорить об оперных делах, был признан достойным человеком на достойном месте. В течение четырех или пяти лет он был деспотичным хозяином балета. Он решил стать хозяином чего-то еще.

В то время в Лондоне жила леди Элизабет Берти. Ее отец, граф Абингдон, недавно скончавшийся, в молодости женился на синьоре Коллино, дочери "сэра Джона Коллинза". Последний рыцарь не был англичанином, но имел английское происхождение. Его сын, синьор Коллино, был знаменитым игроком на лютне в этой стране. Он был последним знаменитым игроком на этом инструменте в Англии.

Галлини, глава своей профессии, занимавший в ней более высокое положение, чем Абингдоны в пэрстве, был скорее снисходителен, чем наоборот, когда рассматривал графа

Абингдона как равного себе. Граф, которого он так считал, был сыном того, кто обручился с синьорой Коллино, а леди Элизабет Берти была еще одним ребенком от того же брака. Поэтому, когда танцор Галлини начал подумывать о том, чтобы сделать предложение руки этой дамы, он думал лишь о том, чтобы жениться на племяннице инструментального исполнителя. Галлини не считал, что в этом есть что-то унижительное; но он думал, тщеславный, глупый парень, каким он был, что такой союз даст ему титул "милорд".

Тем не менее Галлини был джентльменом, то есть и по манерам, и по нравам. Он был горд, как павлин, и честолюбив, как "мальчик-скалолаз", желая как можно скорее оказаться на вершине в каждой отрасли своей профессии. Он был "профессором танцев" в семье Абингдонов, где его приятная внешность, готовый остроумный ум, приветливость и скромность, под которой скрывался весь мир притязаний, сделали его всеобщим любимцем. Очень скоро он стал другом всего дома; и еще задолго до того, как он достиг *этого звания*, он стал особым другом леди Элизабет Берти. Она полюбила мягкий итальянский язык своей матери, на котором говорил Галлини; в общем, она полюбила и самого итальянца, и его язык, и его носителя. Леди и синьор стали одним целым.

Когда об их браке стало известно общественности, возгласы "А вы знали?", доносившиеся из ложи в ложу и эхом разносившиеся по коридорам оперного театра, были оглушительны. "Качественная дама выходит замуж за танцора!" Почему бы и нет, если фрейлины королевских кучеров считались плохой компанией для сыновей кучера? Это была более подходящая пара, чем пара знатной дамы с лакеем ее отца.

Вскоре после свадьбы Галлини оказался в одном из вестибюлей, где ее шумно обсуждали несколько разгневанных красавиц. В разгар их насмешек над женихом он подошел и воскликнул: "Lustrissima, son io! Прекрасная дама, я - мужчина!" "И как же он себя называет?" - спросили они с хихиканьем, несомненно, имея в виду историю о женихе, считающем себя господином по праву брака с "дамой", - "Как же он себя называет?" "Эккеленца, - ответил Галлини со скромным поклоном, - я синьор Джованни Галлини, эсквайр". Под их смех он повернулся на пятках и пошел одеваться в трико телесного цвета, короткую тунику и пайетки.

Поначалу брак не был несчастлив. У них было несколько детей, но трудности росли гораздо быстрее, чем семья. Не денежные, поскольку Галлини был человеком предусмотрительным, а сословные. Синьор оказался без должного положения, или, что, вероятно, само по себе не менее неприятно, он оказался выше своего положения, не имея возможности добиться того почтения, которое, как он считал, ему причиталось. Шурин графа был в глазах собственной жены всего лишь танцмейстером их детей. Учитывая, что леди снизошла до того, чтобы стать их матерью, она могла бы проявить эту снисходительность немного дальше и оказать большее уважение отцу. Возникла размолвка, и в *результате* семейного вмешательства она стала неизлечимой. Ссора усугубилась, последовал разрыв, и после спокойного союза, длившегося несколько лет, образовались отдельные семьи с общей недоброжелательностью в обеих.

Он больше не чувствовал себя "лордом", даже по вежливости, но решил стать тем, кем тщетно пытались стать многие лорды или кто погубил себя, став таковым, а именно владельцем и управляющим оперным театром. Это было в 1786 году, и к тому времени он уже сколотил целое состояние благодаря большому труду, активным пяткам, приятной внешности, капитальным благам, монополии на преподавание, благоразумию, воздержанности и той экономии, которую экстравагантные люди называют скупостью. Этим состоянием, вернее, его частью, он рискнул в оперном театре и, разумеется, все потерял. Он начал свою карьеру с таким духом, как если бы он был всего лишь управляющим чужой

собственностью; и он заключил ангажемент в Италии с такой щедростью и патриотизмом, что Папа Римский, имея досуг на некоторое время переключить свои мысли с божественности на танцы, стал так же восхищен Галлини, как Пио Ноно был восхищен Фанни Черито. Мы должны поверить, что его святейшество был в приступе непогрешимого энтузиазма, когда он назвал Галлини рыцарем Золотой шпоры. Тот вернулся в Лондон и записал себя "сэр Джон". Карточки только-только вошли в моду, чтобы люди могли наносить так называемые "визиты в бланке", и "сэра Джона Галлини" можно было увидеть в каждом доме, где у него был друг или знакомый. Его портрет висел во всех магазинах с этой рыцарской легендой под ним, и до сих пор можно увидеть старые оперные либретто с фронтисписом, выставляющим на обозрение восхищенной публики чучело "сэра Джона Галлини".

Публике нравилось звучание, нравился человек, и она санкционировала титул, постоянно применяя его к человеку без всякого умысла. Они видели так много дураков, ставших рыцарями, что были рады видеть, как энергичный человек делает из себя такового, применяя "сэр" к папскому титулу. Закон, однако, позволял это не больше, чем романистскому чиновнику, который представлялся при дворе как "Монсиньор чего-то там", и чье представление было отменено, как только приятный трюк был обнаружен. Галлини, однако, продолжал носить свой титул до тех пор, пока обстоятельства не привели его в качестве свидетеля в присутствии лорда Кеньона. Когда итальянский оперный танцор объявил себя в присутствии этого судьи сэром Джоном Галлини, вид у него был, как говорят американцы, "настороженный". Его светлость выглядел так же отвратительно, как в свое время лорд Эдмон, когда слышал, как ирландского епископа-романиста называют территориальным титулом. Насколько хватило гнева лорда Кеньона, великий судья, выражаясь метафорически, разжаловал сэра Джона и отрубил его золотые шпоры в открытом суде. Галлини был настолько добродушен и популярен, что общественное мнение не подтвердило мнение судьи, и сэр Джон остался сэром Джоном в народной молве всего королевства.

Он становился достаточно богатым, чтобы скупить половину рыцарей в стране. Он построил музыкальные залы на Ганновер-сквер для абонементных концертов Баха и Абея. То есть он построил дом и сдавал его в аренду всем, кому требовалась его часть, для любых целей музыки, танцев, выставок, лекций или любых других целей, приносящих прибыль. Сам он скорее жил, чем жил, поскольку выделил лишь небольшой кабинет для собственного пользования, великолепно пожертвовав остальной частью особняка для использования другими, которые платили ему за это щедро. При этом сэр Джон продолжал заниматься своей прежней профессией: был учителем и артистом, управляющим как дома, так и в театре; осторожным спекулянтом, экономным, как говорили те, кому не удавалось обмануть его деньги под влиянием иллюзорных обещаний, с восхитительным чутьем на выгодную сделку и восхитительной заботой о ее результате после того, как он ее заключил.

Все шло с ним так же весело, как и с Поликратом, и несчастье и он, казалось, никогда не были знакомы, пока в одну роковую ночь 1789 года Оперный театр не сгорел дотла, и прилив, который так долго продолжался, теперь считался отливом. Сэр Джон был слишком героичен, чтобы унывать, и сделал то, о чем многие герои даже не подумали бы, да и любой мудрый человек тоже. Он выложил тридцать тысяч фунтов стерлингов наличными на восстановление оперного театра, отправил в Италию лучшие архитектурные планы, не оставил без работы ни одного средства, чтобы возвести первоклассный театр, и работал для этой цели с такой же добросовестностью, как если бы от строительства оперного театра на Хеймаркете зависела безопасность вселенной. То, что публика потеряла в один вечер, она возместила другим.

Между тем мода находилась в плачевном состоянии музыкальной нищеты. Что стало бы с Лондоном без оперы? Как мог бы существовать мир, бесконечно малый лондонский мир, без привычных рулад и ригадонов? Наш рыцарь был как раз тем чемпионом, который должен был прийти на помощь в такой критической ситуации. Он открыл маленький театр на Хеймаркете, но в него никто не ходил. Мода презрительно задрала нос и держалась в стороне; более того, она поступила еще хуже, она поступила неблагородно, и когда какие-то спекулянты устроили оперу в Пантеоне, Мода возглавила движение с Хеймаркета, и толпа последователей отправилась в ее поезде на Оксфорд-стрит. "Я победоносно верну ее в ее старый дом", - сказал сэр Джон. Рыцарь был галантен сердцем, но он не знал, что у него есть и другие враги, кроме Мод.

Сэр Джон попал в затруднительное положение благодаря закону, адвокатам и ложным друзьям. Он правил, как монарх в оперном театре, и лишь затем пал, разорившись. Но он не был человеком, которого можно было обескуражить. Его мужество, усердие и трудолюбие были беспредельны. Все это он использовал в благих целях, и его жизнь была не только полезной, но и почетной и благополучной. Она закончилась, выйдя за рамки обычного отведенного человеку времени, спокойно, но несколько неожиданно; "сэр Джон" Галлини умер в своем доме на Ганновер-сквер, оставив своим детям большое состояние, память о некоторых эксцентриках, а также доброе имя и пример. Со своей стороны, я никогда не могу войти в старинные концертные залы на Ганновер-сквер, не пожелав "Requiescat!" рыцарю Золотой шпоры, которым было построено это здание.

Если танцор Джон Галлини мог похвастаться тем, что был посвящен в рыцари Папой Римским, то певец Кресцентини мог похвастаться тем, что был посвящен в рыцари императором. Он получил эту честь из рук Наполеона I. До этого он привык получать комплименты от императоров или в их присутствии. Так, в 1804 году в Вене он спел "*Ombra adorata*" в образе Ромео с такой изысканной грацией и нежностью, что однажды, когда он только что закончил это восхитительное лирическое произведение, и весь двор составлял часть его аудитории, два голубя спустились с облаков, неся ему лавровый венец, а со всех сторон на очарованного и чарующего певца сыпались гирлянды и цветы. Австрийский император оказал ему больше почестей, чем его предшественник оказал польскому королю, спасшему империю от турок. Репутация Кресцентини принесла ему приглашение в 1809 году к императорскому двору Франции. Он играл в компании с Грассини, вдвоем представляя Ромео и Джульетту. Эти персонажи никогда не были представлены лучше, и Тальма, присутствовавший при этом, как говорят, прослезился, чему я не верю, потому что не только итальянским персонажам не над чем плакать, но и сам Тальма не был склонен предаваться плаксивым настроениям, и у него даже не было обычной вежливости по отношению к своей собственной Джульетте. Но великий актер был доволен, и великий император был в восторге; настолько, что оказал Кресцентини честь, которую никогда бы не оказал Тальме, - сделал его кавалером. Правда, Тальма хотел стать кавалером Почетного легиона, но император не стал помещать на грудь трагика крест, которым тогда награждали только тех, кто хорошо играл свои роли в настоящих и кровавых трагедиях. Французский трагик отказался от чести, оказанной теперь Кресцентини, которого император вызвал в свою ложу и наградил знаком отличия рыцаря Железной короны. Поющий шевалье был в экстазе. Но у Джульетты этой ночи было больше оснований для этого, ведь ей Наполеон вручил вексель на 20 000 франков из казны. "Это будет прекрасное маленькое приданое для одной из моих племянниц", - сказала на следующий день вечно щедрая Грассини одной из своих подруг. Через несколько лет после этого к ней пришла маленькая племянница, для которой она до сих пор

мало что делала, с голосом контральто и просьбой о помощи. Выслушав ее пение, Грассини воскликнула: "У тебя нет контральтового голоса, и тебе нужна небольшая помощь. При должном уходе у вас будет одно из лучших меццо-сопрано в мире. Ваше горло станет для вас золотой жилой, и вы сможете стать и богатой, и знаменитой, моя дорогая Джульетта Гризи". Племянница превзошла тетку.

Сейчас рыцари шира - это всего лишь фиктивные рыцари, а изначально они возникли в результате революционного движения. До правления Генриха III народ не имел права голоса при выборе своих законодателей. Однако в правление этого короля законодатели оказались в ссоре. Симон де Монфорт, аристократический глава народной партии, выступал против короля; и великий граф и его друзья, опасаясь, что их перевесят в следующем парламенте, добились издания от имени короля, который в то время был их пленником, предписания шерифам каждого графства прислать двух рыцарей, а властям городов и округов - горожан и бурgeois, чтобы те представляли их в парламенте. Это было коренное изменение давно устоявшихся обычаев. По сути, это была революция, заложившая основу, по крайней мере, той формы конституции, на которой воздвигнута наша нынешняя конституционная основа.

Однако, когда король стал эмансипированным, он, хотя и продолжал созывать "баронов и великих людей", ни разу за время своего правления не издал ордонанса для избрания рыцарей шира. Его сын, Эдуард I, по старой традиции созывал больших и меньших баронов или своих главных арендаторов. Так он поступал, по крайней мере, в течение семи лет своего правления. Последние не были баронами, но их созывали как "пэров баронов, и все они присутствовали в своих собственных лицах", а не как представителей народа. В царствование Иоанна, правда, голос народа был услышан, но в целом можно утверждать, что до сорок девятого года правления Генриха III *составной* частью великого совета нации были исключительно архиепископы и епископы, графы, бароны и арендаторы *in capite*.

Примечательно, что на ранних выборах рыцари графства избирались всеобщим голосованием; и так же, действительно, происходит и сейчас, в определенной степени, как я объясню, процитировав следующий отрывок из книги Халлама "Состояние Европы в средние века": "Кто бы ни был первоначальным избирателем представителей графств, первый статут, регулирующий их выборы, не ограничивая эту привилегию арендаторами *in capite*, ставит ее на очень широкую и демократическую основу. Ибо (как мне представляется, хотя и не без особых колебаний) не только все фригольдеры, но и все лица, присутствующие в суде графства, были объявлены или наделены правом голосовать за рыцаря своего графства. По крайней мере, именно такой вывод следует из выражения 7 Генриха IV., с. 15: "Все, кто там присутствует, как и должным образом вызванные для этого дела сюзерены, так и другие". И это находит некоторое подтверждение в более позднем статуте 8 Генриха VI., с. 7, который, заявляя, что "выборы рыцарей графств в последнее время производились очень большим, возмутительным и чрезмерным числом людей, проживающих в тех же графствах, из которых большинство были людьми незначительными и не имеющими ценности", ограничивает избирательное право фригольдерами земель или владений стоимостью до сорока шиллингов".

Первоначальный вызов фригольдеров, несомненно, осуществлялся общим объявлением, так что, как замечает мистер Халлам, "нелегко понять, какая разница может быть между вызванными и невызванными претендентами". И если предполагается, что эти слова относятся к частным повесткам нескольким друзьям, с помощью которых шерифы привыкли добиваться тайных выборов, трудно представить, что такие лица будут названы "должным образом вызванными". Однако не исключено, - добавляет мистер Халлам, - что эти большие выражения были использованы по неосторожности и привели к тому наплыву избирателей

без собственности, что сделало необходимым последующий акт Генриха VI. Сам же акт Генриха IV был вызван противоположным злом - закрытыми выборами рыцарей несколькими лицами от имени графства".

Далее тот же автор замечает, что следствием закона Генриха IV было не привлечение слишком большого числа избирателей и не создание беспорядков на выборах в самом большом из английских графств, какими бы они ни были в других. Прайинн, судя по всему, опубликовал несколько своеобразных договоров для графства Йорк, исходивших от шерифов, в промежутках между актами четвертого и шестого Генриха. Они "были отобраны несколькими лицами, называющими себя поверенными некоторых пэров и леди, которые, насколько можно судить, возвращались исключительно рыцарям этого графства". Какую степень весомости, - говорит мистер Халлам, - должны иметь эти аномальные результаты, я оставляю на усмотрение читателя".

Я уже говорил, что система всеобщего избирательного права при выборах этих рыцарей (да и других), насколько ее можно осуществить, позволяя всем присутствующим иметь голос, остается в строгой силе. По поводу выбора кандидата подается апелляция к народному собранию. Решение должным образом объявляется высшей властью, и тогда отвергнутый кандидат может, если сочтет нужным, обратиться от присутствующих к тем, кто по закону имеет право голоса. Первая церемония сейчас уже не нужна, но она, несомненно, является пережитком того времени, когда ее соблюдение имело серьезное значение.

От парламента до университета - не такой уж большой шаг. Сэр Хью Эванс и сэр Оливер Мартекст были личностями, которые со своими титулами хорошо знакомы большинству из нас. Рыцарский титул, который давали священнослужителям, был не столько из вежливости, сколько ради отличия. Его "носили" бакалавры искусств, иначе "*Domini*", чтобы отличить их от магистров искусств, или "*Magistri*". В сущности, этот титул был местным и не должен был использоваться за пределами университета: но как в наши дни "капитаны" пакетботов являются капитанами и дома, так и в старые времена "сэр" университета был сэром. Кто-то-Кто-то везде.

Мы смеемся над французами за то, что они так часто называют наших рыцарей только по фамилиям, например "сэр Джонс". Однако это старая английская форма, которая использовалась в Кембридже. Кембриджские "сэры" обращались по имени и фамилии в своих жилищах и в документах, связанных с ними. Эта практика продолжалась до тех пор, пока от титула не отказались спустя некоторое время после Реформации. Старый обычай иногда возрождался пожилыми ставленниками, к удивлению более молодых слушателей. Так, когда епископ Моусон из Лландаффа однажды оказался при дворе, он встретил там преподобного бакалавра искусств, стипендиата Бене-колледжа, а впоследствии декана Солсбери. Его звали Грин. Епископ, как только увидел "бакалавра", вошедшего в гостиную, громко обратился к нему таким образом: "Как поживаете, сэр Грин? Когда вы покинули колледж, сэр Грин?". *Мистер* Грин, заметив изумление окружающих, взялся объяснить, что епископ всего лишь использовал устаревшую формулу ушедших времен. Самый недавний титул вежливости, который я могу вспомнить, был дан слепому нищему, которого очень хорошо знали в окрестностях Тринити-колледжа в Дублине, где он, действительно, был студентом около пяти с половиной тридцати лет назад. Его неизменно называли "господин Джон", и он мог ответить на хорошем латинском языке на вопрос: "*Quo modo vales?*" - или на любой другой вопрос.

"*Vale!*" - вот что я должен сказать любезному читателю; и я не задержу его дольше - при условии, что он любезно терпел меня до сих пор, - чем еще на одну короткую главу, которую, будучи разнородной, я могу не без основания назвать "Куски доспехов".

КУСКИ ДОСПЕХОВ.

Слово *Pieces* напоминает мне о любопытной театральной иллюстрации македонского рыцарства. Когда Барри играл Александра Македонского, он устраивал грандиозное зрелище с въездом на колеснице. Но, тем не менее, это было в высшей степени абсурдно. Когда он спускался с машины, сопровождавшие его рыцари, босые и безоружные, клали на нее руки, и в одно мгновение она разлеталась на куски, как трюк в пантомиме, оставляя в распоряжении каждого воина мечи, копья, щиты и шлемы, снабженные спицами колес, шестами, корпусом машины и ее украшениями. Этот подвиг вызвал бурные аплодисменты наших интеллектуальных предков.

Однако этот поступок был едва ли более неестественным, чем высказывания некоторых настоящих шевалье, особенно испанских.

Среди испанских родомонтан, описанных Брантомом, мы не найдем ни одного, в котором не упоминалась бы личная доблесть. Вот холерический фехтовальщик, который ходит по улицам без оружия, по той веской причине, что его рука так и готова метнуться к мечу, если только ветер подует на него слишком грубо, что он никогда не сможет выйти вооруженным, не забрав две или три жизни. "Я подниму тебя так высоко, - говорит другой испанский кавалерист своему противнику, - что ты умрешь раньше, чем сможешь снова достичь земли". Один из тех же кавалеров не только каждое утро обезглавливал десятки мавританских голов, но и подбрасывал их так высоко в воздух, что они наполовину были изъедены мухами, прежде чем спустились вниз. Другой, хвастаясь своими подвигами в морском сражении, спокойно заметил, что, сделав выпад мечом вниз, он прошел сквозь море, проник в адский мир и отрезал часть усов Плутона! "Если этот человек - твой друг, - сказал кавалерист своему товарищу, имея в виду фехтовальщика, с которым кавалерист имел гневные слова, - молись за его душу, ибо он поссорился со мной". Самоуспокоение также не помешает. Один испанский капитан в Париже увидел, как мимо него проходит надменный шевалье д'Амбре. "Неужели он, - спросил испанец, - столь же доблестен, сколь и горд?" Ответ был утвердительным. "Тогда, - заметил ибериец, - он почти такой же хороший человек, как и я". Мы слышали о другом, возможно, менее галантном, чем храбром, который оказал большую услугу дамам, отложив бой по их просьбе и проведя с ними приятный час, вместо того чтобы вышибать мозги на поле боя. Один рыцарь, придерживавшийся подобных взглядов, отчитал своего пажа за то, что тот хвастался его доблестью. "Если ты будешь делать такие глупости, сэр Кнав, - сказал отважный джентльмен, - весь женский пол погибнет от любви ко мне, и у меня не останется свободного времени, чтобы брать города и громить армии". Это был полноценный рыцарь. Вероятно, его юный оруженосец заметил, когда кто-то выразил удивление, что у столь молодого человека усы такой необычной длины. "Они выросли, - сказал молодой солдат, - под пушечным дымом; под тем же влиянием они быстро растут".

Некоторые из старых испанских кавалеров утверждали, что их красота ослепляла врагов. Как бы то ни было, факт остается фактом: красота Галеозо Марии, герцога Миланского, была достаточно поразительной, чтобы на некоторое время спасти его от кинжалов заговорщиков. Один из них, по имени Лампуньяно, жаждал убить его, но не решался. Тем не

менее, он был полон решимости, и для придания себе храбрости он использовал необычное средство. Он раздобыл верный портрет красавца герцога и каждый раз, проходя мимо него, неотрывно смотрел в блестящие глаза и изящные черты, а затем погружал свой кинжал в полотно. Так продолжалось до тех пор, пока он не обрел способность смотреть в лицо живому герцогу, не ослепленный его красотой; после этого он нанес свой удар и уничтожил своего великого и изящного врага.

Часто утверждают, что было мало кавалеров, которые вели войну с большим безразличием и жестокостью, чем испанские рыцари. Но война во все времена и во все эпохи побуждала если не к последнему, то, по крайней мере, к первому. Из тех случаев, которые можно назвать более поздними, я могу привести один, который вряд ли произошел бы даже под Севастополем. Это относится к армии Шомберга при Дандалке. "Оставшиеся в живых, - пишет Леланд, - использовали тела своих погибших товарищей в качестве сидений или укрытий, а когда их понесли на погребение, роптали на то, что их лишили удобств". Затрагивая ирландские вопросы, я воспользуюсь случаем, чтобы заметить, что ирландских рыцарей иногда называли "железное колено", "орлиное колено" и "черное колено" - из-за доспехов, которые были особенно необходимы для этой части тела: ирландцы со своими ужасными боевыми топорами наносили самые сильные удары по бедру всадника. Ирландское прозвище "белый рыцарь" давалось наследнику семьи, в которой седые волосы были наследственными. Ирландские рыцари, как можно заметить, были в целом более религиозны, чем испанские. Последние были слишком готовы приписывать каждый свой успех собственной силе, а не промыслу свыше. Даже в случае со святым Лаврентием, спокойно жарившимся до смерти на своем колоснике, гордые испанцы не хотели, чтобы это терпение приписывалось милости Божьей, а только истинной испанской доблести. Говоря о сожжении святого Лаврентия, я добавлю, что Сен-Пьер цитирует Плутарха, утверждающего, что когда римским сжигателям приходилось превращать в пепел тела нескольких рыцарей и дам, они помещали одно женское тело среди восьми или десяти мужских, полагая, что при таком смешении они будут гореть лучше. Автор "Гармонии природы" делает по этому поводу поистине характерное замечание, что римская мода была основана на представлении, что "огонь любви все еще горит в нас после смерти".

Возвращаясь на мгновение к испанцам, я могу отметить одну моду среди них, которая заслуживает внимания. Когда испанский кавалер входил в присутствие испанской королевы в сопровождении своей дамы, он не снимал чепца перед своей государыней. Предполагалось, что он был настолько поглощен своей любовницей, что забыл даже о любезностях верности.

Брантом, напротив, замечает королевскую вежливость по отношению к подданному. Описывая боевые действия знаменитого месье де Торанна, он сообщает, что король в знак признания того, что битва при Ренце была выиграна в основном благодаря его храбрости, снял со своей шеи воротник собственного ордена и надел его на шею доблестного солдата. Это был необычный поступок, согласно , показанный Брантомом, но, вероятно, не первый случай подобного явления. Только что упомянутый автор с досадой жалуется, что в его время и ранее рыцарские почести воздавались не за рыцарские подвиги. Их получали за благосклонность, влияние или деньги. Некоторые настраивали своих жен на то, чтобы очаровать христианского государя и купить честь любой ценой. Месье де Шатобриан отдал дом и поместье за орден Святого Михаила. В конце концов его стали вручать одиноким капитанам пехоты, к большому отвращению более знатных кавалеров, которые дорого заплатили за эту честь. Брантом утверждает, что знал многих, кто никогда не был в полудюжине лье от своих домов, носил знаки отличия ордена и говорил о взятии Лоша, как

будто действительно присутствовал при этом. Он гневно добавляет, что даже адвокаты становились рыцарями, раздеваясь до платьев и хлопая мечами по бедрам. Его особенно раздражает, что знаменитый Монтень последовал подобному примеру, и он добавляет со злобным ликованием, что меч не стал для него и вполнину таким же, как перо.

Одного французского маркиза преследовали его соседи, требуя от него заказов, как если бы он просил заказов для театра. Он получал их с такой легкостью, что даже сделал рыцарем своего домоправителя и заставил беднягу ходить на рынок в воротничке, к вящему ущербу для его скромности. Однако одним из правил ордена было то, что воротник никогда, ни под каким предлогом, не должен был сниматься с шеи. При дворе этих рыцарей-грибов называли очень некрасиво; Брантом дает нам некоторое представление об аристократических чувствах, когда с ужасом, который он не пытается скрыть, рассказывает, что орден был продан старому джентльмену-гугеноту за небольшую сумму в пятьсот крон. Дешевая сделка для нового рыцаря, ведь членство в ордене освобождало его от налогов. К счастью для гугенота, он умер как раз вовремя, чтобы не попасть в немилость. Некие джентльмены договорились напасть на этого "homme de peu", как называет его Брантом, сорвать с его шеи орден, устроить ему взбучку и пригрозить еще одной, когда он осмелится надеть рыцарский знак отличия.

Тем больше удивляется Брантом тому, что он называет злоупотреблением орденом, учрежденным Людовиком XI, на том основании, что старый орден Звезды, основанный королем Иоанном в память о звезде, которая вела королей к колыбели божества, стал настолько распространенным, что серебряную звезду этого ордена можно было увидеть на шляпе и на мантии половины мужчин во Франции. Людовик XI, упразднив орден, передал его знак отличия в качестве украшения одежды шевалье де Ге, или кавалерам дозора, которые следили за безопасностью Парижа, когда светили звезды, или когда наступал час, когда они должны были это делать. Во всех этих орденах было принято, что если рыцарь переходит на службу к врагу суверенного главы ордена, то он обязан избавиться от знаков отличия и передать их непосредственно королю.

До того как достоинство ордена было унижено, его члены гордились тем, что демонстрировали его даже в бою; хотя в случае пленения за них назначался высокий выкуп. Некоторые благоразумные рыцари, отличавшиеся не только доблестью, но и благоразумием, иногда прятали знак отличия перед боем; но их безжалостно высмеивали, когда отсутствие украшения свидетельствовало о наличии благоразумия. В первые годы его становления человек мог с большей легкостью получить назначение на должность капитана телохранителей, чем воротник ордена Святого Михаила. Сам Людовик XI проявил мудрое нежелание делать орден общим, и хотя он установил число рыцарей в шесть с тридцатью, поначалу назначил только пятнадцать. При последующих королях орден разрастался до безграничного количества, пока, наконец, никто не согласился принять его, даже когда их к этому принуждали. Один великий человек, правда, добивался и получил его. Его сурово отчитали за дурное честолюбие; но, как он заметил, эмблемы ордена хорошо бы смотрелись, выгравированные на его тарелке, а вышитая мантия стала бы восхитительным покрывалом для его мула.

Подобная сатира на рыцарство напоминает мне о том, что рыцарь может развязать себе руки, если захочет. Пример тому - случай, связанный с Жанной Дарк. Шевалье армии Дофина не верили во вдохновение Орлеанской девы, пока успех не увенчал ее первые усилия. С другой стороны, женщина-рыцарь, если можно так выразиться, не вызывала ни малейшего уважения ни у рыцаря, ни у монаха, которые, казалось, сомневались в ее небесной миссии. Замечу, кстати, что для рассмотрения ее претензий собралась "коллегия" из семи

богословов, которые исследовали саму девицу. Один из членов, "брат Сеген", лимузинец, говоривший с сильным и неприятным акцентом своего места рождения, спросил Жанну, на каком идиолекте к ней обратился божественный голос, которым она, по ее словам, руководствовалась: "На гораздо лучшем наречии, чем вы сами, - ответила прелестная барышня, - иначе я бы не стала ему доверять". Здесь, кстати, возможно, кроется исток старой истории о заикающемся джентльмене, который спросил мальчика, умеет ли его магпи говорить? "Лучше, чем ты, - ответил мальчик, - иначе я бы свернул ему шею". Но продолжим. Жанна была столь же *бесстрастна* с рыцарями, сколь и легкомысленна с монахами. Она явно демонстрирует эту особенность на первом совете, состоявшемся в ее присутствии в Орлеане, когда она настояла на немедленных наступательных мерах, вопреки мнению самих рыцарей. Один из них, сир де Гамаш, был настолько измучен упорством Пюсель, что, вскочив на ноги, воскликнул: "Раз благородные принцы хоть на минуту прислушиваются к глупостям такой низкорослой шлюхи, как эта, а не к доводам такого шевалье, как я, я больше не буду утруждать себя высказыванием мнений. В надлежащее время и в надлежащем месте моя добрая шпага скажет свое слово, и, возможно, я одержу верх; но королю и моей чести так угодно. Отныне я сворачиваю и спускаю свое знамя; с этой минуты я всего лишь простой оруженосец; но я предпочел бы иметь в качестве хозяина благородного человека, а не служить под началом девки, которая, возможно, была - одна не знаю чем!" С этими словами он свернул свое знамя, вложил его в руки Дюнуа и вышел из шатра, уже не сэр Джон де Гамаш, а простой Джон Гамаш, эсквайр.

Последовал любопытный результат. Первая атака на бастион Турель провалилась, Жанна была легко ранена и лишена лошади. Гамаш был рядом, он сел на коня и предложил ей свою лошадь. "Вскакивайте, - крикнул добрый парень, - вы галантная девушка, и я был неправ, когда назвал вас гадкими именами. Я буду служить и повиноваться тебе с полной готовностью". "А ты, - сказала Жанна, - такой же сердечный рыцарь, как и те, кто когда-либо бил мужчин или помогал девицам". Так они помирились и остались добрыми друзьями до конца, который не заставил себя ждать.

Рыцарей, которые становились таковыми нерегулярно, посвящали в рыцари без особых церемоний. Хотя каждый рыцарь, получивший титул, мог оказать ту же честь любому, кто этого заслуживал, необходимо было, чтобы тот, кого собирались удостоить такой чести, был джентльменом. Во Франции, если это правило нарушалось, неудачливому рыцарю отрубали шпоры на свалке. Иногда не посвященного в рыцари человека штрафовали. Однако следует отметить, что король мог сделать рыцарем любого злодея, если государь был так настроен. То есть король мог возвести в рыцарское звание любого из своих подданных, если считал нужным. Но не так обстоит дело с государями и лицами, не являющимися их подданными. Например, император Сигизмунд, посещая Париж в 1415 году, посвятил в рыцари человека, который был ниже звания дворянина. Французский народ был возмущен этим, как актом суверенитета во владениях другого монарха. Если этого шевалье не посвятили в рыцари, то причина, вероятно, заключалась в том, чтобы не обидеть императора. Говорят, что в Неаполе для того, чтобы стать рыцарем, никогда не требовалось быть благородным человеком, фактически джентльменом. С этим можно легко согласиться. В Неаполе тот факт, что человек является грубым животным, не мешает ему исполнять обязанности даже короля.

В конце концов, судя по всему, в соблюдении закона на этот счет существовала некоторая неопределенность. В Англии обычай, позволявший рыцарям посвящать в рыцари других рыцарей, очень скоро вышел из употребления, так что примеров разжалования в рыцари в этой стране меньше, чем во Франции, где этот обычай преобладал до середины XVI века; и

его злоупотребления, конечно, сделали разжалование незаконно созданных рыцарей если не обычным, то по крайней мере случайным явлением. Генрих III, как я уже говорил на другой странице, призвал арендаторов *in capite* принять рыцарство от себя, а арендаторам *mesne lord*'ов разрешил принимать почести от кого им заблагорассудится. Но, должно быть, эти последние знатные особы были сильно разбазарены, или, так сказать, злоупотребляли созданием, так что привилегия была прекращена, за исключением особого разрешения короля. Однако в некоторых местах Франции было заявлено, что они сохраняют за бюргерами право получать рыцарство из рук дворян без королевского разрешения. Халлам, цитируя Вилларе, говорит, что в больших торговых городах бюргеры считались высшим сословием по сравнению с ротариями и обладали своего рода деми-дворянством.

Какими бы смешными ни были современные рыцари, городские или деревенские, представленные на сцене, бесспорно, что в некоторых случаях насмешки не были, как говорят художники, "заряженными", а реальность сама по себе была карикатурой. Я читал где-то об одном городском джентльмене, который был посвящен в рыцари во время своего шривалти, и который сразу же немного освободился от дел и в светских компаниях выставлял себя рыцарским "сэрм". Однажды, однако, он был сильно озадачен, получив приглашение от дамы, чьи званые вечера были особым удовольствием для ее гостей, и чья записка заканчивалась инициалами, столь нелепо поставленными в конце приглашения на английском языке. R. S. V. P., "ответ, с вашего позволения". Новоиспеченный рыцарь, сославшись на необходимость заниматься делами, принял гостеприимство, предложенное ему в записке, заметив при этом, что "всякая работа и отсутствие игр делают Джека скучным мальчиком", и что после долгого дня он не знал ничего более приятного на свой вкус, чем то, что записка ее светлости, казалось, представляла ему в инициалах у ее подножия; а именно - "Регулярная вечеринка для маленьких посетителей". Если этот анекдот не является апокрифом, я подозреваю, что замечание рыцаря могло быть вызвано не столько невежеством, сколько юмором, и что его прочтение инициалов означало порицание нелепой моды.

Говоря о городских рыцарях дома и их юморе, я воспользуюсь случаем, чтобы привести пример остроумия одного бедного шевалье из Парижа, все богатство которого состояло из нескольких неплодородных акров вблизи столицы, а сын только что женился на богатой наследнице очень низкого происхождения. "Il fait bien, - сказал старый рыцарь, - il fume mes terres!"

Вряд ли это было учтиво; но возвышенная вежливость никогда не была лишней среди настоящих рыцарей, даже в самые грубые времена.

Иногда проявлялись странные контрасты чувств. Так, когда англичане осаждали Орлеан, они внезапно устали от своей кровавой работы в день Рождества и попросили перемирия, пока они едят свой пудинг. Просьба была не только с готовностью удовлетворена, но и французские рыцари, услышав, что в английском лагере день проходит скучно, добились разрешения бастарда Дюнуа прислать музыкантов, чтобы оживить меланхолических лигуров. Оркестр играл на протяжении всего перемирия, но едва стихли последние ноты, и "годоны", как довольно развращенно называла Жанна Дарк наших великих сиров, которые были слишком склонны к ругани, едва перестали благодарить за музыкальное развлечение, как осаждающие возобновили канонаду с такой силой, что французские рыцари поклялись - никогда еще гармония не оплачивалась такой твердой монетой.

Неприязни в связи с этим было мало. Пажам обеих армий было позволено развлекаться, убивая друг друга на двухдневных дуэлях под председательством соответствующих

генералов-главнокомандующих. Это было рыцарским доказательством того, что ни одна из сторон не имела злого умысла, и они выбивали друг другу мозги по этому случаю, в подтверждение всеобщей доброй воли, с таким же восторгом, как если бы все они были ирландцами. Еще одним доказательством отсутствия индивидуальной злобы может служить тот факт, что Саффолк послал подарок в виде свиней, фиников и изюма *на десерт* Дюнуа, а тот в знак благодарности передал английскому генералу немного меха для его мантии - Саффолк сильно жаловался на холод в том памятном феврале 1429 года.

Это напомнило мне о подобном обмене любезностями между французскими и английскими противниками в более поздние времена. Когда храбрый Эллиот защищал Гибралтар от галантного Крильона, первый, который никогда не ел мяса, очень страдал (как и его люди, страдавшие от цинги) от нехватки овощей. У Крильона было больше, чем ему требовалось, и он очень щедро посылал свои излишки врагу, которого уважал. Целая телега моркови и комплиментов порадовала генерала и гарнизон, и Эллиот выразил свою благодарность так обильно, как и должен был. Можно вспомнить, что подобный обмен любезностями и удобствами произошел и под Севастополем. Сэр Эдмунд Лайонс прислал адмиралу Нахимову жирного бакса - подарок, за который великодушный герой синапской бойни отплатил твердым голландским сыром. Можно также сказать, что этот бакс было бы уместнее послать полуголодным английским героям, гниющим в окопах.

Были и другие морские рыцари древности, о которых я могу сказать несколько слов.

История морских королей или морских рыцарей, чьим благородным призванием было спускаться с севера с небольшим балластом в трюмах своих кораблей и возвращаться обратно, тяжело нагруженные добычей и славой, достаточно хорошо известна большинству читателей. История фламандских пиратов, которые почти восемь веков назад наводили ужас и привозили трофеи из Средиземноморья, знакома гораздо меньше. Эта история хорошо проиллюстрирована в "Биографии выдающихся людей Западной Фландрии", авторами которой являются мсье Октав Делепьер, опытный бельгийский консул в этой стране, и мсье Картон.

Время действия - теплый июньский вечер 1097 года. У берегов Киликии два больших судна, принадлежавшие императору Алексею Комнину и укомплектованные константинопольскими греками, были окружены и атакованы десятью быстроходными, но небольшими судами, принадлежавшими страшным "греческим пиратам", одно название которых наводило ужас. На носу каждого легкого барка красовалась грубо вылепленная фигура льва; с вершины высокой мачты был спущен зеленый выпел, который никогда не спускали, поскольку пираты никогда не нападали только там, где успех казался им несомненным, а если поражение грозило им, они могли легко спастись бегством.

На побережье не было почти ни одного места, которое бы они не посетили за последние десять лет; многие купцы покупали освобождение от нападения, платя весьма щедрую черную почту. Покупать безопасность у пиратов было ниже достоинства императора, и, как следствие, они не испытывали особого уважения к его кораблям.

М. Делепьер сообщает нам, что эти фламандские пираты изначально были купцами, но им показалось, что воровать выгоднее, чем торговать, и они сочли, что "шкурить моря", как говорится, гораздо выгоднее, чем жить по скучным заповедям торговли. Их тремя главными вождями были Зегер из Брюгге, Гераерт из Куртрая и Вимер (чье имя до сих пор живет в Вимере) из Булони. Под их началом было четыреста смелых людей, которые были

одновременно моряками и солдатами и, по описаниям, были настолько искусны, что могли одной рукой управлять кораблем, а другой - держать абордажный топорик. Как видно, увещание нашего лауреата, обращенное к ловким торговцам, чтобы они отложили свои гири и меры и исправили свои дела, взяв на себя призвание к оружию, имело здесь практическую иллюстрацию. В данном случае М. Делепьер предполагает, что пираты были, вероятно, не менее честными людьми, чем греки. Последние якобы направлялись на помощь крестоносцам, но Алексей был двойным дельцом и время от времени направлял силы против неверных, которые отводил в сторону, чтобы напасть на своих соседей-христиан, слишком могущественных, чтобы быть приятными в такой близости, и избавиться от которых было благочестивым желанием и, во что бы то ни стало, достижением. Внешняя политика Алексея была столь же злодейски беспринципной, как и политика любого правительства более развитого периода христианской цивилизации.

Греческие экипажи были призваны к капитуляции. К ним обратился Герарт из Куртрея, который призвал их к этому через свою кожаную говорящую трубу. Вероятно, он плохо знал греческий язык, а восточные люди не могли понять его фламандский. Мы можем сделать вывод, что его призыв был написан в макаронном стиле, в котором два языка использовались для передачи одной идеи. Эллы ответили на него, как бы он ни звучал, обрушив на фламандцев целый ураган камней.

Крепкие мужчины из Фландрии не замедлили ответить в свою очередь. "Они пустили в ход, - говорит М. Делепьер, - свои механические рогатки. Это были большие корзины, наполненные камнями, прикрепленные к концу приподнятых весов, движение которых отбрасывало их на некоторое расстояние. У них были и другие средства разрушения - огромные двигатели, которые метали балки, покрытые железом, и чудовищные стрелы, обернутые горячей канифолью. Косыми лезвиями, прикрепленными к длинным шестам, они обрывали канаты и разрушали паруса, а затем, выпустив свои виноградные трубы, уходили со своим призом".

До настоящего сражения дело еще не дошло. Она длилась час, греки больше всего пострадали от вышеописанных способов нападения, а людям с зеленым вымпелом они нанесли лишь незначительные повреждения. Однако они отказались сдаваться, но приготовились к бегству. Вимер заметил это подготовительное движение и громким голосом воскликнул: "Дюжина подводников!"

Двенадцать человек, оставив свои посты, перепрыгнули через борт лодки, неся с собой огромные *тарьеры* (шнеки). Они исчезли под волнами, на мгновение-другое показались над поверхностью, чтобы отдышаться, снова погрузились под воду и, наконец, по истечении десяти минут, снова взобрались на свое маленькое судно, воскликнув: "Хозяин, дело сделано!"

Двенадцать водолазов обнаружили двенадцать грозных течей в большем из двух греческих судов, и, когда оно начало тонуть, команда согласилась сдаться. Зеленые пираты захватили все, что было на борту этого и другого корабля. На последнем, лишенном всего ценного, они позволили двум греческим командам уплыть, а затем направились к побережью со своей добычей, состоявшей из богатых вещей, провизии и оружия. Их было гораздо больше, чем нужно для собственных нужд, и поэтому на время они снова стали торговцами. Они продавали по хорошей цене то, что бессовестно украли, и прибыли, полученной фламандскими мореходами, было достаточно, чтобы все честные, но бедные торговцы захотели стать корсарами.

Зегер взошел на Сиднус, чтобы нанести профессиональный визит в Тарсис, и, приблизившись к городу, был несказанно удивлен, увидев грозные приготовления к сопротивлению. Однако, подойдя ближе, пиратский вождь обнаружил, что Тарсис находится во владении армии фламандских крестоносцев под командованием великого графа Болдуина, и каждая сторона приветствовала друг друга радостными криками "Да здравствует Фландрия!". "Да здравствует Лев!" Прибытие флота было очень выгодно фламандцам, которые, хотя и пострадали меньше, чем французские, итальянские и немецкие легионы, которым они предшествовали, и с момента высадки на берег все чаще одерживали победы, нуждались в помощи как людской, так и материальной, и вот - Зеленые пираты готовы были предоставить и то, и другое за определенную плату. В ту ночь было обильное пиршество, а утром - очень тяжелая проповедь.

Проповедником был сам Болдуин. Его стиль представлял собой смесь увещевания с угрозами; он был настолько малокомплиментарен, что сказал зеленым пиратам, что они ничем не лучше разбойников и, несомненно, находятся на пути к дьяволу. Он добавил, что отнесся бы к ним как к людям такого характера, идущим таким путем, если бы только они были его соотечественниками. А потом он заплакал от одной мысли об их нынешних недостатках и возможной судьбе. Эту практику плача рыцари унаследовали от древнегреческих героев, и кавалер в полном стальном вооружении мог без малейшего стыда проливать слезы до тех пор, пока его костюм не заржавеет. Увещевания продолжались, не производя, казалось, никакого впечатления на бродяг. Однако в конце Болдуин обратился к ним с замечанием, что если они присоединятся к нему в его ратной карьере, то он даст им земли, которые сделают их лордами. На это замечание "зеленые пираты", сдержанно намекнув на свое недостойство, заявили, что они все до единого желают стать крестоносцами.

Каждый прикрепил к рукаву маленький зеленый крестик из ткани и с радостью последовал за Болдуином на поле боя. Граф оказался не более способным сдержать свое слово, чем сержант, обещающий новобранцу, что тот станет фельдмаршалом. Он не был в этом виноват, так как большая часть его новых союзников погибла; но их осталось достаточно, чтобы составить партию очень смелых рыцарей.

Северяне, особенно англо-норманны, были превосходными моряками, как в плане маневрирования, так и в плане храбрости. Они предпочитали находиться с врагом в условиях "тесной четверти". Как только они вносили небольшое замешательство в ряды противника своими арбалетами и рогатинами, они начинали действовать по системе "захват и абордаж". В те дни "мореплаватели" сражались в доспехах, с тяжелыми мечами, копьями и боевыми топорами. Они также были хорошо оснащены мешками с негашеной известью, содержимое которых они бросали в глаза своим противникам, когда им удавалось подойти к ним с подветренной стороны, и эта цель всегда была у них на виду.

Первое регулярное морское сражение между англичанами и французами было проведено первыми по вышеупомянутой моде. Это было во время правления Генриха III, когда Людовик Французский, уничтожив свою армию на "Линкольнской ярмарке", оказался заперт в Лондоне и зависел от усилий своей жены, Бланш Кастильской, в деле своего освобождения. Бланш отправила из Кале восемьдесят больших кораблей и множество мелких судов под командованием пирата Юстаса Ле Муана, прославленного . У Губерта де Бурга было всего сорок кораблей, чтобы выступить против этой превосходящей силы; и на их борту английские рыцари отправились в путь, протестуя и ропща на то, что их заставляют сражаться на воде, когда у них нет морских ног и они привыкли к сражениям только на суше. На протесты и ворчание никто не обратил внимания; сорок кораблей отвязали от причалов, и

неохотные, но крепко сбитые сухопутные моряки, все в почтовых рубахах вместо гернсийских курток, впервые вступили в бой с французским флотом. Английские корабли сумели пробраться между Кале и вражескими судами и обрушились на последних с тыла. Английские стрелки управлялись со своим любимым оружием со смертельной ловкостью; и как только их корабли сблизились с французскими, из них полетели быстрые липы, брошенные англичанами и отнесенные ветром в лица французов. Пока те корчились от боли, зажимали глаза, чтобы рассмотреть известковую пыль, или поворачивались спиной, чтобы избежать ее, англичане бросились на abordаж, рубили людей, рубили такелаж и так разгромили непривычных к такому бою французов, что из всего огромного французского флота спаслись только пятнадцать судов. Число галльских рыцарей и низших офицеров, взятых в плен, было очень велико. Что касается Юстаса ле Муана, то он спустился вниз, чтобы избежать известкового пороха и боевых топоров. Его схватил Ричард Фицрой, незаконнорожденный сын короля Иоанна. Фицрой отказался четвертовать бунтовщика, но отрубил ему голову на тафре и отправил ее из города в город по Англии в качестве приятной выставки.

Рыцари-изгои, ищущие приключений и желающие прославиться, посещали Англию реже, чем другие страны. Похоже, они испытывали смертельную неприязнь к морю. Эта неприязнь была характерна для самых храбрых и великих из них. В качестве примера я могу привести случай с герцогом Орлеанским и его кавалерами, захваченными при Азенкуре и доставленными в Англию из Кале в Дувр галантным и удачливым Генрихом. Последний прогуливался по палубе во время сильного шторма с таким же удовольствием, как если бы он был рожден для этого дела. Французский принц и его рыцари, напротив, были так же невежественны на море и так же беспокойны на нем, как современный английский лорд Адмиралтейства. Они ужасно страдали, и все как один заявляли, что предпочли бы ежедневно подвергаться опасности сражений, чем раз в месяц пересекать Дуврский пролив.

Тем не менее бродячие рыцари время от времени отваживались от опасностей морских глубин и выходили на берег Кента с вызовом всем желающим. Примером такого искателя приключений может служить Жак де Леланг, история которого описана в этом томе. О другом мы узнаем от безымянного рыцаря Арагона, который в царствование Генриха V привел в смятение весь Лондон и многие провинциальные баронства своим опубликованным приглашением ко всем рыцарям того же ранга, что и он сам, прийти и испытать свои качества в поединке на обоюдоострых мечах, топорах и кинжалах.

Вызов был незамедлительно принят крепким сэром Робертом Кэри. Сэр Роберт был бедным рыцарем, которому нечего было терять, поскольку его сир потерял все, чем владел до сэра Роберта, будучи верным бедному Ричарду II, за что был наказан лишением своих владений, указом Генриха IV. Поэтому у лишнего наследства рыцаря был шанс получить не только землю, но и честь, если он покорит высокомерного арагонца. Они встретились в модном тогда районе Смитфилд, и девонширский фехтовальщик после кровавого и продолжительного поединка так основательно победил испанца, что король, который был в восторге от таких встреч и особенно радовался, когда победа доставалась той стороне, к которой он больше всего благоволил, не только вернул сэру Роберту лишние отцовских владений земли, но и разрешил ему носить оружие сильно поредевшего рыцаря из-за моря.

В более поздний период рыцарские поместья перешли на службу другому королю. Сэр Генри Кэри рисковал жизнью и имуществом, выступая за Карла I, и, сохранив первое, лишился почти всего последнего. Глава семьи, уже не рыцарь, если я правильно помню, проживал в Торр-Бей, когда старый шевалье собирался попытаться вернуть себе три короны, которые, по мнению не менее чем французского архиепископа, Яков II имел простодушие потерять из-за

одной мессы. В этот период будущий английский король направил герцога Ормонда к главе семейства Кэри и не только передал ему заверения в том, что его заслуги перед Стюартами не забыты, но и в качестве гарантии того, что в случае победы на стороне Стюартов ему будут оказаны будущие и, возможно, более рыцарские почести, шевалье послал ему портреты Якова II и жены этого монарха, Марии Моденской. Подобные портреты можно найти среди заветных сокровищ многих английских семей; предполагается, что первоначально они были распределены между различными семьями в качестве залога от дарителя, что за поднятые шпаги, потерянные деньги или пролитую кровь за Стюартов последует рыцарство и более значительные почести, как только "король" "снова получит свое".

Возвращаясь к Карлу I, можно добавить, что он и вполнину не был так энергичен в попытках сохранить свое, как его внук в попытках вернуть утраченное. Инцидент, связанный с битвой при Роутон-Хит, послужит тому примером. Никогда король не имел лучшего защитника, чем Чарльз в тот день, в лице способного рыцаря сэра Мармадьюка Лэнгдейла. Рыцарь получил заметное преимущество над своим противником, столь же способным Пойнтцем. Чтобы обрадовать короля, осажденного в Честерском замке, этой новостью, сэр Мармадьук отправил полковника Шекерли. Лучшего человека он не мог бы и поручить. Полковник сумел добраться до Честера, переправившись через Ди в бадье, которой он управлял одной рукой, а другой буксировал за собой лошадь. Он передал свое послание и предложил передать ответ или инструкции обратно сэру Мармадьюку, причем тем же способом, через четверть часа. Король колебался; какая-то санкция, необходимая для определенного образа действий, предложенного сэром Мармадьюком, не была дана, и Пойнц вернул себе утраченные позиции, разбил королевскую лошадь и тем самым фактически лишил Карла доступа к Шотландии и Монтрозу.

Я уже приводил несколько иллюстраций того, как иногда получали рыцарство: осталось рассказать об одной забавной иллюстрации. Данжо в своих мемуарах рассказывает о двух французских пажах, которые жили в основном на молоке ослиц, но, тем не менее, заболели некоторыми недугами, присущими человечеству, и им было приказано принимать лекарство. Им было противно принимать лекарство, но они с легкостью преодолели трудности, вылечив осла. Во Франции не было ничего необычного в том, что очень великие люди лечили свои пороки так же, как и свои недуги, - с помощью заместительной терапии. Екатерина Медичи - один из многих примеров этого. Она хотела добиться успеха в каком-то великом деле и списала свою неудачу на свои грехи. Она тут же заявила, что искупит вину, если ее желания исполнятся, найдя паломника, который отправится из Франции в Иерусалим пешком и через каждые три шага будет возвращаться на один. Желанный успех был достигнут, и после некоторых трудностей был найден паломник, достаточно сильный и настойчивый, чтобы совершить паломничество. Королевский залог был выкуплен, и оставалось только вознаградить паломника, который был солдатом из окрестностей Витербо. Некоторые говорят, что он был купцом; но купец он или солдат, Екатерина посвятила его в рыцари, облагородила и обогатила. Его оружием были крест и пальмовая ветвь. Нам не известно, был ли у него девиз. Во всяком случае, он не мог быть *nulla vestigia retrorsum*. Те, кто утверждает, что пилигрим был купцом, заявляют, что его потомки утратили свое благородство, снова впад в коммерцию - занятие, которое в те исключительные дни считалось весьма унижительным и даже унижительным.

Здесь я могу отметить, что геральдика, в конце концов, очень несправедливо обошлась со многими из тех, кто совершил великие деяния. Ни один человек ниже рыцарского звания не мог носить свой герб. Таким образом, многие оруженосцы могли превзойти своего господина в храбрости; более того, многие простые солдаты могли сделать то же самое, но

память об этом не могла дойти до потомков, потому что доблестный актер не был достаточно благороден, чтобы быть достойным отличия. В нашей английской армии до сих пор действует то же правило. Похвальная некомпетентность вознаграждается "орденами", а простой Джон Смит, захвативший своими руками пушку, получает пару суверенов, которые позволяют ему лишь унижаться, напиваясь с друзьями. Наши геральдические писатели одобряют этот изящный способ присвоения отличий. Анонимный автор труда "Геральдика и рыцарство", опубликованного в Вустере "шестьдесят лет назад", говорит: "Мы должны считать, что если бы геральдика раздавала свои почести без разбора и слишком щедро, не делая различий между дворянами и плебеями, то слава гербов была бы утрачена, а их блеск - менее оживленным".

Однако очевидно, что правило, позволявшее нести службу никому, кто не имел рыцарского звания, иногда нарушалось. Так, когда Эдуард Черный Принц сделал крепкого сэра Джеймса Одли своим особым рыцарем с жалованьем в пятьсот марок за доблестные заслуги при Пуатье, Одли разделил это жалованье между четырьмя своими оруженосцами, Делвесом, Даттоном, Фоултерстом и Хокстоном, а также разрешил им носить его собственные достижения, в память о том, как они держались рядом с ним в кровавый день при Пуатье.

Однако мода на ношение одних и тех же знаков разными семьями имела свои неудобства. Так, случилось, что во время этой самой битвы при Пуатье или немного раньше сэр Джон Чандос, проводивший разведку французской армии, столкнулся с сеньором де Клерманом, который проводил разведку английской армии. Каждый из них увидел, что на верхнем облачении его противника такой же знак, как и на его собственном, - синий с золотыми лучами по кайме. Каждый из них перешел к резким и не слишком учтивым словам. Французский лорд в конце концов заметил, что претензии сэра Джона на ношение этого знака похожи на "хвастовство вас, англичан. Вы не можете изобрести ничего нового, - добавил разгневанный французский рыцарь, - но когда вы натываетесь на красивую новинку, то сразу же присваиваете ее себе". После еще нескольких гневных слов они разошлись, поклявшись, что на следующий день в поединке они подтвердят все свои утверждения.

Как общее правило гласило, что оруженосцы не могут выносить познаний, так и правило, что рыцари должны сражаться только с равными себе.

Ибо рыцари не должны чувствовать ударов

от ничтожных и неравных противников;

Которые, когда рубят и режут на куски,

Делают все с вежливым обращением.

Именно ссылаясь на это правило, Дон Кихот говорит Санчо Пансе: "Друг Санчо, на будущее время, когда ты увидишь, что нас оскорбляют такие низкие люди, ты не должен ожидать, что я предложу им орудовать мечом, ибо я ни в коем случае этого не сделаю; нет, ты сам наказывай их, как считаешь нужным; но если какой-нибудь рыцарь придет, чтобы принять их участие, то я обязательно встану между тобой и опасностью".

Рыцари, как я уже говорил, удостоивались почестей по весьма странным причинам во многих странах, но ни в одной, пожалуй, не по более незначительным, чем во Франции. Можно, пожалуй, исключить Бельгию, ибо там живет рыцарь, получивший рыцарский орден за то, что каждое утро, когда все куры, кроме его, в пригородной деревне Лакен перестали нести яйца, он проявлял приятную галантность, подавая их к столу покойной королевы!

Дюма в своем "Сальвандире" сатирически иллюстрирует, как во времена Людовика XIV из рыцарей делали рыцарей. Герой этого лихого романа оказывается пленником в тюрьме форта Эвек, а поскольку король не дает ему разрешения на выход, он решает уйти без разрешения. Он предпринимает эту попытку ночью, спускается из окна в темноте, зацепляется бедром за колышек и в конце концов попадает в камеру и на койку в стенах тюрьмы. На следующий день к нему приходит губернатор и расспрашивает о мотивах его опасного предприятия. Любопытство доброго губернатора объясняется исключительно желанием выведать у заключенного, что его желание сбежать не было вызвано недовольством какими-либо тюремными порядками, будь то дисциплина или питание. Пленник подписывает соответствующее свидетельство, добавляя, что единственным мотивом, побудившим его попытаться освободиться, было то, что он никогда не делал ничего такого, что заслуживало бы того, чтобы его держали под стражей. Через несколько дней после этого губернатор сообщает затворнику, что свидетельство последнего произвело отличный эффект. Роже полагает, что благодаря ей он получил свободу; но губернатор благодушно замечает, что это даже лучше, и что король, в знак признания строгого характера губернаторского надзора, пожаловал ему кавалера ордена Святого Людовика. Если бы всем заключенным удалось бежать, как почти Роже, губернатора, вероятно, сделали бы кавалером Святого Духа! У короля Франции было много таких верных слуг; но история дает много примеров более верной верности, чем эта; особенно старые романы и легендарные истории - примеры верности даже после смерти; но, хотя в этих хрониках может быть много более романтического, я сомневаюсь, что есть хоть одно столь трогательное доказательство верности, которое рыцарственный гражданин, сэр Томас Мотис, дал о своей привязанности к лорду Бэкону, которому этот древний слуга великого юриста воздвиг памятник на свои собственные средства. Хамонд Лестрейндж рассказывает о любопытном инциденте, чтобы показать, что эти двое не разделились даже после смерти. "Сэр Томас, - говорит Лестранж, - не был ближе к нему живым, чем мертвым; ибо этот сэр Томас закончил свою жизнь примерно через десяток лет после смерти, и ему выпал жребий быть погребенным так близко к могиле своего господина, что при создании его могилы часть тела виконта была выставлена на обозрение; будучи замеченным доктором медицины, он потребовал отдать ему голову; и самым постыдным образом развлекался с этим черепом, который в свое время был материком столь обширных сокровищ знаний."

Другие рыцари были прославлены за другие качества. Так, сэр Юлий Цезарь никогда не слышал проповедей епископа Хакетта без того, чтобы не послать ему часть денег. И действительно, добрый рыцарь никогда не слышал, чтобы какой-нибудь проповедник произносил проповедь, не прислав ему денег, пару перчаток или какой-нибудь другой небольшой подарок. Он не желал, по его словам, слушать Слово Божье безвозмездно.

Другие рыцари заботились не столько о том, чтобы облагодетельствовать проповедников, сколько о том, чтобы самим стать создателями или объяснителями доктрин. Так, шевалье Рамсей считал, что Адам и Ева породили в Раю весь род человеческий, члены которого пали вместе со своими создателями; таким образом шевалье обрел в доступной форме "великую, древнюю и светлую доктрину нашего сосуществования с нашими первыми родителями". Шевалье считал, что, преподавая эту доктрину, он выращивает растения для нового Рая; но он не был и вполтину так полезен, как некоторые братья-рыцари, которые практически занимались растениеводством. Мы можем привести в пример сэра Джона Сент-Обина, который в 1723 году завез платаны в Корнуолл, и сэра Энтони Эшли, рыцаря из Дорчестера, который пользуется репутацией человека, завезшего капусту в Англию примерно в середине XVI века.

В противовес этим полезным рыцарям передо мной встает личность некогда знаменитого шевалье де Лоренци, и о нем я сейчас скажу несколько слов в заключение моего разношерстного тома.

Возможно, банальнейшая из банальностей - сказать, что людей отличают различные качества; но это один из самых странных, если не самый новый из парадоксов, что один и тот же человек должен быть примечателен наделенными самыми противоположными качествами. Эксцентричный рыцарь, чье имя и титул я привел выше, является, однако, иллюстрацией того факта, что человек может быть одновременно глуп и остроумен. Именно своей глупостью прославился Лоренци, глупостью, которая вызывала смех. Тем не менее, я должен сказать от имени брата некогда знаменитого министра Франции при флорентийском дворе во времена Людовика XV, что его глупость так часто выглядит как остроумие, что заставляет поверить, что это был юмор, слишком изысканный для его слушателей, чтобы оценить его.

Каким бы острым ни был Гримм, он, кажется, недооценил шевалье в этом отношении. Этот литературный министр-полномочный герцога Саксен-Готского мог видеть в шевалье только самые необыкновенные оригиналы. В то же время он признает высокое чувство чести Лоренци, его откровенный и мягкий дух. Шевалье был напичкан научными знаниями, но так путано, что, по словам Гримма, никогда не мог объясниться внятно и не вызывал криков смеха у слушателей. Мадам де Жоффрен, сравнивая шевалье с некрасивым месье де Бурины, говорила, что тот неловок телом, а Лоренци неловок умом. Поскольку последний никогда не говорил без, по крайней мере, атмосферы глубокого размышления, да еще и с пикантным флорентийским акцентом, его ошибки были более приятны. Я не думаю, что он сильно заблуждался, когда в Лионе его представили месье де ла Мишодьеру, в компании которого он обедал в резиденции коменданта города. Старый знакомый обратился к этому господину как *Le Michaudière*, а Лоренци, приняв его за *L'Ami Chaudière*, упорно называл высокопоставленного чиновника по имени *Monsieur Chaudière*, что для гордого *интенданта* Лиона, должно быть, было так же плохо, как если бы шевалье подтвердил, что отец *интенданта* был мангальщиком.

Он был гораздо более счастлив, по случайности или по умыслу, не могу сказать, на последующем ужине в доме месье де ла Мишодьера. За столом сидел месье ле Норман, муж мадам де Помпадур, находившейся тогда на пике своей блестящей славы. Лоренци, услышав от соседа в ответ на вопрос, что этот господин - супруг дамы, о которой идет речь, сразу же обратился к нему как к месье де Помпадур, что было настолько суровым оскорблением, насколько мог бы выдержать муж такого положения.

Этот почтенный шевалье явно не был религиозным человеком, но среди рыцарей и других выдающихся личностей во Франции и других странах в тот период, о котором я рассказываю, эти два термина были совершенно разными и не имели необходимой связи. Так, одна дама, обратившаяся к Лоренци однажды воскресным утром, до одиннадцати часов, в конце их беседы предложила пойти с ним на мессу. "Они все еще празднуют мессу?" - спросил шевалье с изумлением. Поскольку он не посещал мессу уже пятнадцать лет, Гримм серьезно утверждает, что флорентиец вообразил, будто ее больше не празднуют. "Тем более, - добавляет эпистолярный барон, - что, поскольку он никогда не выходил раньше двух часов, он уже не помнил, видел ли он открытую церковную дверь".

Шевалье, кавалер ордена Святого Стефана Тосканского, вышедший из состава французской армии в чине полковника после завоевания Менорки, проявлял большую склонность к

абстрактным наукам. Он изучал геометрию и астрономию и имел привычку, по словам Гримма, измерять события жизни и сводить их к геометрической величине. Поскольку он был задумчив, то чаще отвечал на заумные вопросы собственного мозга, чем на вопросы собеседников. Гримм, сказав, что рыцаря Святого Стефана поражала только истинная или ложная сторона вопроса, и никогда - его приятная или забавная сторона, иллюстрирует свое высказывание анекдотом, в котором многие не смогут найти ничего примечательного. Гримм встретил его у мадам Жеффрин после возвращения из поездки по Италии. "Я видел, как он погружал свои чувства в генеалогию двух дам, в обществе которых он проводит свою жизнь и которые носят одно и то же имя, хотя и принадлежат к разным семьям. Мадам Жоффрен попыталась вытащить его из этих генеалогических ловушек, заметив ему: "В самом деле, шевалье, вы уже в преклонном возрасте. Это хуже, чем когда-либо". "Мадам, - ответил шевалье, - жизнь так коротка!" Гримм считает, что поступил бы несправедливо по отношению к потомкам, если бы не записал этот ответ для будущих учеников лаконичного остроумия. И снова: - Гримм показывает нам шевалье, идущего с месье де Сен-Ламбером в сторону Версаля. По дороге тот спросил его о возрасте. "Мне шестьдесят", - ответил рыцарь. "Я не думал, что вы такой старый", - ответил его друг. "Ну, - ответил шевалье, - когда я говорю "шестьдесят", я действительно еще не так стар, но..." "Но сколько же вам лет на самом деле?" - спросил его собеседник. "Пятьдесят пять, точно; но почему бы мне не приучить себя менять свой возраст каждый год, как я меняю свою рубашку?"

Однажды он похвалил фигуру одной дамы, но вместо того, чтобы сказать, что она похожа на нимфу, он сказал, что ее фигура напоминает фигуру мадемуазель Аллард. "О! - воскликнул Гримм, - вам не повезло, шевалье, в вашем сравнении. Мадемуазель Аллард можно заслуженно восхвалять за многие качества, но никому и в голову не придет восхвалять ее фигуру". "Вполне вероятно, - сказал Лоренци, - ибо я не знаю, да и не видел ее никогда; но поскольку все говорят о мадемуазель Аллард, я подумал, что могу поговорить и о ней".

Если в этом и была сатира, то не столь тонкая, как та, что он продемонстрировал у мадам Греффон, где он проводил вечер с Гриммом и д'Алембером. Последние двое сидели и беседовали. Лоренци стоял позади них, привалившись спиной к каминной трубе, и едва мог держать голову, настолько его одолевало желание спать. "Шевалье, - сказал Гримм, - вы, должно быть, находите наш разговор ужасно скучным, поскольку засыпаете, когда стоите на ногах". "О, нет!" - воскликнул шевалье, - "вы же видите, я засыпаю, когда мне вздумается". Наивность, с которой он намекал, что ему больше нравится спать, чем слушать светскую беседу остроумца и философа, была выражена с восхитительной деликатностью.

Гримм приводит несколько его *непоследовательных* замечаний. Однажды он пренебрежительно отозвался о шахматных познаниях месье де Сен-Ламбера. "Вы забываете, - сказал тот, - что я выиграл пятнадцать луидоров против ваших тридцати су во время нашей кампании на Менорке". "О, да, - ответил рыцарь, - но это было к концу осады!"

Именно во время этой осады он часто ходил в окопы со своими астрономическими приборами, чтобы вести наблюдения. Однажды он вернулся в свою каюту без приборов, оставив их в траншеях. "Их наверняка украли", - сказал один из друзей. "Этого не может быть, - ответил Лоренци, - ведь я оставил с ними свои часы".

И все же этот "смятенный" рыцарь стал причиной, отдаленной причиной, гибели адмирала Бинга. Совершенно случайно в своей каюте на Менорке он обнаружил книгу сигналов, которыми пользовался английский флот. Он поспешил с ней к принцу де Бобо, который, в свою очередь, поспешил представить ее маршалу де Ришелье. Командиры едва ли могли

поверить в свою удачу, но когда начался морской бой, стало ясно, что англичане в точности соблюдают эту систему сигналов. Зная это, можно было легко предугадать все их маневры, и они были вынуждены с позором удалиться, за что Байнг был вынужден поплатиться своей смертью. Шевалье никогда не думал просить о награде, а его правительство совершенно забыло о ней.

Собираясь сопровождать месье де Мирепуа, назначенного посольством в Лондон, он так тщательно упаковал свои вещи, что только после их отправки обнаружил, что не оставил себе для путешествия ничего, кроме рубашки и халата, которые носил, пока избавлялся от остального гардероба.

Он жил в небольшой квартире в Люксембурге, как люди подобного ранга и небольшого достатка живут в королевском дворце в Хэмптон-Корте. Однажды, спускаясь по лестнице, он поскользнулся и сломал себе нос. Оглядевшись в поисках причины несчастного случая, он заметил на ступенях беловатую жидкость; позвав портье, он отчитал его за то, что тот позволил этой мыльной воде остаться на лестнице. "Это *ячменная* вода, - сказал портье, - которую пролил официант из кафе, когда нес ее с собой". "О! Если это так, - ответил шевалье мягким тоном, поднеся руку к изуродованному носу, - если это так, то это я виноват".

Гримм, подводя итог его характеру, добавляет, что он был богат карманными носовыми платками больше, чем любой другой человек. Поскольку его квартира находилась под самой крышей дворца, а он почти каждый день, выходя из дома, забывал взять с собой носовой платок, ему было легче купить новый, чем подниматься в свою комнату и доставать старый. Соответственно, у одного торговца, живущего по соседству, каждый день был готов свежий носовой платок.

История эксцентричных рыцарей сама по себе заняла бы целый том. На этом я закончу, поблагодарив читателей, которые оказали мне честь, просмотрев хоть часть страниц, посвященных иллюстрациям рыцарства, и добавив замечание Джонсона, который говорит, касаясь уважения, оказываемого тем, кто носит оружие: "Морская и военная профессии имеют достоинство опасности, и что люди почитают тех, кто преодолел страх, который является столь общей слабостью".

КОНЕЦ.

ПУБЛИКАЦИИ РЕДФИЛДА

ПОЭЗИЯ И ДРАМА.

Произведения Шекспира, перепечатанные с недавно обнаруженного экземпляра фолио 1632 года, хранящегося у Дж. Пейна Кольера, с многочисленными иллюстрациями. Один том. Императорский 8vo. Сукно, \$4; овчина, \$4 25; полусафьян, обычный, \$5 00; мраморный обрез, \$5 50; полутеленок или сафьян экстра, \$6 00; полный сафьян, старинный, \$7 00.

То же, что и выше, дешевое издание, ткань, \$3 00; овчина, \$3 50; имитация сафьяна, полная позолота, \$4 00.

The Works of Shakespeare, то же, что и выше. Единое по размеру со знаменитым Чисвикским изданием, 8 томов. 16мо, ткань, \$6 00; полутеленок или сафьян, обычный, \$10 00; полутеленок или сафьян, дополнительный, \$12 00.

Notes and Emendations of Shakespeare. Примечания и поправки к тексту пьес Шекспира, сделанные на основе ранних рукописных исправлений в копии фолио 1632 года, хранящейся у Джона Пейна Кольера, Ф. С. А. Третье издание, с факсимиле рукописных исправлений. 1 том, 12мо., ткань. Цена 1 доллар 50 центов.

Лилян и другие стихотворения. Уинтроп Макворт Прайд. Первое собрание. 1 том, 12мо. Цена 1 00 долларов.

Рассказы о шотландских кавалерах. Уильям Э. Эйтун, профессор литературы и литературы в Эдинбургском университете и редактор журнала "Блэквуд". 1 том, 12мо, ткань. Цена 1 доллар 00 центов.

Firmilian; a Spasmodic Tragedy. Автор Т. Перси Джонс [У. Э. Эйтун]. Цена 50 центов.

Книга баллад. By Bon Gaultier. 1 том. 12мо, ткань. Цена 75 центов.

Поэтические произведения Фиц-Грина Халлека. Новое и единственное полное издание, содержащее несколько новых стихотворений, а также многие впервые собранные. 1 том, 12мо. Цена 1 00 долларов.

Поэтические произведения Симмса. Поэмы: Описательные, драматические, легендарные и созерцательные. Автор Вм. Гилмор Симмс. С портретом на стали. 2 тома, 12мо, ткань. Цена 2 доллара 50 центов.

Лири и другие поэмы. Алиса Кери. 1 том, 12мо, ткань. Цена 75 центов.

Поэтические произведения У. Х. К. Хосмера. Первое собрание сочинений. С портретом на стали. 2 тома, 12мо. Цена 2 доллара 00 центов.

Шотландские песни, баллады и поэмы. Хью Эйнсли, автор книг "Инглсайд", "На тартане", "Ровер из Лох-Райана" и др. 1 том, 12мо. Цена 1 доллар 00 центов.

Поэты и поэзия Ирландии. 1 том, 8vo, с пластинами. Edited by Dr. R. Shelton Mackenzie. [В печати.]

Oliatta, and other Poems. By Howard H. Caldwell. 12мо, ткань. Цена 1 доллар 00 центов.

ИСТОРИЯ И БИОГРАФИЯ

Древний Египет при фараонах. Джон Кенрик, М. А. В 2-х томах, 12мо. Цена \$2 50.

Newman's Regal Rome. Введение в римскую историю. Фрэнсис В. Ньюман, профессор латинского языка в Университетском колледже Лондона. 12мо, ткань. Цена 63 цента.

Катакомбы Рима как иллюстрация церкви первых трех веков. Преподобный У. Инграхам Кип, доктор философии, епископ-миссионер Калифорнии. Автор книг "Рождественские праздники в Риме", "Ранние конфликты христианства" и т. д., и т. п. С более чем 100 иллюстрациями. 12мо, ткань. Цена 75 центов.

История крестовых походов. Жозеф Франсуа Мишо. Перевод В. Робсона. 3 тома, 12мо, карты. Цена 3 доллара 75 центов.

Napoleon in Exile; or, a Voice from St. Helena. Мнения и размышления Наполеона о важнейших событиях его жизни и правления, изложенные его собственными словами. Барри Э. О'Меара, его покойного хирурга; с портретом Наполеона, выполненным по знаменитой картине Делароша, и видом острова Святой Елены, прекрасно гравированным на стали. 2 тома, 12мо, ткань. Цена 2 доллара 00 центов.

Кампания Жомини при Ватерлоо. Политическая и военная история кампании при Ватерлоо, переведенная с французского генералом бароном Жомини. Лейтенант С. В. Бенет, Орднанс США, с картой. 12мо, ткань. Цена 75 центов.

Napier's Peninsular War. История войны на полуострове и на юге Франции с 1807 по 1814 год. У. Ф. П. Напьер, К. Б., полковник 43-го полка и т. д. Полный комплект в 1 томе, 8vo. Цена 2 доллара 50 центов.

Napier's Peninsular War. История войны на полуострове и на юге Франции с 1807 по 1814 год. У. Ф. П. Напье, К. Б., полковник 43-го полка и т. д. В 5 томах, 12мо, с портретами и планами. Цена \$6 25. [В печати.]

Discovery and Exploration of the Mississippi Valley. С оригинальными рассказами Маркетта, Аллуэза, Мембре, Эннепина и Анастаса Дуэ. By John Gilmary Shea. С факсимиле оригинальной карты Маркетта. 1 том, 8vo, ткань, антиквариат. Цена \$2.

Narrative of a Voyage to the Northwest Coast of America, in the Years 1811-'12-'13 and 1814; or, the First Settlement on the Pacific. Габриэль Франшер. Перевод и редакция Дж. В. Хантингтона. 12мо, ткань. Пластины. Цена 1 доллар 00 центов.

Лас Касес "Наполеон". Мемуары о жизни, изгнании и беседах императора Наполеона. Граф Лас Казес. С портретами на стали, гравюрами на дереве и т.д. 4 тома, 12мо, ткань, \$4 00; полутеленок или сафьян дополнительно, \$8 00.

Life of the Rt. Hon. John Philpot Curran. Его сын, Вм. Генри Курран; с примечаниями и дополнениями д-ра Р. Шелтона Маккензи и портретом на стали. 12мо, ткань. Цена 1 доллар 25 центов.

Очерки ирландской адвокатуры. By the Right Hon. Richard Lalor Sheil, M. P. Edited, with a Memoir and Notes, by Dr. R. Shelton Mackenzie. Fourth Edition. В 2 томах. Цена 2 доллара 00 центов.

Очерки Баррингтона. Личные зарисовки его собственного времени. Сэр Джона Баррингтон, судья Высокого адмиралтейского суда в Ирландии; с иллюстрациями Дарли. Третье издание. 12мо, ткань. Цена 1 доллар 25 центов.

Moore's Life of Sheridan. Мемуары о жизни почтенного Ричарда Бринсли Шеридана. By Thomas Moore; with Portrait after Sir Joshua Reynolds. 2 тома, 12мо, ткань. Цена 2 доллара 00 центов.

Men of the Time, or Sketches of Living Notables, Authors, Architects, Artists, Composers, Demagogues, Divines, Dramatists, Engineers, Journalists, Ministers, Monarchs, Novelists,

Politicians, Poets, Philanthropists, Preachers, Savans, Statesmen, Travellers, Voyagers, Warriors. 1 том, 12мо. Содержит около девятисот биографических очерков. Цена 1 доллар 50 центов.

Lorenzo Benoni; or, Passages in the Life of an Italian. Под редакцией друга. 1 том, 12мо. 1 00 долларов.

Путь рабочего в мире. Автобиография подмастерья печатника. Чарльз Мэнби Смит, автор "Курьезов лондонской жизни". 12мо, ткань. Цена 1 доллар 00 центов.

Классические и исторические портреты. Джеймс Брюс. 12мо, ткань. Цена \$1 00.

Ladies of the Covenant. Мемуары выдающихся шотландских женщин, охватывающие период Завета и гонений. Рев. Джеймс Андерсон. 1 том, 12мо. Цена 1 25 долларов.

Подавленные письма Тома Мура. Заметки из писем Томаса Мура к его музыкальному издателю Джеймсу Пауэру (публикация которых была подавлена в Лондоне), со вступительным письмом Томаса Крофтона Крокера, эсквайра, Ф. С. А. С четырьмя гравюрами на стали. 12мо, ткань. Цена 1 доллар 50 центов.

Fifty Years in Both Hemispheres; or, Reminiscences of a Merchant's Life. Винсент Нолте. 12мо. Цена 1 25 долларов. (Восьмое издание.)

Мужчины и женщины восемнадцатого века. Арсен Уссэ. С прекрасно гравированными портретами Людовика XV и мадам де Помпадур. 2 тома, 12мо, 450 страниц в каждом, очень тонкая бумага. Цена 2 доллара 50 центов.

Философы и актрисы. Арсен Уссэ. С прекрасно гравированными портретами Вольтера и мадам Парабер. 2 тома, 12мо. Цена 2 50 долларов.

Жизнь достопочтенного Уильяма Х. Сьюарда с подборками из его произведений. Под редакцией Джорджа Э. Бейкера. 12мо, ткань. Портрет. Цена \$1 00.

История Техаса с момента его заселения в 1685 году до присоединения к Соединенным Штатам. Автор Х. Йоакум, эсквайр, адвокат Техаса; с портретами, картами и планами. 2 тома, 8во, ткань или овчина. Цена \$5 00. [В печати.]

История луизиано-испанского господства. By Charles Gayarre. 8во, ткань. Цена \$2 50.

История Луизианы и французского господства. Чарльз Гайарр. 2 тома, 8во, ткань. Цена \$3 50.

Жизнь П. Т. Барнума, написанная им самим; в которой он рассказывает о своей ранней истории клерка, торговца и редактора, а также о своей дальнейшей карьере шоумена. С портретом на стали и многочисленными иллюстрациями Дарли. 1 том, 12мо. Цена 1 доллар 25 центов.

A Memorial of Horatio Greenough, consisting of a Memoir, Selections from his Writings, and Tributes to his Genius, by Henry T. Tuckerman, Author of "Sicily, a Pilgrimage", "A Month in England," &c., &c., &c. 12мо, ткань. Цена 75 центов.

Minnesota and its Resources; to which are appended Camp-Fire Sketches, or Notes of a Trip from St. Paul to Pembina and Selkirk Settlements on the Red River of the North. Автор Дж. Уэсли Бонд. С новой картой территории, видом Сент-Пола и одним из водопадов Сент-Энтони. 1 том, 12мо, ткань. Цена 1 доллар 00 центов.

Частная жизнь восточного короля. Членом семьи его покойного величества Нуссир-у-Дина, короля Уде. 12мо, ткань. Цена 75 центов.

Doran's Queens of England. Королевы Англии из Ганноверского дома. Д-р Доран, автор книг "Застольные черты", "Привычки и люди" и др. 2 тома, 12мо, ткань. Цена 2 доллара 00 центов.

ПУТЕШЕСТВИЯ И СТРАНСТВИЯ.

Японская экспедиция США. Япония и вокруг света. Отчет о трех визитах в Японскую империю с очерками о Мадейре, острове Святой Елены, мысе Доброй Надежды, Маврикии, Цейлоне, Сингапуре, Китае, Лоо Чу и т. д., с 1852 по 1855 год. Дж. У. Сполдинг, клерк капитана флагманского корабля "Миссисипи". 1 том, 12мо, с иллюстрациями. Ткань. Цена 1 доллар 25 центов.

Cosas de España. (Странные вещи Испании.) Отправляемся в Мадрид через Барселону. 12мо, ткань. Цена 1 00 долларов.

Месяц в Англии. Генри Т. Такерман, автор книг "Сицилия, паломничество", "Оптимист" и др. 12мо, ткань. Цена 75 центов.

Сицилия, паломничество, Генри Т. Такерман, автор "Месяца в Англии" и т.д., и т.п. 12мо, ткань. Цена 75 центов.

A Tennessean Abroad; or, Letters from Europe, Asia, and Africa. Рэндалл В. МакГавок, член коллегии адвокатов Нэшвилла, А. М., L. L. B. 12мо, ткань. Цена 1 доллар 00 центов.

Жизнь в миссии, лагере и зенане. By Mrs. Colin Mackenzie. 2 тома, 12мо, ткань. Цена 2 доллара 00 центов.

Русские берега Черного моря с путешествием вниз по Волге и поездкой по стране казаков. Лоуренс Олифант, автор "Путешествия в Непаул". Четвертое издание. 12мо, ткань. Две карты и восемнадцать разрезов. Цена 75 центов.

A Year with the Turks; or, Sketches of Travel in the European and Asiatic Dominions of the Sultan. Уоррингтон У. Смит, А. М. С цветной этнологической картой Турецкой империи. Третье издание. 12мо, ткань. Цена 75 центов.

Русско-турецкие кампании 1828 и 1829 годов. С обзором нынешнего положения дел на Востоке. Полковник Чесни, Р.А., Д.К.Л., Ф.Р.С., автор экспедиции по исследованию рек Евфрат и Тигр. С приложением, содержащим дипломатическую переписку четырех держав и секретную переписку между русским и английским правительствами. 1 том, 12мо, ткань; карты. Цена 1 доллар 00 центов.

Белое, красное и черное. Зарисовки американского общества во время визитов их гостей. Фрэнсис и Тереза Пульски. 2 тома, 12мо, ткань. Цена \$2 00.

Хроника Черноводной: Повествование об экспедиции в землю Ханаан, в округе Рэндольф, штат Вирджиния, страну, изобилующую дикими животными, такими как пантеры, медведи, волки, лоси, олени, выдры, барсуки и т. д., и т. п., с бесчисленным количеством форели, предпринятой пятью отважными джентльменами без какой-либо помощи со стороны правительства и исключительно на собственные средства, летом 1851 года. Автор: "Клерк из Оксенфорда". С иллюстрациями из жизни, выполненными Стротером. 12мо, ткань. Цена 1 доллар 00 центов.

НАУКА И ИСКУССТВО.

Гриском о вентиляции. Использование и злоупотребление воздухом, его влияние на поддержание жизни и возникновение болезней с замечаниями о вентиляции домов и лучших методах обеспечения чистой и здоровой атмосферы внутри жилищ, церквей, мастерских и т. д. Джон Х. Гриском, доктор медицины. 1 том, 12мо. Цена 75 центов.

Бронхит и родственные заболевания. На языке, адаптированном для обычных читателей. У. У. Холл, доктор медицины. 1 том, 12мо. Цена 1 00 долларов.

Боденхамер о болезнях прямой кишки. Практические наблюдения над некоторыми болезнями прямой кишки, ануса и продолговатого кишечника с указанием их природы, места, причин, симптомов, последствий и профилактики; специально для читателей, не являющихся врачами. В. Боденхамер, доктор медицины. Второе издание, с рисунками и т. д. В 1 томе, 8vo, ткань. Цена 2 доллара 00 центов.

Сравнительная физиогномика, или Сходство между людьми и животными. Дж. В. Редфилд, доктор медицины. 1 том, 8vo, с несколькими сотнями иллюстраций. Цена 2 доллара 00 центов.

Эпизоды из жизни насекомых. По *Acheta Domestica*. В трех сериях: -1. Насекомые весны. 2. Насекомые лета. 3. Насекомые осени. Прекрасно иллюстрированные. Crown 8vo, ткань, позолота, \$2 00 за штуку. То же самое, красиво раскрашенное с натуры, с дополнительной позолотой, по \$4 00 за штуку.

Рассказы о колдовстве и магии из самых достоверных источников. Томас Райт, А. М., и др. 1 том, 12мо. Цена 1 25 долларов.

Ночная сторона природы; или Призраки и призрачные соглядатаи. By Catharine Crowe. 1 том, 12мо. Цена 1 доллар 00 центов.

Искусство и промышленность, представленные на выставке в Хрустальном дворце в Нью-Йорке. Показывает прогресс и состояние различных полезных и эстетических занятий. Из "Нью-Йорк Трибьюн". Пересмотрено и отредактировано Горацием Грили. 12мо, ткань, тонкая бумага, 1 00 долларов. Бумажные обложки, 50 центов.

Американская книга для рисования Чепмена. Американская книга по рисованию, предназначенная для школ, академий и самообразования. Джон Г. Чепмен, Н. А. Издано три части. Цена 50 центов за каждую. [Часть IV. в печати.]

История и поэзия перстней. Чарльз Эдвардс, эсквайр, адвокат. С иллюстрациями, 12мо, ткань. Цена 1 доллар 00 центов.

BELLES-LETTRES.

Revolutionary Tales, by Wm. Gilmore Simms, Esq. Новое и пересмотренное издания, с иллюстрациями Дарли.

The Partisan; A Romance of the Revolution. 12мо, ткань. Цена 1 доллар 25 центов.

Mellichampe; A Legend of the Santee. 12мо, ткань. Цена \$1 25.

Katharine Walton; or, The Rebel of Dorchester. 12mo, ткань. Цена \$1 25.

Скаут; или Черные всадники Конгари. 12mo, ткань. Цена \$1 25.

Woodcraft; or, The Hawks about the Dovecote. 12mo, ткань. Цена \$1 25.

The Forayers; or, The Raid of the Dog-Days. Новый революционный роман. 12mo, ткань. Цена 1 25 долларов.

Ютау. Новый революционный роман. 12mo, ткань. Цена 1 25 долларов.

Simms's Border Romances of the South, New and Revised Editions, with Illustrations by Darley. Унифицировано с "Революционными рассказами" Симмса.

I. Гай Риверс. A Tale of Georgia. 12mo, ткань. Цена 1 доллар 25 центов.

II. Ричард Хёрдис. Повесть об Алабаме. 12mo, ткань. Цена 1 25 долларов.

III. Пограничные бигли. Повесть о Миссисипи. 12mo, ткань. Цена 1 25 долларов.

IV. Чарльмонт. Повесть о Кентукки. 12mo, ткань. Цена 1 25 долларов.

V. Beauchampe; or, The Kentucky Tragedy. 12mo, ткань. Цена 1 25 долларов.

VI. Исповедь, или Слепое сердце. 12mo, ткань. Цена 1 25 долларов.

The Yemassee; A Romance of South Carolina. By Wm. Gilmore Simms, Esq. 12mo, ткань. Цена 1 25 долларов.

На юг, к солнцу! Вм. Гилмор Симмс, эск. 12mo, ткань. Цена 1 25 долларов.

The Noctes Ambrosianæ. Профессор Уилсон, Дж. Г. Локхарт, Джеймс Хогг и доктор Магинн. Под редакцией д-ра Р. Шелтона Маккензи, с воспоминаниями и примечаниями. В 5 томах. Цена \$5 00.

The Odoherly Papers; составляющие первую часть Miscellaneous Writings покойного доктора Магинна. С оригинальным мемуаром и обширными примечаниями д-ра Р. Шелтона Маккензи. 2 тома. Цена 2 доллара 00 центов.

The Shakespeare Papers, and the Homeric Ballads; forming Vol. III. of the Miscellaneous Writings of the late Dr. Maginn. Edited by Dr. R. Shelton Mackenzie. [В печати.]

Ключья Бларни. Доктор Р. Шелтон Маккензи, редактор "Очерков ирландской адвокатуры", "Noctes Ambrosianæ" и др. 12mo, ткань. Цена 1 доллар 00 центов.

Застольные черты. Доктор Доран, автор книги "Привычки и люди" и др. 12mo, ткань. \$1 25.

Привычки и люди. Доктор Доран, автор книг "Застольные черты", "Английские королевы под властью Ганноверского дома". 12mo. Цена \$1 00.

Calavar; The Knight of the Conquest. Роман о Мексике. Покойный доктор Роберт Монтгомери Берд, автор "Ника из леса"; с иллюстрациями Дарли. 12mo, ткань. Цена 1 доллар 25 центов.

Ник из леса, или Джиббенайнайсай. Повесть о Кентукки. Покойный доктор Роберт Монтгомери Берд, автор "Калавара", "Неверного" и др. Новое и переработанное издание с иллюстрациями Дарли. 12mo, ткань. Цена 1 доллар 25 центов.

The Pretty Plate; A New and Beautiful Juvenile. Автор Джон Винсент. С иллюстрациями Дарли. 1 том, 16мо, ткань, позолота. Цена 50 центов; дополнительные позолоченные края 75 центов.

Васконселос. Романтика Нового Света. Фрэнк Купер. 12мо, ткань. Цена 1 доллар 25 центов.

Бродячий янки в Техасе. Филип Пакстон. С иллюстрациями Дарли. Второе издание. 12мо, ткань. Цена 1 доллар 25 центов.

Чудесные приключения капитана Приста. By Philip Paxton. С иллюстрациями Дарли. 12мо, ткань. Цена \$1 00.

Western Characters; being Types of Border Life in the Western States. J. L. M'Connel, Author of "Talbot and Vernon", "The Glenns", &c., &c. С шестью иллюстрациями Дарли. 12мо, ткань. Цена 1 доллар 25 центов.

The Master-BUILDER; or, Life at a Trade. Дэй Келлогг Ли. 1 том, 12мо. Цена 1 00 долларов.

Merrimack; or, Life at the Loom. Дэй Келлогг Ли. 1 том, 12мо. Цена 1 00 долларов.

Произведения Эдгара Аллана По. Полное собрание сочинений в трех томах. С портретом, воспоминаниями Джеймса Рассела Лоуэлла и вступительным очерком Н. П. Уиллиса. Под редакцией Руфуса В. Грисволда. 12мо. Цена \$3 50.

The Cavaliers of England; or, The Times of the Revolutions of 1642 and 1688. Генри Уильям Герберт. 1 том, 12мо. Цена 1 25 долларов.

Рыцари Англии, Франции и Шотландии. Генри Уильям Герберт. 1 том, 12мо. Цена 1 25 долларов.

Шевалье Франции, от крестоносцев до маршалов Людовика XIV. Генри Уильям Герберт. Автор книг "Кавалеры Англии", "Кромвель", "Братья" и т.д. и т.п. 1 том, 12мо. Цена 1 доллар 25 центов.

Marmaduke Wyvil; An Historical Romance of 1651. Генри Уильям Герберт, автор "Английских кавалеров" и т. д., и т. п. Четырнадцатое издание. Пересмотренное и исправленное. Цена 1 доллар 25 центов.

Лес. Дж. В. Хантингтон, автор романов "Леди Алиса", "Альбан" и др. 1 том, 12мо. Второе издание. Цена 1 25 долларов.

Албан; или История молодого пуританина. Автор Дж. В. Хантингтон. 2 тома, 12мо, ткань. Цена \$2 00.

Иса: паломничество. By Caroline Chesebro'. 1 том, 12мо, ткань. Цена 1 доллар 00 центов.

Дети Света. Кэролайн Чезебро', автор книг "Иса, паломничество", "Страна грез при свете дня" и др. 12мо, ткань. Цена 1 доллар 00 центов.

Dream-Land by Daylight: Панорама романтики. By Caroline Chesebro'. Иллюстрации Дарли. 1 том, 12мо. Цена \$1 25.

Кloverнук; или, Воспоминания о наших соседях на Западе. Элис Кэри. Иллюстрировано Дарли. Первая и вторая серии. Четвертое издание. 2 тома, 12мо. Цена \$2 00.

Naгар; A Story of To-Day. Алиса Кэри, автор книг "Кloverнук", "Лира и другие стихи" и др. 1 том, 12мо. Цена \$1 00.

Cap-Sheaf, a Fresh Bundle. Льюис Миртл. 1 том, 12мо, ткань. Цена 1 доллар 00 центов.

Молодость Джефферсона; или Хроника колледжа в Вильямсбурге, штат Вирджиния, 1764 год. Ткань. Цена 75 центов.

Сказки и традиции Венгрии. By Theresa Pulszky. С портретом автора. 1 том. Цена 1 доллар 25 центов.

Львиная шкура и охота на влюбленных. Шарль де Бернар. 12мо. Цена \$1 00.

Изи Уоррен и его современники: Наброски для домашнего кружка. Уильям Тернер Коггешолл. Цена \$1 00.

Вы слышали о них: очерки о государственных и политических деятелях, художниках, композиторах, инструменталистах и вокалистах, авторах и писательницах. By Q. With Portraits on Steel of Horace Vernet and Julia Grisi. 12мо, ткань. Цена 1 доллар 00 центов.

Сатира и сатирики. Джеймс Ханней. 12мо, ткань. Цена 75 центов.

Полное доказательство служения. Преподобный Джон Н. Нортон. 12мо, ткань. Цена 75 центов.

Dickens's Little Folks, в серии томов 18мо, с иллюстрациями, аккуратно переплетенных в сукно. Цена 38 центов.

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Маленькая Нелл. | 4. Флоренс Домби. |
| 2. Оливер и еврей Фейгин. | 5. Смайк. |
| 3. Маленький Пол. | 6. Жена ребенка. |

Это серия томов, которая была предпринята с целью восполнить недостаток в классе книг для детей, отличающихся энергичным, мужественным тоном в сочетании с простым и лаконичным способом повествования. В качестве основы были выбраны произведения Чарльза Диккенса, поскольку он прекрасно изобразил детей и их интересы - качества, благодаря которым его книги прочно закрепились в сердцах родителей. С этой точки зрения карьера маленькой Нелл и ее дедушки, Оливера, маленького Пола, Флоренс Домби, Смайка и Жениного ребенка была отделена от большой массы материалов, с которыми они были первоначально связаны, и представлена *на языке автора* новому классу читателей, для которых этот небольшой том, мы не сомневаемся, будет столь же привлекательным, как и большие оригиналы, так давно доказавшие свою ценность для широкой публики.

ИЗОБРЕТЕНИЯ.

The Works of the Honorable William H. Seward, with a Memoir, Portrait and other Engravings on steel. 3 тома, 8vo. Цена за том, ткань, \$2 50; полутеленок, \$3 75; полный теленок, экстра, \$4 50.

Изучение слов. Р. К. Тренч, доктор философии, профессор богословия в Королевском колледже в Лондоне. 1 том, 12мо. Цена 75 центов.

Об уроках притч. Р. К. Тренч, доктор философии, автор книги "Исследование слов". 12мо, ткань. Цена 50 центов.

Синонимы Нового Завета. Р. К. Тренч, доктор философии, автор книг "Исследование слов", "Уроки притч" и т. д., и т. п. Третье издание, переработанное и дополненное. 12мо, ткань. Цена 75 центов.

Английский язык, прошлое и настоящее. Рев. Ричард Ченевикс Тренч, доктор философии. 12мо. Цена 75 центов.

Macaulay's Speeches. Речи достопочтенного Т. Б. Маколея, М. П., автора "Истории Англии", "Жизни Древнего Рима" и т. д., и т. п. 2 тома, 12мо. Цена \$2 00.

Речи Мигера. Речи о законодательной независимости Ирландии, со вступительными заметками. Томас Фрэнсис Мигер. 1 том, 12мо, ткань. Портрет. Цена 1 доллар 00 центов.

Lectures and Miscellanies. Генри Джеймс. 1 том, 12мо, ткань. Цена \$1 25.

Персонажи Евангелия, иллюстрирующие этапы развития характера в наши дни. Рев. Э. Х. Чэпин. 1 том, 12мо. Цена 50 центов.

Ballou's Review of Beecher. The Divine Character Vindicated. Обзор "Конфликта веков". By Rev. Moses Ballou. 1 том, 12мо, ткань. Цена 1 доллар 00 центов.

Теологические очерки Мориса. Теологические очерки. Фредерик Денисон Морис, магистр богословия, капеллан Линкольнс-Инн. Из второго лондонского издания, с новым предисловием и другими дополнениями. 1 том, 12мо, ткань. Цена 1 доллар 00 центов.

Живописная Библия; Ветхий и Новый Заветы в соответствии с Авторизованной версией; иллюстрированная более чем тысячей гравюр, изображающих исторические события с известных картин; пейзажные сцены с оригинальных рисунков или подлинных гравюр; а также предметы естественной истории, костюма и древностей из лучших источников. 1 том, 4то, тисненый переплет. Цена \$6 00.

НОВЫЕ И ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ.

Жизнь при итальянском деспотизме!

ЛОРЕНЦО БЕНОНИ,

ИЛИ

ОТРЫВКИ ИЗ ЖИЗНИ ИТАЛЬЯНЦА

Один том, 12мо, сукно, цена \$1.00.



МНЕНИЯ ПРЕССЫ.

Автор "Лоренцо Бенони" - Джованни Руффини, уроженец Генуи, бежавший из родной страны после попытки революции в 1833 году. Его книга, по сути, является подлинным рассказом о реальных лицах и происшествиях, хотя писатель решил использовать вымышленные и фантастические обозначения для себя и своих единомышленников. С 1833 года Руффини проживал в основном (если не полностью) в Англии и Франции, где его качества, как мы понимаем, обеспечили ему уважение и почтение. В 1848 году он был выбран Чарльзом Альбертом на ответственную должность посольства в Париже, в котором он долгое время жил как беженец. Однако вскоре он отказался от этой должности и снова ушел в частную жизнь. Время своего изгнания в этой стране он, по-видимому, использовал с такой пользой,

что приобрел необыкновенное мастерство владения английским языком. Настоящий том (как нам сообщили авторитетные источники) принадлежит исключительно ему - и если это так, то только с точки зрения стиля он представляет собой замечательный курьез. Но любопытна и его суть" - "Лондонское *квартильное обозрение*" за июль.

"Повесть о печали, долго хранившаяся в богатом сознании, как руины в плодородной стране, и не менее серьезно впечатляющая изяществом и красотой своих покровов... в то же время самый решительный читатель романов не мог бы пожелать более увлекательного произведения, за которым можно было бы забыть о беге времени..... Ни один очерк иностранного угнетения, как мы полагаем, никогда не был представлен английской публике иностранцем, равным или почти равным этому тому по литературным достоинствам. Он недостоин быть причисленным к современным произведениям, чье время года - век, в котором живут их авторы" - "London *Examiner*".

"Книга должна быть прочитана так же широко, как и "Хижина дяди Тома", поскольку в ней рассказывается о существовании рабства и деградации, еще худших, чем те, которые миссис Бичер-Стоу осветила с таким пафосом и чувством."-Bell's *Weekly Messenger*.

"Немногие произведения этого сезона будут прочитаны с большим удовольствием, чем это; есть большое очарование в спокойной, естественной манере повествования."-London *Atlas*.

"Главная сильная сторона автора - рисование характеров. Этот портрет выполнен с замечательным мастерством, черты как индивидуальные, так и национальные отмечены с большой точностью без навязчивости."-London *Spectator*.

"Под скромной личиной биографии воображаемого "Лоренцо Бенони" мы имеем здесь, на самом деле, мемуары человека, чье имя не могло быть произнесено в некоторых частях северной Италии, не вызывая трагических, но благородных исторических воспоминаний ... его достоинства, просто как произведения литературного искусства, очень высокого порядка. Стиль действительно прекрасен - легкий, энергичный, изящный, полный самых счастливых и изобретательных оборотов речи и фантазии" - North *British Review*.

"Это произведение небезосновательно сравнивают с "Гиль Бласом", которому оно едва ли уступает в остроте обрисовки человеческих характеров и в разнообразии событий, о которых повествует. Но как описание реальных событий, иллюстрирующих внутреннее и политическое состояние Италии в период, чреватый интересом для всех слоев читателей, она намного превосходит по значимости любое произведение простого вымысла."-Dublin *Evening Mail*.

Мемуары выдающегося финансиста.

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ

В ОБОИХ ПОЛУШАРИЯХ;

ИЛИ ВОСПОМИНАНИЯ О ЖИЗНИ КОММЕРСАНТА.

Винсент Нолте. 12мо. Цена \$1.25. [Восьмое издание].

Приведенные ниже несколько наиболее выдающихся имен, представленных в этой работе, покажут характер и степень личного и анекдотического интереса, проявленного на ее страницах:.

Аарон Бурр; генерал Джексон; Джон Джейкоб Астор; Стивен Жирар; Ла Файет; Одюбон; Баринги; Роберт Фултон; Дэвид Париш; Сэмюэл Свартвоут; лорд Абердин; Питер К. Вагнер; Наполеон; Поль Деларош; сэр Фрэнсис Чантри; королева Виктория; Гораций Верне; генерал-майор Скотт; мистер Саул; Лафитт; Джон Фрэнсис Чантри; королева Виктория; Гораций Верне; генерал-майор Лафитт; королева Виктория. Сол; Лафит; Джон Куинси Адамс; Эдвард Ливингстон; Джон Р. Гримс; Огюст Давезак; генерал Моро; Гувернер Моррис; Ж. Ж. Оввар; господа Хоуп и Ко; генерал Клайборн; маршал Сульт; Шатобриан; Леруа де Шомон; герцог Веллингтон; Уильям М. Прайс; П. К. Лабушер; Ингр; Карл VI, Испании; маршал Блюхер; Николас Биддл; Мануэль Годой; Виллель; лорд Элдон; император Александр и т.д. и т.п.

"Он редко смотрит на светлую сторону персонажа и очень любит - признаюсь в этом - немного скандалить. Но он хорошо рисует, хорошо описывает, подхватывает характеристики, которые делают ясным для читателя характер человека, которого они иллюстрируют".

Мемуары человека с необычайно авантурным и умозрительным складом ума, который рано начал заниматься мужскими делами и сохранил свою энергию до конца; был очевидцем не одного из важных событий, произошедших в Европе и Америке между 1796 и 1850 годами, и сам был участником более чем одного из них; Он был участником или агентом некоторых крупнейших коммерческих и финансовых операций, на которые когда-либо решались британские и голландские капиталы и предприятия, и был введен в контакт и знакомство - нередко в интимную близость - с рядом выдающихся людей своего времени. Редко, ни в печати, ни во плоти, мы встречались с таким беспокойным, разносторонним и увлекающимся гением, как Винсент Нолте, эсквайр, из Европы и Америки - никакое более ограниченное обращение не сможет в достаточной мере выразить его космополитическое местопребывание. - *Журнал Блэквуда*.

Как отражение реальной жизни, книга, отмеченная печатью сильного личного характера и наполненная уникальными деталями большого опыта частных и общественных интересов, мы безоговорочно обращаем на нее внимание как на одно из самых достойных внимания произведений современности. - *New York Churchman*.

Наши старые торговцы и политики найдут ее очень забавной, и она вызовет яркие воспоминания о людях и вещах сорокалетней давности. Можно было бы покритиковать спесивый и дерзкий дух автора, но грубость его анекдотов - результат именно этих недостатков. - *Бостонская стенограмма*.

Его автобиография представляет собой пикантное разнообразие происшествий и приключений, а также большое количество действительно полезной и интересной информации, тем более приемлемой благодаря обилию анекдотов и пикантных скандалов, которыми она перемежается. - *N. Y. Jour. of Commerce*.

Не менее интересной частью работы, на наш взгляд, является рассказ об общении Нолте с нашими великими людьми, а также его пикантное и порой недобродушное замечание об их недостатках и слабостях. - *N. Y. Herald*.

Это яркая хроника разнообразных и замечательных событий, которая послужит исправлению ошибок, слишком часто выдаваемых людьми за подлинную историю.-*Evening Post*.

Анекдоты, заявления, чувства, описания и весь тон книги - живые и подлинные, а с учетом очевидных предрассудков - наглядные и достоверные. Для пожилых людей она будет замечательно наводящей, для молодых - любопытно информирующей, а для тех и других - богатой на развлечения.- *Бостонский атлас*.

Как забавное повествование, трудно найти равного ему; но книга представляет особый интерес благодаря свободе, с которой автор показывает наши американские нотариальные события последних сорока лет.-*Курьер*.

ЯПОНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ.

Отчет о трех визитах в Японскую империю с очерками о Мадейре, острове Святой Елены, мысе Доброй Надежды, Маврикии, Цейлоне, Сингапуре, Китае и Лоо-Чу. Полковник Дж. У. Сполдинг с парового фрегата Соединенных Штатов "Миссисипи", флагманского корабля экспедиции, с восемью тоновыми иллюстрациями. 12то., ткань, 1 25 долларов.

Книга охватывает новую область в "Японии" и широкую область в мире, но автор сделал так, что долгое путешествие кажется коротким, в интересе, который его графическое и поучительное перо бросает на каждую лигу его продвижения. Стилль книги плавный и оживленный - Япония и японцы представлены в виде реалистичных картин. Мы советуем всем, у кого есть хоть малейшее любопытство познакомиться с этим уединенным и удивительным народом, а также получить связный и захватывающий рассказ о великой американской экспедиции в Японию, приобрести восхитительную работу полковника Сполдинга.- *Рич. Диспетчер*.

Полковник Сполдинг - человек, чей характер в обществе, в котором он до сих пор проживал, ставит его вне подозрений, так что его рассказу можно безоговорочно доверять. Кроме того, он блестящий писатель и человек, одаренный необыкновенной наблюдательностью.

Он описывает все, что видел умный автор, в ясной и очень приятной манере, и упоминает многие вещи личного характера, которые, конечно, не вошли бы в официальный отчет.- *Baltimore American*.

В его описаниях есть свежесть и живость, что делает книгу более чем обычно привлекательной.-*Puritan Recorder*.

Мистер Сполдинг пишет с большой легкостью и проницательностью. Его способности к описанию полностью адекватны любому случаю, требующему их применения, что в изобилии подтверждается в данной работе.-*Petersburg Intelligencer*.

Очень читабельный дневник Японской экспедиции, написанный офицером, который, хотя и направлен только на воспроизведение впечатлений писателя, дает хорошее представление о странных сценах и характерах, которые открылись в этой стране.-*N. Y. Evan*.

Работа мистера Сполдинга дает результаты его наблюдений именно в том виде, в каком они пришли ему в голову в то время, причем его ум был необычайно беспристрастен к энтузиазму тех, кто его окружал. Он смотрит на вещи холодным, разборчивым взглядом, не переоценивая и не недооценивая преимущества наших новых отношений.-*N. Y. Herald*.

Это первый рассказ об экспедиции Перри, и он всегда будет более популярен, чем любой правительственный отчет.-*St. Louis Leader*.

"Каждый дюйм - король."-*Harper's Magazine*.

Частная жизнь восточного короля, по записям члена семьи его покойного величества Нусиру-у-Дина, короля Уде. Вм. Найтон, автор "Лесной жизни на Цейлоне" и др. 12мо., ткань, 75 центов.

Вся история читается как потерянная глава из "Арабских ночей". *Athenæum*.

Дает лучшее представление о чисто восточных нравах, чем любое известное нам произведение.-*Лондонские новости мира*.

Этот забавный том позволяет читателю оказаться за кулисами азиатского haut ton. Со времен появления "Арабских ночей" не было такого изложения высказываний и поступков восточных королевских особ.-*N. Y. Daily Times*.

Столица Лакхнау славится своим необыкновенным зверинцем диких животных, и одним из главных развлечений при дворе, похоже, было наблюдение за их схватками. В книге рассказывается о некоторых очень захватывающих состязаниях, и она содержит много интересного для спортсменов. Она также дает яркое представление о восточных нравах, как они выглядят во всей своей обыденности; а некоторые из описанных приключений едва ли менее удивительны, чем приключения Хаджи Бабы.- *Бостонский путешественник*.

Карьера парикмахера, оказавшего столь большое влияние на корону и так много сделавшего для своей собственной выгоды, накопив до своего возвращения 240 000 фунтов стерлингов, очень любопытна и хорошо рассказана. В целом это одна из самых забавных книг сезона.- "Бостон телеграф".

Он приподнимает занавес и раскрывает мельчайшие подробности повседневной жизни абсолютного государя. Мы узнаем больше о восточных нравах и особенностях индусов, чем от величественных историков или искушенных географов. Мы можем похвалить его как занимательный том.-*Religious Herald Richmond. Вурджиния*.

Примечания переводчика:

Новая оригинальная обложка, прилагаемая к этой электронной книге, является общественным достоянием.

Различия в написании и дефисах сохранены.

Очевидные опечатки были изменены.